

Анри Валлон

ИСТОРИЯ
РАБСТВА
В АНТИЧНОМ МИРЕ

СМОЛЕНСК
«РУСИЧ»
2005

УДК 931/939
ББК 63.3(0)32-282.3
В15

*Серия основана в 2000 году
Перевод с французского С. П. Кондратьева*

*Текст печатается с некоторыми сокращениями по изданию:
Валлон А. История рабства в античном мире. - ОГИЗ,
Госполитиздат, 1941*

Валлон А.

В15 История рабства в античном мире. - Смоленск: Русич, 2005. - 640 с, ил. - (Популярная историческая библиотека).

ISBN 5-8138-0631-8

Сочинение французского историка и политического деятеля Анри Валлона (1812-1904) посвящено истории рабства в античном мире. Автор детально исследует вопросы об источниках рабства, положении рабов и использовании их труда, отпуска на волю, об их восстаниях, о влиянии рабства на социальные отношения и многое другое...

Богатство и систематизированность фактического материала, широта освещаемых тем делают труд А. Валлона интересным и актуальным и для современного читателя.

УДК 931/939
ББК 63.3(0)32-282.3

ТОМ I

РАБСТВО В ГРЕЦИИ

ISBN 5-8138-0631-8

© «Русич», 2005

Глава первая

РАБСТВО В ГРЕЦИИ, РАБСТВО В ДРЕВНЕЙШУЮ ГОМЕРОВСКУЮ ЭПОХУ

1

Быть может, нигде рабство не проявляло так ярко своего позорного, мертвящего влияния, как в Греции, этой стране высокоразвитой культуры. Рабство принизило там расы самые блестящие, оно поглотило поколения народов и героев. Один из народов Греции — пеласги, — который в начале своей истории проявляет себя в блеске славы, исчезает, не оставляя после себя никаких видимых следов, сохраняясь только кое-где на окраинах греческого мира. Первые эллинские племена, которые сменяют этот народ, в свою очередь деградируют и смешиваются с его остатками под этим общим гнетом всеуравнивающего рабства. И в историческую эпоху институт рабовладения, расширяясь, захватывает не только варварские народности Севера, цивилизованные народы Азии, но также и греков из самых славных их государств, в результате тех войн из-за личного честолюбия, которые продолжаются между отдельными государствами вплоть до конца греческой истории. Таким образом, не без основания Сатурн был сделан богом рабов — не только тот кроткий и добро-

4

душный Сатурн, который, лишившись царства на небе и принужденный бежать, старается установить царство равенства на земле среди людей, но Сатурн могучий, Сатурн, еще царящий на гибель своего потомства, как представляет его традиция века Уранидов.

В исторические времена ряд народов Греции считался теми, кто первый ввел в этой стране институт рабства: спартанцы с их системой крепостной зависимости, столь жестоко организованной ими в Лаконии; жители острова Хиоса, который был одним из первых рынков торговли рабами. Но если хотят найти первые следы организации рабства в Греции, то, очевидно, надо обратиться к самым древним преданиям: критический анализ может предположить и выявить рабство там, где его нельзя еще доказать прямыми фактами.

Первые поселенцы Греции, родом из Азии, вероятно, ничем не отличались от восточных народов, где чрезмерное злоупотребление отцовской властью и применение насилия узаконили рабство в самой семье и в роду. К рабам своего племени должны были присоединиться и рабы иноземного происхождения, потому что в эти первобытные времена, когда разобщенность жизни была почти необходимой, в стране, географические условия которой поддерживали эту разобщенность, эти маленькие народы жили, конечно, не в большем согласии, чем республики в более поздние времена; и война в эти варварские времена была ничуть не менее жестокой. Рабство для отдельных лиц, порабощение целых народов — такова была двойная форма, в которую выливалось положение побежденных, смотря по тому, были ли они предназначены лично для пользования победителей или во всей совокупности — для обслуживания общины; таковым мы найдем рабство также и у греков.

Нам мало известно о пеласгах, этой прославленной народности, имя которой господствует в сказаниях о самых древних временах Греции, но, конечно,

5

они не могли подняться до преобладающего положения среди других народностей, заселяющих эту страну, без всяких переворотов, аналогичных тем, которые произошли позднее и дали возможность эллинам утвердиться за их счет в этих местностях. Этот характер насилия и завоевания фигурирует почти во всех преданиях, где имя какого-нибудь древнего пеласга воплощает в себе весь народ пеласгов. Циклопические постройки, внушавшие удивление и страх позднейшим поколениям, со всей очевидностью свидетельствуют о режиме деспотизма и крепостного права, о чем молчат исторические памятники. Если мы мало знаем об обстоятельствах водворения пеласгов в Греции, то в той же степени нам неизвестны и условия их внутренней жизни. С некоторой достоверностью можно только сказать, что повсюду они приспособили образ своей жизни к природным условиям занятых ими стран: земледельцы на равнине, они были скотоводами в горах и разбойниками на море. Но мы вполне законно можем



*Гомер.
Позднеантичный бюст*

здесь сделать еще несколько умозаключений: возделывание земли, уход за стадами возлагаются на крепостных, когда притеснение или война создают крепостную зависимость, а морской разбой для тех же целей создает рабов, если они не остаются в качестве таких же рабов на скамьях гребцов.

Между пеласгами и эллинами различие казалось столь большим, что предание разделяет их существование всемирным потоком и возникновени-

ем нового человеческого рода. Это потоп Девкалиона, отца Эллина. С этого момента начинается признанная история Греции; но это предание о происхождении народа, олицетворенного в образе одной семьи, теряет в своей достоверности настолько, насколько оно пытается придать этому вопросу ясность. Реальный факт исчез под этой условной формой, которая заняла место в истории, а критика пришла слишком поздно, чтобы восстановить истину. Из недр этого мрака пробиваются первые лучи греческой цивилизации; это заря нового века, смешанного из истины и сказок, века полубогов и героев. Троянская война представляет нам в некотором отношении как бы его завершение; и это как раз время, о котором у нас осталось наиболее верное изображение в поэмах Гомера; изображение точное и верное, так как ведь музы — дочери Мнемосины (Памяти), и в эти древние времена они, верные своему происхождению, черпают в национальных преданиях содержание своих песен. Но как бы мы ни оценивали реальность лиц и подлинность событий в их песнях, в поэмах Гомера есть правдивое описание нравов, которых нельзя не узнать под сказочными формами, под чудесным покровом этих песен. С этой точки зрения я осмелился бы сказать: поэзия не менее верный руководитель, чем история, потому что если она пренебрегает порядком событий, то тем не менее она выражает их основную мысль и ход жизни; и событие, которое она выдумывает, вытекает из всей совокупности идей, характеризующих эпоху. Под своей индивидуальной формой поэзия является фактом общего значения; факты истории не всегда могут соединяться в достаточно большом числе, чтобы иметь то же значение. Гомер представляет нам целую эпоху цивилизации, через которую прошло греческое общество. Посмотрим же, каково было в тех условиях существования, которые описывает Гомер, положение рабов.

Этот век, блестящий век поэзии, не был уже зо-

лотым веком, о котором мечтали поэты, когда люди жили, как боги, не ведая ни волнений, ни трудов, ни страданий; когда плодородная земля приносила сама по себе богатый, обильный урожай и когда люди, свободные и кроткие, делили ее богатства на лоне всеобщей дружбы. Чудесное видение исчезло: это счастливое поколение людей превратилось в благодетельных гениев, которые еще витают над миром и его охраняют. Век героев, описанный Гомером, это уже четвертый век в нисходящей лестнице веков, о котором рассказывает нам Гесиод, век битв и притеснений. Представляет ли поэт перед нами картину битв, описывает ли он сцены домашней жизни — рабство всегда является фоном картины. Оно является у него как факт глубокой древности, освященный обычаем и под различными видами непрерывно проявляющийся в обыходе народов Востока.

Основной источник, откуда создается рабство, — это война, и общее имя рабов напоминает нам об этом (происходит от глагола «покорять, побеждать»). Дочь жреца Хрисеида и прекрасная Брисеида, бывшие причиной «гнева» Ахиллеса и отстранения его от войны, попали в руки победителей как добыча счастливой военной экспедиции. Палатки Агамемнона, Ахиллеса и большинства вождей полны пленницами, захваченными в окрестных приморских местах во время тех набегов и разбойничьих нападений, которые давали возможность грекам жить во время осады Трои. Избиение мужчин, сожжение домов, пленение детей и женщин — таков был обычай, таково было, по-видимому, общее правило при взятии городов:

Мужи убиты оружием, дома превращаются в пепел,
Дети уводятся в плен и пышно одетые жены.

Эта мысль преследует Гектора, когда он в последний раз видится с Андромахой, а его смерть пробуж-

дает у несчастной женщины те же мысли в еще более горькой форме. Она уже видит близко от себя эту печальную судьбу; ее скорбь и страдания воспевали трагики. «Погиб наш блюститель, — восклицает она, — хранивший твердыню троянцев и защищавший их жен дорогих и детей малолетних. Вскоре их в плен повезут на глубоких судах мореходных. Буду и я между ними!»

И муза Эврипида вторит этому вдохновенному плачу:

О ветер, ветер моря, ты, что несешь кормы кораблей,
Бороздящих смятенное лоно пучины! Куда несешь ты
Меня, несчастную? За каким владыкою я, рабыня
Несчастливая, должна следовать, в дом провожая его?
Пойду ли я к гаваням дорийской земли или, скорей,
К берегам ненавистной мне Фтии?

Рабство было не только следствием войны, часто оно было и ее причиной: этот обычай, который хотели узаконить как прогресс среди варварства и смягчение права победителя на убийство, сохранил гораздо меньше человеческих жизней, чем погубил. Во времена Гомера, как и в наши времена, в тех странах, где вербуются рабы, делали набеги на поля, нападали на города, чтобы добыть пленников. Эти грабежи, которые занимали свободное время у греков под Троей, служили также во время путешествий вознаграждением за медлительность мореплавания в те времена; вот подлинная жизнь древней Греции на суше и на море. Таким образом, морской разбой шел рядом с войной или, лучше сказать, сливался с ней, разделяя с ней одинаковый почет, так как он предполагал одни с нею труды и давал тот же результат. Женщины составляли лучшую часть добычи; их забирали массами, чтобы потом разделить на досуге. Иногда боги получали свою часть, а остаток распределялся по заслугам и рангу между людьми. Никакому возрасту не давалось пощады, ког-

да проявлялся этот алчный инстинкт. Молодость, конечно, служила большей приманкой, но не щадились и старость. Гекуба, согбенная под бременем несчастий и лет, ожидает себе хозяина так же, как и молодые троянские девушки. «А я, — говорит она глашатаю, — кому рабой должна я быть? В годах, когда руке моей скорее посох нужен, подпорка третья для меня, имеющей уже седую голову». Одиссею пришлось взять ее себе.

Попадая таким образом во власть хозяина, рабы становились предметом собственности. Их оставляли у себя, их продавали, иногда на играх они являлись наградой победителю; в обыденной жизни они были предметом сделки, ими менялись или их дарили. Обмен или покупка были средствами добыть себе рабов для тех, которые сами не занимались разбоем или войной; цари извлекали из этого такую же выгоду, как и морские разбойники, создавшие себе из торговли рабами ремесло. Например, Ахиллес продал царю Лемноса юного Ликаона, сына Приама; старая Гекуба оплакивает своих детей, убитых на полях сражений или проданных в рабство на острова Самос, Лемнос и Имброс. Эту торговлю, которую с давних пор финикийцы вели на побережьях Греции, сами греки продолжали у берегов Сицилии если не во время Троянской войны, то во всяком случае в то время, когда создавалась «Одиссея». Наряду с войной и морским разбоем, наряду с продажей тех, кто делался их жертвами, нужно считать еще источником рабства право домовладыки на детей своих слуг. Этот источник, который казался менее одиозным, так как был менее насильственным и считался более почетным, быть может, был уже и более редким. Заботы о ребенке слишком много времени занимали у матери; плодовитость рабов уже во времена Гесиода казалась доставляющей меньше выгод, чем беспокойств; он советует не допускать их связей.

Итак, рабы вербовались, главным образом, из свободных классов и насильственным путем. Добровольно

никто не ставил себя в такое положение, исключая убийц, которые продавали себя в рабство, как будто бы с отказом от свободы они совлекали с себя прежнего человека и очищались от греха. Сами боги послужили тому примером. Аполлон был рабом у Адмета, чтобы очиститься от убийства Пифона. Когда Геракл, обогранный кровью своей собственной семьи, пришел к алтарю бога-очистителя просить об искуплении преступления, Аполлон в наказание обратил его в рабство. Он был рабом целых девять лет, как был им еще раз у Омфала, проданный по воле Зевса, чтобы оплатить ценой своей свободы долг крови за Ифита.

2

Рабы выполняли все работы и в домашней жизни, и на полях. В деревне их заботам были предоставлены как уход за различными видами культур, так и охрана стад. У Гомера мы можем видеть, как они подрезают прутья для загородки старого Лаэрта, а у Гесиода они заняты всеми теми работами, которые поэт описывает с такой мелочной тщательностью. Зрелый возраст считался наиболее подходящим для раба, занятого обработкой земли; но пастухи выбирались среди молодых рабов, наиболее сильных и энергичных, так как их профессия не была лишена опасностей: они должны были следить за своими стадами, держа оружие всегда наготове, чтобы отразить нападение диких зверей или разбойников. Эвмей, состарившийся среди этих трудов, но оставленный для общего наблюдения за пастухами и стадами, вооружается, отправляясь сам караулить стада, когда все успокаиваются сном в его жилище.

Старики обыкновенно сохранялись для более легких домашних работ. Так, по Эврипиду, в то время как сыновья старого Силена должны сторожить овец Циклопа, сам Силен остается в пещере, выполняя все мелкие домашние работы. Конечно, во дворцах царей бы-

вали слуги более бодрые и более проворные. Мы видим, как они колют дрова и выполняют все необходимое для готовящегося праздника; они должны подавать воду, чтобы гости омыли свои руки; они выполняют роль виночерпиев, готовят мясо, запрягают коней и всегда должны быть готовы немедленно выполнить приказания своих господ. Они сопровождают их, когда те выходят за пределы дома, во время путешествий занимают место на скамье гребцов; они несут свои обычные обязанности и во время лагерной жизни.

Домашними работами все же были заняты, главным образом, женщины; даже на войне, под стенами Трои, они продолжали нести свои обязанности. Пленницы Ахиллеса под пологом его палатки готовят все, что нужно, — идет ли дело о том, чтобы принять гостя или возвратить несчастному Приаму бранные останки его сына. Прекрасная Гекамеда, оторванная превратностью судьбы от любящей груди отца своего Арсиноя, выполняла те же обязанности на корабле Нестора.

Все это имело место и в более спокойной жизни во дворцах, картину которой у троянцев рисует нам «Илиада», а у греков — «Одиссея». Женщины-рабыни не ограничиваются тем, что сопровождают своих хозяек или занимаются под их присмотром работами из шерсти: они несут все работы по дому, как самые тяжелые, так и те, которые считаются наиболее подходящими их полу. Между 50 женщинами во дворце Алкиноя распределены занятия ремеслом и работа у мельничных жерновов; из такого же числа женщин, которые собраны во дворце Одиссея, 12 заняты перемалыванием зерна, 20 других идут к источникам, чтобы черпать и носить воду, другие торопятся в отсутствие женихов приготовить все для предстоящего пира, а после их прихода продолжают выполнять свои обычные обязанности. Ключница распоряжается и направ-

ляет их работу. Обычно женщина, носящая это звание, управляет всем домом, ведет все хозяйство, наблюдает за запасами продовольствия и под этим же наименованием прислуживает за столом. Эти важные обязанности выполняют рабыни везде, и у Нестора, и у Одиссея, вплоть до роскошных палат Менелая. Женщины-рабыни гораздо чаще, чем рабы-мужчины, подают воду для омовения рук участникам пира. Это они — странная простота нравов тех, кто жил уже не в золотом веке, — исключительно они ведут в баню новоприбывшего, натирают его маслом, надевают на него тунику и плащ — первый дар гостеприимства, зашедший, без сомнения, очень далеко. Так, красивые рабыни готовят Телемаха и его молодого друга к почетному приему в палатах Елены; Одиссей получает те же услуги от одной из нимф Цирцеи; и если, выброшенный на берег страны феаков, весь покрытый водорослями и морской пеной, он отказывается от услуг, которые приказала своим спутницам оказать Одиссею наивная Навсикая, то это чувство стыдливости (которое даже в голову не пришло молодой девушке.) у него пропадает, когда богиня Афина во дворце Алкиноя вернула ему все преимущества его прекрасной фигуры. Мужчина так же мало был смущен подобным положением, как и женщина, чему мы при нашей застенчивости имеем полное основание удивляться. Это был общепринятый обычай; Гомер никогда не забывает его при описании прибытия любого иноземца, и у него в «Одиссее» есть готовая фраза, выражающая всякую встречу:

Когда же
Их и омыла и чистым елеем натерла рабыня,
В тонких хитонах, облекшись в косматые мантии.

И это не только одна из услуг, которые предупредительно оказываются гостю, но это обычная практи-

ка домашней службы; сицилийская рабыня выполняет ее для старого Лаэрта.

Рабское положение несло с собой для женщины еще и другие обязанности. Купленные или взятые в плен, они не имели права отказаться разделять ложе со своим господином; но нужно сказать, что в те времена, когда нравы были особенно суровы по отношению к женщинам, нередко были случаи, когда победители щадили женщин. Ахиллес и Патрокл выбирают себе подруг из среды рабынь; и Агамемнон, который оставил при Клитемнестре божественного певца, чтобы звуками своих сладкогласных песен он поддерживал в ней спокойствие чувств и гармонию души, этот Агамемнон охотно забывал Клитемнестру рядом с прекрасной Хрисеидой и теми, кто ее заменил. Среди тревог, вызываемых осадой, забота и страх перед возможностью такого положения были наиболее тяжелыми для женщин, а при пленении эта жертва была самой мучительной. Так, Андромаха, этот трогательный пример супружеских добродетелей, должна была подчиниться браку с сыном Ахиллеса, убийцы ее мужа; ослепленная ревностью Гермiona к тяжести ее положения прибавила еще горечь оскорблений, превращая несчастье Андромахи в какое-то преступление. «Ах, младость, тяжкое горе для смертных, — говорит Андромаха Гермione, — особенно когда ею не руководит справедливость... Могу ли я хотеть быть на твоём месте, чтобы производить на свет детей-рабов и создавать новое бремя горести?»

Однако сыновья, которых они рожали своим хозяевам, были свободными. Их отцы так к ним и относились, и в «Илиаде» мы не видим, чтобы Тевкр, сын Теламона и одной из пленниц, подвергался таким оскорблениям, которыми осыпает его Менелай у Софокла; героям Гомера был совершенно незнаком афинский закон, который разыскивал в родословной гражданина социальное положение его матери. Но тем

не менее это происхождение накладывало на них некоторого рода пятно и было причиной более низкого положения; чтобы защитить их при нанесении ущерба их интересам, требовался весь авторитет отца или, в случае его смерти, покровительство человека почтенных лет и внушающей уважение силы. Так, Текмесса, рабыня Аякса, став его женой, боится, как бы смерть его не отдала ее и ее сына в рабство другим грекам.

3

В кратком виде мы набросали картину обязанностей и труда рабов. Этот труд не являлся чем-то исключительным. В те времена наивной простоты люди не гнушались труда; труду Гесиод посвятил свою основную поэму «Труды и дни». Труд стал неизбежным условием для смертных; с тех пор как боги похитили у них тайну легкой жизни; и похвальное «соревнование», которое господствует в мире, ставит себе целью побудить их к этим трудам. Сам поэт указывает на это своему брату, как на долг жизни. «Боги и люди, — говорит он, — равно ненавидят того, кто живет бездельником, как трутень без жала, который, сам ничего не делая, пожирает труды пчел. Работая, ты станешь более милым и для бессмертных и для людей, так как они ненавидят ленивцев. В труде нет позора, он только в безделье». Эллинские племена в общем усвоили себе эти принципы. Если некоторые из них, более воинственные, возложили тяжесть труда на побежденные народности, чтобы сохранить все свое свободное время для военных упражнений, то большинство из этих племен, завладевая какой-либо страной, брали на себя и бремя труда на ее почве и, не отказываясь от употребления оружия, сами себе добывали средства для существования, возделывая землю, заботясь о своих стадах или отправляясь в далекие торговые путешествия. Гесиод, который в своей поэме знакомит своего брата с прак-

тикой земледелия и всем тем, что относится к работам на полях, не отказывает ему и в других, полных благоразумия, советах, чтобы сделать его плавание менее опасным, а его торговлю приносящей большую выгоду. Пастушеская жизнь, о которой Гесиод говорит меньше, была еще более почетной, так как это была жизнь, связанная с войной и битвами. У троянцев, в лице которых Гомер дает как бы другой облик греков, Парис был пастухом, Анхиз охранял стада своего отца, когда он «приглянулся» Афродите; равным образом семь братьев Андромахи пали под ударами Ахиллеса на полях, где они несли те же труды и заботы. Таким образом, занятия, связанные с жизнью на полях, как, например, жизнь земледельцев, объединяли людей свободных и рабов; точно так же не было между ними различия и при выполнении работ по дому. Часто здесь сами цари становились на место своих слуг: Агамемнон и Ахиллес обыкновенно не только принимают у себя гостей, но сами готовят все, что нужно для пира. Никакая работа не кажется им слишком низкой: Андромаха отсыпала вкусного ячменя и кормила коней Гектора; братья Навсикаи торопятся, когда она возвратилась, распрячь мулов, которых запрягли в ее колесницу рабы; Гера сама себя обслуживает при тех же обстоятельствах, ничуть не унижая своего достоинства царицы богов.

Гораздо более часто, чем мужчины, смешивались со своими рабами в повседневных заботах домашней жизни женщины. Какое бы положение они ни занимали, их уделом был труд, как война была уделом мужчин. Это довольно твердо напоминает Телемах Пенелопе; и она уходит, удивленная таким «мудрым» указанием своего сына. Впрочем, и она сама и все те женщины, которые фигурируют в поэмах Гомера, фактически выполняли это указание. То покрывало, которое Пенелопа распускала каждую ночь с мыслью об Одиссее, она ткала, по ее словам, для погребения Ла-

эрта, боясь упреков греческих женщин, если бы она допустила старика умереть без этого последнего одеяния. И Андромаха и Елена ткали тонкие покрывала, украшенные чудесными вышивками, всегда присутствуя и руководя работами, которые служанки выполняли у них на глазах. Искусство в ручных работах, которое так ценилось в рабынях, было одним из тех достоинств, за которые столь высоко восхваляются молодые девушки. И не только в этих работах женщины смешивались со своими служанками. Наблюдая за своим домом, женщина, конечно, принимала участие в различных заботах по хозяйству. Жена Нестора сама готовит ему постель; жены, и дочери троянцев, когда война не опустошала еще их полей, ходили к водам Скамандра, чтобы мыть там свои одежды; и Навсикая, дочь царя феаков, с той же целью отправилась на берег реки, куда незадолго перед тем был выброшен волнами Одиссей. И услуги другого рода, которые она хотела приказать своим спутницам оказать ему, женщины и девушки одинакового с ней положения не стыдились оказывать сами своим гостям. Так, Телемах получил их от прекрасной Поликасты, самой юной из дочерей Нестора; а во время путешествия Телемаха в Спарту Елена рассказывает ему, как она сама оказала такую же услугу Одиссею в городе Приама.

Это смешение рангов, это соучастие во всех домашних занятиях, конечно, должно было уменьшить число рабов; все эти тысячи («много десятков тысяч имел»), о которых говорит Одиссей в своем выдуманном рассказе, на самом деле сводятся к очень скромным цифрам. У него во дворце на Итаке было 50 женщин, как и во дворце Алкиноя, царя феаков; у Одиссея, по-видимому, мужчины использовались только в качестве пастухов. В таких условиях жизни общества рабы были, по-видимому, скорее предметом роскоши, чем настоящей необходимостью; и если для областей, подпавших под иго завоевателя, рабы неизбежно яв-

лялись результатом завоевания, то в других случаях они составляли необходимость только в домах знатных лиц. По свидетельству историков, целый ряд греческих народностей, которые долгое время сохраняли первоначальную простоту жизни, например, фокиядне, локры, стали пользоваться рабами очень поздно. Менее богатые умели обходиться без рабов. Наиболее бедные избегали рабства, так как, не теряя безвозвратно своей свободы, они находили способы работать в качестве наемных рабочих частью на полях, частью охраняя стада. Гесиод возлагает на своего брата Перса обязательство честно выплачивать им условленную плату. Кроме того, они могли заняться каким-либо независимым ремеслом. Такие ремесленники не ставили себя в униженное положение, напротив, многие добивались такого уважения, каким в наши дни пользуются выдающиеся артисты. Большой частью это были художники-строители и те, которые своим трудом по дереву или по металлу украшали дворцы, а для воинов делали их оружие более дорогим. Гомер прославляет искусного мастера, который сделал лук Пандара; он называет по имени и местожительству (а это знак уважения и почта) того, кто сделал щит Аяксу, и в двадцати других местах он указывает на ковачей, на токарей и строителей. Архитектор и плотник ставятся в ряд с врачами, прорицателями и певцами, получившими свое вдохновение от муз, и принадлежат к числу тех, которых можно удостоить чести считать царскими гостями.

Между классами художников-мастеров и воинов не проводилось резкой грани: сын мастера, который построил корабль Париса, сражается среди троянцев и умирает, воспеваемый поэтом в той же мере, как и всякий другой герой; а с другой стороны, и сами герои не стыдились занятий известными ремеслами: разве царь Итаки своей собственной рукой не срубил дикой маслины и не отделал золотом и слоновой костью то

ложе, которое дает возможность его жене окончательно признать его? Наконец, сами боги не ограничивались только тем, что оказывали честь труду своим бесплодным покровительством. Афина, которая имела попечение, главным образом, о работах женщин, давала им чудесные образцы своего искусства и ловкости; Гефест жил возле своих кузнечных горнов, где Фетида нашла его среди инструментов, всего покрытого потом и копотью.

Свободный труд оказывал обратное действие на количество рабов: он уменьшал их число и мог также видоизменять их ценность. Было бы довольно трудно определить их среднюю стоимость для столь отдаленных времен, даже если применить к ним гомеровские оценки. Красивая рабыня, искусная в работах, собственных ее полу, оценивалась в «Илиаде» в 4 быка. Молодая девушка цветущего возраста была куплена Лаэртом за 20 быков, и это не была цена страстной любви — она никогда не была его «подругой»:

...и себе не позволил
Ложа коснуться ее, опасаясь ревности женской.

Ахиллес продал на остров Лемнос молодого Ликаона, сына Приама, за 100 быков. Если можно этой фразе придавать какое-либо реальное значение, то, конечно, только надежда на еще более высокий выкуп могла поднять так высоко его цену.

То, что мы сказали об основных источниках рабства в героические времена, об обязанностях рабов по отношению к их хозяевам и о тех работах, в которых они участвовали вместе, может позволить нам сделать несколько предположений о том, как сами хозяева относились к рабам. Рабство не шадило никого; под

его уравнивающую власть одинаково попадали и люди самого низкого происхождения и те, чьи головы были увенчаны царскими коронами. Гекуба, всю свою жизнь проведшая в палатах царей и состарившаяся там, на пороге смерти увидала перед собой дни рабства:

О мать, которая была в домах царей

Всю жизнь! Теперь ты видишь рабства день!

Многие могли воскликнуть вместе с Поликсеной:

Иду на смерть рабой, я — дочь царя-отца!

и многие могли вместе с ней сказать: «Я была владычицей среди женщин, прекраснейшей среди всех молодых дев, равная богиням, если не считать их бессмертия. А теперь я — рабыня! Ах, это непривычное для меня слово заставляет меня любить смерть. Ведь я могла бы попасть в руки господина, который, купив за деньги меня, сестру Гектора и стольких царевичей, наложил бы на меня тяжкую необходимость готовить ему хлеб в его жилище, подметать его дом, который посадил бы меня за ткацкий станок и заставил бы, таким образом, влачить мои дни, полные горечи. И, может быть, презренный, низкий раб пришел бы, чтоб обесчестить мое ложе, некогда столь желанное царям. Нет! Я закрываю свои глаза, чтобы не видеть дневного света, и я добровольно и охотно предаю свое тело во власть Аида». Но все они не могли умереть. Они следовали за победителем и должны были отныне принимать участие во всех его печалях и радостях: так, пленницы Ахиллеса плакали и стонали над трупом Патрокла. Они плакали, говорит поэт, но, делая вид, что плачут над Патроком, они оплакивали самих себя.

Эврипид особенно хорошо сумел передать на сцене все эти живые и острые переживания. Во многих из его драм хоры состоят из пленниц; их лирические жа-

лобы соответствуют тем чувствам, которые господствуют в диалоге, в «Троянках» и в «Гекубе», а в «Андромахе» хор свободных женщин из Фтии своими словами боязливого сочувствия ободряет великую и благородную страдальцу, которой посвящена эта драма. Рабство не накладывает пятна бесчестия на эти возвышенные души; их достоинство проявляется во всем блеске среди их несчастий. Они всегда царят среди других пленниц. Они повелевают или, правильнее сказать, им добровольно служат. Та роковая судьба, которая поставила их в положение рабынь, вместо того чтобы разорвать прежние узы повиновения, сделала их, наоборот, более священными и дорогими. «О, госпожа, — говорит одна из рабынь Андромахе, — о, госпожа! Ведь я никогда не перестану называть тебя этим именем»; и Андромаха отвечает: «О, дорогая спутница в моем рабстве! Это рабство отныне соединило тебя с той, которая некогда была твоей царицей, а ныне столь несчастна». Трогательная покорность судьбе, вполне достойная столь чистой преданности!

Такие быстрые изменения судьбы должны были заставлять и самих победителей проявлять известное уважение к своим пленным. Так, Агамемнон отдает Кассандру под покровительство Клитемнестры, и дочь Леды принимает ее обращение к ней со словами, которые, хотя и желают быть мягкими, всецело проникнуты гордостью; но какое до этого дело вещей деве, когда она через этот позор рабства уже проводит кровавые сцены, которые должны ее освободить и отомстить за нее! Это бережное отношение, диктуемое несчастьем, не в меньшей степени вызывалось превратностями судьбы. Кто мог быть уверен, что он застрахован от них, и как не сочувствовать тем несчастным, которым он мог подвергнуться в один прекрасный день сам? Так, Дейанира, лучше чем кто-либо другой чувствующая это, принимая пленниц Геракла, восклицает: «Мое сердце полно горькой печалью, дорогие

себе более верных друзей, как среди них; и трагики при постановке на сцене этих древних преданий выводят рабов с такими именно чертами характера. Женщины-рабыни приобретают у них тот тип наперсниц, который мы встречаем впоследствии в пьесах, заимствованных из репертуара трагиков, они проявляют по отношению к своим хозяйкам преданность, которая простирается до готовности умереть за них, совершить для них преступление. Так, спутница Андромахи пренебрегает ради нее всеми опасностями; кормилица Феды не боится никаких угрызений совести, когда, желая сохранить жизнь Феды, она старается ее утешить и содействует ей в ее преступной страсти; эта низкая преданность вызывает у Ипполита проклятие. «Было бы лучше, — говорит он, — если бы женщины вместо таких рабынь имели своими слугами ехидн, полных яда, но бессловесных».

5

Вот в общем все те факты, которые рисуют нам картину рабства у Гомера; я дополнил их теми местами из трагиков, где они, выводя те же личности, что и Гомер, рисуют те же положения и те же чувства. Но не будем ничего скрывать от себя. Взятые с исторической точки зрения, принимая во внимание столь отдаленные времена, поэмы Гомера требуют огромной осторожности и критического отношения, и, для того чтобы извлечь истину из массы фантазии в тех картинах нравов, которые они нам рисуют, нужно тщательно различать то, что составляет основу картины, и то, что составляет ее дополнительные тона. В основном картина верна, и главные черты, которые ее составляют, взяты из действительности; но те краски, которые наложены на нее, принадлежат уже фантазии поэта, идеализирующей и украшающей все, к чему она прикасается. Таким образом, основные черты рабства в

героическую эпоху, его происхождение, связанные с ним повинности и обязанности рабов — все это вполне правильно изображено в картинах, которые рисует нам Гомер; а та общность, которую можно видеть между хозяевами и рабами на почве занятия одними и теми же работами, дает нам право на некоторые предположения о взаимоотношениях между ними. Но, быть может, не следует создавать слишком больших иллюзий относительно мягкости этого рабства, и все эти многочисленные примеры снисходительности и добродушия не надо считать за простую и истинную картину обращения с рабами. Ведь при абсолютной и совершенно произвольной власти господина переход от добра к злу совершается по бесконечной линии оттенков, и при подобных условиях факт очень легко меняет свою природу, если он меняет свою внешность.

Между тем, даже если бы господин всегда проявлял такую осторожность в обращении с рабами, если бы даже положение рабов было не чем иным, как мудро составленным обменом услуг и покровительства, все же эти отношения, с точки зрения правильно организованного общественного строя, не являлись бы для рабов более приемлемыми; ведь нет договора без взаимных обязательств, здесь же мы видим обязанности, возложенные на одного раба. Пусть как хотят восхваляют кротость господина, пусть превозносят положение, дающее рабу чувство счастливой зависимости, которая освобождает его от забот о будущем и при его непредусмотрительности спасает его от печальных случайностей в конце жизни: злом является отнимать у него мысль о нужде и об усилиях, которые он должен совершить, чтобы ее победить, так как одновременно у него отнимается сознание собственной силы и истинное чувство собственного достоинства. Но это не все. Этот ложный договор, возлагая обязанности на одного раба, оставляет за тем, кто им владеет, полную свободу действий по отношению к нему. Ведь если в

первые века жизни какого-либо народа, под влиянием еще только рождающейся цивилизации, свободный человек, благодаря простоте нравов близко подошедший к жизни своего раба, обращается с ним почти так же, как с одним из своих близких, то с течением времени это случайное товарищество разрушится. И раб, опускаясь книзу в силу возвышения своего господина, увидит, что его положение отягчается всем тем, что прибавляется к благосостоянию его хозяина. В этом-то, к сожалению, и заключается слишком актуальный интерес к этим исследованиям, который заставляет нас обратиться к самым началам истории. Надо проследить путь рабства по мере развития человечества и изменения общественных форм и показать, соответствует ли институт рабства праву и разуму. Всякий вывод, который не будет основан на всей совокупности этих фактов, будет неполным и даст повод к ошибкам. Он особенно будет ошибочным, если, взяв за основу эту эпоху сравнительно мягкого рабства, захотят игнорировать все крайности и эксцессы, которые имели место впоследствии; ведь и самые лучшие учреждения в порядке последовательных изменений могут с течением времени и сами подвергнуться изменениям. Кроме того, то, что составляет природу известного факта, по словам Аристотеля, — это то, чем он является после того, как он получил свое полное развитие. В самом деле, как сделать заключение относительно рабства, когда оно находится еще в первом периоде своего развития? Разве можно судить о дереве по его цветам? Цветы отцветут, оставив горький плод: судить надо по плодам.

Глава вторая

ПОРАБОЩЕННЫЕ НАРОДЫ, ИЛИ КРЕПОСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ГРЕЦИИ

1

Если в героический период в Греции выявляется еще небольшое количество рабов, то в следующий период, как об этом свидетельствуют те общественные перевороты, которыми он открывается, и тот ход развития, какой приняли общественные отношения, рамки рабства значительно расширяются.

То великое движение, с которого начинаются собственно исторические времена Греции, изменив весь облик страны, во многих местах повело к замене прежнего, более мягкого рабства более суровым и жестоким господством. У Эврипида один из победителей говорит при виде пленных троянок: «Увы! Я очень стар, но могу ли я надеяться, что смогу дождаться конца моих дней прежде, чем и меня постигнет столь великое несчастье?». Эти беды, роковые предчувствия которых они старались отвратить от себя, постигли второе поколение их потомков. И те народы, которые в этой войне играли первую роль, оказались именно теми, которые, главным образом, и испытали на себе превратности судьбы. Прошло для одних 60, для других

80 лет после разрушения Трои, и фессалийцы вторглись на родину Ахиллеса, а доряне — в царства Диомеда, Менелая и Агамемнона, обращая в рабство всех, кто не эмигрировал до их прибытия. Эмиграция распространилась за пределы Греции; в ней скоро приняли участие и сами победители, распыля эллинскую расу по всем побережьям, неся с собой туда все права и все тяготы завоевания.

По мере распространения рабства под властью народов, особенно воинственных, оно сильнее внедрялось в экономику городов, которые стали расти и возвышаться благодаря торговле и мирным ремеслам. Раб, это орудие производства, становился также все более необходимым как домашний слуга для всех классов граждан; он был необходим как при занятии ремеслом и торговлей, так и для обслуживания тех излишеств, которые приносило с собой рабовладельцам богатство, само являвшееся плодом рабского труда. Таким образом, новый вид служебных обязанностей, новое применение рабов, более широкое и многостороннее использование их на таких работах, которые прежде им не поручались, — таковы были причины, которые повели к увеличению числа рабов, изменив также и их положение. Посмотрим, каким стало рабство при порабощении целых народов и при личном рабстве отдельных людей.

Когда какой-нибудь народ водворялся при помощи вооруженной силы среди населения, которое он себе подчинял, отношения между старыми и новыми обитателями складывались в зависимости от ряда условий: происхождения тех и других, их численности, строя их жизни. Народы одного языка скорее сближались друг с другом; победители менее численные легче сливались с побежденными. Но различия в строе их жизни зачастую уничтожали и родственность их по языку и возможность поглощения меньшинства победителей, продолжая углублять ту пропасть, которую между

ними создало завоевание. В Греции те народы, которые утвердились силой оружия, в общем сохранили свой воинственный характер, и те условия, которые дали им возможность победить, оказались для них наиболее подходящими, чтобы и в дальнейшем поддержать их господство. Таким образом, они остались вооруженными. Но государство может считаться организованным только тогда, когда в нем имеются все условия, необходимые для жизни. Удержав для себя право носить оружие как привилегию, победители должны были возложить труд на покоренные народы. «Побеждать на войне, — говорит один из персонажей Менандра, — присуще свободным людям; возделывать землю — дело рабов».

Фессалийцы, утверждаясь в стране, которая с тех пор приняла их имя, были далеки от того, чтобы занять ее всю, на всем протяжении. Многие народы — на севере перребы, на востоке магнеты, на юге ахейцы из Фтии — потеряли свою независимость, не теряя, однако, своей национальности. Будучи данниками и подданными фессалийцев («послушные» им), они заседали вместе с ними на собраниях амфикионов; во время персидских войн Геродот обвиняет их в сочувствии Ксерксу, в переходе на его сторону. Но в среде народов-данников, которых Ксенофонт называет периэками, многие были поставлены в гораздо более тяжелое положение: это те, которые, главным образом, на себе вынесли всю тяжесть войны и, лишенные своей территории, должны были выбирать между эмиграцией и рабством.

Таковыми были народы древней Эллады, эоляне и остатки пеласгов, сохранившиеся между ними: я имею в виду перребов и магнетов, которых можно рассматривать как наиболее близких к покоренным народам. Таким образом, они были рабами вследствие завоевания и подчинения их силой оружия, но они не носили этого имени. Их называли пенестами — слово, которое, по мнению многих, является видоизменением

слова «менесты» («те, которые живут», «вечные рабы»), в котором отражалось их происхождение, их социальное положение. Действительно, они были оставлены у себя на родине под условием оставаться здесь всегда. В силу точного договора с ними они не могли быть проданы за пределы своей страны, ни подвергнуты смерти; они должны были возделывать землю, платя оброк. Прикрепленные, таким образом, к земле и защищенные от произвола, они были не столько рабами, сколько крепостными, права и обязанности которых регулировались взаимным договором. Под этим наименованием они распределялись между свободными или группировались вокруг могущественных домов Алевадов и Скопадов, обладавших таким огромным влиянием в Фессалии. Твердо установленная арендная плата («пенестикон»), которую они платили за свои земли, гарантировала им все выгоды более урожайных годов или разведения культур более высокого качества и производительности. Вполне законное стремление к улучшению своего положения, вызывая у них энергию и ловкость, делало некоторых из них более богатыми, чем их господа. Но воинственные обитатели Фессалии, которые оставили им эти преимущества, наложили на них и другие обязанности. Они должны были сопутствовать им на войне. Во время Пелопоннесской войны простой гражданин Фарсала предоставил в распоряжение Афин тысячу двести пенестов; и когда Ясон из Феры задумал распространить на Грецию свое влияние, он рассчитывал на пенестов, чтобы снабдить экипажем те корабли, с помощью которых он хотел оспаривать власть на море у афинян. В обычное время фессалийцы допускали их даже в конницу, жертвуя своими предубеждениями желанию иметь всегда сильным и могущественным этот род войска, который составлял их славу в Греции.

Многие из них должны были не только сопровождать своих господ на войну, но постоянно оставаться в

их распоряжении; отсюда, вероятно, и произошло то название, которое им было дано: «фессалойкеты» — «слуги фессалийцев»; и если можно верить Дионисию Галикарнасскому там, где он не очень удачно сравнивает римских клиентов с пенестами в Фессалии и с фетами в Аттике, то фессалийцы обращались с ними с жестокостью и надменностью, грозя им побоями при малейшей небрежности и третируя их сверх всего прочего как купленных рабов. Но такое порабощение, говорит Аристотель, бывало часто губительно для самих победителей. Не раз вспыхивали волнения, например, по поводу войны фессалийцев против перребов и магнетов, народов, в общем еще свободных или по своему характеру непокорных; некоторые находят у Аристофана намек на другое подобное восстание, которое разразилось во время Пелопоннесской войны при поддержке афинян.

2

Толчок, данный фессалийцами, распространялся все далее и далее, и народы, изгнанные в результате их завоеваний, в свою очередь делаясь завоевателями, несли в другие места другим народам то иго рабства, подчиниться которому сами они не хотели. Так, беотийцы из Арне, уйдя из Фессалии во избежание рабства, утвердились в Аонии, с тех пор названной Беотией, и держали в подчинении тех из древних ее обитателей, которые не стали искать другого местожительства. Доряне, независимо от того, было ли их переселение добровольным, или оно было связано с этим же приходом новых народов в Фессалию, привели с собой те же формы порабощения и в Пелопоннес, и в Лаконию, и в Мессению, и в Аргolidу, а равно и в другие места за пределами своей страны, где они утвердили свой государственный строй.

У дорян в особенности эти отношения победите-

лей и побежденных приняли вполне четкий и определенный характер. Действительно, только у них порабощение одних другими, разделение на победителей и побежденных являлось целой системой; это фундамент, на котором покоится все их государственное устройство. Государство, или община, для дорян является обществом, все силы которого направлены к одной и той же цели. Это единство действия, самым верным основанием которого является общность интересов, было у них гарантировано не только полным равенством прав всех, но и племенным единством, своего рода однородностью равенства. Таковы основы жизни дорической общины. Организованная таким образом, она будет действовать единодушно, но, для того чтобы действия ее проявились во всей своей силе, необходимо еще одно, новое условие: нужно, чтобы заботы о частной жизни не отвлекали гражданина от занятий общественных, нужно, чтобы он был «обслужен». Необходимость иметь свободное время возложила у дорян труд на плечи чуждых для них племен, т. е. их гражданская свобода основана на порабощении побежденных.

Так было везде там, где доряне образовали государство. Но устойчивость и суровость применения этого принципа и тех отношений, которые на основе его устанавливались между победителями и побежденными, зависели, главным образом, от той настойчивости, с которой доряне сумели его применить и защищать; И сам Пелопоннес, где они утвердились, представляет тому много различных примеров. Во многих местах их завоевания должны были приостановиться в самом начале; в других местах завоевательная их деятельность распространялась медленно, при очень энергичном сопротивлении. Даже в Лаконии, где они в конце концов остались господами, заняв твердое положение в одном городе, который, по утверждению Мюллера, не имел ничего общего с блестящим горо-

дом Менелая, они, по-видимому, должны были заключить с окрестным населением полюбовную сделку как равные с равными. Но вскоре они почувствовали себя достаточно сильными, чтобы отнять у побежденных свободы, гарантированные им в первые дни завоевания. Одни из этих племен безропотно покорились и стали выплачивать ту подать, которую на них возложили; другие сопротивлялись, в частности жители Гелоса, и были покорены силой; наконец, третьи в продолжение более чем трехсот лет смело сопротивлялись всем усилиям спартанцев и лишь позднее подчинились их системе, общей для всех побежденных. С этого момента в Лаконии было только одно государство, в котором роли были распределены согласно этническим группам: право повелевать и общественная деятельность остались за дорянами; повиновение и все тяготы повседневной жизни стали уделом жителей, находившихся на двух различных ступенях порабощения: на первой ступени стояли периэки, на второй — илоты. Периэки имели некоторую аналогию с народами — данниками фессалийцев, которым Ксенофонт дает одно общее название периэков; что же касается илотов, то многие авторитеты сближают их с пенестами. Но наряду с этими чертами сходства, возникшими в результате аналогичных завоеваний, имеются и серьезные различия, являющиеся результатом различной организации двух народов-завоевателей. Я хочу обратить на это особенное внимание, подвергнув исследованию одну за другой обе ступени зависимости.

Ахеяне, которые не ушли из Лаконии и подчинились дорянам под неопределенным именем периэков («окрестные жители»), сохранили здесь свои города и часть своих полей. Согласно распределению, приписываемому Ликургу, область, которая была им предоставлена, образовала тридцать тысяч наделов, соответствуя такому же числу земледельческих семейств. Они были данниками, «платящими оброк», лишенными

политических прав и только в очень узкой сфере удерживавшими право самоуправления. Они обратились к труду; все выгоды от него были обеспечены для них теми законами и учреждениями, которые возложили на спартиатов обязанность быть свободными от труда и быть бедными. В то время как многие семейства остались в Спарте и перешли на наследственное занятие известными ремеслами, жители городков, более свободные в своей деятельности, прославились своей промышленностью и своим мастерством. Славилась обувь из Амиклы, лаконские плащи и пурпур, который придавал им особенный блеск. По Плинию, Лакония была для Европы тем, чем Тир был для Азии, — основным побережьем, где собиралась эта драгоценная улитка. Лаконяне производили также, с общепризнанным совершенством, двери, столы, кровати, повозки и все кузнечные и чеканные работы. Их великолепная закалка стали славилась так же, как и изящные или замысловатые формы кратеров, чаш и других сосудов для питья. Лаконяне прославились и в искусствах более возвышенных. Храмы, статуи, могильные памятники, которые украшали берега Эвроты, не были произведениями чужих рук; лаконская школа насчитывала в своих рядах много славных имен, и Павсаний совершенно неправ, относя некоторые из них к племени победителей. Им нельзя было отказать и в другой славе, менее значительной в наших глазах, но гораздо более важной с точки зрения греков. Они были допущены к олимпийским играм, где в состязаниях принимали участие только свободные греки: один лаконец из Акрий пять раз фигурирует среди списка победителей.

Спартиаты дали им место также в своих войсках, где они составляли отряды легковооруженных; и иногда эти перизки, по преимуществу рабочие, труд которых, правда, более скромный, лучше готовил их к перенесению тягот военной жизни, видели, как перед ними открывается дорога в ряды более привилегиро-

ванных гоплитов. Но они этим не ограничились. Когда война стала охватывать и другие страны и условием гегемонии над Грецией стало господство над морем («власть над Грецией — это власть над морем»), перизки оказались еще в большей цене. Жители побережий и хозяева в торговле, они без сомнения уже давно поставили мореплавание на службу своему производству; они могли заменить собой неопытных спартиатов в новом для них деле: перизки командовали флотом, который оспаривал власть у афинян. Не раз можно было видеть их командирами и в более крупных военных предприятиях.

В Спарте был обычай воспитывать детей иностранцев, а также, вероятно, и лаконян, вместе с дорийской молодежью; их называли мофаками. Свободные по происхождению, они видели в этом обычае общего воспитания своего рода усыновление со стороны победителей и часто в свою очередь вели их к победе. Гилипп, Калликратид и, может быть, даже Лисандр принадлежали к людям, вышедшим из такого состояния.

Связанные, таким образом, с интересами страны, перизки также приняли на себя заботы о ее охране. Их можно было видеть действующими рука об руку со спартиатами в дни величайших опасностей: во время нашествия Ксеркса и в самые критические моменты Пелопоннесской войны. Тем не менее отстранение от политических прав, все еще остававшееся абсолютным, даже после победы, которой они так много содействовали, поддерживало и распространяло среди них глухое раздражение. Они были готовы принять участие в заговоре Кинадона 397 г., и когда Эпаминонд вторгся в Пелопоннес, перизки призывали его в Лаконию, заверяя его, что с их стороны Спарта не получит ни малейшей помощи; многие тогда же открыто соединились с ним. То стремление к сепаратизму, которое предвещали эти настроения, завершилось под влиянием

римлян. Фламинин вовлек их в ахейский союз, к которому, естественно, должно было привести периеков их происхождение, и с тех пор они часто вели открытую борьбу со Спартой. Позднее, когда сама Греция потеряла свою независимость, Август дал автономию для двадцати четырех их городов под именем «Свободной Лаконии».

Таким образом, можно сказать, что периеки представляли общество рядом со спартиатами, общество, связанное с ними, управляемое ими, но живущее своей собственной жизнью и способное еще предоставить в распоряжение дорян свои силы. Наоборот, илоты не представляли ничего самостоятельного. Они целиком входили в самую организацию и жизнь Спарты. В этом тесном взаимоотношении двух народов один принял на себя власть и командование, на долю другого достался труд. Спартиат властвовал над илотом, благодаря илоту он жил.

3

Я говорил уже о происхождении этой формы порабощения. Согласно обычной традиции, жители Гелоса, которые не захотели принять на себя обязательств, как это сделали периеки, силой оружия были поставлены в более тяжелое положение, и их имя стало нарицательным для тех, которые, подобно им, попадали в рабство. Эта этимология исторически не включает в себе ничего невероятного. Это было бы не первым примером того, как город дает свое имя обитателям, которые в нем представляют основную группу: доказательство этого мы увидим у орнеатов в Аргосе и у церитов в Риме; но это объяснение, приемлемое для истории, решительно отвергается грамматикой. Имя илотов не происходит от имени Гелоса (по другому произношению — Ила). Эфор и Феопомп очень точно различают илотов и элеев, или элатов, жителей Гело-

са. «Илоты, — говорит последний автор, — уже издавна были порабощены Спартою, и среди них одни родом из Мессении, другие — элеаты, некогда жившие в городе Гелосе, в Лаконии». Это слово, как доказал Отфрид Мюллер, является страдательной формой не употребляющегося теперь глагола «беру» (илоты, таким образом, — «взятые, завоеванные»), и большинство грамматиков древности толковало этот термин именно таким образом: илоты — пленные, ставшие рабами, словообразование, которое имеет свою аналогию в употреблении слов героической эпохи и особенно на Крите.

Отданные, таким образом, неудачным исходом своей вооруженной борьбы на произвол победителей, илоты были, по словам Эфора, некоторым образом государственными рабами; одни из них были оставлены для нужд общины; другие были распределены между гражданами для возделывания их земель, охраны их стад или для того, чтобы прислуживать им в их домашней жизни, — обязанности, которые вместе с ними выполняли и иноземные рабы. Они шли с ними в сражение как легковооруженные, неотступно следуя за ними, подобно тем, кто в средние века составлял свиту рыцаря. В битве при Платеях каждый спартиат имел при себе 7 илотов, и их можно было встретить всюду, где сражались спартиаты, хотя количество их обыкновенно не учитывалось историками. Наконец, илоты равным образом служили также и на море. То, что относительно пенестов Фессалии было только проектом, по отношению к илотам выполнялось в продолжение всего периода борьбы между Спартой и Афинами. Несмотря на столько черт сходства между пенестами и илотами, в одном пункте есть крупное различие: первые подчинились сами, вторые были подчинены; одни заключили договор, прежде чем сдаться, другие получили его после поражения. Те гарантии, которых пенесты требовали для защиты своих интересов, илоты от-

части находили в тех законах и учреждениях, посредством которых управляли их победители.

Ликург, проводя свои законы с большой строгостью и последовательностью, подчинил их только одной мысли, которой они всецело проникнуты, — единству. Спартиат имеет свою семью, имеет наследство; но и все они, так сказать, представляют не что иное, как одну семью, одно общественное семейство, государство, и этот принцип как расширяет, так в свою очередь и суживает круг обязанностей илота. Каждый гражданин имеет право на различные предметы, принадлежащие общине, а поэтому илотом может воспользоваться любой член этой общины. Он находится в распоряжении всех, но государство сохраняет верховное право над всей общиной в целом. Государству по существу принадлежит и вся собственность, и самая семья, и, говоря по правде, спартиату предоставлено всем этим пользоваться лишь в той мере, в какой это признано соответствующим общему благу. Поэтому илоты не могут быть ни проданы за пределы страны, ни отпущены на волю их господами; как и пенесты, они являются прикрепленными к земле, возделывая ее за определенный оброк, и этот оброк государство фиксировало для них раз навсегда именно в таком размере, который казался достаточным для пропитания спартиата и тех, кто живет под одной кровлей с ним. Ни на йоту меньше, чем необходимо для его насущных потребностей, ни на йоту больше, так как это запрещает государственный интерес: государство, предоставляя спартиату досуг, желает видеть его бедным, чтобы ничто не отвлекало его от государственных дел и военных упражнений. Оброк был фиксирован в размере 82 медимнов (4 265 литров) зерна и соответствующего количества жидких продуктов; к этому, вероятно, надо прибавить различные сорта плодов. Уплатив все это в первую очередь, остальное илот мог оставить себе. Жизненные потребности спартиата обеспечены;

илот один будет подвергаться всем случайностям погоды, страдая от голода или получая все выгоды от урожайных годов и от успехов собственного труда. Покровительствуемые такими условиями, илоты накапливали себе некоторое богатство, и в более поздние времена многие из них, по-видимому, жили зажиточно. Когда Клеомен предложил илотам получить свободу из расчета 5 мин за человека, то 6 тысяч приняли это предложение; таким образом он извлек отсюда 500 талантов.

Следовательно, государство оказывает давление и на господина, и на раба, для того чтобы, с одной стороны, ограничить их свободу передвижения, а с другой — чтобы ограничить произвол господ в пределах, требуемых государственными интересами. Все эти меры, как и многие из тех, которые мы встретим в греческих республиках, были установлены не столько в интересах рабов, сколько в интересах граждан. Таким образом, илоты были подчинены без исключения всем строгостям этого условия во всем том, что не затрагивает интересов государства. И с этой точки зрения нет ничего вернее слов древнего писателя: «Нет народа, где бы раб не был большим рабом, а свободный человек — более свободным». «Илоты, — говорил Мирон, — должны нести труды самые позорные и наиболее бесчестящие. Их заставляют носить шляпу из кожи собаки и одеваться в шкуры животных; каждый год им полагают определенное число ударов, хотя бы они не совершили никакого проступка, чтобы они помнили, что они рабы; более того, если они переходят меру физической силы, которая прилична рабу, их наказывают смертью и на их хозяев накладывают штраф за то, что они не сумели сдержать их развития». К этим обычаям нужно прибавить, что им не только запрещались мужественные песни дорян и их воинственные пляски, но их спаивали, доводя до скотского состояния, чтобы непристойными песнями и беспорядочными дви-

жениями они внушили молодым людям отвращение к невоздержности и чувство собственного достоинства. Конечно, в этих указаниях явно видно преувеличение и насильственное толкование. Возможно, как думает Отфрид Мюллер, что этот мнимо позорный костюм был не столько ливреей рабства, сколько обычной одеждой деревенского жителя. Было бы печально думать о гнусных расчетах эфоров, — если таковые были, — расчетах, унижающих в илоте человеческий образ, чтобы преподать спартиатам урок уважения к самим себе. Может быть, они не столько умышленно спаивали, сколько пользовались случаем показать на примере людей, которых никакая узда не могла удерживать от их пороков, позорные последствия опьянения. Что же касается других фактов, если даже допустить, что они вымышлены, то нужно по крайней мере признать, что они соответствуют реальному положению илотов; ведь из свидетельств менее подозрительных, чем свидетельства Мирона, известно, с какой жестокостью обращались с ними. Для илотов не было нужды в ежегодном бичевании, о котором говорит данный историк, для того чтобы они помнили, что они были рабами; им не нужен был и особый костюм, чтобы отличаться от спартиата: все в них носило печать рабства, все противоречило тем идеям, в которых были воспитаны и выросли спартиаты. Отстраненный от труда в силу закона, народ Ликурга рос с чувством презрения к труду. Он презирал его в лице поэта, который пел о земледелии, с тем большим основанием он презирал тех, которые им непосредственно занимались, и это презрение легко переходило в оскорбление. Так между этими двумя этническими группами наметилась линия разделения, положенная завоеванием, тем более выглядевшая резкой и абсолютной, что общность жизни бедной и суровой должна была бы, казалось, со временем ее уничтожить.

Эта суровость, созданная спартанским законода-

тельством, была для Спарты, по-видимому, обязательной в силу ее положения. Требовалась вся дорийская энергия, чтобы поддерживать в этих условиях свою власть над поработенными народами. «Вы прибыли из тех городов, — говорил Брасид, обращаясь к пелопоннесцам, — где весьма малое число господствует над очень большим и обязано своей властью только победе». И эти слова были особенно справедливы по отношению к Спарте, перед лицом тех народов, которые признавали ее власть и законы.

В том распределении земель Лаконии, которое приписывается Ликургу и которое было установлено по крайней мере с тех пор, как Мессения была побеждена и соединена с исконными землями победителей, 9 тысяч наделов спартиатов и 30 тысяч наделов периэков были назначены такому же числу глав семейств; они показывают, что обе эти части населения относились друг к другу как 9 к 30, а именно от 35 до 36 тысяч первых и приблизительно 118 тысяч вторых. Таким образом, одни периэки были более чем в три раза многочисленнее спартиатов. Илоты тут совсем не принимались в расчет, но одна фраза у Геродота доказывает, что отношение там было еще более высокое. В битве при Платеях было 5 тысяч спартиатов и 35 тысяч илотов, 7 рабов около каждого господина. Но здесь были не все спартиаты, способные носить оружие, часть их оставалась для защиты своей территории, и Геродот в другом месте нам говорит, что их было приблизительно 8 тысяч. Кроме того, многие илоты были задержаны для обслуживания города или для работ на полях. Можно допустить для всей суммы обоих классов ту пропорцию, которую мы находим для сражавшихся при Платеях; мы получаем тогда на 8 тысяч спартиатов, способных носить оружие, 56 тысяч илотов того же возраста. Эти цифры позволяют установить общее количество населения в 31400 спартиатов и приблизительно 220 тысяч илотов.

Числа, полученные с помощью этой гипотезы, соответствуют при этом данным о производительности каждого надела. Мы видели, что илоты должны были вносить спартиатам оброк в 82 медимна зерна и соответствующего количества жидких продуктов; при этом я прибавил, что это количество, достаточное для прокормления 14 или 15 человек, должно было служить не только для спартиатов, но также и для илотов, занятых обслуживанием их. С другой стороны, мы знаем, что илот, по словам Тиртея, платил спартиату половину того, что производила земля:

Сколько земля нам дает, он половину вносил.

Таким образом, каждый надел давал 164 медимна зерна и соответствующее количество масла или вина, т. е. количество, достаточное для прокормления 29 человек при расчете $\frac{3}{4}$ хеникса на человека в день. Следовательно, 9 тысяч наделов могли прокормить 261 тысячу человек, т. е. число, очень мало превышающее общее число спартиатов и их илотов, как мы высчитали раньше.

Поэтому общее число илотов можно фиксировать приблизительно в 220 тысяч человек; прибавим к этому 120 тысяч периэков, и мы будем иметь 340 тысяч подчиненных лиц на 32 тысячи спартиатов. Спарта господствовала над населением, в десять раз превышавшим число ее собственных граждан. Она боролась против этой опасности, заменяя численность смелостью, и нет никакого сомнения, что ее уверенность в самой себе, ее нравственная энергия, а еще в большей степени престиж ее организации и силы вызывали у покоренных народов наряду с уважением и затаенный страх.

Всем известно, к каким ужасным средствам приходилось Спарте тайно прибегать ввиду необходимости охранять себя от этой опасности. Аристотель гово-

рит, что каждый год эфоры, вступая в исполнение своих обязанностей, объявляли войну илотам. Молодые люди, наиболее ловкие и смелые, вооружались кинжалами; рассыпавшись по стране, скрываясь днем в перелесках или пещерах, они вечером подсматривали за илотами вдоль дорог, убивая тех, которые попадались им под руку. Это называлось криптией.

Прежде всего человеческое чувство возмущается против такой гнусности: нельзя себе представить, чтобы целый народ был поставлен, так сказать, в состояние узаконенного вырезывания; чтобы ежегодно и совершенно открыто организовывалась охота на тех людей, которые затем будут регулярно уплачивать свои оброки. Отфрид Мюллер попытался дать несколько иное объяснение этому обычаю и на основании ряда мест у Платона постарался исправить текст Аристотеля, вероятно, плохо понятый Плутархом. Криптия является не чем иным, как одним из заданий и упражнений, возлагаемых на молодых спартиатов, преследовавшим двойную цель: приучить их к перенесению трудностей военных кампаний и организовать над илотами наблюдение, столь важное для государства. Однако это можно понять и из самого текста, взяв его почти в буквальном значении; он выиграет тогда в вероятности, не становясь от этого менее ужасным. Действительно, нужно отметить условия, связанные с этим обычаем. Илоты предупреждены, а молодые спартиаты ограничены точно определенным временем и местом. Только тот илот, который вечером рискнет появиться на дорогах, может быть убит. Это как бы оригинальный лаконский «закон о тушении огня» военного времени и упражнение для молодежи в умении устраивать засады. Если бы даже эта практика не имела никакой другой цели, она вполне соответствовала бы спартанским идеям, что немного илотской крови стоит пролить для того, чтобы дать выучку своим молодым воинам. Но если даже все это объяснить простым актом наблюде-

ния и надзора, то такая мера не является от этого менее кровавой. Эти молодые люди были вооружены; никакое постановление не ограничивает их власти, и вполне понятно, какое употребление делали они из своего оружия под влиянием своего воспитания, причувшего их к сражениям и к хитростям. Криптия, даже если она и не имеет такого жестокого характера, который ей приписывает Плутарх, все же не была простой и безобидной учебой, какую хотел установить Платон в своих «Законах». В конце концов, независимо от этого обычая, под прикрытием которого тем легче могло быть проведено массовое избиение, что оно не было с ним необходимо связано, Спарта, как всем известно, не раз прибегала к таким отчаянным мерам, когда общественная безопасность, казалось ей, находилась под угрозой. «Всегда, — говорит Фукидид, — у лакедемонян большинство их мероприятий направлено было к ограждению себя от илотов»; и он приводит следующий пример: «они объявили, чтобы были выделены все те илоты, которые, по их мнению, оказали лакедемонянам наибольшие услуги в военном деле, будто бы для того, чтобы даровать им свободу. Этим лакедемоняне испытывали илотов, полагая, что все, считающиеся наиболее достойными освобождения, скорее всего способны осмелиться обратиться против них. Таким образом, отделено было в первую очередь около двух тысяч человек. С венками на головах, как бы уже освобожденные, эти илоты обходили храмы, но вскоре после того исчезли, и никто не знал, какой конец постиг каждого из них».

4

При помощи таких репрессий Спарта поддерживала свою деспотию, но не без сильных потрясений. В течение того времени, которое разделяет две Мессенские войны, илоты принимали участие в заговоре

так называемых парфениев, так же как и в заговоре Павсания после второй персидской войны. Мессенцы, после 24 лет войны покоренные спартанцами и особенно увеличившие собой количество илотов, не раз брались за оружие, чтобы добыть себе свободу; одновременно это была борьба и за родину. Это было уже третье поколение после завоевания, и они одержали бы победу, если бы все воодушевление их высокого героизма имело какое-нибудь значение в сравнении со слепой дисциплиной и непоколебимой решительностью их властителей. Мессенцы возобновили эти попытки перед нашествием Ксеркса, а также после него, воспользовавшись землетрясением, которое едва не погребло Спарту под обломками скал Тайгета; затем они возобновляли их не раз: во время войны Спарты с Афинами, когда афинский военачальник захватил Пилос, во время войны Спарты с Фивами, когда Эпаминонд собрал остатки этого народа вокруг знамени Аристомена и создал для них подобие прежней родины в новом городе, который напоминал им о ней хотя бы отчасти своим именем — Мессена. С того времени часть илотов вновь становится отдельным народом, среди остальной же части волнения не прекращались никогда, особенно в связи с тем, что в лице новых мессенцев, неизменных врагов их прежних господ, они находили иногда помощь и поддержку и всегда по крайней мере убежище.

Среди всех этих опасностей Спарта принимала против илотов также и другие меры, менее кровавые, но не менее действительные. Она их разделяла, она их удаляла, иногда под почетными предложениями, и Фукидид дает этому доказательство в той главе, где он говорит об избиении двух тысяч освобожденных. Когда занятие Пилоса пробудило надежды мессенцев и в Мессении вновь забродила старая закваска восстаний, семьсот илотов были повышены до звания гоплитов и даны Брасиду; он воспользовался ими для завоевания

фракийских городов. Триста или четыреста других были посланы позднее на помощь Сиракузам; и даже когда Эпаминонд грозил спартам войной почти у порога их жилищ, спартанцы объединились, по словам Диодора, с тысячью только что отпущенных на волю илотов. По свидетельству Ксенофонта, была дана свобода тем, кто предоставил себя на защиту государству, и сразу набралось таких более шести тысяч; правда, спартанцы тотчас же испугались их участия в битве, и, пожалуй, им пришлось бы сильно раскаиваться, если бы весьма кстати не пришли из Коринфа, Эпидамна и Пеллен менее подозрительные вспомогательные войска.

Зачисление в гоплиты, говорит Отфрид Мюллер, равнозначно полному освобождению. Скорее оно было простым званием, на которое смотрели как на возможность получить эту свободу, и, кажется, таких случаев было немало. Право освобождения, запрещенное частным лицам, применялось государством, верховным властью. Единственное известное нам место знакомит нас с его формами; и странное дело: это тот самый случай, в котором рассказывается о торжественном освобождении, закончившемся смертью. Но следов подобных освобождений мы находим много в истории. Илоты фигурируют там под различными названиями, которые указывают то на их общественное положение, то на те исключительные условия, в которых они находились. Эпейнактами («наложниками») называли тех илотов, которые получили свободу за свой брак с вдовами спартанцев; такого рода браки, можно думать, имели место лишь однажды и были отмечены печатью порицания. Эриктеры («временно обязанные») и деспосионавты («господские матросы») обязаны были еще оказывать некоторые услуги своим господам в армии или во флоте. Эти названия имеют точное значение и узкий смысл. Другие, наоборот, употребляются в широком и общем значении. Имена «афеты» (отпущен-

ные) или «адеспоты» (бесхозяйные), по-видимому, не указывают ничего другого, кроме состояния освобождения и отпуска на волю, а наименование «неодамоды», можно думать, является политическим наименованием всего этого класса «новых жителей», приобщенных к дорянам.

Такие освобождения, редкие вначале, учащаются в более поздние времена. Создается представление, что Спарта, которой угрожали соперничавшие с ней государства, почувствовала необходимость привлечь на свою сторону до известной степени те слои населения, от которых зависело ее спасение. Только со времени второй половины Пелопоннесской войны встает вопрос о неодамодах, и вскоре они получают заметное место в Лаконии. Таким образом, в Спарте оформлялось новое сословие; рожденное из труда, оно могло бы вернуть ей изобилие и силу. Но Спарта всегда держалась обособленно. Освободив илотов от их рабского положения, она не подняла их до положения граждан; далекая от того, чтобы оживить себя из этого источника, она продолжала позволять, чтобы постепенно уменьшалось то количество людей, в жилах которых текла дорийская кровь.

Основная причина падения Спарты скрывалась по существу в самой ее организации.

Вводя свои установления, Ликург хотел создать тело, полное сил; и эта сила ему представлялась в образе вооруженного воина. Он строил свое государство, имея перед глазами этот идеал. Семья для него — это человек, готовый к войне; народ — это армия; Спарта — лагерь. Поэтому только военные упражнения — и ни малейшего труда. «Почему, — спрашивали у Алкимена, — спартанцы возделывают свои земли руками илотов, а не сами?» «Потому, — ответил он, — что мы приобрели эти земли не работой на ней, а работой над собой». Но этот военный организм, который законодатель думал сделать еще более сильным благодаря та-

кой работе над собой, как раз и был лишен основного принципа жизни: труд создает жизнь общества, а как раз труд и был изгнан из его недр. Таким образом, Спарта должна была жить чужими соками. И действительно, она жила потом илотов; благодаря своей невероятной энергии она в общем сумела удержать их в подчинении. Но этого было недостаточно. Зародыш смерти, который она носила в себе, развивался в самом ходе жизни и по мере того как все более и более переживали себя законы Ликурга. Да будет мне позволено прибавить несколько слов к этому законному удовлетворению презиравшегося труда: это еще один из результатов рабства.

5

Чтобы обеспечить своим законам длительное существование, Ликург пожелал оградить их от всяких изменений, даже от усовершенствований: будучи неизменными, они должны были оставаться вечными. Но для того чтобы сделать их неизменными, он должен был точно фиксировать такой легко видоизменяющийся элемент государственной жизни, как народонаселение; ведь его конституция была своего рода броней, созданной для народа в условиях определенного времени; если же народ становился менее мощным, она могла его раздавить; если он рос, она могла лопнуть. Сохранять неизменным число девять тысяч семейств — такова была цель, которую должен был поставить перед собой законодатель; нужно было скомбинировать целый ряд мер, чтобы препятствовать увеличению или сокращению этого числа. Таким образом, наделы, неизменные по своей природе, должны были переходить по старшинству, исключая женщин; и эти наделы, точно и навсегда установленные, государство стремилось сохранить всегда занятыми, прикрепляя к тем из них, где не было наследников, детей, у которых не было

наследства. Этим законодатель думал устранить все возможности для сокращения численности населения. При помощи другой меры он хотел предупредить обратную тенденцию. Для того чтобы участвовать в государственной жизни, недостаточно было быть дорянином, нужно было иметь место за государственным столом; и законодатель, распределяя между семьями землю и илотов, поставил илотам в обязанность делать взносы с этих участков. Так как труд был в Спарте запрещен, то обладание наделом было единственным законным источником доходов, и необходимым условием для участия в государственной жизни была уплата взносов для общественных обедов. Отец вел туда своих сыновей. Сын-наследник с трудом мог оказывать поддержку своим братьям, и если государство не заходило средств предоставить в распоряжение этих побочных ветвей свободного надела, то они теряли свое место за общим столом и свои права в государстве. Они опускались ступенью ниже, они становились гипомейонами, «пониженными» в своем достоинстве. Заставить их держаться в пределах необходимого, исключить все излишнее — такова была мысль Ликурга; казалось, что такая задача должна быть неминуемо выполнена, но вот что получилось из этого.

С одной стороны, стали обходить, с другой — открыто нарушать закон, который устанавливал передачу наследства, и эти наделы в конце концов собрались в руках нескольких человек, главным образом женщин, допущенных к наследованию. Кроме того, оставался в силе закон об общественных обедах, качество которых, по-видимому, под влиянием богатства повысилось. Труд все еще считался позором, и семьи, лишенные наследства, впадали в бедность; они переставали быть гражданами. Столь неудачными оказались меры к сохранению установленного порядка; задуманный порядок все более и более нарушался. Без всяких резко выраженных изменений, в силу самих обстоятельств

жизни, спартанская демократия превратилась в олигархию, народ становился все малочисленнее, и равенство граждан стало привилегией немногих сравнительно с массой приходящих в упадок жителей. Это изменение в отношениях между спартанцами повлекло за собой искажение всех основ конституции. Между классом поработанных и классом господствующих заняли на новых ступенях место люди, получившие свободу от рабства (неодамоды), и люди, отстраненные от управления (гипомейоны). Собственники мало беспокоились о том, что в их руках сосредоточились все государственные права, не замечая того, что, мечтая об усилении своего могущества, они теряли и ту силу, ту мощь, которой они уже владели, и что, присоединяя разорившихся к низшим классам, они увеличивали число своих врагов. Ведь в самом деле, вольноотпущенные не так часто вспоминали о том положении, из которого их извлекли, как «пониженные» — о тех правах, которых их лишили. Потеряв их по рождению или по своему положению, все эти «меньшие», неодамоды, периэки, илоты были объединены между собой одним и тем же чувством зависти и ненависти, которое в один прекрасный день вызвало к жизни заговор Кинадона. «Это был, — говорит Ксенофонт, — молодой человек крепкого телосложения, сильный духом, но который не был в числе равных. Тот, кто донес на него, спрошенный эфорами о средствах, которыми хотели воспользоваться заговорщики, сказал, что Кинадон, отведя его на край городской площади, велел ему сосчитать, сколько было на ней спартиатов; их оказалось там, считая в том числе царя, эфоров и геронтов, приблизительно сорок человек. «На эти сорок, — сказал Кинадон, — смотри как на наших врагов; а все остальные (а было их там до четырехтысяч) — это все наши союзники». Он прибавил, что на улицах он мог бы указать ему то одного, то двух врагов, а все остальные — их союзники; в деревнях — то же отно-

шение: враг только один, хозяин; а на каждом наделе много союзников». Эфоры спросили, скольких заговорщиков мог объединить этот проект? «Для организации заговора, — ответил он, — Кинадон говорил, что имеет немногих, наиболее испытанных, для выполнения же его они столкнутся со всеми илотами, неодамодами, меньшими гражданами и периэками. Везде, где среди них он начинает говорить о спартиатах, никто не может скрыть, что с радостью готов был бы съесть их живыми». Заговор не удался; Кинадон был арестован, должен был признаться в своем преступлении и выдать своих соучастников; и когда его спросили, какую цель он преследовал своим заговором, он ответил: «Не быть в числе меньших».

Олигархия одержала победу, но при условии до конца подчиниться закону прогрессивного уменьшения, который сделал ее тем, чем она была сейчас, и который в один прекрасный день должен был ее уничтожить. И можно проследить, с какой устрашающей стремительностью шло это развитие. В самом начале было приблизительно 10 тысяч семейств, во времена Ликурга осталось уже 9 тысяч — уменьшение на одну десятую часть приблизительно за 300 или 400 лет; во времена Геродота их было уже 8 тысяч — уменьшение на одну девятую часть приблизительно за такой же период; столетие спустя, во времена Аристотеля, число их понижается до тысячи — уменьшение на семь восьмых за сто лет; а во времена Агиса было всего не больше 100 собственников — уменьшение на девять десятых. Напрасно Агис хотел решительными мерами бороться с этим злом, Подтачивавшим самый корень государства: создать объединения из новых семей, которые он хотел ввести в жизнь своей гражданской общины, и по-новому распределить наделы — две меры, при помощи которых он хотел если не обеспечить будущее своей страны, то по крайней мере позволить Спарте попытаться возродить свое прошлое. Эти мысли о ре-

организации были похоронены в их зародыше, а реформа, которую, следуя его примеру, провел Клеомен, не пережила своего творца. Были восстановлены старые законы, т. е. те злоупотребления, которые разрушали гражданскую общину. С этого момента можно было уже предвидеть конец, можно было уже считать дни. Спарта неуклонно приближалась к той могиле, на которой уже давно Аристотель начертал для нее следующие слова: «Она погибла из-за недостатка людей».

Я уже указал, почему возник этот недостаток в людях.

Эту угасшую этническую группу сменила новая гражданская община, образовавшаяся из периэков и илотов, освобожденных тираном Набисом.

6

Из всех дорических стран Крит является после Спарты той страной, где национальные учреждения удержались наиболее долго, так как законы, приписываемые Миносу, независимо от того, был ли или не был Минос дорянином, являются, без сомнения, законами дорическими.

В городах Крита, так же как и в Спарте, исполнение общественных обязанностей заставило возложить труд на плечи иноземцев, и государство держалось на порабощении побежденных. Этот основной принцип, получивший благодаря аналогичным условиям завоевания такое же применение, как и в Спарте, разделяет порабощенных также на две группы: во-первых, на периэков, во-вторых, на крепостных. Эти последние, соответствуя илотам Спарты, выполняли те же обязанности, но более точно определенные. Они образовывали две различные группы, одни оставались государственными рабами под именем мнойтов, другие же под именем афамиотов, или кларотов, стали рабами частных лиц.

Мнойты, происходит ли их имя от Миноса или оно имеет своим корнем слово, обозначающее завоевание, сами разделялись на тех, кто выполнял служебные обязанности для общины, и тех, которые работали на земле. Ведь всякий город-государство имел свои земли и стада, которые, находясь под надзором мнойтов, составляли основной фонд государственных доходов. С другой стороны, образ жизни дорической общины требовал пребывания мнойтов в среде дорян, частью для того, чтобы обслуживать их в местах собраний, например, при общественных обедах, частью чтобы выполнять какие-либо обязанности, в которых община была заинтересована вся целиком: вероятно, на них была возложена забота о погребении.

Таким образом, класс мнойтов объединяет под одним и тем же названием два различных вида рабов; наоборот, два названия рабов частных — афамиоты и клароты — обозначают один и тот же вид службы. Эти рабы возделывали земли частных лиц; они были названы афамиотами от одного критского слова, которое обозначает землю и возделывание, и кларотами, вероятно, от слова «клерос», обозначающего надел каждого гражданина.

На каких правах возделывали они землю и каковы были их обязательства по отношению к своим господам? И здесь также мы найдем различие между их положением и положением илотов; это различие отчасти зависит от характера, которым отличаются законы Крита от законов Спарты.

Дорическая община на Крите, основанная на тех же принципах, как и спартанская, имела другую организацию. Здесь государство не считало себя единственным собственником, оставляющим для граждан ограниченное право пользования собственностью в пределах личного потребления. На Крите гражданин — хозяин своего имени. Он им распоряжается как хочет; он его эксплуатирует по собственному желанию, своими соб-

ственными рабами. Единственно, что он обязан давать государству, — это десятую часть своих доходов, которая идет на общественные обеды. Этот взнос является единственным налогом, которым была обложена собственность. Во всех других отношениях она является свободной. Нетрудно понять, что раб тем меньше мог рассчитывать на защиту, чем меньше была ограничена власть его господина. Но, может быть, все-таки он не был полностью предоставлен произволу господина. Мы видим, что в городе Ликте рабы должны были вносить для общественных обедов эгинский статер с человека; если они могли платить, значит, они владели собственностью. Не пользуясь преимуществами илотов, они, с другой стороны, не испытывали крайней нужды, столь знакомой обыкновенным рабам. Рабы, занятые земледелием, имели сравнительно с илотами еще одно отличие, которое вместе с дорическим происхождением служило для них достаточной компенсацией, — это возможность оставаться на полевых работах вдали от своего хозяина. Служба при доме со всеми неприятностями, которые происходили при столкновении рабов со свободными, падала обычно на иностранцев (обязанности по обслуживанию государства исключались для них), которых дорянин мог себе купить, так как он не был совершенно лишен нужных для этого средств. А торговля должна была приводить много рабов на остров Крит, это убежище морских разбойников. Рабов здесь называли именем, которое ясно указывало на их происхождение от покупки: хрисонетами — «купленными».

Народы, стоявшие на более высокой ступени развития, в условиях, созданных завоеванием, сохранили больше аналогии с периэками Спарты; нося имя, которое точно указывало на их зависимость, они имели те же обязанности и те же права. Недопущенные в учреждения победителей, в их гимназии, сисситии, собрания, они сохраняли свои обычаи; лишенные права

сражаться, они работали. Им были оставлены земли, которые они возделывали, уплачивая подать, и, как периэки в Спарте, они занимались, без сомнения с немалой для себя выгодой, ремеслами и торговлей. Их города, поставленные вначале в положение подчиненных ради соблюдения интересов дорических городов, с течением времени сравнивались с ними и стали бы даже выше их, если бы доряне, забыв о своих учреждениях и предрассудках, не стали подражать им в занятиях прикладными искусствами. Можно найти договоры, касающиеся торговли и земледелия, между городами, некогда связанными отношениями подчинения и господства. Но они не сумели удержаться на этом пути, и весь остров, без различия народностей, впал в анархию, которая отдала его во власть морских разбойников до появления римлян.

Были ли заимствованы эти формы порабощения Критом у Спарты или же Спарта вывезла их с Крита? В древности держались и того и другого мнения. Но, вернее всего, тут не было заимствования ни с той, ни с другой стороны, так как мы находим их и в Спарте, и на Крите, и везде, где доряне свободно утвердились, — как в Пелопоннесе, так и вне его.

В Мессении доряне не могли взять верх. Укрепившись сначала в одном только городе, они в конце концов смешались с местным населением. Они не сумели взять власть в свои руки; на них было наложено ярмо порабощения, то ярмо, которое создало пословицу: «Большой раб, чем мессенец». Наоборот, в Аргосе доряне господствовали, и их господство, хотя и ослабленное, представляет еще подобие такого же господства в Спарте. Ниже класса граждан, в который была включена также часть местных жителей, образовавшая наряду с тремя дорическими трибами свою четвертую, мы встречаем периэков и илотов. Периэков мы узнаем в лице орнеаров; их положение разделяли, смешавшись с кинуриями и некоторыми другими окрестными на-

родностями, ставшие также данниками жители Орней, имя которых было распространено на всех; илотов мы видим в лице гимнетов, которые получили такое название потому, что, независимо от своих земледельческих работ, подобно периэкам, составляли легковоруженную часть войска. Но дорическое племя в Аргосе не сумело удержать в целостности этой организации, возникшей в результате завоевания. Восставшие илоты в один прекрасный день оказались хозяевами города, воспользовавшись той несчастной войной против Спарты, в которой погибло 6 тысяч граждан; изгнанные при следующем поколении, они овладели Тиринфом и долго держали под угрозой судьбу освобожденного Аргоса. После такого потрясения периэки могли бы оказаться для дорян не менее опасными, если бы по отношению к ним народ не принял решительных мер. Города, которые сохранились за ними, — Лисы, Орнеи, Мидея — были разрушены, и их жителям, переселенным в Аргос и пополнившим поредевшие ряды дорян, были предоставлены гражданские права. Это решение, которое противоречило прежним дорическим установлениям, открыло для государства новую эру процветания и силы.

Коринф, который находился во главе Пелопоннеса, как по своему стратегическому положению, так и по своему значению в качестве торгового города — центра тогдашнего греческого мира, был, несмотря на особенности своего этнического состава, более коммерческим, чем военным, городом. В связи с создавшимися условиями его дорические учреждения подвергались еще более быстрому видоизменению. Тем не менее наряду с наличием огромного числа рабов, которые были необходимы при сложившихся условиях жизни, он имел также своих периэков и своих илотов: илотов мы можем видеть в лице кинофилов, рабов, живших в деревне; а периэков, может быть, в лице жителей тех пяти округов, между которыми была по-

делена территория, — Герей, Пирей, Киносура, Триподиск и Мегара (Мегара, хотя и была дорическим городом, была подчинена Коринфу еще до начала олимпиад).

В конце концов характерным для дорического государства остается отношение между хозяином и илотом. Периэки для дорян не являлись абсолютно необходимыми. Поэтому в других государствах меньшего масштаба мы видим обыкновенно только население, соответствующее илотам, т. е. то, на которое возложен труд, обслуживающий победителей. Так, наряду с дорями, уже смешавшимися с местными жителями, так же как в Аргосе и в той же пропорции, в Эпидамне можно встретить землеробов, носящих имя кониподов — «людей с запыленными ногами»; в Сикионе — коринефоров, или катонакофоров, имена которых указывают на их манеру сражаться и на их деревенский костюм и тем самым уподобляют их илотам, с которыми сближали их уже древние; в Геракле Трахинской — киликранов; в Дельфах — кравгаллидов, которые для аристократии, державшей в своих руках храм с его оракулом, возделывали соседнюю с Киррой равнину.

Те же порядки в более или менее полной форме встречаются в колониях. Колонии в действительности не могли представлять тех же самых отношений. Если некоторые колонии эмигрантов, например критских, крупные и сильные, состоявшие из племен, которые любили всегда находиться в движении, основались на побережьях, где они высаживались, то другие, возникшие благодаря коммерческой деятельности или в связи с другими потребностями, были счастливы, если их принимали там в качестве гостей. Но все-таки во многих случаях встречаются аналогичные подразделения. Гераклея Понтийская, колония Мегары, соединилась с местными народами. Мариандины признали свое подчинение власти дорян, как пенесты в Фесса-

лии, под твердым условием: не быть продаваемыми за пределы страны; отсюда древние писатели вывели заключение, может быть, слишком смелое, что мариандинов можно было продавать внутри страны. По-видимому, они скорее были данниками, чем арендаторами той земли, которая была им оставлена, и их взносы рассматривались не как оброк, выплачиваемый их хозяевам, но как приношение их правителям. Отсюда их наименование: дорофоры — «приносящие дары».

Другая колония Мегары — Византия — держала в такой же зависимости вифинцев на европейском берегу, и, подобно мариандинам Гераклеи, их также сравнивали с илотами. В Эпидамне, колонии Коркиры, на общественных рабов было возложено занятие ремеслами. В Сиракузах под различными пластами переселенцев, которые приходили из той же метрополии, чтобы стать ядром господствующей части населения, можно было найти местных жителей, поработанных под именем килликирийцев, или калликарийцев. Аполлония, на берегу Ионического залива, и Фера указываются Аристотелем как города, где свободные граждане властвуют над массой рабов, а Кирена, колония Феры, подобно Сиракузам, демонстрирует наряду с остатками многих последовательных колонизаций, как побежденное племя близко связывалось с семьями первых основателей, их первых и основных владык: это периэки — неопределенное название, даваемое земледельцам, зависящим от лиц дорического происхождения, которые в конце концов были включены вместе с жителями Феры в одну из трех триб, установленных Демонаксом.

7

Мы уже видели, что доряне не были единственными, которые хотели закрепить таким образом результаты своей победы. Этолийцы, их спутники и со-

товарищи по трибам при завоевании Пелопоннеса, по-видимому, поставили в такое же зависимое положение народности, жившие на территории Элиды, где они сами основались, а еще раньше послужили им в этом примером фессалийцы. Кроме того, я уже говорил, что племена, поработанные в местах своего прежнего жительства, делались сами властителями в тех местах, куда они переселялись. Так, эоляне из Арне стали властителями Беотии; равным образом ахеяне, покоренные дорянами в Лаконии и Арголиде и прикрепленные к сельским работам, образовали свои города в Эгиалее, в которых они частично и утвердились, выселив в деревню побежденных ионян. Ионяне в Аттике представляли то же зрелище. В недрах этого древнего племени, которое всегда хвалилось тем, что оно никогда не меняло своего местожительства, выдвинулись роды, без сомнения, иноземные и обозначаемые именем Эвпатридов. Они занимали город, откуда они властвовали над населением, рассеянным по местечкам. Расчленение, столь явно проведенное при реорганизации фил, приписываемой Иону, проявляется также и в установлении классов при Тезее, который во главе поставил Эвпатридов, а ниже их — население земледельческое и ремесленное. Те же явления, которые мы видели в колониях дорических, повторяются, может быть, во многих колониях эолийских и ионийских. В Малой Азии маленькие общины, выросшие на континенте за счет местного населения, не раз должны были выбирать средний путь между полным изгнанием и полным поглощением первых владельцев этих областей. Так бывало с народами Великой Греции, какого бы происхождения они ни были.

Такой образ действий, который главным образом вошел в обычай при организации дорических государств, не был свойствен исключительно этому народу. Он не был даже особенностью греческого племени. Народы, находившиеся с греками лишь в очень отда-

ленном родстве, применяли тот же образ действий. Македоняне, как и фессалийцы, имели своих пенес-тов; и по соседству с ними, среди народов Иллирии, жители Ардии владели 300 тысячами проспелатов, — это число, может быть, как обычно, несколько преувеличено Афинеем. По его словам — и тут уж налицо несомненное преувеличение, — каждый из дардан лично имел по тысяче и больше крепостных, которыми он пользовался как работниками в мирное время и как солдатами во время войны.

Таким образом, это был почти повсеместный обычай как новых народов, появившихся в Греции, так и главнейших племен, которые ее окружали. Повсюду победители властно правили побежденными. На двух концах того мира, где жило первичное греческое племя, а именно в Италии и Малой Азии, два самых древних в его истории названия народов остались связанными с порабощением их в качестве рабов: название пеласгов у италийцев и лелегов у карийцев.

Столь общее явление вело, без сомнения, свое происхождение от самых отдаленных времен греческого общества; но удивительная распространенность его представляет нечто новое. Поэмы Гомера показывали нам различные греческие народности, объединившиеся под стенами Трои; они представляли как бы единое тело некоего племени, хотя и не имевшего для своего обозначения отдельного имени. В то время когда жил поэт, это имя имелось, но, по-видимому, чувство национального единства переставало уже ощущаться. Греческие народности, осевшие одна около другой на троянском побережье — так, как они жили у себя на родине, — подвергались различным потрясениям и смешались в этом почти всеобщем движении. Они не были и не чувствовали себя едиными. Перегородки между отдельными государствами, низвергнутые завоеваниями, воздвигались вновь еще более крепкими: в каждом из этих раздробленных государств вы найдете

сверх всего прочего деление на победителей и побежденных, на рабов и господ. Таков был результат утверждения фессалийцев и дорян, такое зрелище представляла тогдашняя Греция, Мессения, Лакония, Арголида, Коринф, Сикион, Ахайя, Элида, Аркадия, наконец, весь Пелопоннес, наиболее значительные части Эллады, Аттика, Беотия, Фессалия, не говоря уже о колониях различного происхождения, — все они показывают нам население, разделенное на господствующих и порабощенных, создание совершенно обособленной военной организации, переложившей труд на плечи безоружной массы, которую они презирали. «Моим копьем, — говорил в одной древней песне критский поэт Гибриас, — я пашу землю, я жну, я собираю виноград».

Сделало ли все это Грецию действительно очагом мировой цивилизации? Какую выгоду представляло это разделение для развития земледелия и ремесел? Ощущался ли тогда недостаток рабочих рук в Фессалии? Представляли ли собой пустыню Арголида и Лакония в те дни, когда они были свободны? Те города, где царствовали герои Гомера, имели ли они менее блеска? Рабство внесло сюда свое всеуравнивающее принижение, и потомки этих благородных Племен, соратников Ахиллеса, Менелая и Агамемнона, стали пенестами и илотами. Повсюду порабощенные народы остановились в своем развитии, народы-завоеватели не шли дальше военных привычек; одни опускались под гнетом труда, другие ожесточались и грубели под влиянием раздражающего их безделья; одни подвергались гнету, другие сами его применяли. Но труд восстановил свои права. Трудящиеся классы, поставленные сначала в положение крепостных и лишенные гражданских прав, поднялись против аристократии частью сами, своими силами, частью под руководством какого-либо тирана, который воплощал в себе их силу и если не поднимал их до высокого положения «благородных»,

то по крайней мере этих «благородных» понижал до их уровня. В Коринфе, где доряне уже с ранних времен занимались коммерческой деятельностью, Кипселид Периандр посылал граждан работать на полях. В Сикионе Клисфен, потомок повара по имени Ортагор, возвеличил свою трибу, местную трибу эгиалеев, поставив ее на первое место в государстве под именем архелаев — «народоправов», а трибам дорийским дал позорные имена гиатов, онеатов и хореатов (свинопасов, погонщиков ослов и мужланов), имена, которые показывают, быть может, такое же изменение их положения, которое произошло и в Коринфе. Другие города предупредили такие перевороты рядом благоразумных уступок. Аргос, просветленный тяжкими испытаниями, открыл свое лоно для поработенных народностей, без которых он бы погиб; вместе с трудом вернулись к нему сила и богатство. Ахейские города Диме, Патры, Эгиона закончили тем, что впитали в себя пригороды, над которыми они властвовали; ровным образом и в Аркадии подавленные в своей изолированности народности объединились в могущественные республики. Мантиней, Мегapolis под покровительством Афин и Фив (тех самых Фив, в которых некогда ревнивая олигархия не допускала к власти тех, кто в течение десяти лет не воздержался от коммерческой деятельности; тех Афин, знатные фамилии которых удерживали за собой все привилегии царского достоинства) допустили низшие классы к участию в управлении, в одном случае после известных потрясений, в другом — в результате медленного, но верного прогресса. Афины были всегда как бы очагом демократии; они помогали укрепить ее там, где она удержалась, они защищали ее повсюду, где ей что-либо угрожало. На этом основании они имели друзей в Фессалии и в остальной части северной Греции, как и в Пелопоннесе. Спарта, которая всегда боролась против этих тенденций даже у других и имела успех в борьбе с ти-

ранами, была менее счастлива в борьбе с этим народным движением и не могла помешать ему проникнуть в самое сердце своего подвластного мира. Мессения разбила свои оковы и, получив назад свою свободу, ничего не потеряла от своей ненависти к Спарте; города Лаконии объединились в Ахейский союз. Только город Ликурга ни в чем не уступил: он замкнулся в своем одиночестве и зачах в своей надменности.

Но во всех этих республиках демократические слои общества, освобождаясь от рабства, вовсе не думали уничтожить самое рабство. Оно оставалось в недрах самых демократических городов-государств; количество рабов становилось тем более многочисленным, чем большего числа рук требовали производство и торговля, чем большего количества услуг требовало растущее богатство. Государства с радостью смотрели на этот рост рабов, видя в нем признаки развития производства и роста богатства своей общины; да и слои демократического населения сначала смотрели на это явление без недоверия, так как их политические права от этого не несли никакого ущерба. Что же стало с трудом в таких исключительных условиях и каков был результат всего этого для класса свободных граждан и для класса рабов? Этот вопрос я и предполагаю разобрать более подробно.

Глава третья

СВОБОДНЫЙ ТРУД В ГРЕЦИИ И В ЧАСТНОСТИ В АФИНАХ

1

Труд еще в героические времена пользовался почетом и в деревенской жизни, где хозяин трудился вместе со своими рабами, и в занятиях различными промыслами — вследствие высокой цены на его произведения и благодаря небольшому количеству рабочих рук. Этот труд переставал пользоваться почетом, по мере того как овладение производством делалось все более общедоступным, а у народов-победителей все более и более развивались воинственные настроения и аристократические наклонности. Если труд не был уделом только рабов, то во всяком случае он уже не выходил за пределы низших классов; но там по крайней мере он был свободным, и прежде всего, в силу сложившихся обстоятельств, он должен был возвысить эти презируемые семьи, так как в нем выражалось их участие в общественной жизни.

Среди городов-государств, которые выросли и окрепли в этих новых условиях, первое место принадлежит Афинам, как Спарте принадлежит первое место среди исключительно военных городов. Уже очень рано

труд приобрел здесь вполне обеспеченное место. Государственное устройство, приписываемое Тезею, удерживая полностью древнее деление жителей Аттики на четыре трибы, устанавливает среди граждан три класса: эвпатриды, геоморы и демиурги; эвпатриды — это благородные, в силу условий своего рождения или завоевания державшие в своих руках власть, а может быть, также и землю; геоморы — люди, связанные с земледелием; демиурги — прикрепленные к производству. Эта конституция, которая поставила класс благородных над классами трудящихся города и деревни и на плечи последних возложила двойную тяготу социальной жизни, конечно, была очень аристократической. Но если она ставила труд на более низкую ступень, она все-таки не отказывала ему в правах гражданства; и, преобразовывая положение трудящихся, находившихся прежде в четырех трибах, конституция гарантировала им силу, которая должна была дать им возможность развиваться даже в этих тяжелых условиях. С этой точки зрения можно рассматривать Тезея как отца демократии. Он дал народу гражданскую свободу, первое основание для свободы политической, и конституция Тезея, далекая от того, чтобы установить непререкаемые формы афинского управления, положила первые основы для его развития. Аристократия, ставшая более сильной благодаря своему объединению, одержала верх над своими царями и кончила тем, что присвоила себе их привилегии. Но и простой народ, подвергшийся в свою очередь притеснениям, нашел в своей организации средства для сопротивления. Если он допустил неудачу попытки Киллона, плохо поддержанной иноземной тиранией, то он не позволил знати использовать до конца свою победу. Осквернение святынь, которое положило несмыслимое пятно на эту победу, дало возможность подготовиться путем изгнания самых знатных фамилий пришествию демократии с архонтом Солоном во главе.

Когда Солон был призван, чтобы реорганизовать государство, он нашел его принесенным в жертву всем тем беспорядкам, которые влечет за собою вырождение аристократии: уменьшение количества знатных, развитие классов трудящихся в земледелии, в производстве и особенно в торговле далеко за те пределы, которые наметил им законодатель. Знать, — чьи привилегии увеличивались вместе с уменьшением числа ее членов, — скупая земли, обработку которых она предоставляла народу только за известный оброк, грозила самой свободой вследствие связанного с этим роста бедности и ростовщической задолженности. Классы трудящихся тем более протестовали против этих тенденций, что они видели свое численное превосходство и сознавали свое большое значение для блага и процветания государства. Нужно было ввести порядок в этот хаос, поставить всякую вещь на свое место, указать свободное и в целом закономерное применение тех сил, которые должны будут соревноваться в развитии демократии. Такова цель, которую поставил себе Солон.

Тезей дал место труду в социальном устройстве афинского государства, Солон учел его при своей реорганизации. Трибы были удержаны, принцип деления изменен. Непереходимая грань, которая была установлена между знатью и остальным народом, между начальствующими и подчиненными, безусловное право рождения — все это уступило место разделению, где основным признаком было богатство и которое должно было изменяться вместе с изменением богатства. Законодатель предоставляет всем то, что требует только патриотизма и справедливости, сохраняя исключительно за богатыми то, что сверх всего этого требовало и свободного времени. Так, феты, или наемные рабочие, т. е. чернорабочие и ремесленники, те, которые вследствие бедности, говорит Поллукс, выполняли рабский труд за плату, были организованы в

четвертый класс, который принимал участие в голосованиях и даже в законодательстве на общих собраниях и в публичных судах. Если кто-нибудь из них поднимался на одну ступень выше по своему богатству, он мог принимать участие в администрации и магистратуре и отличался от самых богатых только тем, что в меньшей степени привлекался к выполнению государственных обязанностей. Труд, совершенно перестав быть причиной лишения власти, стал средством достижения ее; он был как бы общей связующей нитью для всех сословий. В особенности для бедных классов труд становился основанием похвального соревнования, а для государства — гарантией порядка и внутреннего мира. Солон всячески способствовал распространению труда, осудив безделье. Закон повелевал, чтобы каждый гражданин знал какое-либо ремесло; он требовал, чтобы отец научил хотя бы одному ремеслу своих детей, и, если он не выполнил этой обязанности, закон лишал его поддержки со стороны детей, которой он имел право ожидать от них в старости.

Труд служил для афинян не только законным средством достигнуть власти в государстве, он был также основой внешней силы афинян. Фемистокл, создатель их флота, хотел основать его на твердом фундаменте трудолюбия и деятельности народа: «В то время, как он увеличивал число их кораблей, он посоветовал народу освободить от всяких налогов съемщиков квартир и мастеров, чтобы привлечь в Афины больше жителей и объединить здесь сколь возможно большее число профессий и ремесел. Эти средства, как думал он с полным основанием, способны благоприятствовать возрастанию морских сил государства». Труд, поддержанный и получивший поощрение на этих низших ступенях, должен был развиваться далее на ступенях более высоких. После падения 30 тиранов насчитывалось едва 5 тысяч граждан, у которых не было участков зем-

ли; значит, все остальные находили какой-то интерес в труде, по крайней мере хоть в этой области. Ксенофонт в своей «Экономике» («Домострое» древнего мира) показывает нам, какое еще большое значение приписывали тогда этому занятию; это мы видим из его многочисленных указаний на расположение имения, управление им, на роль хозяина и хозяйки, на работу и обязанности рабов, на разные заботы, которые занимают деревенского жителя. Чем больше трудностей представляла природа местности, тем больше искусства и ловкости проявлял афинянин в преодолении их. Но если почва Аттики в связи со своим бесплодием толкала людей на занятие производством, то как можно думать, что счастливое расположение берегов и удобство гаваней, составлявшие преимущество этой маленькой Греции, не побудили бы афинян к занятию торговлей? Их морское могущество, поддержанное торговлей, способствовало в свою очередь ее развитию; а политическое господство, которое торговля давала афинянам, привело к тому, что их город стал центром торговых дел и интересов тысячи союзных или подчиненных городов. После Фемистокла Перикл, больше чем кто-либо другой, способствовал развитию республики. Значительный приток иностранцев, которых привлекали сюда решения афинских народных собраний и юрисдикция их судов, оживлял все отрасли промышленности и торговли. А те памятники, которые Перикл воздвиг во славу своей родины на деньги, собранные в Греции, вызывая на соревнование все роды искусств, повели к расцвету самых специальных, самых узких отраслей искусств. Таким образом находилась работа для всех, а следовательно, и довольство и зажиточная жизнь для всех тех, кто хотел приняться за труд.

Но такое равновесие не могло удержаться везде и всегда. В высших отраслях труда продолжался прогресс; практические знания, как и искусства, продолжали пользоваться заслуженным уважением; они усовершен-

ствовались в недрах свободного класса благодаря тем выгодам, которыми оплачивало их расположение народа. Города брали врачей на свое содержание; как говорят, это сделали Афины по отношению к Гиппократу; великие художники были, так сказать, на жалованье у всех народов, носящих имя греков, которые оспаривали друг у друга их шедевры; все искусства, которые доставляли удовольствие, оплачивались щедро: певец Амбей в древних Афинах получал по таланту всякий раз, когда он выступал перед публикой. Изучение искусств разделило судьбу самих искусств. Во времена Сократа медицина изучалась так же, как изучалась грамота, и во многих городах были специальные учителя медицины, подобно врачам оплачиваемые государством. Еще большее число людей занималось преподаванием от своего имени, с очень различным успехом, начиная с Протагора, который, как говорят, первый стал давать уроки за деньги и за свой полный курс обучения требовал 100 мин, вплоть до того бедного учителя, который видел, как пустуют скамейки в его школе в те месяцы, когда большее количество праздничных дней, уменьшая его труды, не уменьшало его заработка.

Что касается промыслов, имеющих целью обслуживать повседневную, текущую жизнь, которые должны были являться наследственным делом простонародья, то от них, конечно, ни в коей мере нельзя было отказаться. Закон возвысил этих людей, как бы они ни были бедны, до уровня самых богатых, дав им то же место в управлении государством. «Мы не стыдимся признаться в нашей бедности, — говорил Перикл в своей речи над умершими за отечество воинами, рисуя блестящую картину своего родного города, — стыдно не уметь избавиться от нее своим трудом; мы умеем заниматься одновременно и нашими частными делами, и делами государственными, и те же люди, которые отдают свои руки для труда, могут также ведать

государственными делами». И в деревне и в городе заняты работой также и граждане. Фукидид рассказывает, с каким отчаянием афиняне видели себя изгнанными войной из своих ферм и поместий, а Аристофан — с какой жадностью ждали они от мира возможности вернуться на свои поля. Земледельцы, виноградари часто фигурируют в пьесах поэта, выступая всегда сторонниками мира. Честный виноградарь Тригей отправляется на небо, чтобы просить вернуться богиню мира, «эту величайшую покровительницу виноградных лоз»; только земледельцы одни могут помочь извлечь ее из пещеры, где ее держат пленницей и где столько других, делающих вид, что хотят помочь ее освобождению, с удовольствием оставили бы ее там. Земледельцы сами, своими руками занимались возделыванием матери-земли. Когда на «собрании женщин» был поставлен вопрос о том, чтобы сделать все имущество общим, и одна из них спросила: «Кто же тогда будет возделывать поля?», другая ей ответила: «Рабы». Итак, люди свободные продолжали заниматься трудом. Но Пелопоннесская война произвела изменение в их образе жизни, и с этих пор лишь в виде исключения, или опускаясь на более низкую ступень, свободный человек принимает участие в такой работе, как это нам показывают в своих речах ораторы во многих местах, а также новая комедия Плавта и Теренция, где греческий оригинал проглядывает сквозь латинское подражание.

То же самое было и в городе. Свободное гражданство включало в свои ряды мастеров всякого рода производства: булочников, плотников, башмачников, сукновалов, чесальщиков шерсти и т. д.; оно включало также работников всех видов торговли на внутренних рынках: торговцев хлебом с их фальшивыми мерами, торговцев рыбой с их обманными ценами, мелочных торговцев, настолько скомпрометированных своим по-

ложением, что закон воздерживался применять по отношению к ним преследование за нарушение супружеской верности. На всех ступенях производства или торговли они оставались гражданами, они сохраняли свое право участвовать в управлении государством. Одно место из Аристофана, аналогичное тому, которым мы воспользовались выше, доказывает, что никто не ожидал, что они будут так скоро заменены рабами в своем труде. Были граждане, находившиеся на ступени, очень близкой к рабству, и все же, если можно придавать какое-нибудь значение щедрым цифрам Аристофана в его комедиях, самые низкие профессии обеспечивали достаточно хороший заработок; переноска вещей в Афинах оплачивалась от 4 до 12 оболов — в четыре раза выше жалованья судьи; носильщик из загробного мира требует не меньше этого с Диониса, сошедшего в ад. Но Дионис находит эту цену чрезмерной, и надо думать, что таких заработков не было и в этом мире. Не столько приманка такой наживы, сколько нужда, бедность заставляли граждан спускаться до таких работ; но некоторые падали еще ниже. Иные из них были вынуждены идти и разделять со своими рабами их положение на предприятиях и мельницах. Было одно место, которое называлось Колоном, где они нанимались открыто, наряду с рабами. Также и женщины, свободные и афинянки по происхождению, должны были наниматься в богатые дома служанками; напрасно закон покровительствовал тому, что презирало общественное мнение. Таким образом, свободный труд, гарантированный и признанный обязательным Солоном, расширенный Периклом, не был уже более в состоянии поднять низшие классы и вывести их из нищеты. Государство должно было придти им на помощь в этих несчастиях, которые оно не сумело предотвратить. То пособие, которое, как говорят, установил Писистрат для увечных, пришлось распространить

на всех нуждающихся: не только на тех лиц, которых болезнь или старость заставила отказаться от труда прежде, чем они успели себя обеспечить, но и для тех, которые, даже работая, уже не могли себя обеспечить, как показывает тот ремесленник, в защиту которого выступил Лисий со своей речью («За неимущего инвалида»); и это пособие, которое составляло всего 1 обол в день, было увеличено позже до 2 обол ввиду прогрессирующей бедности среди рабочего класса. Мы можем даже сказать, что если он продержался еще так долго, то этим он обязан тем средствам, которые были введены Периклом, правда, с другой целью, для поддержания демагогии: жалованье легальное и сверхлегальное, заработок в судах, с дополнением того, что сюда прибавлял обвинитель благодаря конфискации частного состояния, заработок от народных собраний вместе с тем, что честолюбивые политики умели к этому присоединить, расточая для этого финансы государства.

2

Каким образом граждане могли прийти до такого упадка? Почему у них уже не было больше честных возможностей заработка, которого им хватало бы для жизни, как это было в древних Афинах? Был ли для них недостаток в труде или они сами бежали от труда? И если они сами от него уклонялись, откуда получилось такое изменение в их образе мыслей и нравах? Чтобы вернее понять причины этого явления, перейдем к фактам. Огромная революция произошла в организации труда. Чем был труд в самые цветущие эпохи Афин? Я отметил раньше роль граждан в трудовых процессах. Но граждане не были при этом одиночками. Посмотрим, какая часть труда отошла другим и было ли такое разделение полезно или опасно для государства.

В массе того многочисленного и деятельного населения, которое Фемистокл хотел сделать основой морского могущества Афин, иноземцы были объединены с афинянами. Устанавливая для этих последних обязательность труда, конституция устанавливала в их пользу и ряд привилегий: так, в основном только для их торговли предназначался внутренний рынок. Даже более: закон разрешал иностранцам право жительства только под известными условиями — они должны были вписаться в общественные списки и стать под покровительство какого-либо гражданина. Эта двойная гарантия влекла за собой два вида обязательств — по отношению к патрону и по отношению к государству. Иностранцы, ставшие метеками (поселившиеся в Афинах), по отношению к своему патрону имели определенные обязательства частного характера; по отношению к государству они были обязаны, во-первых, платить ежегодный налог в 12 драхм, так называемый метойкион, обыкновенные подати в такой пропорции, которая сближала их, как бы они ни были бедны, с классом самых богатых; во-вторых, делать экстраординарные взносы для устройства игр и празднеств; кроме того, они были обязаны лично служить во флоте и даже в гоплитах. Для того чтобы напомнить метекам, что они не афиняне, на празднике великих панафиней — а это был праздник объединения всех афинян как таковых, — метекам было предписано выполнять известные обязанности рабов: мужчины должны были нести сосуды, нужные для возлияний и жертв, женщины — урны с водой или зонтики, которыми они должны были закрывать от солнца афинянок. Ксенофонт от их имени поднимает протест и требует уничтожения части этих повинностей. Он хочет, чтобы патронаж над ними в некотором отношении был похож на опеку над сиротами; чтобы государство, удовлетвовавшись ежегодным налогом, освободило их от несения военной службы (почет слишком обременит-

тельный, принимая во внимание их производственную работу) и от выполнения тех услуг, единственной целью которых было, по-видимому, унижить их, напомнить им об их подчиненном положении. Он предлагал также уступить метекам определенные участки в черте города, оставшиеся незанятыми, с правом построить там для себя дома; эти меры должны были иметь результатом привлечение большего числа метеков в Афины и таким образом вести к росту благосостояния государства.

Из этих повинностей метеков ничего не было уничтожено; выполнения их продолжали требовать со всей суровостью. Малейшее уклонение от них встречалось со всей строгостью законов. Преследовали судом апростасию, т. е. как уклонение от выбора себе патрона среди граждан, так и попытки освободиться от его надзора. Если метек не вписывался в общественные списки, он заключался в тюрьму; если он не уплатил обычных налогов, он продавался. Никакого поручительства не допускалось до суда, а в случае оправдания судом он мог быть снова арестован как подкупивший судей. Метеки, выполнявшие все предписания закона, пользовались с его стороны покровительством в своих занятиях ремеслами и торговлей; и во многих случаях условия, на которых они пользовались жилищами, были очень смягчены. Метеки могли быть освобождены от специальных податей и приравнены в отношении налогов к остальным гражданам (исотелия); иногда даже они получали права полного гражданства. Таким образом, несмотря на обязательства, унижающие их положение, несмотря на все придирчивые требования и зачастую на оскорбления со стороны афинского народа, положение метеков не было хуже положения периеков в Лаконии. Хотя никакой закон о рабстве их не задерживал насильственно в стране, их всегда было много в Афинах, где они занимались торговлей и разного рода ремеслами. В эпоху переписи Деметрия из

Фалеры они составляли половину всего числа граждан.

Однако не этот класс трудящихся являлся наиболее опасным конкурентом для демократического слоя граждан. Находясь под ревнивым надзором закона, ограниченные в своем количестве, увеличить или уменьшить которое по мере необходимости государство имело право, они могли смешаться с афинским населением без опасности поглотить его своей численностью, стимулируя его активность и рвение, никогда не угрожая подавить его своими успехами. Но наряду со свободным трудом граждан или метеков был еще труд рабов, подчиненных воле господина вне контроля государства и оставленных на произвол всех случайностей эксплуатации, — сила подвижная и удобная, которую можно было также увеличить или уменьшить, исходя из частных интересов, а не в меру общественной необходимости. При наличии государственной власти, которая претендовала на исключительное право распоряжаться рабами для обслуживания общины, класс свободных пришел в упадок от безделья, от бесплодной обособленности. Под властью закона, который звал граждан к труду и предоставлял им свободное распоряжение рабами, они стали вырождаться в условиях крайнего богатства и крайней бедности. Таким образом, рабство, это мнимое средство античной цивилизации, было для греческого общества при всяких формах республик действительной причиной деморализации и смерти. Из всего этого остается сделать только выводы; но для того чтобы не остался без внимания и анализа ни один из фактов, на которых основываются эти выводы, я дам, так же как я сделал это для Спарты, полную картину рабства как в Афинах, так и у других народов, которые развились при тех же условиях и, если так можно сказать, по тому же закону. Я изложу последовательно источники, откуда получали рабов, отдельные случаи и причины их использования, их стоимость, их чис-

ленность сравнительно со свободным населением. Мы тотчас же увидим, в какое положение их ставили обычай, закон, общественное мнение, и тогда только мы будем в состоянии оценить, какую роль играло рабство в движении человечества, то двойное влияние, которое оно должно было оказать на классы поработанные и на те, которые над ними властвовали.

Глава четвертая

ИСТОЧНИКИ РАБСТВА В ГРЕЦИИ

До наших дней те, которые хотят оправдать рабство в колониях, противопоставляя себя «филантропам» в качестве защитников культуры, объявляют его средством, при помощи которого негритянская раса получает возможность участвовать в высоких судьбах расы белой. В таком вынужденном порядке приобщается негритянская раса к цивилизации, необходимости в которой она сама никогда не почувствовала бы. В древности даже не прибегали к таким «благопристойным» мотивам, стараясь скрыть принцип насилия и расчеты на выгоду, которые везде и всегда были истинной причиной рабства. Греки, а после них и римляне прежде всего брали себе рабов из наиболее культурных племен и народов; они гораздо менее ценили настоящих варваров и удовлетворялись ими только тогда, когда других не хватало.

1

Рабы, которыми уже владели, были первым источником, откуда пополнялось рабское население благодаря рождению, это было одно из следствий твердо установившихся принципов. Закон, который отнял у

человека право распоряжаться самим собой, тем более не был расположен дать ему право распоряжаться своими детьми. Он жил для своего господина, он работал, он наживал для него, и это состояние человека, нравственно изуродованного и глубоко павшего, переходило и на его потомство со всеми ограничениями, которые из этого вытекали. Человек так сказал; природе оставалось повиноваться. Но во всяком случае этот источник (рабства), который кажется наиболее естественным, не был наиболее общим. Так было в древности, так оно было и у современных народов, пока торговля рабами оставалась без перемен: среди рабов мужчины были гораздо более многочисленны, чем женщины; женщина, менее выносливая в труде, была наиболее пригодна для работ внутри дома. Уже прежде всего с этой точки зрения отношения между обоими полами были ограничены, и даже в этих границах они обыкновенно не имели формы правильных брачных соединений: когда хозяева разрешали брак, они делали это скорее из расположения к хорошему рабу, чем из соображений спекуляции. Так в основном было в этих городах, более торговых, чем земледельческих, где гораздо более выгоды находили в продуктах ремесла, не знавшего соперников, чем в естественных продуктах, так легко приобретаемых путем обмена. Исключая известные могущественные дома, где масса рабов, лучше подобранная, работала более производительнее, а дети их могли быть воспитаны вместе с ними без больших расходов, считалось более выгодным покупать раба уже взрослого и сильного, чем подвергаться всякому риску, воспитывая его с первых дней жизни до возраста, когда он сможет работать. Надо прибавить к этому, что такие рабы, стоившие так дорого, в смысле труда ценились не выше других; но они, пользуясь доверием или расположением хозяина, могли носить другое звание: в актах об отпуске на волю под видом продажи божеству, в актах выкупа, условия, следствия

и формы которых мы увидим дальше, они фигурируют в очень большом числе под общим именем «рожденных в доме». Во всяком случае, нужно прямо сказать, что прошли уже те времена, описанные Гомером, когда дети рабыни, воспитанные в недрах семьи, были некоторым образом как бы усыновлены и приняты в ее члены. С тех пор как более значительное расстояние стало отделять хозяина от его слуг, с тех пор как и самый характер этих последних, по естественным причинам, снизился до уровня их класса, воспитанного в этой испорченной атмосфере рабства, раб, рожденный дома, слишком часто был самым дурным и самым бесполезным. Одно из имен, которым его называли — «трусый дома, лодырь», — стало в переносном смысле применяться как выражение крайнего презрения.

Итак, рабская масса набиралась, главным образом, из среды свободных классов; источники для этого имелись как в самой Греции, так и вне ее.

Обычай относился в общем терпимо к продаже детей, исключая Аттики, где закон Солона ограничил ее только дочерьми, которые позволили себя совратить. Обычай позволял также подкидывать детей; исключение представляли Фивы, где в подобных случаях закон, наоборот, заставлял их продавать, при участии магистрата, с составлением подлинного акта, первому желающему гражданину, какую бы маленькую цену он ни предложил. Но везде в других местах придерживались обычая подкидывания — этого ужасного злоупотребления, которое, не желая отдавать детей законным образом в рабство, тем не менее ставило их перед роковой альтернативой смерти или рабства, часто худшего, чем смерть; и нужно думать, что примеры подобного рода составляли довольно частое и обычное явление в жизни, если они так часто служили предметом развязки в комедии. Бедность, которая заставляла иногда продавать или подкидывать детей, принуждала также свободного гражданина продавать самого себя.

Независимо от этого двойного источника, вытекающего из недр самой семьи, рабство могло быть результатом действия самого закона. До Солона должник отвечал свободой за свой долг; с тех пор иноземцев в Афинах, метеков, всегда держали под угрозой наказания рабством, если они не исполняли обязанностей своего сословия или когда они обманным образом проникали при помощи брака в семью гражданина.

Наиболее богатым источником, поставлявшим рабов, был всегда первичный источник рабства: война и морской разбой. Троянская война и наиболее древние войны греков по азиатскому и фракийскому побережьям дали им многочисленных пленников. Когда они основали колонии, то постоянные отношения, в которых они находились с местными жителями, продолжали поддерживать прилив рабов за счет тех же местных жителей; рабство как результат войны казалось вполне законным; по словам Аристотеля, сама война казалась законной при единственной цели — сделать побежденных рабами. Аристотель не претендовал, как в наши дни, при помощи порабощения довести побежденных до культуры, — античность, как мы видели, презирала эту маску филантропии, — нет, он просто видел в них людей низшей породы и потому предназначенных служить людям более просвещенным и более высокой культуры. Но, конечно, рабство и неволя находили свои жертвы не только среди «варваров». С Троянской войны до войн персидских, с персидских войн до эпохи Александра или, лучше сказать, до последних дней существования Греции войны чаще всего происходили между греками; а пленение побежденных вело у них к рабству. Я не говорю о тех, кого превратности войны отняли у их прежних господ: они были уже рабами, и тем самым они ничем не отличались от стад и других вещей, которые составляли часть добычи; но часто даже свободные люди ставились в такое положение. Так, можно даже не вспоми-

нать о народах, поработанных Спартой и другими племенами, укрепившимися в стране после завоевания: сами спартиаты были рабами у тегейцев, отягченные теми цепями, которые они приготовили для них; в Сицилии Гиерон, владыка Мегары Гиблейской, продал все бедное население за пределы страны, и т. д. и т. п. Войны, которые следовали за борьбой против персов, те войны, которые послужили прелюдией к великой внутригреческой борьбе, дают нам новые примеры того же явления, а Пелопоннесская война, пробудив во всех жажду борьбы и сражений, оставила после себя повсюду разрушение или рабство. Жители Платей, которые сдались спартанцам, были вырезаны, а их женщины обращены в рабство; жители Мелоса, которые сдались афинянам, испытали ту же судьбу; в Сикионе, в Тороне, в 20 других местах мужчины, как правило, избивались или изгонялись, женщины и дети обращались в рабство; и афиняне, родоначальники и вдохновители таких насилий, сами не раз подвергались такому же возмездию. Самосцы, которых афиняне заклеили печатью рабства и еще насмеялись над ними с подмостков их же театра (самосский народ был «ученый»), выгнали на лбу своих пленников афинского происхождения фигуру совы. А после разгрома сицилийской экспедиции, этого тяжелого искупления за высокомерное благополучие, те, которые могли избежать каменоломен, были проданы в рабство и заклеены печатью со знаком лошади. Можно было видеть не только, как соперничающие народы взаимно разоряют друг друга: можно было видеть, как братья порабащают братьев. На Коркире, где особенно полно выявился весь ужас этой братоубийственной войны, избиение и порабощение поочередно уничтожали обе враждующие партии. Вожди более податливые подчинялись при таких обстоятельствах настроениям толпы. После взятия Метимны — города, бывшего на стороне Афин, союзники настаивали перед Калликратидом,

чтобы он продал в рабство всех ее жителей. Калликратид им в этом отказал, заявив с негодованием, что, пока он главнокомандующий, ни один грек не будет обращен в рабство. Действительно, он отпустил метимнейцев на свободу, считая, что, конечно, этим актом снисходительности он скорее завоюет их на сторону Спарты. Но всех афинян, которые составляли гарнизон города, Калликратид продал вместе с рабами.

Эти побуждения Калликратида, столь редко встречающиеся в истории, которым он так мало следовал сам в позднейших истребительных войнах, при новых столкновениях, продолжавшихся между греческими республиками, философы пытались воскресить и сделать принципом дальнейшей общественной жизни, внедрить их в нравы населения. И, как говорят, это стало правилом для Эпаминонда и Пелопида в тех войнах, которые они предприняли во имя независимости и главенства Фив; но после них такие настроения были забыты. Попросту следовали аксиоме, на которую намекает Сократ, что несправедливо обращать в рабство друзей и справедливо обращать в рабство врагов, не подчеркивая того, что греки для греков являются братьями. Сам Филипп, хотя он вышел из школы Эпаминонда и политически был очень выдержан, даже он не следовал его благородному примеру, обращая в рабство тех, которые с оружием в руках боролись против его поползновений на гегемонию. Так, жители Олинфа, после того как был взят их город, были проданы на публичных аукционах, и во время празднеств, справлявшихся в честь этой победы, греки старались получить свою долю из числа тех, которые оставались еще в руках царя.

Рабство нависло над головами всех. И тщетны были восклицания, подобные восклицанию Елены у Феодекта:

Рожденной с двух сторон от божеских ветвей,
Кто дать решится мне название рабы?

Самые знатные, говорили моралисты, должны помнить, что они всегда могут попасть под иго рабства. Предания гомеровских поэм, к которым прибегали, чтобы поддержать это положение, напоминали о фактах, которые не переставали быть верными: старая Гекуба, принужденная пройти путь от трона до могилы через рабство; Андромаха, волей победы доставшаяся как добыча сыну того, кто был убийцей Гектора; Кассандра и дочери самых знатных фамилий, переносящие все несчастья рабства и дополнительно весь тот особый позор, который доставался на долю их юности и красоты, — все эти великие несчастливицы, которых трагики выводили в своих пьесах, представляли всегда жизненный интерес. Жертвы греков, эти благородные женщины были гречанками как по своим чувствам, так и по своему языку. Скорбь троянок, уведенных далеко от их родины, будила в сердцах многих людей их собственные воспоминания. Для скольких из них рождало своего рода роковое предчувствие трогательное прощание, которое Эврипид вкладывает в уста пленных женщин: «О, друг мой, о, супруг! Твоя тень блуждает здесь, на этих скорбных берегах, не получив почетных возлияний и погребального костра; а меня — меня уносит корабль на своих быстрых крыльях туда, к равнинам Аргоса, где поднимаются до самых облаков массивные циклопические стены! И наши дети — их было много — орошают слезами порог дверей, стонут и кричат, кричат: «О, мать моя! Увы, увы!» А слова Гекубы:

Увы, увы! Какое зло рабою быть!
Терпеть приходится, чего терпеть нельзя.
Насилие сломило нас.

Разве эти слова нельзя отнести, например, к молодому Федону, обреченному на разврат гнусным хозяином, а затем купленному Кебетом? Он заслужил,

чтобы Платон поставил его обещанное имя над самым прекрасным, самым чистым из своих диалогов, посвященных рассказу о смерти Сократа, доказательству бессмертия души. Сам Платон был продан по приказу тирана Дионисия на остров Эгину; также и ряд других философов, не считая Диогена-киника, были рабами. Эти великие несчастья порой вызвали акты трогательного милосердия. Стольким примерам злоупотребления силой с чувством глубокого удовлетворения можно противопоставить поступок философа Бианта, который, выкупив пленных молодых мессенянок, воспитал их как своих дочерей, дал им приданое и отправил их на родину, к их родителям. Они рассказали, что сделал для них Биант, и добились того, что ему был присужден медный треножник, найденный афинскими рыбаками, треножник, на котором стояла надпись: «Мудрому». Никто больше чем он не заслужил этой награды.

Если не считать этих отдельных примеров, Афины, это государство Греции, которое по легкомыслию совершило преступлений, может быть, больше других, но у которого в конце концов было больше сердца, чем у других, внесли некоторые гарантии в положение пленных. Закон оратора Ликурга запрещал афинянам или всякому, кто жил среди них, продавать военнопленного без разрешения его первого хозяина. Удерживая пленного в положении раба, ему, по-видимому, давали возможность более легкого возвращения на свободу.

2

Война пополняла ряды рабов, но с известными перерывами, морской разбой содействовал этому более постоянно и непрерывно. Этот обычай, который в Греции предшествовал торговле и сопутствовал первым попыткам мореплавания, не прекратился даже

тогда, когда сношения между народами стали более регулярными и цивилизация более широко распространенной; нужда в рабах, ставшая более распространенной, стимулировала активность пиратов приманкой более высокой прибыли. Какую легкость для этого представляли и край, окруженный морем, и берега, почти всюду доступные, и острова, рассеянные по всему морю! Тот ужас, который североафриканские варварийцы не так давно распространяли по берегам Средиземного моря благодаря своим быстрым и непредвиденным высадкам, царил повседневно и повсеместно в Греции. Одна надпись из Аморга, довольно старая (конец III или начало II в. до н. э.), рассказывает об одном из этих инцидентов, столь обычных в жизни древних народов, слишком обычных, чтобы история их старательно собирала: «Пираты ночью наводнили страну и взяли в плен молодых девушек, женщин и других, числом более тридцати. Гегесипп и Антипапп, которые сами находились среди пленных, убедили начальника пиратов вернуть свободных людей и некоторых из вольноотпущенников и рабов, предлагая себя как гарантию (исполнения данных обещаний) и проявляя крайнее рвение, чтобы помешать тому, чтобы кто-либо из граждан и гражданок был распределен как часть добычи, или продан, или испытал что-либо недостойное их положения».

Им был назначен в награду венок. Надпись является декретом народа в их честь.

Раб или свободный — все годилось для пирата. Но свободный был более желателен. Не столько принималось во внимание, каким достоинством или какой силой он обладал, сколько было важно, какая цена может быть предложена за его свободу из его личных средств. Морской разбой, хотя и поставленный вне закона, имел свой законный способ действия: свободный гражданин, будучи продан, становился рабом того, кому он должен был возместить заплаченную за свой

выкуп сумму. Таким образом, Никострат, который вышел в море, чтобы поймать трех своих беглых рабов, попал в руки пиратов, был доставлен в Эгину и продан. Его выкуп стоил ему не меньше 26 мин, и он должен был бы сделаться рабом, если бы не нашел средства вернуть то, что ему ссудили, чтобы заплатить этот выкуп. Это был поразительный закон, который, борясь с морскими разбойниками, в то же время покровительствовал их торговле под прикрытием подставного лица или укрывателя. В конце концов пираты становились также и корсарам, и государства давали им каперские свидетельства на право похищения людей враждебного племени, если государства сами не посылали свои корабли для подобного рода разбойничьих набегов.

Морской разбой проявлялся не только в этих формах и под этим прикрытием военных действий: он действовал в недрах самых городов при помощи хитрости и тайных средств. Люди, которым дали имя андраподистов («делателей рабов»), а также женщины занимались этим гнусным ремеслом, похищая детей во время игр или на празднествах, если бедность не отдавала детей в их руки, выставляя их по большим дорогам. Одна из пьес Антифана выводила на сцену некоего сирийца с отвратительным характером, привезшего в Афины мальчика и его сестру, которых он похитил у их родителей (явление очень частое в жизни и нашедшее отражение на сцене). Зло это было тем больше, что враг оставался как бы невидимым. Государства принимали иногда меры, чтобы добраться до похитителей и их задержать. Трибунал «одиннадцати» в Афинах имел в своем ведении между прочим и заботу отыскивать таких похитителей и наказывать их преступления; для того чтобы возможно скорее предупредить последствия такого похищения, было разрешено вмешиваться в пользу лиц, которых уводят в рабство, чтобы обеспечить им предварительную свободу.

Торговля была другим источником рабства, источником производным, к которому в сущности приводили все другие пути. Она питалась, главным образом, поступлениями из стран внегреческих, где внутренние войны, победа, злоупотребление отцовской властью или произвол царей поражали местных жителей тяжестью этого отвратительного налога. Все побережья, где цвели греческие колонии, были данниками этой торговли. Сирия и области Малой Азии, Понт, Фригия, Лидия посылали целыми толпами рабов на их рынки. Фракия в некотором роде стала страной рабов, как Фессалия — страной купцов: фракийцы, по словам Геродота, продавали иностранным купцам своих собственных детей. Египет точно так же доставлял в Грецию своих жителей в качестве рабов для черной работы и своих чернокожих — как рабов для роскоши. Подводя итоги, мы видим, что Запад доставлял довольно мало рабов; в дельфийских надписях, которые в сущности все относятся ко II или III в. до н.э., мы находим только одного италийца, одного самнита, одного лукана, двух женщин из Месалии и из Бруциума и даже одну римлянку. Наоборот, Север и Восток оспаривали друг у друга первенство. Но человек с Севера был груб и необразован; иногда он любил свою свободу с какой-то дикой страстью; так, пленные женщины из Дарданы бросали в море своих детей, чтобы избавить их от рабства; скифы, фракийцы, равно как галлы и иберы, мужчины и женщины, иногда убивали себя или своих детей, чтобы избавить их от власти врагов; точно так же и Македония была той страной, из которой нельзя было получить хорошего раба, — упрек, который Демосфен бросает Филиппу, который, впрочем, предпочитал сохранять своих подданных для другой роли. Такими людьми дорожили мало, их часто посылали на такие работы, где их развития было достаточно и где их строптивость могла быть усмирена; но очень ценили рабов из Азии — народ, приученный

к повиновению привычкой к деспотическому управлению и подготовленный для служения искусствам или потребностям роскоши благодаря влиянию восточных цивилизаций или, может быть, благодаря влиянию Греции, распространявшемуся на наиболее близкие к ней страны Востока. Имена рабов у комиков указывают на их различное происхождение, и в связи с тем, насколько часто употребляются те или другие имена, можно установить относительную пропорцию каждой страны в доставке рабов. Это название той самой страны, откуда они происходят: Фракка — женщина из Фракии; Лид, Фриг, Сирвот — наиболее обычные имена; немного реже — Киликс, Миз, Дориас; имена Гета и Дав (человек из Дакии) очень употребительны в более позднюю эпоху; имеются имена действительно национальные: таковы Манес, указывающий на лидийца, Мидас — на фригийца, Тибий — на пафлагонца, Карион — на карийца.

С этой точки зрения дельфийские надписи, правда, для ограниченной области и для определенного отрезка времени (II и III вв. до н. э.), дают нам возможность прямого контроля. Приблизительно на 300 надписей, где отмечено происхождение раба, мы находим 18 фракийцев — 7 мужчин и 11 женщин; 15 сирийцев, из которых 10 женщин; фригийцы и лидийцы менее многочисленны: по одному мужчине и женщине из каждой страны; 7 галатов — все мужчины; 3 каппадокийца; 3 армянина и 1 армянка; 1 иллириец и 3 иллирианки; 1 мужчина и 2 женщины из области сарматов, 1 женщина из бастарнов, 2 араба, 1 еврей и 1 еврейка. Мизия, Вифиния, страна тибаренов, Меотида, Сидон, Кипр, Египет — каждая область фигурирует в лице одного раба. И здесь, как и в комедии, мы найдем, что имя страны становится собственным именем, является обычно как бы знаком происхождения: Мид или Мида, Лид, Армен, Карион, Эолис, Ион, Родион. Однако не следует думать,

что иноземные рабы носят только имя их страны или эти варварские имена. Мы читаем имя Битис, данное фракийцу, и имя Родион, данное молодой девушке, рожденной в доме. Многие из них — фракийцы, бастарны, армяне, галаты, арабы, сирийцы — носят имена чисто греческие. Хозяева давали им имя по своей фантазии, и некоторые из них, меняя господина, меняли в то же время и имя.

Восточные рабы были наиболее ценными среди остальных варваров, но они в свою очередь уступали первое место другим — рабам греческого происхождения. Среди дельфийских надписей, о которых я только что говорил, мы находим довольно большое число рабов местного, греческого, происхождения или выходцев из греческих колоний. Македония (это Македония после Филиппа и Александра!), Пэония, Эпир, страна перребов и афамантов, Беотия и особенно Элatea и один из городов Оропа (Макета), Фокида, Локрида (Амфисса и Опунт), Эвбейская Халкида, Мегара, Лакония, Гераклея Понтийская, Александрия, Апамея и т. д. — все они значатся в надписях на стенах святилища Аполлона как родина рабов (даже Лакония дает 6 мужчин и 3 женщин!). Это не иноземные рабы, привезенные из этих стран, а местные жители, обращенные в рабство, как можно заключить из общей формулировки надписей и как это специально указывается в нескольких случаях. Но этим не ограничивалось участие Греции в ужасах рабства. Греки, сделавшие восточные народы своими данниками, сами в свою очередь платили им ту же позорную дань своими детьми: именно к ним азиатские сластолюбцы и маленькие царьки посылали приобретать себе рабов для своих удовольствий и празднеств. Пелопоннес давал гетер, Иония — музыкантов, вся Греция в общем давала тех молодых девушек, которые в качестве танцовщиц или флейстиков претерпевали общую участь. Наряду с греками из этой позорной торговли извлекали выгоду сирийские

купцы и другие иностранцы. Вслед за победителями они входили в занятые города, они приходили и в мирное время в расчете на силу нищеты и золота, стараясь подстеречь и обмануть бедняка, чтобы вырвать у него его детей. Среди многочисленных случаев, которые закон или игнорировал или на которые он не мог наложить своей руки, мы находим (в речи против Нерэры) вольноотпущенницу Никерату, умевшую очень хорошо разбираться в том, кто из маленьких девочек самого юного возраста будет отличаться красотой. Она покупала их, чтобы перепродавать с барышом, торгуя ими, когда они были еще совсем юными. Но этого мало; нужно ли еще говорить о тех отвратительных приемах, которые применяли даже к детям, для того чтобы заставить их служить развратникам и женщинам; или о молодых девушках, которые подвергались такому обхождению, имени которому нет на человеческом языке, для того чтобы дольше сохранить у них цвет красоты и юности за счет обременяющей плодовитости!

Афины, которые выслеживали похитителей свободных людей, покровительствовали торговцам рабами всякий раз, когда они не могли выявить в их лице указанных выше похитителей. Было запрещено обижать их под страхом исключения из граждан. Причина этого специального покровительства заключалась в тех выгодах, которые отсюда извлекало государство: торговля рабами была обложена крупным налогом, а Афины являлись одним из главных мест этой торговли. Афины находили себе соперников в торговле подобного рода только на известных рынках Азии, более близких к обычным источникам рабства, — на Кипре, Самосе, в Эфесе и, главным образом, на Хиосе, где, по Феопомпу, впервые начали если не пользоваться покупными рабами, то по крайней мере ими торговать. Лукиан в своем «Аукционе душ» и Плануда, описывая жизнь Эзопа, рисуют много примеров из практики такой торговли, которую они, вероятно, подметили

в обычаях Рима и которая тем не менее была в ходу и в Греции. Действительно, во все времена купец отличался способностью выставлять особенно ярко наиболее благоприятные качества своих рабов или скрывать их недостатки: уродливый раб, например Эзоп, ловко помещенный в группе других рабов, контрастом своей уродливости давал возможность подчеркнуть красивую фигуру своих сотоварищей; или, например, внимание публики привлекала блестящая одежда рабов. Со своей стороны и покупатель принимал меры предосторожности против слишком хорошо известных приемов обмана и не давал себя провести внешним блеском: он заставлял рабов раздеваться, рассматривал и оценивал их, заставлял их ходить, прыгать, бегать совершенно так же, как при покупке лошадей; у них тоже были пороки, которые давали право на расторжение сделки.

Все это происходило на народной площади в Афинах. Посередине, говорит Гесихий, было огороженное пространство, где продавали домашнюю утварь и живые тела: так назывались люди. Дошли даже до того, что у раба отрицали существование души. Как у преступников, которых лишали человеческого достоинства, прежде чем поставить их к позорному столбу, так, по-видимому, и у рабов хотели уничтожить все человеческие черты, чтобы уподобить их на этих позорных рынках обыкновенным животным. Это лишение раба человеческого достоинства является самым ярким обвинением против рабства. Если человека нельзя подвергнуть этому возмутительному обращению, не извращая его природы, то значит сама природа отвергает рабство. И обычаи Афин и всей древности, которая приняла их и практиковала без зазрения совести, ничуть не оправдывают его. Кто не знает, насколько выгода и интерес заставляют быть изобретательными, для того чтобы скрываться под маской справедливости, умело подменяя полезность понятием справедли-

ности? Кто не знает, как личный интерес может подменять одни понятия другими, как бы ни было велико расстояние между ними? И как удивляться, что грек, столь гордый своим умственным развитием, столь ревниво относившийся к своей свободе от труда, поддерживал под этими предложениями рабство по крайней мере для иноземных народов, если во времена христианства, проповедующего учение об образе и подобии всех народов Адаму, о равенстве всех людей во Христе, могло восстановиться рабство со всеми теми последствиями бесчестия, которые неизбежно связаны с его природой? Нет, современность ни в чем не может упрекать древний мир. Если Афины поддерживали торговцев рабами, при всем своем презрении к ним, то христианские государства сами стали торговцами, потребовав для себя монополии этой торговли, от которой потом они отказывались в чью-либо пользу в знак милости или продавали за деньги. И в пределах одной только Франции все эти государственные грамоты, которыми королевская власть узаконивала общества для торговли рабами, эти почти королевские гербы, которыми они украшены; эти наследственные титулы, обещанные тем, кто будет с успехом вести такую торговлю; все эти привилегии с обязательством ввозить ежегодно определенное число негров в колонии; эти премии, назначенные за ввоз рабов; все эти налоги, взимаемые с каждой головы при продаже в розницу, в период свободы торговли, — не являются ли они в такой же степени актами соучастия благодаря поощрительным премиям и покровительству? Как и рабы в древности, негры становятся объектом торговли; за них платят таможенные пошлины, менее льготные, чем за золотой песок; во многих местах их помечают в торговых книгах как товар, их клеймят раскаленным железом — древние пользовались для этого мелом. Где больше бесчеловечности: среди древних или среди наших христианских народов, которые в лице своих прави-

тельств, отрекаясь от прошлого, торжественно осуждали все это как преступление? Нужно ли рассказывать все эти обычные эпизоды торга рабами, подтвержденные слишком многими свидетелями, чтобы не быть истинными? Страдания при доставке на берег, случаи голодной смерти, установленная смертность в количестве 50%, выбрасывание рабов в море, когда при преследованиях была неизбежна потеря «товара», — вот чего не знала древность и что дал нам XIX век, который показал нам эти ужасы в тем большей степени, чем сильнее преследовалась эта торговля как таковая, не уничтожая самого основного принципа, т. е. рабства. После всего этого можно себе представить, намного ли лучше рынки Бразилии и Гаванны, чем площадь Афин. Но даже в тех колониях, где торговля рабами не существовала, тем не менее раб был объектом торговли. Негры были всегда продажными вещами наряду с животными и другим движимым имуществом; при молчаливом попустительстве законов все гарантии предоставлялись покупателю против продавца, все способы исследования были дозволены; если к ним прибегали меньше, то это делалось из уважения лично к себе, а не к рабу. Напрасно будет раб носить на своем лбу печать христианского обращения — все равно это вещь, стоящая ровно столько, сколько за нее заплатили как за вещь; как вещь он вступает в дом своего господина, где его и применяют как вещь.

Глава пятая

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОВ

1

Рабов использовали для обслуживания дома и для различных работ в городе и деревне.

Обслуживание дома совершенно естественно перешло в руки рабов, как бы мало их ни было. Они исполняли всевозможные обязанности по дому, и нет необходимости приводить тексты в доказательство того, что им поручалась охрана дома, поддержание порядка в нем, покупка провианта, приготовление обеда, служба за столом и т. д. Они служили также провожатыми, иногда даже надсмотрщиками над женщинами и во всяком случае являлись слугами хозяина, которые сопровождали его повсюду — в места исполнения им своих обязанностей, на прогулках, на зрелища и в бани, на охоту, туда, где он занимался своими коммерческими делами или выполнял свои гражданские обязанности, на войну или в посольства. Считалось невозможным обойтись без их услуг, если не путешествовать в компании с таким кудесником, который, прибыв на постоянный двор, брал кол, задвижку двери или палку от метлы, надевал на них одежду и при помощи нескольких слов делал их лакеями, поварами, прекрас-

ными слугами: фокус легкий, но опасный, если в то же время не обладать искусством вновь вернуть этих новоявленных слуг в их прежнее состояние палки и задвижки. Те, которые по своему уму или честности приобретали со стороны своего хозяина большее уважение, использовались для обучения молодых рабов, были воспитателями хозяйского сына или управляли делами господина и вели домашнее хозяйство.

Рабы не несли всех забот по внутреннему обиходу дома; женщина продолжала там сохранять свое место. В том уединении, в которое она была поставлена обычаями греческого общества, труд был для нее необходимостью. «Тки свои полотна, — говорит у Аристофана один муж, — а то у тебя заболит голова». Пословица напоминала ей, что ее дело — ремесло, а не собрания; в «Облаках» жена Степсиада, несмотря на любовь к роскоши, не бросала заниматься приготовлением одежды, как это было во времена Гомера. Но в этих работах она не оставалась одинокой; как это было и прежде, рабы приходили ей на помощь, и, по мере того как росло довольство и богатство, она увеличивала их число, заставляя мужчин и женщин служить этому своему интересу, этой новой страсти, которая проникла в гинекеи и стремилась проявить себя и во внешней жизни.

Не одного раба подобного рода можно найти в этих нескольких стихах Плавта, которые можно считать переводом с греческого:

Уж тут приведет целый дом:
Та за платьем, та за мазью смотрит, та за золотом,
На руках у этой веер, у другой сандалии,
И шкатулочки у третьей; взад-вперед посылные,
Расхитители запасов кладовой любовника.

Действительно, слишком стремительно было введение эллинских обычаев в нравы Рима, который дол-

жен был в будущем превзойти в этом отношении Грецию, но пока еще не сравнялся с ней. Роскошь в домах богачей увеличила число красивых мальчиков, составлявших украшение праздников, — они подавали пирующим воду для омовения рук и раздавали им венки, — увеличила число молодых девушек, как бы украшавших своей миловидностью хозяйку — занятия девушек держали их рядом с ней, — вводила черных рабов из Эфиопии, более редко евнухов, и всякого рода рабов, которые при важных событиях пополняли собой кортеж господина. Но нужно предупредить, что только при преемниках Александра подобная роскошь могла безнаказанно выставляться напоказ перед глазами афинян.

Кроме обслуживания дома рабы обычно использовались во всех видах работ в поле, в ремесле и торговле.

Мы видели, что в аристократических государствах все работы без исключения были возложены на порабощенные племена, потому что все внимание порабощителей было обращено на войну и потому что военные упражнения требовали свободного от труда времени. В торговых республиках выполнение земледельческих работ должно было находиться приблизительно в таких же условиях, потому что здесь, естественно, все внимание порабощителей было обращено на торговлю и ремесло. Так было в Коринфе; этот город, во всем остальном столь чуждый дорическому духу, в этом отношении следовал Спарте. Наоборот, Афины очень долго удерживали свой земледельческий характер. Даже под управлением Перикла, когда город, получивший столь высокое политическое значение, обогатившийся торговлей, украшенный произведениями искусства, привлекал к себе всю Грецию, даже тогда афинянин любил жизнь в деревне; Фукидид нарисовал перед нами со всей суровой энергией своего стиля печаль семейств, оторванных от своих очагов при приближении пело-

понесцев и считавших, что они покидают родину, когда им приходилось покидать свои старые поселки. Они не вернулись уже к ним, как в былые времена. Настоящая революция произошла в жизни афинского народа, и хотя много граждан еще удерживало земельную собственность, но стало гораздо более частым явлением применение труда рабов для возделывания ее. В своей книге «Трактат о хозяйстве» («Экономика») Ксенофонт показывает нам Исхомаха и его жену, которые руководили своим имением, но самый труд несли под их надзором управляющий, ключница, работницы.

Раб, который почти вытеснил свободного гражданина из полевых работ, начал становиться для него опасным конкурентом также в ремесле и торговле, которые Афины, казалось, хотели сохранить исключительно для своих свободных граждан. То развитие, которое получили эти занятия, и та важная роль, которую рабы стали играть в Афинах, привели к этому изменению. Гражданин, который обогатился трудом, не отказывался совершенно от средств, которые раньше открыли ему путь к богатству; но, чтобы еще расширить и укрепить свои предприятия, он занял в них более высокое место. Он больше уже не работал сам — он заставлял работать других; он больше уже не торговал сам — он заставлял торговать других и послужил образцом для знати, которая, не имея больше привилегий, кроме своего богатства, не сочла для себя предосудительным прибегнуть к самому верному способу — укрепить вместе со своими богатствами и свое политическое значение. В качестве хозяев ремесленных мастерских или купцов они нашли для себя более выгодным иметь в рабах «инструмент», «орудие» производства для своих предприятий или поверенного во всех своих операциях; и, таким образом, рабское население, увеличиваясь численно, проникало также и в ту область, которая была предназначена для свободного населе-

ния. Стали покупать работника. Никакое помещение денег для всех классов граждан не было более выгодным. Для более богатых это был особый род спекуляции, для других — средство поправить свои дела. По словам Дионисия Галикарнасского, это становилось средством существования, а по словам Сократа в «Воспоминаниях» Ксенофонта, многие находили в использовании рабского труда возможность обогащения и составляли себе такой капитал, который позволял им выполнять все тяготы государственных повинностей. Этим способом многие увеличивали, даже утраивали свои доходы; даже врачи имели рабов, которые от их имени занимались лечением наименее состоятельных граждан. Благодаря такому способу можно было в любой отрасли заниматься каким угодно незнакомым производством; ведь вместе с ремесленной мастерской покупали и заведующего ею, как руководителя всего этого предприятия. Так, Сократ, видя, как гетера Федота выставляет напоказ на себе и на сопровождавшей ее толпе слуг все тогдашнее величие и роскошь, спросил ее, есть ли у нее имение, или доходный дом, или рабы, искусные в «ручных работах». Вопрос по существу может показаться наивным, но он подчеркивает, что в тех слоях общества, к которым принадлежал философ, такие формы эксплуатации были обычны. Прежде наблюдали, как люди от простого ремесла поднимались до знания и мудрости: Протагор был носильщиком, когда Демокрит угадал в нем философа по его манере складывать дрова. Теперь же можно было видеть, как философы занимают производством. Эсхин, один из учеников Сократа, приобрел фабрику духов. Хотел ли он на практике применить те уроки по экономике, которые некогда, согласно Ксенофону, Сократ преподавал Аристарху? Однако это не принесло ему чести, и его пример был плохим доказательством в пользу таких мероприятий. Чтобы пустить в ход свою фабрику, он занял деньги по 3 драхмы

с мины, т. е. из 3% месячных, или 36% годовых. Вполне понятно, что при таких условиях он должен был разориться. Равным образом он занял деньги у Лисия из расчета 9 обол на мину, т. е. 1 1/2% месячных, или 18% годовых. Оратор не говорит, вел ли при таких процентах философ свои дела лучше, но он говорит, что он сам не мог получить с него ни процента, ни капитала.

Таких мастерских различного рода, вполне организованных, не требующих ничего, кроме денежного вклада, могло быть много в распоряжении одного и того же гражданина. В наследстве Конона одновременно были рабы-позументщики и рабы, выделявшие лекарства. Отец Демосфена оставил ему два предприятия на полном ходу: одно — оружейное, другое — кроватное; отец Тимарха — девять или десять кожевников, одну красильщицу в пурпур, которая носила на торговую площадь драгоценные вещи, выходившие из ее рук, искусного вышивальщика и т. д. Кроме того, он владел двумя кузницами в Авлоне и во Фрасилле, в районе Лаврийских рудников.

Для эксплуатации этих рудников обычно применялись два способа. Согласно одному, тот, кто получал рудники от государства, предоставлял управляющему весь риск, но и всю выгоду предприятия: он давал ему рабов и за твердо установленную плату оставлял ему все плоды их труда, возлагая на него обязанность их кормить. При другом способе владелец рудника сам брал напрокат рабов, нужных для этой работы. Действительно, очень многие, вместо того чтобы самим эксплуатировать какую-либо отрасль торговли или промышленности или давать ее другим на эксплуатацию с использованием своих рабов, предпочитали отдавать рабов напрокат предпринимателям или частным лицам. Людей этого рода, которых часто называют в наших источниках наемными рабочими, было без сомнения не меньше, чем людей свободных, на той афин-

ской площади, где происходил наем работников. Этот способ применялся в наиболее широком масштабе. Филонид имел 300 рабов, Гиппоник — 700, а Никий даже 1000, которых он отдавал напрокат для работы в рудниках. Быть может, отсюда извлекали меньше выгоды, но зато она была более верной. Этот прокат рабов был подобен прокату скота: он гарантировал хозяина от всяких потерь от болезней и даже от бегства рабов, так как наниматель брал на себя обязательство представить их обратно по окончании контракта в том же числе, в каком он получил их.

Этот прием применялся не только по отношению к рудникам и ремесленным предприятиям, им пользовались иногда и по отношению к внутрисемейному обслуживанию. Были граждане, которые, применяя известную экономию, вместо того чтобы держать постоянных рабов, из тщеславия нанимали на время лиц, которые должны были сопровождать и охранять их женщин или следовать за ними самими во время их прогулок, — очень удобный прием, который и теперь применяется в самых знатных и элегантных домах. Еще чаще практиковался такой прием при экстраординарных обстоятельствах, в дни свадеб и больших празднеств. Так, нанимали поваров, которые приготавливали обед для пиров, танцовщиц и флейтисток, которые появлялись в конце пира. Во все времена музыка и танцы — два искусства, которые философы ставили, можно сказать, в основу греческого образования, — занимали заметное место на праздниках. Но в поэмах Гомера молодые люди в хороводах выказывали гибкость своего тела и изящество движений, а старый певец — «аэд», вдохновленный музами, пел о славных подвигах героев, а иногда и о похождениях богов. С тех пор дело сильно переменялось. Производство благодаря рабству нашло даже в этом материал для спекуляции. Молодые девушки сладострастной Ионии и соседних с Пафосом (священным островом «золотой»

Афродиты) прибрежий собирались по зову богача в пиршественных залах целыми хороводами; были ли они одеты? Об этом можно спросить, но ответить вполне точно едва ли возможно. Больше того, дети, обученные каким-либо подлым учителем, изображали почти естественно происхождения, воспетые Гесиодом в его «Эоях». Это обычай, засвидетельствованный, отраженный в комедии всех веков, от Эвполиса и Аристофана до Менандра и Филемона, отмеченный сатирой, допущенный самой философией. Ксенофонт не видит никакой неловкости вывести этот обычай на пиру, где участвует Сократ. Во всем этом диалоге царит какой-то тон испорченности, от которой лицам, присутствующим тут, даже самому Сократу, едва ли удастся очистить все ведущиеся речи. Как раз ведь Сократ просит учителя заставить двух молодых рабов танцевать под условным видом граций, нимф или гор, он, который, несмотря на все свои прекрасные речи о небесной любви, является виновником той бесстыдной сцены, которой заканчивается пиршество.

Рабов нанимали также и для других дел. Нужно ли говорить о бесчестном промысле Никераты, личности вполне достоверной, тем более что и комедия часто выводила на сцену лиц подобного рода? Но имеет ли право современное общество бросать обвинение в лицо античному обществу? Являются ли наши «либеральные» времена более нравственными, чем эти времена рабства? По крайней мере у них больше стыдливости. Аспасия, которая была не кем другим, как Никератой высшего тона, Аспасия, которая своим ремеслом (оно не было ни хорошим, ни честным, по словам Плутарха) в некотором отношении как бы оправдывала то, что комики рассказывали о ее личности, была подругой и, может быть, женой Перикла, мыслями и планами которого она владела. Она была наставницей целого ряда ораторов. Ее дом служил школой для самого отца греческой философии. Сократ, нравственную чи-

стоту которого мы не подвергаем сомнению (это указывает на широко распространявшуюся порчу общественной нравственности), часто посещал ее со своими друзьями. Его ученики ходили к ней учиться устраивать хорошие браки. Афиняне приводили к ней своих жен, вероятно, для того, чтобы она сообщила им какие-либо секреты того очарования, которое в ней находили, того дара нравиться, тайной которого она одна владела. Гетеры, как и все остальное, были предметом гражданских сделок. Иногда двое граждан складывались, чтобы приобрести одну гетеру, и закон санкционировал статьи этого позорного контракта: ведь он мог дать место судебному процессу. Иногда эти грязные споры решались третейским судьей, который часто привлекался к таким скандальным делам: «Третейские судьи, — говорит Демосфен в цитированной выше речи, — в споре Фриниона и Стефана решили, чтобы она (гетера) принадлежала им поочередно, по два дня каждому; на этих условиях они должны были стать друзьями и забыть прошлое».

2

Рабы для труда и рабы для удовольствия, находившиеся в распоряжении простых граждан для их собственных нужд и чаще в целях спекуляции для нужд других, были иногда и собственностью государства. Солон купил женщин, чтобы основать публичные дома в Афинах; и храмы, главным образом храмы Афродиты, в крупных торговых центрах иногда имели рабов подобного рода под священным именем «гиеродулы» (священные рабыни). Подобно баядеркам современной Индии, они были посвящены тому же культу в Эриксе, в Сицилии и, если не выходить из пределов Греции, — в Коринфе. Благочестие одних, чванство других находило удовольствие приходить на помощь храмам, делая им приношения рабами; это обычай,

который восходил к героическим временам, обычай, который подтверждают многие надписи, найденные на стенах святилищ; в конце концов для рабов установилось, как особая форма отпущения на волю, «посвящение богам», своего рода «вольная» под гарантией бога. Этот обычай распространился и на самые храмы и на их рабов. Ксенофонт из Эфеса, отправляясь на олимпийские игры, обещал Афродите своей родины в дар толпу девушек, если он вернется победителем; и ода Пиндара — памятник «вечнее меди» (по словам поэта) — прославляет выполнение им своего обета. В этом храме было собрано более тысячи гетер, которых и мужчины и женщины обыкновенно посвящали таким образом богине: они способствовали, по словам Страбона, приливу иностранцев и тем увеличивали богатство города, так как многие из иностранцев там окончательно разорялись. Равным образом и в Коринфе гетеры пользовались своего рода общественным уважением. У них были свои собственные праздники, и в важных случаях древний обычай доверял им заботу приносить богине обеты за государство. Храм в Эриксе, соперник храма в Коринфе, во времена Диодора Сицилийского процветал более чем когда бы то ни было. Нужно сказать, что он стал таким вследствие благочестивой щедрости римских проконсулов и преторов, «которые засыпали его дарами и, слагая с себя всю гордость своего важного положения, предавались до самозабвения играм и сношениям с женщинами, не думая, — прибавляет историк, — что есть для них другая возможность сделать свое присутствие приятным для божества». Но Страбон уже говорит об этом блеске как о давно исчезнувшем. Неизвестно, под влиянием каких обстоятельств эти места могли так быстро «очиститься» в правление Тиберия.

В свою очередь и города имели своих священных рабов, которые без сомнения выполняли свои обязанности при жертвоприношениях и во время празднеств.



Гоплит со своим рабом в походе

Чаще рабы выполняли работы, связанные с потребностями городского благоустройства. На их обязанности лежали общественные работы, и даже, по словам Аристотеля, им поручались определенные должности, считающиеся чисто рабскими, тогда, когда государство считало себя достаточно богатым, чтобы их оплачивать. Отсюда определение государственного раба: «посвященный службе при судах (вообще при должностных лицах) или общественным работам». В Эпидамне все делалось руками государственных рабов, и афинянин Диофант хотел, как говорят, соединить в этой категории всех тех, которые занимались каким-либо ремеслом. В Афинах сверх того было 1200 скифских стрелков в качестве городской полиции и много других городских рабов, число которых Ксенофонт пред-

лагал значительно увеличить, чтобы предоставить государству выгоды от эксплуатации рудников. Рабы частных лиц могли со своей стороны содействовать своим трудом государственным интересам, служа во флоте или в армии. Во флоте их присутствие было явлением обычным. Они служили простыми матросами за счет триерархов, которым надлежало заботиться о снаряжении и поддержании кораблей. В войске мы их обычно находим как рабочих и лишь в виде исключения как солдат, когда к этому вынуждала опасность, угрожавшая государству. Таких примеров мы находим много, начиная с великой эпохи персидских войн вплоть до последних времен Греции, до тяжелых дней ее борьбы против римлян. Тогда, так же как в дни Марафона, освободили рабов, чтобы заинтересовать их общим делом борьбы за независимость. Но было уже слишком поздно, и победитель Мумий продал на одних и тех же аукционах хозяев, взятых в плен, и рабов, получивших свободу.

Как случилось, что государства были доведены до необходимости доверить рабам заботу о своей защите, давать им знаки отличия и вскоре даровать права гражданства? Это было результатом того, что рабство распространилось на весь жизненный обиход, рабы стали обслуживать семью, взяли на себя заботы о земледелии; в их руках оказались различные виды ремесла и искусства; рабы занимали все низшие ступени государственной службы, вытесняя гражданина; и ничто уже не могло бороться против этой революции, которая в демократических республиках действительно шла на смену старому государственному строю. Чего больше всего здесь боялись — это численного увеличения членов общин. Законодатели видели в этом затруднение для своих строго установленных конституций, а граждане — уменьшение привилегий, достающихся на долю каждого из них. Как раз при помощи рабов стремились увеличить ресурсы государства; и, в противо-

положность мнению великих политиков и самых мудрых философов, рабов даже предпочитали поселившимся в стране иностранцам, так как они гарантировали, что исключительно граждане будут пользоваться всеми выгодами от цветущего производства и растущей торговли. Это было плохое предвидение будущего. Даже тем государствам, которые сумели удержать свое свободное население количественно почти неизменным, не удалось сохранить свою прежнюю мощь, так как они не могли защитить характера общественного строя от тех влияний, которые стремились его разрушить; и их рабы, даже еще более многочисленные, не могли дать им нужной дополнительной силы, так как не в союзе с рабами можно сопротивляться свободному народу, каким в день борьбы была Македония, а впоследствии — римляне.

Глава шестая

ЦЕНА НА РАБОВ

Тот беглый обзор различных обязанностей рабов, который я сделал, позволяет мне подойти к двум новым вопросам: о цене на рабов и об их числе в Греции вообще и в частности в Афинах. Два ученых, стоящих на первом месте по своим научным заслугам — Бёк в Германии и Летронн во Франции, — оба избрали эти вопросы предметом своего исследования: первый — в своей «Политической экономии Афин», второй — в работе о населении Аттики. Это говорит за то, что после них остается сделать уже немного, и, по-видимому, можно было бы ограничиться простым пересказом результатов их исследований. Однако более подробный анализ их работ не будет бесполезным. Опираясь на их эрудицию, руководясь тем методом, который они указали, с таким блеском применяя его в своих изысканиях, новый анализ будет в состоянии в некоторых пунктах изменить их метод доказательств и даже их выводы. Сначала я буду говорить о цене на рабов, отсылая читателя к концу этой главы, если он захочет узнать только окончательные результаты, минуя путь довольно сухих и тяжелых доказательств и анализа.

В одном из своих диалогов Лукиан, желая выразить ту оценку, которую давали различным философским школам, устраивает публичную продажу и назначает цены на всех философов. Это рынок рабов. Зевс (торговец) старается вывести их в возможно чистом виде, чтобы прельстить этим покупателей, а Гермес (глашатай) созывает публику, устанавливает в порядке толпу продаваемых рабов и открывает аукцион. Пифагореец продается за 10 мин, но его покупает целое общество заморских греков, его адепты из Кротона и Тарента. Сократ без торга приобретает за 2 таланта; стоик Хрисипп, с помощью удивительного искусства и тонкой хитрости, идет за 12 мин. За перипатетика просят двадцать, потому что в нем два человека: тайный и явный, и, кроме того, Гермес дает понять, что он может получить немножко золота благодаря своим чудесным секретам; поэтому с назначенной цены сбавляется только 4 мины. Скептик Филон (Пиррон?), ленивый и невежественный, продан за мину, эпикуреец — за 2 мины; это человек компанейский, но дорого стоящий и мало полезный. Киренаик, который объявлял себя способным напиваться вместе с хозяином, не находит себе покупателя, как и прославленная чета, не отделимая друг от друга по своему контрасту, — Демокрит и Гераклит, эти два лика мизантропии. Я забыл Диогена-киника, эту «душу мужского пола», этого гражданина всего мира, который всюду и при всяких обстоятельствах чувствовал себя свободным как у себя дома, и который по своей нечистоплотности казался способным только на то, чтобы копать землю. Однако Гермес восхваляет его как очень подходящего для обязанностей привратника (эти обязанности не всегда выполняли мужчины); но покупатель боится подобного сторожа; он скорее хочет сделать из него матроса или садовника и предлагает 2 обولا. Его ловят на этом слове.

В этой игре остроумия, где Лукиан сумел так хорошо подметить обычаи и формы продажи, он, по видимому, должен был взять за основание различные ставки принятого тарифа. Кроме Сократа, который стоит вне конкуренции, и Диогена, за которого была заплачена цена самой плохой собаки, остальные расценки держатся в общем в пределах рыночных цен: мы это увидим на дальнейших примерах; но я не думаю, чтобы мы могли извлечь отсюда какие-либо точные указания о стоимости того или другого вида рабов. Мне кажется, что Бек ошибается, думая найти в оценке Филона — 1 мина — цену людей, предназначенных для работы на мельнице. Тогда на примере Диогена нужно было бы назначить цену в 2 обола за матроса или садовника — такое заключение более соответствовало бы прямому указанию текста. Наоборот, в другом месте покупатель, чтобы заставить Филона идти и доказать скептику свои права как хозяина, грозит ему отослать его на мельницу; отсюда ясно, что он взял его не для этой цели и заплатил за него мину, как за раба ленивого и который ни на что не годится.

Одна фраза у Ксенофонта, цитируемая Бёком, дает нам некоторое представление о расценках, которое более подходит к описываемой эпохе.

Желая показать, что в оценке дружбы существует много ступеней, Сократ употребляет сравнение с продажей рабов: «Среди нас, — говорит он, — один стоит две мины, другой едва полмины; вот этот пять мин, а тот вот даже десять. Больше того: говорят, что Никий заплатил целый талант за заведующего работами в его копях». Последняя цена является совершенно исключительной, и скромная сумма в полмины тем более не могла быть ценой крепкого, сильного раба. Но цена раба уродливого или бесполезного могла падать еще ниже, как, например, было с Эзопом, который, по преданию, был продан за 60 оболов. Остальные цены, указанные Сократом, должны были являться более

обычными. Поищем этому доказательства и посмотрим, к каким различным видам рабов можно отнести подобные цены.

Цена на рабов видоизменялась сообразно с тем, к чему они были пригодны: мужчины, пригодные для работ на мельницах или в копиях, были дешевле всего; затем шли рабы, пригодные для какого-нибудь ремесла, и, наконец, предназначенные для роскоши или для удовольствий.

Для рабов труда их цена, естественно, определялась тем количеством продукта, который они могли дать. Эти два момента, взаимно друг друга определяя, дают возможность пользоваться ими для взаимной проверки. Так, рабы, нанятые для эксплуатации Лаврийских копей, давали хозяину чистого барыша в день 1 обол, или в год 360 оболов; кроме того, предприниматели должны были учесть возможность случайных болезней или бегства рабов, так как по окончании срока контракта они должны были вернуть их в том же числе, в котором они их получили. При 12% на капитал, обычном в Афинах проценте для денежных обязательств, этот доход представлял бы капитал в 3 тысячи оболов, или в 5 мин. Но доход с раба по своей природе является пожизненной рентой. Он должен был не только возместить проценты с покупной цены, но должен был в определенный период времени восстановить и самый капитал, так как этот капитал, помещенный в личности раба, погибал вместе с ним. Чтобы извлечь из раба доходы, соблазнительные и для государства, хозяева должны были из своего капитала извлекать двойной доход сравнительно с обычным. Этот доход, который не был ничуть преувеличенным для большей части рабов, в эпоху, когда можно было поместить капитал без нареканий за большие проценты (18% были вполне законным процентом), не может рассматриваться как чересчур высокий для рабов в руд-

никах. Ведь известно, как быстро изнашивалась жизнь рабочего от такого труда в нездоровых местностях. И, конечно, никто не подумает, что оговорка, которая возлагала на предпринимателя обязательство вернуть по окончании договора то же число рабов, могла установить к выгоде хозяина действительную «вечную ренту». Если несчастные случаи шли за счет предпринимателя, то, без сомнения, при периодическом возобновлении контракта использование и физическое ослабление раба относилось эти убытки за счет хозяина. При 24% 360 оболов ежегодной выручки представляют стоимость в 250 драхм, или 2 1/2 мины, за раба; и если хоть немного поднять отношение дохода к капиталу (например процентов 20—30), цена раба должна была упасть еще несколько ниже. Вот какой вывод, по-видимому, мы можем сделать из текста Ксенофонта. Приведа примеры Никаия и других, которые нанимали себе рабов из расчета одного оболы в день, предлагая государству тот же план финансовой операции, автор говорит: «Если объединить 1200 рабов, то в пять или шесть лет один доход с них даст не меньше шести тысяч». Допустим, как это вполне позволяет продолжение фразы, что государство уже владеет или приобретает на свои собственные деньги первые 1200 рабов и что доход с них будет употребляться, начиная с конца первого же года, на приобретение новых рабов; так как этот доход с каждым годом возрастает и в той же пропорции возрастает число приобретаемых рабов, то можно будет в пять лет приобрести 6 тысяч рабов по 122—123 драхмы, а в шесть лет — по 193—194 драхмы. Так как Ксенофонт должен был показать возможность реализации своей системы в самом близком будущем, то наиболее близким к истине будет срок, наиболее отдаленный, указываемый им, а именно шесть лет, который предполагает стоимость раба в 194 драхмы; и если допустить, что автор, сам того не замечая, не-

сколько преуменьшает обычные цены, чтобы уложить их в свои сметы, то, как можно заключить, реальной ценой раба будет 200 драхм, или 2 мины.

Две цены, довольно близкие друг к другу, установленные выше (одна — стоимость общей продукции довольно значительного числа рабов, другая — полная стоимость еще большего количества), являются неизбежно средними ценами. Это говорит за то, что индивидуальные цены могут быть ниже и выше этой нормы. И действительно, в этой массе людей было много ступеней в зависимости от производственной работы, начиная от рабов, которые были заняты копанием ям и траншей, чтобы получить руду, и кончая теми, которые в мастерских обрабатывали это сырье и выделяли чистое серебро. Итак, существовало заметное различие в продукции, даваемой рабами, и в их стоимости, различие, которое не давало себя чувствовать, когда составлялись сметы на аренду и покупку в большом масштабе, но которое должно было быть учтено при договорах менее общего значения. В одной из речей Демосфена, в которой Бёк думает найти указание на менее высокую цену на рабов этого рода, мне кажется, наоборот, указывается для них более высокая цена. Чтобы можно было судить об этом, разобравшись во всех обстоятельствах, я изложу это дело, о котором идет речь.

Пантенет поручил Мнесиклу приобрести ему кузнечную мастерскую в районе Маронейских копей с 30 рабами, нужными для этой мастерской. Для этой покупки он одолжил 105 мин, которые получил в ссуду от Эверга и Никобула. Мастерская и 30 рабов должны были служить залогом этого долга, и, для того чтобы этот залог был лучше обеспечен, Пантенет составил договор на продажу на их имя. Однако отдельным актом кредиторы условились предоставить ему эксплуатацию мастерской из расчета обычного процента — 1 драхма в месяц, или 12% годовых; и они установили

срок, когда Пантенет получит мастерскую в полную собственность, выплатив занятую сумму.

По ходу речи видно, что мастерская была куплена специально на деньги Эверга, кредитовавшего на это 1 талант, а 30 рабов были куплены на деньги Никобула за 45 мин. Отсюда сделали вывод, в том числе и Бёк, что эти 45 мин представляют стоимость рабов, и, таким образом, определяют стоимость каждого в 1 1/2 мины. Но правильна ли эта цена? Это вовсе не вытекает со всей необходимостью из природы всей этой сделки. Под видом продажи и аренды все эти контракты на самом деле являются не чем иным, как закладной. Если первый передавал заимодавцам вполне реальную собственность, то второй своими ограничительными оговорками оставлял за Пантенетом реальные права на собственность. С этой точки зрения и заимодавец и должник могли говорить об этом имуществе как о своей собственности, но они были связаны друг с другом. И подобно тому как Пантенет не мог располагать рабами без того, чтобы Никобул не отказался от своего права, точно так же и Никобул, который их купил в присутствии и с согласия Пантенета, не мог продавать их без его подтверждения. Таким образом, тут нет полной продажи, и цена, поставленная в контракте, может и не обозначать полной цены. Вполне возможно, что деньги, данные кредиторами, служили не для полной уплаты за мастерскую и за рабов, но для доплаты к той сумме, которую Пантенет остался должен тем, кто дал ему раньше деньги для этой покупки. Действительно, он говорит несколько ниже, что стоимость спорных вещей была гораздо выше той суммы, которую они дали ему взаймы. И это подтверждается тем, что защитник приводит это заявление и не оспаривает его. Пантенет, вернув себе право собственности на рабов и на мастерскую, вновь продает их за 3 таланта 2600 драхм (в общем за 206 мин). Это почти вдвое больше тех денег, что дали ему взаймы оба кредитора

(105 мин). Применяя к этой новой цене мастерской и рабов то отношение, которое нам было дано первым договором, где один обязался талантом, другой 45 ми-нами, мы получим, что мастерская и соответствующая часть копей будут стоить около 2 талантов, а 30 рабов — немногим меньше 90 мин, допустим, 3 мины каждый. Эта средняя цена в 2—2 1/2 мины была ценой рабов, употребляемых на самых простых работах в городе или деревне. Два раба, оцененных по 2 1/2 мины в речи против Никострата, были отданы в наем, один для какой-то работы вне дома, другой для жатвы, сбора винограда и других земледельческих работ. Можно сказать, что это была цена тех рабов, у которых ценилась только их физическая сила.

Цена тех, чей труд требовал больших умственных способностей, поднималась значительно выше. Многие тексты Демосфена, Эсхина и других ораторов дают нам для известного числа рабочих этого рода и полную сумму, и точный доход за год или за день. Но в этих оценках есть некоторые ошибки, которые зависят частью от характера оратора, частью от самой природы исследуемых объектов. Оратор есть прежде всего адвокат и, следовательно, поставлен в необходимость преувеличивать или преуменьшать свои оценки, смотря по обстоятельствам и требованиям своей судебной речи; с другой стороны, даже не предполагая в нем интереса извращать истину, можно думать, что те цифры, которые он приводит, могут иногда представлять лишь приблизительную стоимость рабов. Один пример из Демосфена нам объяснит и подтвердит эти оговорки.

В наследстве, оставленном отцом Демосфена, находились две фабрики: одна оружейная, на которой было 32 или 33 раба и оцененная в 190 мин, другая — кроватная, на которой было 20 рабов, заложенная за 40 мин, всего 230 мин для 52 или 53 рабов, которые были у него в тот день, когда опекун взялся за управление его состоянием. Когда он сдавал отчет, то 14 из

этих рабов с суммой денег в 30 мин и домом той же ценности составили всего 70 мин, т. е. 10 мин за 14 рабов. Комментатор Демосфена приписывает это обесценение их старости, инвалидности и т. д.; поверим, что и соображения оратора способствовали этому. Но эта стоимость, приписываемая обоим мастерским (190 и 40 мин), допуская всю ее точность, может ли она одна служить для определения стоимости рабов? Могло бы показаться, что, согласно первой цифре, нужно установить среднюю цену на оружейников в 6 мин и в 2 мины — для рабочего по кроватному делу. А между тем это совсем не так. Последние не были куплены, но были наняты в числе двадцати под кредит в 40 мин, а обычно бывает, что залог превышает по стоимости сумму, которую он гарантирует. Эта оценка, которая дает 2 мины за человека, может быть ниже действительной стоимости. В другом случае, наоборот, сумма в 190 мин за всю мастерскую может быть много выше цены одних только рабов; ведь сам Демосфен говорит нам, что эти рабы стоили по меньшей мере 3 мины, а другие — 5 и 6 мин, и по конъюнктуре Рейске их нужно различать так: тридцать по цене не меньше 3 мин, а два или три, являвшиеся, без сомнения, руководителями производства, по цене от 5 до 6 мин. Сочтем 105 мин для первых тридцати из расчета по 3 1/2 мины за каждого и 15 мин для 2 или 3 остальных; всего получится 120 мин; остающиеся 70 мин будут представлять стоимость оборудования, помещения и орудий труда.

Текст Демосфена дает нам прямо цену в 3 и 6 мин за раба-кузнеца: 3 мины за простого рабочего, 6, вероятно, за руководителя производством. Один текст Эсхина позволяет нам подойти, правда, окольной дорогой, к очень близкому результату. Он говорит нам, что отец Тимарха имел 9 или 10 рабочих, сапожников, приносящих по 2 обола в день дохода, а руководитель мастерской давал 3 обола. Сколько давали они в год? Исходя из годового дохода по известному уже отноше-

нию, можно подойти к определению основного капитала. Другими словами, сколько в году было у них трудовых дней? В общем это зависит от условий, в которые поставлен раб. Если он нанят на год, то цена его труда должна быть распределена на все дни из расчета 360 дней в году, как это показывает Ксенофонт в своих вычислениях; в других случаях трудовыми днями нужно считать дни, когда рабы дают какую-либо продукцию, и таких дней нельзя считать больше трехсот в году. Таков, вероятно, был случай с рабочими Тимарха: годовой доход с них был, таким образом, равен 600 оболам с человека, а с руководителя мастерской — 750 оболам; допуская между этим доходом и капиталом обычное отношение 25:100, получим, что раб будет стоить 400 драм, или 4 мины, а руководитель — 6 мин.

Если можно установить обычную цену рабов, занятых добыванием серебра или тяжелыми сельскими работами, в 2 или 2 1/2 мины, то, по-видимому, средняя цена раба-рабочего должна быть более высокой, например от трех до четырех мин, а для заведующего мастерской — в полтора раза больше: от 5 до 6 мин. То, что Никий заплатил за своего управляющего целый талант (60 мин), является случаем исключительным и не может приниматься в расчет при установлении средней цены раба.

Домашние рабы ценились так же различно, как и рабы на других работах, в зависимости от того, используются ли они для простого обслуживания или же для работ, требующих большего умственного развития, или для более интимных услуг. Демосфен в процессе о наследстве Спудия называет раба ценой в 2 мины, но не дает точного указания о его занятии. В речи против Феокрина одна рабыня оценена в 5 мин, но эта цена, являясь результатом Судебной оценки, может быть рассмотрена здесь как максимальная. Цена в 5 мин была довольно обычной, если раб приносил на службу своему господину какой-либо свой талант.

У Плануды мы находим, что вместе с Эзопом был продан певец за тысячу оболов (155 драм, или $1\frac{2}{3}$ мины) и «грамматик» (ученый) за 3 тысячи оболов (5 мин), цифры, которые в конечном счете, если их признать правильными, дают невысокое представление о голосе певца и о знаниях «грамматика»: один стоил дешевле, чем рабочий на рудниках, а другой — дешевле заведующего сапожной мастерской. Софисты, которых Афиней хотел поставить вне всякой цены, продавались так же, как и другие; это доказывается на тысяче примеров. Цена в 10 мин, данная Ксенофонтом, и цены Лукиана на учеников Пифагора (10 мин), стоиков (12 мин) или учеников Аристотеля (16 мин) скорее могут дать представление о стоимости образованных рабов, хотя последние цены и использование подобных рабов относятся скорее к римскому периоду. Рабы, занятия которых специально предназначались для удовлетворения потребностей в роскоши, стоили много дороже. Самого плохого повара нельзя было нанять дешевле одной драхмы (6 оболов), а у Плавта один из поваров уверяет, что его нельзя нанять дешевле чем за один *nummus*, — это двойная драхма, или 12 оболов; латинский поэт всегда этим словом обозначает стоимость этой монеты. За эту цену нанимались флейтистки, вольноотпущенницы или рабыни. Что касается других рабов, цена которых вполне зависела от прихоти или от фантазии, то эта цена могла быть еще более высокой. Два афинянина, которые составили компанию, чтобы купить Неэру, заплатили за нее 1/2 таланта, или 30 мин, а когда ею пресытились, предложили ей свободу за 20 мин, внося каждый по 500 драм при условии, что она не останется в Коринфе. Эту же цену в 20 и 30 мин приводит и Исократ. Эти же цены можно найти наиболее часто в новой комедии, у Филемона, Дифила и Менандра, лучшие произведения которого Теренций перенес в римский театр. Теренций оценивает маленькую рабыню, некоторую обстановку и мел-

кие расходы в 10 мин; флейтистка стоит 20 мин; любовница Федрия — 30 мин; маленькая негрятка и евнух — 20 мин. Но здесь мы уже подходим к временам после Александра, и, как мы увидим ниже в связи с Римом, эти цены тогда были приложимы даже к рабам, приобрести которых господа не так уж стремились.

2

Если могли явиться некоторые сомнения относительно зачастую очень интересных вычислений ораторов или совершенно свободных оценок поэтов, то в историческом материале мы находим основания для того, чтобы их рассеять. Правда, историки говорят реже о рабах, чем о пленных, менее о повседневных ценах, чем о выкупных деньгах; но выкупные суммы за пленных обычно должны были регулироваться средней стоимостью рабов. Ряд документов, приводимых Бёком, дает нам возможность проследить постепенное повышение цен из века в век. Незадолго до начала персидских войн выкуп составлял 2 мины; во времена Дионисия Старшего — 3 мины; во времена Филиппа — от 3 до 5 мин, при эпигонах Александра — 5 мин за раба и 10 мин за свободного. Именно за эту цену в 5 мин Клеомен, не имея возможности восстановить гражданское население Спарты, предложил илотам свободу и право с оружием в руках вместе со спартамцами защищать наводненную врагами страну. Как можно видеть, эти цены вполне соответствуют средней цене рабов, установленной ораторами, и той, которая должна была быть ходовой в те времена. Я оставляю в стороне выкупные суммы некоторых лиц, выдающихся или по своим нравственным качествам или по богатству: Платон был выкуплен за 20 или 30 мин, Никострат — за 25 мин, а известный Амфилох, посланный Филиппом, чтобы вести переговоры о выкупе пленных и аресто-

ванный Диопитом, мог получить свободу только ценой уплаты 9 талантов. Но эти цены, определенные жадностью пирата, спекулировавшего на своей добыче, не могут считаться мерилем стоимости, равно как и цены за какую-либо рабыню, диктуемые страстью или капризом.

Источники другого рода возвращают нас к тем средним ценам, которые мы приняли.

Прежде всего это египетский папирус — тот хрупкий документ, из которого Летронн сумел извлечь столько исторических данных специально по рабству, — сообщающий нам о двух беглых рабах. Вознаграждение, обещанное за них тому, кто приведет беглеца, равно 2 талантам 3 тысячам драхм; тому, кто укажет, где они скрываются, — 1 талант 2 тысячи драхм, если это место священное, и 3 таланта 500 драхм — если это жилище состоятельного человека, — разница, которая может показаться странной, но которая вполне объяснима. Если раб находится под покровительством места, обладавшего правом убежища, то более трудно получить его обратно; но если он нашел убежище у частного человека, имеют право потребовать его выдачи со всеми проторями и убытками, если это человек состоятельный.

Цена, даваемая тому, кто приведет раба, освобожденная от этих привходящих моментов, точнее представляет нам стоимость, которую тогда имел раб: 2 таланта 3 тысячи драхм. Летронн указал, что тут дело идет о медном таланте, соответствовавшем мине серебра. Таким образом, эта сумма равна 2 1/2 минам — цена умеренная для этой эпохи. Это объявление, найденное среди бумаг более позднего времени, имеет свою дату благодаря гениальной прозорливости ученого критика; она датируется 25-м годом царствования Птолемея Эвергета II (Фискона), 9 августа 145 г. до н. э. Может быть, действительно вознаграждение было несколько ниже настоящей цены за раба; нужно считать более

или менее несомненным, что и хозяин был заинтересован найти его и что этот интерес его не был бескорыстным. Заметим, кроме того, что дело идет о двух беглецах, и это само по себе понижало их стоимость. Больше того, у одного из них это было уже не первой попыткой к бегству: он носил на себе печать прежней вины; и, наконец, по-видимому, они были употребляемы для самых низких работ в домашнем обиходе.

Кроме этого папируса у нас есть средство для контроля этих данных при помощи довольно большого числа надписей из Дельф. Они указывают на посвящение или на освобождение рабов под видом продажи, где бог является покупателем; цена, внесенная рабом в руки того, кто выполняет этот акт, точно обозначена в этом торжественном контракте. Эта цена чаще всего равна 3 или 4 минам. В 431 надписи из собранных Вешером и Фукаром приблизительно 150 рабов, мужчин и женщин почти в равном числе, были проданы по цене 3 мины каждый и 120 — по 4 мины. От этих средних цифр цены уклоняются в сторону повышения и понижения очень заметно. Так, 45 человек, из них 20 женщин, были проданы по 2 мины; 14, большей частью молодые мальчики и девушки, — немного дороже 1 мины, трое или четверо — дешевле 1 мины; но, с другой стороны, мы там находим 40 человек, женщин и мужчин, проданных по 5 мин; от 20 до 25 человек продано по 6 мин; один мужчина — за 7 мин; один купленный раб и один сидонянин — за 8 мин; еще другой — за 9 мин; 3 женщины, рожденные в доме, проданы за 7, 8 и 10 мин; другая женщина — за 8 мин; еще одна, которая умела играть или выделывать флейты, — за 10 мин; одна женщина, рожденная в доме, — за 15 мин. Варвары не исключены из числа тех, за кого платятся самые высокие цены. Из пяти человек, оцененных по 10 мин, — два фракийца и один галат. Неккий армянин дошел до цены в 18 мин. Другие подобные же надписи, найденные в Халеоне (недалеко от

Амфиссы) и в Тифорее (в Дориде), дают цифры, которые достигают и даже превосходят самые высокие цены дельфийских надписей. В Халеоне было внесено за раба тысячу драхм (10 мин); в Тифорее раб был оценен в 5 мин, одна женщина по двум надписям — в 10, а цена за одного мужчину дошла даже до 20 мин. Что касается средних цен в 3 и 4 мины, то если они несколько ниже тех, которые мы получили в других случаях для того же времени, то нужно заметить, что эти акты в сущности являются актами не продажи, а отпущения на волю на довольно тягостных условиях, и что многие из них соединяют с выкупной суммой требование оставаться у продавца определенное время, иногда в течение всей его жизни, или платить ему (или кому он укажет) определенный оброк. Подобного рода условия создавали дополнительную плату, которая должна была необходимо отразиться на первой. Женщина, проданная богу за 5 мин при условии оставаться у своих хозяев до конца их жизни, тотчас откупается от этого обязательства за 3 мины; второй акт написан сбоку на той же плите, как и первый.

Многие из этих надписей, очевидно, относятся к римскому периоду, как, например, надпись Гиамполиса, которая упоминает имя Траяна; все надписи принадлежат по меньшей мере к эпохе после Александра: Курциус, а за ним и Вешер и Фукар полагают, что ни одна из них не может быть отнесена ко времени ранее македонской эпохи. Таким образом, они принадлежат к тому времени, когда деньги, став менее редкими, подняли цену вещей; поэтому надо думать, что и средняя стоимость будет несколько выше, чем во времена Демосфена. Но эта средняя стоимость, которую, принимая в расчет все привходящие обстоятельства, можно установить в 4 или 5 мин, подтверждает более низкие цифры, к которым мы пришли для предшествующего времени. Исключения в ту или другую сторону не имеют здесь значения. Цены в мину и меньше касались

детей или имели место в особых случаях. Если такие особые условия отсутствовали, то можно думать, что тут были основания, которые подразумевались: основания привязанности, как в том случае продажи рабыни, рожденной в доме, когда она была оценена в 20 статеров (80 драм) молодой девушкой, которая отдает ее богу с согласия своей матери и своих братьев; это своего рода среднее между дарением и продажей, освобождение на волю почти даром; но тут может быть также основание выгоды: раб может быть настолько бесполезным, что есть полный расчет для хозяина избавиться от него за мину, за 20 статеров и даже еще дешевле. Что же касается цен в 10, 15 и 20 мин, в них нет ничего экстраординарного для отдельных случаев. Ведь даже во времена Демосфена, как мы видели, двое граждан купили Неэру за 30 мин и дали ей вольную за 20 мин; заметим кстати, что обычно такие повышенные оценки мы встречаем при женских именах.

Подводя итог, мы можем сказать, что в период между Пелопоннесской войной и владычеством Александра цены на рабов были 2—2 1/2 мины; это были рабочие в рудниках и на работах низшей квалификации; от 3 до 4 мин — для рабов-ремесленников; от 5 до 6 мин — для руководителей мастерских; соответствующими были цены на домашних рабов, смотря по их служебным обязанностям; цены повышаются до 10 и 15 мин для рабов выдающихся умственных способностей или знаний; эта цена повышается еще более для рабов, предназначенных для специальных целей роскоши или личных удовольствий (об этом можно судить по многим примерам найма или продажи); цена поднимается в этих случаях до 20 или 30 мин. Здесь не может быть установлено границ. Но когда мы имеем дело с большими массами, каково бы ни было положение каждого отдельного лица, средняя цена остается 2 мины во время персидских войн, около 3 мин в

течение Пелопоннесской войны и правления Александра и от 4 до 5 мин при царях, наследовавших ему.

Вот что стоил человек у греков! Образованный человек во времена Демосфена мог стоить столько же, сколько и лошадь; правда, Аттика имела мало лошадей и много образованных людей. Действительно, человек, как только он становится простым орудием, которым можно торговать, не стоит больше того, что он дает в обиходе; и если при стечении известных обстоятельств этого товара предлагают больше, чем требуется, то и цена на рабов понижается и будет ниже цены самых обыкновенных вещей: во Фракии часто людей меняли на соль. Положение рабов, без сомнения, не будет всегда меняться в соответствии с этими изменениями в цене, так как нельзя совершенно отрешиться от их природных качеств; но, с другой стороны, невозможно, чтобы их стоимость не влияла на их положение; человек, попавший в разряд вещей общего хозяйства, плохо или хорошо, но подчиняется жестокому закону собственности.

Глава седьмая

О КОЛИЧЕСТВЕ РАБОВ В ГРЕЦИИ, В ЧАСТНОСТИ В АТТИКЕ

Стоимость рабов является вопросом интересным, но имеющим лишь специальное значение. Он ничего не прибавляет нам к знакомству ни с положением рабов, ни с характером их работы; он только классифицирует их в зависимости от стоимости среди других вещей, в число которых они занесены. Определение числа рабов имеет гораздо большее общее значение. Пока численность рабов не определена хотя бы приблизительно, трудно заключить, в какой степени те источники, которые питали рабство, способны были регулярно содействовать его распространению, каков был удельный вес рабства в труде и какое место занимало оно в законе. Было бы еще более трудным делом определить, как я попытаюсь сделать это несколько ниже, то влияние, которое этот институт рабства должен был оказать на классы свободных и на классы порабощенных. Чем объясняется частая необходимость сдерживаться господину при всей полноте его абсолютной власти? Почему, испытывая такие мучения, такую безнадежность, раб проявлял терпение, безропотную покорность, вплоть до тех дней общего брожения и смуты, когда были поколеблены самые основы

античного общества? Для того чтобы ответить на все эти вопросы, касающиеся общества, состоящего из свободных и рабов, выяснить все проблемы, которые могут возникнуть по поводу его конституции, характера и духа, — для этого нужно прежде всего, чтобы было установлено, в каком соотношении участвуют оба эти элемента в его формировании. Таким образом, простой, казалось бы, вопрос о цифрах поднимается на высоту вопроса социального. Этот вопрос является одним из основных вопросов истории рабства. Его важность оправдывает, без сомнения, тот подробный разбор отдельных вопросов, к которому я приступаю.

1

То, что мы видели относительно применения рабов и той выгоды, которую можно было от них получить, заставляет нас думать, что они были очень многочисленны в Афинах и в тех городах, которые, подобно Афинам, занимались ремеслом и торговлей. Если верить участникам пира у Афиня, то перепись Деметрия из Фалер подсчитала в Афинах 20 тысяч граждан, 10 тысяч метеков и 400 тысяч рабов; в Коринфе, по его же словам, было 460 тысяч рабов, а в Эгине — 470 тысяч. Эти цифры, в общем принятые современными авторами, были подвергнуты Летронном пересмотру. Прежде всего он отметил обычную неточность компилятора и исключительные преувеличения в этом отрывке; на пиру каждый старался перешеголять своего соседа по столу, приводя цифры и произвольно повышая их сравнительно с ранее указанными. Достаточно будет одного примера: Эгина, бесплодный утес в 4 квадратных мили, — и на нем 470 тысяч рабов! Таким образом, поставив под сомнение правдивость этих данных, Летронн занялся вопросом о населении Аттики. В блестящем исследовании, где данные современной статистики приходят на помощь, чтобы объяснить

и проверить тексты древних писателей, он показал, что число афинян, достигших гражданского возраста, т. е. старше двадцати лет, довольно устойчиво держалось в пределах от 19 до 21 тысячи для обоих периодов: и от Пелопоннесской войны до битвы при Херонее, и от Херонейской битвы до первых преемников Александра. В среднем для каждого из этих периодов мы получаем цифру 20 тысяч. После нового закона о населении это число выражается цифрой 33434 для всего мужского населения, а вместе с женщинами мы получаем общее число жителей Афин в 66868 человек. Затем 10 тысяч метеков, отмеченных в списках по переписи, в возрасте, способном носить оружие, т. е. от двадцати до шестидесяти лет; это дает для мужского населения 19629 человек и для всего населения — от 39 до 40 тысяч. Таким образом, первые две цифры Афиней, касающиеся граждан и метеков, вполне приемлемы; остаются рабы, которые учитывались не по полу, не по возрасту, но поголовно, как скот, без различия возраста, пола или положения; их количество нас интересует особенно, и преувеличение их числа особенно хотел доказать Летронн. Фразе Афиней, который насчитывает в Лаврийских рудниках десятки тысяч рабов (там можно предположить, говорит он, более чем 720 тысяч человек), он противопоставляет отрывок из Ксенофонта по поводу эксплуатации этих рудников. По словам Ксенофонта, государство должно было бы, для того чтобы вести там работы, иметь рабов в количестве, превышающем в три раза количество афинян. Если допустить, что тут говорится только о собственно афинянах, об афинянах, вписанных в гражданские списки, тогда дело идет здесь только о 60 тысячах рабов, и автор, советуя далее прибавить 10 тысяч, по-видимому, хотел этим достичь той цифры, которую он наметил, и оправдать этим свои предположения. Таким образом, в действительности могло быть 50 тысяч только рабочих; женщины и дети

не должны были приниматься в расчет при этом исчислении. Но, как это явствует из многих мест, среди рабов женщин насчитывалось гораздо меньше, чем мужчин, еще меньше семейных и мало детей. Поэтому Летронн считает для этой группы слабых и хрупких вполне достаточным удвоить то число, которое он определил для мужчин, способных к труду, т. е. всего 100 тысяч.

Когда вопрос прошел через такие искусные руки, когда тексты в достаточно большом количестве уже собраны и сопоставлены, тогда более легко еще раз проверить их критически. Я позволяю себе возвратиться к некоторым пунктам работы Летронна, конечные выводы которого я изложил, и прежде всего остановиться на двух основных для нас пунктах. Мне не представляется необходимым, как это делает Афиней, увеличивать количество рабского населения Аттики до 720 тысяч душ или снижать его вместе с Ксенофонтом до 50 тысяч рабов-мужчин в возрасте, пригодном для работы. У Афиней мы имеем два момента: есть число 400 тысяч рабов — число, заимствованное из переписи Деметрия Фалернского, по авторитетному указанию Ктесикла; и затем мнение, высказанное другим участником пира, единственно под гарантией самого автора, что все эти десятки тысяч рабов работали в рудниках. Если бы он сказал даже «все» или «большой частью» (а он не говорит определенно ни того, ни другого), то и это утверждение во всяком случае было бы преувеличением. И это преувеличение объясняется как формой беседы, так и ролью того лица, которое в качестве римлянина хотело возвысить Рим перед Грецией: в Риме столько тысяч рабов употребляются единственно для роскоши, тогда как в Греции этот крез Никий употреблял их на тяжелых работах с целью наживы. Таким образом, какова бы ни была в сущности мысль Афиней, сопоставление этих двух фраз совершенно ясно представляет не продолжение и не дополнение его

мысли, но два различных, противоречащих друг другу, утверждения. Нужно выбирать между толкованием автора и текстом, который, будучи дан как результат переписи, включает в себя необходимым образом общее количество населения, в том числе и население рабское, женщин и мужчин всех возрастов и всех профессий. Я не ставлю здесь вопроса ни о подлинности, ни о верности этого места, я стараюсь найти только правильный смысл его, и он не может быть сомнительным.

Основной текст Афиней относится, таким образом, ко всем рабам, а не только к рабочим в копиях. У Ксенофонта, наоборот, вопрос идет только о рабах, работающих в копиях в пользу государства; содержание этой главы совершенно точно объясняет его мысль. Он говорит о доходах Аттики и, главным образом, о средствах, скрытых в Лаврийских копиях, таких средствах, которые, по-видимому, все увеличиваются, вместо того чтобы уменьшаться; он указывает, что не хватает рук для их эксплуатации, что ресурсов копей хватит для всякого предприятия; никакая конкуренция не может быть им страшна, никакое изобилие материала не может понизить их стоимости. Таковы были выставленные им принципиальные положения (я не берусь их защищать); таковы выводы, которых в дальнейшем я не поддерживаю. Государство уступало частным лицам некоторую часть копей за известное вознаграждение; с другой стороны, богатые граждане, не эксплуатируя никаких участков лично сами, держали рабов, которых они отдавали в наем предпринимателям на известных условиях. Филонид, Гиппоник, Никий, как мы видели, имели по 300, 600 и 1000 рабов, из которых каждый приносил им в день по 1 оболу дохода за вычетом всех расходов; время Ксенофонта дает нам много других аналогичных примеров. Так, рудники, гарантируя предпринимателю определенную выгоду, становились источником новых доходов: для государ-

ства, которое сдавало участки, для богача, который отдавал в наем рабов. Пусть государство тоже владеет рабами и имеет возможность сдавать их в наем тому, кто получил от него в аренду на определенный срок участок; таким образом оно могло бы удвоить свою прибыль. Нет ничего проще этого плана; нет ничего легче его реализации. Государство больше чем кто-либо другой в силах приобрести рабов; оно их возьмет от всех, кто только захочет ему продать их. И это будет справедливо по отношению к тем, кто боится такой конкуренции. Лучше чем кто-либо государство может отдать рабов в наем, так как те, кто занимается эксплуатацией этих копей, уже обязаны ему по самой природе своего предприятия. Итак, пусть государство приобретает столько, чтобы на каждого афинянина приходилось по три раба, всего приблизительно 60 тысяч. Это чистых 60 тысяч оболов в день, за вычетом всех расходов, без малейшего риска; это, считая в году 360 дней, 600 талантов в год дохода; такой доход, который афиняне получали с союзников во времена Перикла! Без сомнения, нельзя найти лучшего помещения общественных денег; и прибавьте, что нет помещения более верного. Ведь в конце концов, говорит Ксенофонт, так как серебро частных лиц ничем не отличается от серебра государственного, кто может помешать откупщикам доходов обратить его обманном образом в свою пользу? Украсть так просто государственных рабов будет нельзя, так как на них будут клейма.

Анализируя эту главу Ксенофонта, я отчасти ее и комментировал тем, что к словам автора я прибавил свою интерпретацию. Но те тексты, которые я здесь цитирую, подтвердят, думаю, мой комментарий. Я остановлюсь более специально на том мнении, с которым я считаю нужным не соглашаться. Ясно, что Ксенофонт не говорит, будто нужно увеличить рабское население Аттики до 60 тысяч человек, способных к труду, но он предлагает установить, независимо от

частных рабов, корпус в 60 тысяч рабов государственных, которых можно будет отдавать в аренду в интересах государственного казначейства для эксплуатации копей. Предложение «до тех пор, пока не будет по три на каждого афинянина» относится к подлежащему, которое непосредственно предшествует ему: «государственные рабы» — слова, неотделимые в этой фразе, неотделимые и в мыслях автора, который как раз и устанавливает эту противоположность между рабами, находящимися в частном владении, и теми, приобретение которых он рекомендует государству, вплоть до доведения их до установленного числа. Если предполагаются оба вида рабов (текст, по моему мнению, абсолютно не дает нам на это права), то эти выражения должны были бы в дальнейшем по необходимости применяться или к общему официально засвидетельствованному числу рабов без различия пола и возраста (и отсюда пришлось бы заключить, что это число во времена Ксенофонта не поднималось выше 60 тысяч человек), или к рабам, о которых специально идет речь в этой главе, к рабам из копей, и это соответствует тому смыслу, которого я считаю нужным придерживаться.



Рабский труд на рудниках в Древней Греции

Но что делать с этими 60 тысячами человек помимо указанного труда в копиях? Всегда ли Лаврийские копи требовали такого количества рук? Ксенофонт предвидел такое возражение, и у него есть ответ на него. Когда будет много людей, которых можно нанять, будет много и лиц, готовых их нанимать, и те, которые имеют уже рабочих, будут еще брать их у государства, так как в копиях еще много работы. Но он допускает, что его проект не будет выполнен целиком; он просит, чтобы его хотя бы признали в принципе и чтобы по мере надобности его начали выполнять, и при этом на те средства, которые это предприятие будет само приносить ежегодно. В результате последует увеличение рабов с 1200 до 10 тысяч, приносящих 100 талантов дохода. Но, говорит он, доход на этом не остановится; высчитывая этот доход с каждого раба отдельно, он полагает, что их число не перестанет увеличиваться. «Ведь все доказывает теперь, — говорит он, — что там никогда не будет столько рабов, сколько требует работа», и он указывает еще на неиссякаемое количество этих рудных богатств, их безграничное распространение в ширину, их беспредельную глубину. Однако, чтобы продолжать развитие этого дела до такой высоты, чтобы Атика могла извлекать из своей собственной почвы те доходы, которые она некогда получала извне, «чтобы она могла удовлетворять свои собственные нужды и перестала беспокоить греческие племена своими честолюбивыми планами», одного частного производства недостаточно. Частные лица не настолько богаты, чтобы предпринять новые разведки и решиться на новые работы в надежде на более или менее счастливую находку. Нужно, чтобы шансы на выгоду и потери стали общими; с этой целью автор предлагает объединение десяти фил, с тем чтобы сообща эксплуатировать эти недра при помощи государственных рабов. Вот последнее слово ксенофонтской системы и вот также полное объяснение этой фразы

относительно государственных рабов, предназначенных к этому труду: «с тем чтобы их приходилось по трое на каждого афинянина».

Было необходимо изложить эту античную утопию во всем ее объеме, чтобы лучше понять эти цифры, лучше оценить их значение. Очевидно, 60 тысяч рабов, приобрести которых предлагает Ксенофонт, относятся лишь к одной отрасли афинского ремесленного производства, к эксплуатации копей, и существуют только в теории. Таким образом, отсюда нельзя сделать никакого заключения об общем числе афинских рабов. Можно сказать лишь следующее: так как он, не отказываясь от выполнения своих надежд в будущем, в данный момент ограничивает выполнение своей системы пределами, соответствующими действительности, то число 10 тысяч человек, на которых он основывает свои расчеты, может быть, и есть число тех рабов, которые тогда употреблялись частными лицами на работах в Лаврийских копиях; это как раз то число, к которому пришел и Летронн после ряда точных и убедительных доказательств, где он сравнивает предполагаемые доходы от Лаврийских рудников с доходами при современной эксплуатации подобных копей.

Таким образом, ясно, какое заключение можно вывести из текста Ксенофонта, сопоставив его с указанным местом Афиней. Как было сказано, у Афиней даны два момента: число рабов в количестве 400 тысяч, данное как результат переписи Деметрия из Фалер, следовательно, число, включающее всю группу рабов целиком, и утверждение, что эти мириады рабов работали в копиях, — утверждение, не ясное даже по самой форме выражения и являющееся в меньшей степени убеждением и мыслью автора, чем особым приемом диалога. Это мнение, взятое в буквальном смысле слова, уже сразу опровергается тем самым текстом, который оно хотело комментировать, и никогда нелепое примечание не может сделать сомнительным

ясный и точный текст; даже если взять его приблизительно, не в буквальном значении, оно опровергается Ксенофонтом, как это неопровержимо доказал Летронн. Но цифра переписи остается неоспоримой, и нужно искать в другом месте оснований, чтобы ее опровергнуть или подтвердить.

Единственный текст, который можно привести для опровержения, текст, которым не пользовались при обсуждении этого вопроса и который между тем должен быть наиболее известным, — это текст Фукидида.

В VIII книге, гл. 40, упоминая о Хиосе и о волнениях рабов при нападении на этот остров афинян (413 г.), он говорит, что рабы «были там очень многочисленны, более многочисленны, чем в каком-либо другом государстве, за исключением Спарты». Если бы афиняне имели рабов больше, чем в Спарте, зачем бы он искал сравнения где-либо в другом месте? Спарта имела во времена Геродота 8 тысяч человек, способных носить оружие, т. е. от 20 до 60 лет, и очень вероятно, что на каждого из них приходилось 7 илотов в том же возрасте, т. е. всего 56 тысяч; по сделанному ранее расчету, спартанцы составляли 31400 человек, илоты — 220 тысяч. Только ли на них намекает Фукидид, или сюда нужно присоединить также и покупных рабов? Их было мало в Спарте, но, конечно, много у периеков, которых обыкновенно зачисляют в ряды лакедемонян. Периеков же, как мы видели выше, было приблизительно 120 тысяч, и их 30 тысяч участков было вполне достаточно для существования 240 тысяч жителей. Можно было бы со всей точностью считать здесь число рабов равным числу свободных людей, и эти рабы, присоединенные к илотам, дали бы всей массе рабов приблизительное цифровое выражение в 340 тысяч душ — число, сильно преувеличенное и тем не менее ниже того, которое приписывает афинянам, по словам Афиней, перепись Деметрия из Фалер.

Этого достаточно, чтобы разрушить достоверность

текста, но совершенно недостаточно, чтобы установить максимум рабского населения у афинян: число, колеблющееся в пределах от 220 до 340 тысяч, является поистине не поддающимся точному определению. Но мы имеем еще данные для сравнения Спарты и Афин. Хиос имел рабов меньше, чем Спарта, и больше, чем какое-либо другое государство, значит больше, чем Афины. Каково могло быть рабское население Хиоса и с какой цифрой населения Лаконии можно было бы его сравнить?

Остров Хиос был одной из самых цветущих колоний. Фукидид называл его жителей самыми богатыми среди греков; он восхваляет их выдержанный и умеренный образ жизни, который они сумели сохранить при растущем благосостоянии. Они были первыми среди афинских союзников. Историк всюду называет то их одних, то вместе с лесбосцами среди тех, которые доставляли афинскому государству наибольшее количество кораблей; и когда жители Хиоса отделились от Афин, у них был флот в 60 кораблей. Такое богатство, такое процветание, такое могущество предполагали в те времена очень большое число рабов. Но могло ли это число доходить до 340 тысяч? Весь остров имел приблизительно 32900 квадратных олимпийских стадий, или 329 квадратных географических миль, равных 1126 квадратным километрам. Предполагая, что число свободных было почти равно афинскому населению — приблизительно 65 тысяч человек, — нужно было предположить на Хиосе около 400 тысяч жителей. Более вероятно, что Фукидид при своем сравнении имел в виду коренное рабское население Лаконии, государственных рабов Спарты, илотов, с которыми впоследствии Стефан Византийский в свою очередь сравнивает рабов на Хиосе. Тогда максимум составил бы 220 тысяч. Но, с другой стороны, принимая во внимание все элементы процветания, присущие этому государству с его прекрасно обработанной территорией и при

безграничной легкости иностранного ввоза, учитывая те частые мятежи, от которых ему приходилось так страдать, можно думать, что истинное число его рабов было очень близко к пределу, указанному Фукидидом: примерно 210 тысяч, а всего населения 275 тысяч; приблизительно трое рабов на одного свободного и 245 жителей на квадратный километр. Это не так уж много, принимая во внимание исключительное положение Хиоса, и не так много для острова, который славился среди греков как первый и самый большой их рынок.

Этот факт, кроме того, подтверждается тем, что мы будем ниже говорить о рабском населении Аттики. Если, по Фукидиду, наибольшее количество рабов было на Хиосе, то, с другой стороны, все данные историков, комиков и ораторов не позволяют оценивать его ниже 200 тысяч душ. Я попытаюсь это показать в дальнейшем, просматривая различные работы, на которые посылались рабы, и, может быть, возражения, выдвинутые против такого числа, дадут дополнительно доказательства для поддержки моего положения.

2

Условимся заранее: не следует ожидать встретить у греков легионы рабов, прикомандированных к обслуживанию знатных римлян. В Аттике могли быть богатые дома, но она совсем не имела настоящих дворцов, жилищ, огромных, как целые города, и организованных, как целые государства. После подозрения в задолженности государственному казначейству обвинение в роскоши и великолепии было тем обвинением, которого при судебных процессах особенно боялись для себя тяжущиеся стороны. Крупное богатство, выставленное с большим блеском, будило алчные инстинкты толпы в эти времена крайней демагогии, когда ее страсти властвовали над законом. «Не нужно, — гово-

рит Аристофан, — чтобы у одних видели многочисленную толпу рабов, а у других не было даже одного провожатого». Это было народное мнение, и народ имел два средства провести его в жизнь: конфискация и обмен. Конфискация — закон несправедливости, еще более несправедливый по своему применению при той форме правления, когда народ был судьей и судил по своему произволу; обмен — закон уравнивания, простое и суровое выражение основного положения конституции, доведенного до крайности; могучее средство, установленное в недрах самого народа, чтобы между всеми поддерживать равенство в выполнении государственных обязанностей; это средство, поражая наиболее крупные состояния, казалось, должно было во всякий данный момент непреложным образом вновь вернуть их к общему уровню. Но народ вовсе не был так слеп в своих демократических устремлениях, чтобы во имя идеи химерического равенства жертвовать своими насущными интересами. Он чувствовал, что крупные состояния, которые несли на себе всю тяжесть государственных повинностей, были для других и защитой и средством избавления от этих повинностей. Поэтому закон гарантировал промежуток минимум в один год для выполнения литургии — этого добровольного выполнения экстраординарных государственных повинностей, и за это время торговые предприятия, банки, спекуляции могли дать средства, чтобы покрыть ими расходы на устройство общественного праздника или снаряжение корабля.

В Афинах всегда были богатые; Платон утверждает, что обычно у каждого из них было в среднем по 50 рабов. При таком количестве их широко использовали для всех видов домашней работы: можно сказать вместе с Демокритом: «Я пользуюсь рабами как членами своего тела, каждым для отдельной цели». И Теренций, этот изящный и верный подражатель Менандра, этот столь точный истолкователь нравов Греции с под-

мостков римского театра, дает в некоторых из своих пьес ясное представление о разделении разнообразных функций в домашней жизни между довольно большим числом рабов. Но все же старались избегать слишком бросаться в глаза своим богатством, чтобы оно не очень кололо глаза народу, и по крайней мере старались проявлять видимость равенства. В общем было вполне принято иметь при себе провожатого-раба. Не иметь его при себе было почти признаком бедности; иметь же троих рабов было уже доказательством роскоши. У Кимона было их не больше, когда он ходил по улицам Афин, раздавая народу деньги и накидки; и сын богатого банкира Пасиона, по общему мнению, поступал очень неблагоразумно, имея при себе целую свиту. Демосфен бросает ему в этом упрек в своей обвинительной речи, а защищая его дело, он старается найти извинение этой его привычке.

Таким образом, нужно сказать, что в Афинах в общем не переходили известных границ в пользовании рабами для домашнего обслуживания. Греки, поклонники меры во всем, охотно выполняли указание Аристотеля, что множество слуг не столько полезно, сколько обременительно. Был ли сам Аристотель и его ближайшие ученики верны этим наставлениям? Мы можем об этом судить довольно точно по завещаниям первых четырех руководителей Лицея. У Аристотеля было больше 13 рабов; в последнем акте своей воли он освобождает из них 5; он передает по завещанию 8, и еще остается много детей, которых он приказывает не продавать, но воспитать и освободить позднее, согласно с их заслугами. Теофраст, который после него был руководителем школы, имел 9 рабов: 5 он отпустил на волю, 3 подарил и последнего велел продать. Стратон, преемник Теофраста, имел их больше 6, так как 4 он отпустил на волю и 2 подарил, позволяя своему главному наследнику выбрать из тех, которые остались. Наконец, Ликон, четвертый из руководителей шко-

лы, имел их 12; кроме женщины, которую он дарит одному из своих вольноотпущенников, он по завещанию всем дает вольную, назначив для этого сроки — для одних сразу после своей смерти, для других — по истечении определенного периода времени. Надо думать, что обладание таким числом рабов, вероятно домашних, не являлось превышением норм умеренности, предписанной этими философами. Была ли это обычная норма? Конечно, нет; другие могли удовлетворяться меньшим числом. Но редко при среднем достатке количество рабов опускалось ниже 3 или 4. В комедиях отводятся рабам такое место и такие обязанности, которые для своего выполнения требуют не меньшего числа лиц; и то, что можно видеть в пьесах, часто столь верно отображающих греческое общество, мы встречаем в картинах реальной жизни, которые рисуют ораторы перед судьями. Неэра, считающаяся женой Стефана, имеет одного раба и двух женщин, которые были даны ей для личного пользования. К ним она присоединяет еще двух молодых девушек, которые, впрочем, надо признаться, использовались не исключительно для ее обслуживания. В домах менее подозрительных гораздо большее число женщин, предназначенных для выполнения многочисленных обязанностей, изобретенных страстью к роскоши и бездельем, как и вообще большое число рабов, могло служить признаком богатства; но в тех пределах, которые указаны здесь, нет ничего, что не было бы, я бы решился сказать, общераспространенным.

Насколько женский труд был редок в мастерской, настолько он был обычен в домашнем хозяйстве. У греков дело обстояло совершенно так же, как и у нас. Женщина, стоившая дешевле мужчины, использовалась преимущественно на тех работах, где ее личная сила могла соответствовать условиям труда. Мы встречаем женщин-рабынь во всех случаях домашней жизни, которые доступны нашему наблюдению. В доме

убийцы Эратосфена, доме маленьком, где женская половина занимала верхний этаж над мужскими апартаментами, насчитывалось минимум 3 женщины: 2 служанки, из которых одна занята по хозяйству, другая — для ухода за ребенком, которого кормит сама мать, и третья («девочка»), без сомнения, исполняет обязанности горничной. В наследстве Кирона, которое едва превышает 2 таланта, имеются независимо от рабов-рабочих еще 3 женщины, несущие те же обязанности («прислужницы и девочка»). В завещании Теофраста мы видим одну только женщину, в завещании Ликона — их одна или две. Но в наследстве Аристотеля мы насчитываем не меньше семи: одна оставлена по завещанию его другу Фалесу; другая, занимавшая, быть может, у своего хозяина более высокое положение, получила вольную и сохраняет при себе служанку, которую она имела уже и раньше; три других подарены вместе с «девочкой» Герпиллиде, от которой у Аристотеля был сын. Женщины значились в приданом, которое Пасион назначил своей вдове, передавая ее в завещании в качестве жены своему вольноотпущеннику Формиону. Их можно найти, опять-таки в числе больше одной, в свите любовницы Леократа, и у Арастона, и у того клиента Демосфена, который говорит, что он разорен государственными повинностями.

Но тут является одно возражение. Во многих случаях домашнего обслуживания пользовались наемными рабами, и, насколько можно судить, эти наемные рабы во многих домах заменяли рабов, купленных в собственность: доказательством служит перечисление имущества, где совершенно не говорится о рабах. Феофон, о котором идет дело в речи Исея о наследстве Агния, оставил земли на 2 таланта, 60 баранов и овец, 100 коз, обстановку, лошадь и т. д.; и вот автор, который так мелочно точен в перечислении своего инвентаря, не говорит ни слова о рабах. Этого мало: Стратокл, дочь которого получила наследство от Феофона,

оставил ей состояние в 5 талантов 3 тысячи драхм: дом, деньги, долговые расписки, обстановку, стада и т. д.; и здесь опять ни слова о рабах. Наконец, состояние ответчика, который к своему наследственному имуществу присоединил наследство от Агния, оцениваемое в 2 1/2 таланта, составившее в общем 3 ²/₃ таланта, вовсе не включает упоминания о рабах. Но, может быть, эта семья порвала с повсеместно распространенным обычаем и изгнала рабство из своего жилища? Этого никто не подумает! Прежде всего скажем, что в последнем случае нет перечисления, а для первых двух оно неполное. Так, в первом случае после перечисления различных предметов, упомянутых выше, мы находим слова: «и другие домашние принадлежности»; а это выражение, которое включает в себя «все остальное», применяется специально к рабам, как в другом месте на это обратил внимание Летронн; что же касается второго примера, то рабы могут очень хорошо подразумеваться в той части наследства, которая после смерти Стратокла была обманным образом скрыта и которую оратор обещает перечислить позднее. (Тут или потерян текст, или забыто это обещание.) Кроме того, могло, конечно, быть и то, что рабы сами собой подразумевались, так что нет никакой возможности найти в тексте хоть какие-нибудь следы, касающиеся их. Часто они молчаливо подразумеваются вместе с землей, к которой они прикреплены, или вместе с домом, который они обслуживали; сопоставление двух фраз из речи против Беота дает этому прямое доказательство. А вот другие, не менее точные. В наследстве отца Демосфена, которое превышало 15 талантов, ни в приданом, которое он назначает своей жене, ни в имуществе, которое он оставил своему сыну и которое оратором перечисляется очень детально, нет никаких указаний на домашних рабов. Между тем они, конечно, там были, так как в своей речи Демосфен говорит, что Афоб должен ему 108 мин: 80 мин за то

приданое, которое он взял, не женившись на его матери, и 28 за тех женщин-рабынь, которые были отправлены к нему сверх этого приданого. Эта сумма не могла быть опущена в счете, столь точном, помещенном в начале речи. Надо думать, что эти женщины-рабыни в числе восьми или девяти, если судить по их обычной стоимости, были включены в раздел мебели, ваз, драгоценностей, «всего, что служило для украшения матери» и что было оценено в 100 мин. В доме Эвктемона, хотя инвентарь, перечисленный оратором, ничего не говорит о рабах и ничем не заставляет подозревать их присутствия, все-таки было несколько рабов, использовавшихся для домашнего обслуживания, так как по ходу речи видно, что они были приговорены к смерти своим хозяином, чтобы предупредить разглашение какого-то известия, и впоследствии были допрошены относительно обстоятельств получения наследства.

Итак, надо сказать, что обычай употреблять рабов в частной жизни был очень распространен. Что рабы были почти во всех домах и что почти всегда они были предметом собственности, а не только временного найма — это несомненно. Но, конечно, точно так же широко был распространен и наем. Мы уже видели, что при известных обстоятельствах добывали себе таким способом поваров, танцовщиц и флейтисток. Но это доказывает только одно: что афинский дом в общем не обладал постоянно тем количеством рабов, какое требовалось при подготовке таких экстраординарных празднеств; каждая семья имела их столько, сколько ей было нужно для повседневного обслуживания. Во времена Филиппа люди со средним состоянием уже производили большие затраты на «рабов роскоши», на поваров и т. д. Тот клиент Демосфена, который говорит, что продал почти все свое имущество для того, чтобы выполнить государственную повинность, тем не менее имеет еще у себя, по его собственному призна-

нию, независимо от женщин, которых мы находим у него, еще пастуха с 50 овцами и молодого слугу. Ксенофан из Элеи жаловался Гиерону, что он настолько беден, что не может содержать двух рабов; то же самое при подобных обстоятельствах можно было услышать и в Афинах. Алексис, описывая домашнюю жизнь одной бедной семьи, считает там наряду с хозяином, старухой-матерью, женой и ребенком еще няньку, «и очень подходящую». И в той же книге, у того же автора можно видеть, как гражданин, у которого один только раб, некоторым образом пытается создать видимость большого их количества, называя раба двадцатью разными личными именами. Те же потребности или, если хотите, та же сила общественного мнения вызвала необходимость иметь при себе рабов вне дома. Одни только паразиты могли безропотно подчиняться необходимости возвращаться домой с их ежедневных ужинов без раба, который освещал бы им путь светильником: и Лукиан поднимает на смех человека, который принужден сам месить муку и нести в баню свою склянку с маслом. Лисий очень мало преувеличивает, когда он, выступая с защитой одного человека, обвиняемого своими рабами в безбожии, в заключительных словах своей речи восклицает: «Это дело есть дело всех жителей этого города. Ведь не только в этой семье есть рабы; они есть у всех; они возьмут пример с участи вот этих и будут стремиться заслужить себе свободу не хорошей службой своим господам, но клеветническими обвинениями, возводимыми на них».

На основании текстов я показал, как широко применялся рабский труд в домашней жизни. В каких цифрах можно было бы это выразить? Ясно чувствуется, что здесь мы переходим в область гипотез. Но, чтобы хоть приблизительно подвести итоги указанным разногласиям, можно сказать, что те две или три женщины, которых мы находим на службе у граждан среднего состояния, свидетельствуют, как мне кажется,

о наличии одного или двух рабов для личных нужд хозяина; и, компенсируя те семьи, где рабов было меньше, теми, где их было больше, мы, по-видимому, можем, не боясь очень сильно переступить границы истины, считать двух взрослых рабов, обслуживавших если не каждую семью, то по меньшей мере каждый дом. В Афинах считалось более 10 тысяч домов, занятых отдельными семьями, и сверх того там были дома-коммуны, где более бедные семейства помещались вместе. Число домов и в остальной Аттике не могло быть меньше: там был Пирей, являвшийся центром торговой деятельности, были многочисленные поселки, которые покрывали всю страну. Сведем все это к числу 20 тысяч домов как для афинян, так и для метеков: это уже дает нам 40 тысяч рабов, употребляемых для домашних надобностей.

Не будучи чрезмерным, число рабов для частного обслуживания было все же достаточно многочисленным. Но, конечно, число рабов, занятых работой на производстве или в торговле, было несравненно больше, и если бы текст Афиняя хотел найти себе признание, то именно по этой линии он должен был бы искать доказательств для своего подтверждения.

3

Рабство было не только орудием, но, если так можно выразиться, и движущей силой труда в античности. То, что теперь делают машины, то, что делали до наших машин лошади, — все это делалось в пределах естественной возможности руками рабов; даже доставка руды из глубины шахты на поверхность земли производилась тем же путем.

Рабы были в гораздо меньшей степени аксессуаром роскоши, чем силой, создающей богатство; развитие торговли и производства в том или другом городе можно было в некотором отношении измерять

числом и мощностью их рук. Афины были не только городом торговым, но также и городом различного рода производств; и они производили не столько для себя, сколько для остальной Греции; самая необходимость, которая заставляла их получать часть своего продовольствия извне, принуждала купцов, и местных и иностранных, соглашаться на обмен своих товаров на произведения афинских мастерских. Таким образом, производство было занятием не только частных лиц, но и государства в целом, под покровительством законов. Граждане всех профессий — военачальники и государственные деятели, ораторы и философы — пускали в оборот свои капиталы, вкладывая их частью в земледелие, частью — в городе — по линии банков, производства, торговли, иногда сразу по всем этим трем линиям и всегда при помощи рабов.

Число граждан, заинтересованных в земледелии, было довольно значительным, если верно то, что после низвержения «тридцати» было не больше 5 тысяч не имевших земельной собственности; таким образом, от 15 до 16 тысяч граждан имели в качестве собственности некоторые участки земли и рабов, необходимых для их обработки; и на земле, которая требовала за собой столько ухода, будет вовсе не много считать двух рабов на каждый участок. Между этими мелкими собственниками участками были, кроме того, и имения более обширные, как это можно заключить из дошедших до нас правил и поучений, которые касаются земледелия. В своей книге «Трактат о хозяйстве» Ксенофонт показывает нам в доме Исхомаха все ступени повиновения и власти: хозяина, управителя и рабов, а затем хозяйку, ключницу и женщин, которые должны работать под ее наблюдением. Эта двойная иерархия предполагает довольно многолюдный дом. Земледельческий труд, культура виноградников и оливковых деревьев и все то, что составляет область сельского хозяйства, воспитание молодняка и уход за стадами,

которые паслись на горных пастбищах,— все это должно было занять от 30 до 40 тысяч рабов; допустим, 35 тысяч.

Но богатство Аттики было не только на поверхности ее земли. Ее недра скрывали в себе те сокровища, которые уже с давних пор извлекала оттуда промышленность; я хочу сказать о копиях и о каменоломнях. Именно копи в продолжение некоторого времени были богатейшим источником доходов и для государства и для частных лиц. Государство, оставаясь неотъемлемым их собственником, поощряло к занятию этой отраслью производства всевозможными привилегиями; так, например, желающие эксплуатировать рудники освобождались от указания на них в заявлении о своем имущественном положении, как это было необходимо при всяком требовании об «обмене». Таким образом, многие принимали участие в этом деле, и довольно значительное число лиц было занято на этих работах. Может быть, покровительство, которым вначале пользовались эти предприятия, вызвало к жизни обычай нанимать для рудников рабов, что было неизбежно при развитии этого предприятия. Действительно, при организации какого-либо нового предприятия нужны были люди, уже опытные в данном производстве. В древности рабочего, так как он был несвободным, нельзя было привлечь на свою сторону жалованьем. Его приходилось покупать у такого же хозяина-конкурента; и если даже конкуренция не создавала здесь никаких затруднений, приходилось, особенно вначале, вкладывать довольно значительные средства в предприятие, результат которого был довольно рискованным. Этих неудобств отчасти избегали тем, что нанимали рабов на работу. Этот прием содействовал закладке новых копей и, таким образом, помогая увеличить число эксплуатируемых мест, мог также способствовать еще и увеличению числа рабов. Во всяком случае, как было указано выше, я далек от того, чтобы при-

нять целиком это сильно преувеличенное число одного из собеседников Афиня, и я склоняюсь на сторону столь основательно мотивированного мнения Летронна, по которому их число несколько превышает 10 тысяч, — число, подтверждаемое, по моему мнению, самим Ксенофонтом, так как, ставя государство на место частных лиц, владевших рабами, он принимает это число как достаточное для нужд данного момента. Он не хотел ограничиться этим на будущее время, но его надежды не осуществились, и уже во времена Деметрия из Фалер видно было, как эти запасы серебра, которые он считал неисчерпаемыми, с каждым днем уменьшались. Тем не менее интенсивность работ не уменьшалась, как не уменьшалось и число рабов, еще рывших недра этих холмов, которые вскоре оказались уже совсем истощенными.

После земледелия и эксплуатации копей различные отрасли производства или торговли разделили между собой остаток рабов, в пропорции, быть может, меньшей для каждой из них, но более значительной, если взять их все вместе. Мы видели, что отец Тимарха, кроме копей, имел 9 или 10 рабочих-башмачников и т. д.; наследство Демосфена включало в себя две мастерских, одну на 33, другую на 20 рабов. Рабы-рабочие были также в списке имущества Леократа, в наследстве Эвктемона. Торговля, будь это мелочная торговля на рынке Афин или торговые предприятия, разбросанные по берегам самых отдаленных стран, — все они пользовались одним и тем же орудием, и нужно записать в счет Аттики всех этих многочисленных рабов, числящихся в списке ее населения и распыленных по всем морям греческого мира. Ксенофонт особенно подчеркивает, что морское могущество Афин было одной из основных причин, которые со всей настойчивостью делали этих рабов необходимыми. И это касается не одних только афинян, но — это следует особенно отметить — и метеки или иностранцы, получившие гражданские

права, владельцы мастерских или купцы, — все они владели рабами также, как и сами афинские граждане. Так, оратор Лисий и его брат, оба метеки, владели вместе более чем 120 рабами, слугами или ремесленниками.

Как и при эксплуатации копей, здесь были люди, которые, не решаясь из-за риска заняться лично производством, имели рабов, которых они отдавали в наем. Таких рабов «на жалованье» мы, например, встречаем в деле о наследстве Кирона. Это обстоятельство объясняется здесь столь же естественно, как и при эксплуатации копей или при обслуживании каких-либо экстраординарных празднеств и банкетов. Производство и торговля не требуют всегда одного и того же числа рук. То, чего они требуют в моменты наибольшего подъема, во много раз превышает то число, которое им необходимо в обычное время. Когда труд свободен, то нанимают и рассчитывают рабочих по мере текущих потребностей. Когда же рабочим является почти исключительно раб и когда надо еще приобретать орудия труда, то интерес хозяина предписывает ему иметь их не свыше среднего количества. Этим в общем и определялось количество рабов для производства и торговли; когда дела расширялись, то к обычным рабочим-рабам нанимали рабочих поденных. При колебаниях спроса на труд в большом городе эти наемные рабы были теми пружинами, которые держали производство на уровне потребностей; то, что приходилось пользоваться такими рабочими, доказывает, что старались устроиться так, чтобы не иметь лишних рабов; но это не доказывает, что их не было много. В колониях европейских государств, где рабское население было очень многочисленным по сравнению с людьми свободными, все-таки были наемные рабы, и мелкие собственники жили исключительно на доходы от их работы.

Было бы очень смело предлагать какое-либо определенное число для каждого из различных видов этого

огромного афинского производства, по которым были распределены рабы; но, я думаю, что, взяв их общее число по всем отраслям производства, их никак нельзя считать меньше, чем троих на каждого афинянина или метека, в возрасте, позволяющем ими пользоваться. Вернемся к тем частным случаям, о которых было сказано раньше, и вспомним, насколько был всеобщим при всех формах владения обычай пользоваться ими таким способом: гражданин, который получал от государства пособие, представлял как доказательство своей абсолютной бедности тот факт, что у него нет ни одного раба, которого он мог бы использовать в своей работе. Взяв за основание число граждан и метеков, внесенных в списки при переписи, т. е. приблизительно 30 тысяч, мы будем иметь 90 тысяч рабов для всех видов производства и торговли, для всех видов морской и флотской службы, будь то работа в афинской гавани или плавание по заграничным портам.

Таким образом, мы можем считать 175 тысяч рабов взрослых и годных для службы, например от 12 до 70 лет. Сюда нужно прибавить детей и стариков. Но вперед уже заметим себе, что обычные законы, применяемые при исчислении населения, не могут быть применены полностью к рабскому населению. Состав и сумма рабов пополнялись не только рождением, но, главным образом, покупкой. Этот исторический факт великолепно согласуется с другим фактом, что предметом этой торговли были в гораздо большей степени мужчины, чем женщины. Во всяком случае, не следует слишком преувеличивать численную разницу между этими двумя полами и, как следствие редкости браков между ними, — малое количество детей. Если женщины редко применялись на производстве, они, наоборот, в гораздо большей степени, чем мужчины, как я, надеюсь, доказал это, были заняты в домашнем обиходе. Допустим, что на каждую семью афиня-

нина или метека для домашней службы требовалась только одна женщина; мы получаем 30 тысяч и 10 тысяч исключительно только для различных работ в деревне, в мастерских или в мелкой торговле. Конечно, это не будет означать 40 тысяч браков, так как хозяева — это можно видеть у самого Ксенофонта — находили, что когда рабы вступают в сожителство, это создает больше неудобств, чем выгод, и разрешали это только при известных условиях. Но, принимая во внимание общую испорченность языческих нравов и неизбежную вольность поведения афинских рабов, лишенных всех природных прав, чего можно было требовать от простых женщин, которым отказывали в понятии достоинства, считая его привилегией свободных! Таким образом, дети у рабов были уже не так малочисленны, как можно было бы об этом думать: доказательство — завешание Никона и особенно завешание Аристотеля, распоряжение которого я приводил раньше. Обобщая все это, я думаю, что число детей у рабов в тех пределах, которые я указал для количества женщин, не могло быть много ниже числа детей, рождающихся у свободных. Какую же приблизительную цифру можно назвать? Во Франции на 10 миллионов населения мы получаем (по данным 1842 г.) 7127606 взрослых (от 12 до 70 лет), 2562237 детей моложе двенадцати лет. Если применить эту пропорцию к Аттике, то на 40 тысяч мы могли бы ожидать детей моложе 12-летнего возраста немногим более 29 тысяч. Признаем, что затруднения при заключении союза, обычные условия рабства, та беспорядочная жизнь, которую оно влечет за собой, уменьшают это число на целую треть; мы будем иметь 20 тысяч детей, которые следует прибавить к найденным уже нами 175 тысячам; итого всего 195 тысяч моложе 70 лет. Что касается стариков, то закон народонаселения нам дает пропорцию 1:32, т. е. немногим больше 6 тысяч.

Таким образом, подсчитав все вместе, мы получим:

Домашних рабов.....	40000
Рабов в сельском хозяйстве.....	35000
Рабов в копиях.....	10000
Рабов, занятых в ремесле, торговле и мореплавании.....	95 000
Детей моложе 12 лет.....	20000
Стариков старше 70 лет.....	6000
Всего.....	206000

Сюда не причислены государственные рабы, между которыми 1200 скифских стрелков.

Сюда же нужно прибавить и свободное население:

Афинян.....	67000
Метеков.....	40 000

Всего от 308 до 313 тысяч жителей, или приблизительно 122 человека на квадратный километр.

4

Но число, до которого мы нашли нужным поднять количество населения Аттики, руководясь данными, основанными на свидетельствах древних писателей, не должны ли мы отвергнуть его на основании тех положений, которые мы извлекаем из природных условий самой страны? Опровергая текст Афиня, Летронн выставляет против него двойное положение, невозможность сохранить во время войны столь большое число рабов и невозможность кормить их в обычное время. Эти возражения, правда, направленные против числа, которого не принимаю и я, касаются всякого исчисления свыше 100 тысяч — того предела, на котором он остановился. Рассмотрим оба эти возражения

Прежде всего, было ли невозможно сохранить ра-

бов во время войны? Что касается этого вопроса, то я думаю, что можно было бы защищать даже цифру, данную Афинеем. Конечно, двух небольших укреплений, Анафлиста и Торика, даже присоединяя к ним то, которое Ксенофонт советует построить на промежуточных высотах, было недостаточно для 400 тысяч человек. Но ведь здесь шел вопрос только о рабочих в копиях, и как бы ни была велика любовь к преувеличениям у этого собеседника Афиня, я не думаю, чтобы всех рабов страны он сводил к горнякам. Рабы, как и свободные, были распределены по городам, гаваням, деревням и поселкам. В случае вторжения маленькие крепостцы, рассеянные по всей территории, например, такие, какие намечает декрет, упоминаемый Летронном, принимали к себе ближайшее население. Афины, которые одни заключали в себе такое большое число рабов, принимали в свои стены еще и других, так же как они принимали и сельское население, начиная с первых этапов Пелопоннесской войны и во время чумы при Перикле. Кроме того, можно было бы спросить себя: были ли всегда необходимы для Аттики такие предосторожности и нужна ли была, чтобы сдерживать рабов, столь сильная охрана, все эти укрепления и применение всех этих сильных средств? Конечно, времена вторжений бывали всегда критическими для хозяев, и афиняне это испытали, когда спартанцы, по совету Алкивиада, укрепили Декелею, чтобы поднимать оттуда восстания или собирать там бежавших рабов, труд которых применялся вне дома. Уже в следующем году их перебежало туда более 20 тысяч, из них большинство — рабочие; это была внезапная и непредвиденная потеря, которая привела в беспорядок труд в производстве, потрясла общественное доверие и осталась в памяти афинян вплоть до времен Ксенофонта как роковое черное время. Между тем нужно сказать, что хозяева, по-видимому, меньше боялись бегства рабов, чем их восстаний. Дело в том, что

древность никогда по отношению к рабам не практиковала системы подстрекательства, которое имело бы целью затронуть самые основы рабства. Было не принято смотреть на раба как на человека: это — вещь, а на войне — один из предметов добычи. В большинстве текстов, во всех тех, которые цитирует Летронн, упоминается много пленных, которым победители вернули свободу, но нет ни одного случая отпуска на волю раба. Их продают, их делят между собой. Об отпущении на волю рабов думают так же мало, как и о стадах. Это, конечно, должно было влиять в известном смысле на образ действия рабов по отношению к неприятелю. И если грек, обращенный в рабство, выжидал приближения своих сограждан, чтобы избавиться от своего положения, то раб-варвар, который обычно менял только господина, не стремился к этому без достаточных оснований. Илоты с мессенской территории массами эмигрировали в убежище на Пилосе, воздвигнутое руками афинян для поработанных соплеменников; равным образом и на острове Хиосе, где хотели удержать в повиновении рабов, противопоставляя их численности суровость обращения с ними, как делали спартанцы, рабы непрерывно уходили в укрепленный лагерь афинян. Но Декелея в руках спартанцев для Аттики была совсем не тем, чем были эти афинские укрепления для острова Хиоса или для Спарты — стены Пилоса. Она прежде всего получила 20 тысяч перебежчиков и с тех пор была для Афин как бы постоянной угрозой; у Аристофана можно узнать, что с тех пор хозяева не решались наказывать своих рабов из страха толкнуть их в ряды врагов. Ценой такой осторожности стали меньше бояться их отпадения, и их число не представляло уже опасности: свидетель этому Ксенофонт.

В трактате «О доходах», где Ксенофонт, всячески советуя государству приобретать рабов, не боится вызвать воспоминание о Декелее, он высказывает пред-

положение о том, какие возражения могут быть выдвинуты против его проекта: опасаются ли, что эти люди в случае вражеского вторжения поднимутся против своих господ или что их с трудом можно будет удержать от этого? Нет, высказывается только опасение, как бы эта затрата не осталась тогда бесприбыльной. Что думает Ксенофонт? Он считает, что, наоборот, вся эта затрата пойдет на пользу государству против врагов, «так как, — прибавляет он, — какое имущество во время войны более дорого, чем люди? Одни смогут составить экипаж для большого числа государственных кораблей, а другие — с оружием в руках будут страшны для врагов в сухопутных армиях с условием, чтобы с ними обращались хорошо». Такова была политика афинян; и Ксенофонт, который здесь дает это руководящее указание, в приписываемой ему «Афинской Политии» свидетельствует, что это было так проведено и на практике: он говорит о той большой свободе, которой пользовались рабы в Афинах, и о причинах, которые ее гарантировали им. Но в таком случае опасность вторжения не является больше основанием для сокращения числа рабов. Эта самая политика в то же самое время, по-видимому, доказывает, что их было очень много, так как рассчитывали удержать их только тем, что ослабляли связывающие их узы.

5

Допустим, что Аттика могла удержать и защитить такое число рабов. Но могла ли она их прокормить?

Бёк и Летронн показали, что хеникс зерна, или $1/48$ часть медимна, был ежедневным рационом солдата и рабочего. Но они думают, что эта норма слишком велика в применении ко всему населению, считая всех — и мужчин, и женщин, и детей, и стариков. Поэтому они делают с нее очень крупную скидку. Сохраняя ее

для взрослого раба, для детей-рабов Бёк принимает только половину, и половину этих количеств он принимает соответственно для взрослых и детей свободного населения, питание которых состояло не исключительно из хлеба; всего требовалось приблизительно 3 миллиона медимнов в год для населения Аттики, принимая его, по Афиню, в количестве 500 тысяч человек. Принимая во внимание современное питание, особенно в юго-восточных областях Франции, сильно напоминающих Аттику, можно принять в общем ежедневное питание в $\frac{2}{3}$ хеникса; это даст 5 медимнов в год, или 2,6 гектолитра на человека. Таким образом, общее потребление не составило бы больше 1550 тысяч медимнов. Но чтобы избежать возражений по поводу легкости зерна в Аттике и в той стране, которая больше всего доставляла его для ввоза, я буду держаться числа 1743750 медимнов, или 907180 гектолитров, при расчете $\frac{3}{4}$ хеникса потребления на человеко-день.

Вот какова потребность страны, предполагая в ней 310 тысяч жителей. Хватало ли у нее средств для ее удовлетворения? Как согласуются данные о ее собственной продукции и ежегодном ввозе с наличием столь многочисленного населения? Если мы обратимся к Бёку и Летронну за разрешением этих вопросов, то мы окажемся в недоумении, имея перед собой разногласие двух столь крупных авторитетов. Один находит, что можно прокормить 500 тысяч человек, другой же утверждает, что с трудом хватит для 240 тысяч. И при этом оба получают два столь различных вывода, основываясь на одном и том же материале: на данных ввоза; на сравнении, которое сделано Демосфеном о количестве зерна, доставляемого в Аттику из Понта, с тем, которое она получает из других стран; на собственной продукции; на отношении, которое можно установить между всей Аттикой и именем Фениппа, величина и продукция которого даны в другой речи того же оратора.

Что касается цифр ввоза, я заранее скажу, что данные, указываемые Демосфеном, не являются столь безусловно точными и определенными, чтобы можно было с уверенностью опираться на них в таком вопросе, который требует крайней осторожности. Статистика, наука, которая по необходимости оставляет столько неясностей в своих расчетах, должна по крайней мере основываться на данных, не вызывающих сомнения. И как раз с этой точки зрения тексты Демосфена не представляют никакой гарантии. Выступая против закона Лептина, который отменял всякие послабления при уплате налогов, Демосфен хочет показать афинянам, какой опасности подвергаются они со стороны Левкона, царя Боспора, по которому больно ударил этот закон. Он говорит, что ежегодно из Боспора в Афины приходит 400 тысяч медимнов зерна; и так как немного выше было указано, что привоз из Понта в Пирей составляет почти половину того, что поглощали рынки Афин из привозного зерна, то Летронн заключил отсюда, что ввоз зерна из-за границы ограничивался 800 тысячами медимнов. Но даже игнорируя те неясности в выражении, которые имеются у Демосфена, надо учесть, что его мысль вполне естественно находилась под влиянием того судебного дела, которое он защищал, и она вела его к преувеличению. Надо присмотреться ближе к той цифре, которую он дает для ввоза из Боспора: это та цифра, на которой он основывает права Левкона на благодарность ему со стороны афинян; он ссылается на записи ситофилаков (наблюдателей за зерном). Но их авторитетом он не подкрепляет того баланса, который он устанавливает между ввозом из Понта и остальными иностранными поставками: это сравнение чисто ораторское, и было бы в высшей степени неделикатно требовать у него в данном случае полной точности.

Прибавим, что среди стран, которые доставляли зерно в Афины, были также смежные области — Бео-

тия и Эвбея, которые в обычное время выгружали свой подвоз в гавани Оропа. Так вот, хотя ввоз зерна подлежал-пошлине или, быть может, именно потому, что он подлежал пошлине, он часто ускользал от контроля государства. Можно ли думать, чтобы откупщик этого налога мог предупредить контрабанду своей бдительностью, и в частности север Аттики разве не мог найти средства пополнять таким образом свои запасы, не прибегая к содействию Пирея? И так, оставляя цифру 800 тысяч медимнов, которая, если принять буквально слова Демосфена, все же не выражала со всей точностью всю сумму ввоза, я охотно соглашаюсь с Бёком, который, увеличивая это количество до 1 миллиона медимнов, не погрешил против истины. Если эта часть Понта, подчиненная царю Левкону, т. е. область Боспора, составляя лишь часть побережья Эвксинского моря, давала $\frac{4}{5}$ всей суммы ввоза зерна, которым другие страны — остров Кипр, Эвбея, Беотия, Фессалия — снабжали Аттику, то, конечно, надо сказать, что доля Понта была еще достаточно значительной. Я не думаю, чтобы можно было фиксировать ввоз зерна в Аттику меньше чем в 1 миллион медимнов; но в то же время я не вижу никакого способа установить в этом отношении вполне точный предел.

Но допустим, что этот предел не был перейден. Тогда сама Аттика должна дать разницу между этим числом и тем, какого требует пропитание ее жителей, т. е. приблизительно 744 тысячи, и, кроме того, посевной материал, нужный для того, чтобы в следующем году дать зерно для потребления и воспроизводства. Прежде всего, какой цифры должно достигнуть это необходимое дополнительное количество?

В Сицилии, говорит Бёк, высеивали 1 медимн (52 литра) на 1 югер (0,25 гектара), т. е. 2,08 гектолитра на гектар; эта плодородная почва давала урожаи сам-восемь, сам-десять. Нельзя сравнивать Аттику с Сицилией; но можно взять средний урожай всей Франции и

особенно ее юго-востока, дающий отношение 1:5 или 1:6. Это как раз те цифры, которые указываются для современной Аттики, несмотря на истощение страны и упадок культуры. Бёк цитирует английского путешественника Хабхауза, который говорит, что средняя урожайность зерна в Аттике сам-пять или сам-шесть и никогда не бывает выше сам-десяти. Возьмем наиболее низкое отношение — сам-пять. 740 тысяч медимнов потребуют 158800 медимнов для посева; для этого посевного фонда, который входит в ежегодное потребление, понадобится еще 31760 медимнов на воспроизведение; всего, таким образом, приблизительно 930560 медимнов. Была ли когда-нибудь Аттика способна дать их? Это наиболее трудный пункт вопроса, и доныне разрешаемый самым различным образом. Неплохо, однако, проверить те основы, откуда сделаны столь противоположные выводы.

6

Эту задачу, стоящую перед нами, Летронн решает самым простым и неожиданным способом, для него — это пропорция, устанавливаемая между площадью и продукцией земли Фениппа, указанными Демосфеном, с одной стороны, и площадью Аттики, как она дана современными картами, и тем, что она производит, — с другой. Это соотношение и есть та искомая величина, которую должны определить три остальные величины.

Землю Фениппа Летронн определил в 75 стадий, и она производила 1 тысячу медимнов зерна; площадь Аттики равна 53 тысячам стадий, из которых $\frac{4}{5}$, или приблизительно 44 тысячи, годны для обработки. Эта площадь, превосходящая первую в 600 раз, должна производить в 600 раз больше, т. е. 600 тысяч медимнов. Но отсюда нужно скинуть $\frac{1}{5}$ на семена, которые должны идти на воспроизводство; остается 480 тысяч — это вовсе немного для населения Аттики, по исчисле-

нию Летронна; к этому числу еще надо присоединить проходящих через Аттику иностранцев. Это будет тем более недостаточно для того количества населения, какое выше было установлено мной. Но рассмотрим каждый член этой пропорции в отдельности.

Прежде всего, все ли обстоит благополучно с площадью Аттики? Летронн, который, особенно по отношению к принятой им гипотезе, вполне удовлетворительно опроверг текст Афиней, не потрудился с его помощью доказать первый член этого отношения. Он заимствовал его у Барбье де Бокажа, который так определяет поверхность этой страны:

	Квадратных олимпийских стадий	=	Квадратных миль
Аттика	53 000	=	74
Саламин	2 925	=	$4\frac{8}{45}$
о. Елены (Макронизи)	459	=	$2\frac{1}{3}$

Но эти измерения, составленные названным географом по карте 1785 г., были основаны на неправильных данных. Страна была крайне преуменьшена в направлении от гавани Оропа до мыса Херсонеса и от Пирея до каждого из этих пунктов. Карта, переделанная тем же автором в 1811 г., несколько исправляет эти недочеты, и Бёк, который произвел измерение поверхности Аттики уже по этой карте, дал следующие цифры:

	Немецких миль	=	Квадратных географических миль	=	Квадратных олимпийских стадий
Аттика	$39\frac{1}{16}$	=	625	=	62 500
Саламин	$1\frac{5}{8}$	=	26	=	2 600
о.Елена	$\frac{5}{16}$	=	5	=	500

Это исчисление, принятое в большинстве немецких работ, вышедших после работы Бёка, уже является недостаточным с того момента, как французская наука картой, составленной в 1838 г. Альденговеом по Греции, как некогда по Египту, можно сказать, реформировала географию этой прославленной страны. Но все же я считал, что нужно пересмотреть расчеты древних историков, и я не отказался от этой длительной операции.

Прежде всего нужно было точно определить сухопутную границу Аттики. Со стороны Мегариды она упиралась в горы Керата (скалы Теркери) и шла, без сомнения, от этих скал до Киферона (гора Элатейя) по линии возвышенностей, которые определяют водораздел между этими двумя областями. Со стороны Беотии, и в прежнее время, как еще и теперь, она была отделена цепью гор, которая от Киферона до Парнеса (гора Озейя) отделяет маленькие долины Аттики от долин, склоняющихся к течению реки Асопа. За Парнесом она поворачивает к северо-западу, спускаясь сама к этой реке, и соприкасается с областью Оропа, находящейся в том месте, где река впадает в море: страна, долго оспариваемая двумя народами, с территориями которых она граничила. Город Ороп, который Фукидид в период Пелопоннесской войны считает находящимся в зависимости от Афин, испытал много превратностей в течение следующего столетия. То свободный, то союзный или подчиненный иной раз Фивам, иной раз Афинам, он был отнят из-под власти последних Фемисоном, тираном Эретрии (в 366 г. до н. э.); фиванцы, приглашенные в качестве третейских судей в этом споре, получили этот город для временной охраны и сохранили его за собой. После битвы при Херонее он был опять отдан Филиппом афинянам; после смерти Александра он стал свободным благодаря Полисперхону. Вслед затем он был взят Кассандрой и почти тотчас же освобожден Птолемеем,

генералом Антигона (в 312 г.); с тех пор, несомненно, его интересы привязывали его к афинянам. Таким образом, Афины были той страной, с которой он был обычно тесно связан. Дикеарх называет жителей Оропа, наравне с платейцами, беотийскими афинянами. Страбон, который сначала помещает этот город между этими двумя странами, дальше при описании Беотии зачисляет его в эту страну; но Тит Ливий присоединяет его к Аттике, а Павсаний определенно говорит, что он в конце концов остался за ней. Таким образом, этот город со своей областью может быть причислен к территории Аттики. Но так как он не составлял части ее в ту эпоху, когда Демосфен в своей речи против Лептина (около 355 г.) подсчитывал ввоз зерна в Аттику, я не буду принимать его в расчет при своих вычислениях. От этой границы до Киферона по всей той линии, которую я наметил, находится целый ряд развалин, последние остатки укреплений, которые прикрывали границу и господствовали над проходами. Они находились и около Оропа. Ограничиваясь теми, о которых сохранились некоторые воспоминания, можно назвать около Бигла-Турри, на юге, развалины Филы; на запад более значительные развалины Энои и, наконец, еще немного западнее очень значительные развалины Гифто-Кастро. Барбье де Бокаж думал найти в них Элевтеры. Отфрид Мюллер указал, что огороженное пространство слишком обширно, что башня, господствующая над горным проходом, крепкая до сих пор, должна принадлежать месту более значительному в военной истории Афин. Он видит в них Панактон. Элевтеры, жители которых, не фигурируя среди населения городов Аттики, были поставлены под покровительство Афин и делили с ними все права и жертвы, были расположены на равнине или в направлении к первым склонам Киферона, по дороге от Элевсина и Мегары к Фивам, может быть, около нынешней Кондуры.

Определив эти различные пункты, мы можем взять за основу вычислений треугольник, основание которого простирается от мыса Сунион до горы Киферон, имея в длину 48,2 географической мили; вершина этого треугольника находится на расстоянии 46 миль от первого и 42,4 мили от второго из этих пунктов. Площадь этого треугольника и тех частей, которые должны быть сюда прибавлены или откинута, чтобы дать нам точную величину искомой поверхности, приводит нас к следующим результатам:

	Квадратных географических миль	=	Квадратных олимпийских стадий
Аттика	700,48	=	70,048
Саламин	33,66	=	3,366
о. Елена	6,02	=	0,602
Всего:	740,16	=	74,016

Переводя на наши современные меры, мы получим 2532,65 квадратных километров, или 253265 гектаров.

Если мы перейдем к первому члену первой пропорции, т. е. к отношению площади всей Аттики к имени Фениппа, то встретим тут затруднение другого рода. Клиент Демосфена, который хочет избавиться от выполнения государственной повинности за счет Фениппа, предлагает ему «обмен». Главным объектом этого обмена является земля, которую он сам посетил и познакомился со всеми ее окрестностями и которая имеет не меньше 40 стадий — чего? Окружности или площади? Текст не вызвал сомнений ни у Бёка, ни у Летронна. Они высказались без колебаний: один — за площадь, другой — за окружность. Так как термин «стадий» наиболее часто употребляется как мера длины, то прежде всего появляется соблазн высказаться за

окружность. Самая форма фразы обычно заставляет переводчиков решать вопрос именно в таком направлении. Но иная пунктуация (она как раз предложена Рейске) дает совсем другой смысл, и выводы, которые следуют как из самой речи, так и из общих положений, имеющих известное отношение к данному вопросу, по-видимому, подтверждают эту интерпретацию.

Я уже раньше, основываясь на работах Бёка, показал, что земельная собственность в Аттике была исключительно мелкая; и если некоторые из имений были значительно большего размера, особенно у границ, где и был расположен участок Фениппа, то все же они не переходили известной границы. Общераспространенная цена за обыкновенный наследственный участок была от 20 до 30 мин и 1, 2 или 3 таланта за более значительные. Был только один участок, который стоил немного меньше 5 талантов; и как раз это тот, величина которого нам известна. Какова она? Немного больше 300 плетров (28,58 гектара), откуда получается стоимость плетра приблизительно в 90 драхм. Отсюда земля Фениппа, предполагая в ней только 40 квадратных стадий, будет уже в 1440 квадратных плетров (137,17 гектара). Но если мы предположим в ней 40 стадий в окружности и предположим вместе с Летронном (это самый умеренный расчет) 15 стадий длины и 5 ширины, она получится уже в 75 квадратных стадий, или 2700 плетров (257,2 гектара), и пропорционально вышенайденной нами цене она будет стоить 40 1/2 талантов; допустим, что это является слишком повышенной ценой, и снизим ее до 60 драхм за плетр; она все-таки будет стоить 27 талантов. Неужели у клиента Демосфена хватило нахальства и хитрости, чтобы претендовать на такое имение со всеми продуктами, которые оно производит? Откуда эти жалобы на то, что там сломаны судейские печати, что оттуда вывезен хлеб? Как он мог предложить для обмена свое имущество ценою в 1/2 таланта, состоявшее из истощенных

уже копей, взамен этого огромного и богатого имения, требовать полного возвращения зерна, вина и всего того, что оттуда было вывезено? Эта земля, даже просто как таковая, разве не была бы одним из крупных состояний Афин? А с другой стороны, как могло случиться, что при таком состоянии Фенипп не выполнял никаких государственных повинностей? И каким образом — а это вытекает из хода самого процесса — не был он в числе тех 300 граждан, которые прежде всего должны были взять эти повинности на себя?

Все заставляет нас прийти к убеждению, что даже при самом ограничительном толковании нужно признать здесь большую долю преувеличения в интересах дела, согласно адвокатским привычкам. Мы имеем для этого прямое и решительное доказательство. Земля Фениппа, которая давала, как говорят, зерно и вино (виноградные лозы культивировались между ячменем или между деревьями), земля, которая находилась, таким образом, в условиях, наиболее благоприятных по отношению к тем культурам, урожай которых хотя и установить, дает 1 тысячу медимнов зерна. Допустим, что она имела 75 стадий по своей площади, что дает 257,2 гектара; мы будем иметь, допустим, 250 гектаров, производящих 1 тысячу медимнов, т. е. 2,8 гектолитра с гектара, почти столько же, сколько на юго-востоке Франции, наиболее похожем на Аттику, требуется только для посева. Допустим, что под эту культуру была занята только одна треть земли (т. е. 25 квадратных стадий — 85,75 гектара), мы получим урожайность в 6 гектолитров с гектара, т. е. урожай, значительно более низкий, чем в самых неплодородных и плохо обрабатываемых департаментах Франции. Аттика — страна, конечно, малоплодородная, но замечательно обрабатываемая; разве ее можно поставить ниже самых непроизводительных областей Франции? И если бы это было так, то класс земледельцев разве мог бы

так смело конкурировать с владельцами самых плодородных побережий Средиземного моря, не имея тех преимуществ, которые создаются для местного производства, находящегося вдали от моря, затрудняя импорт, без тех привилегий тарифа, которые так долго поддерживали английское сельское хозяйство? Было ли имение Фениппа размером в 75 или 40 квадратных стадий, в нем под посевом зерна не могло быть занято больше 15. Остальное было занято или виноградниками (я сказал выше, что они занимали мало места), или, главным образом, лесом, от регулярной рубки которого Фенипп получал ежедневный доход до 12 драхм.

Но если это имение, приблизительно в 75 квадратных стадий, имело только 15 под зерновым посевом, то ясно, что едва ли оно находилось в столь благоприятных условиях, чтобы служить мерилем для зерновой продукции Аттики. Тем не менее примем это отношение; введем только в наши расчеты Саламин, который был неотъемлемой частью Аттики и поэтому может также считаться базой внутренних ресурсов питания; допустим также, что фермы и другие здания, пути сообщения, виноградники и леса, которые по этой гипотезе занимают в этом имении 60 стадий, т. е. $\frac{4}{5}$ всей земли, представляют собой обитаемые места, места невозделанные или предоставленные под другие культуры во всей стране, так что эти площади можно поставить в прямое отношение. Они будут относиться между собой как 75 : 73000 или как 1 : 973. Тогда, имея 1 тысячу медимнов для первой части отношения, мы получим для второй 973 тысячи, т. е. на 42 тысячи медимнов больше, чем требовалось бы вместе с иностранным ввозом для пропитания 310 тысяч жителей.

При всем том это количество, очевидно, не увеличивает меры плодородия, которую можно предположить для Аттики. Страна была гористой — это верно, — особенно на сухопутной границе вдоль Беотии;

и во внутренних частях у нее было несколько горных хребтов — Гиметт, прославленный своим медом, Пентеликон со своими мраморными каменоломнями и Лаврийская область с ее серебряными рудниками. Но горы, говорит Бёк, не были настолько высоки, чтобы быть бесплодными. «Правда, — продолжает он, — скалы были нередки; но они занимают небольшую часть поверхности, и даже там, где камень был хоть немного смешан с землей, можно было возделывать ячмень. Это уже дело земледельческой техники», а ведь известно, что сельскохозяйственное дело в Аттике было поставлено высоко.

Во всяком случае, даже при этих условиях и при территории более обширной, чем исчисляет ее Бёк, я не могу согласиться с ним, что страна могла производить 2500 тысяч медимнов зерна, этого необходимого дополнения к ввозу для пропитания населения по его системе. В этом случае нужно было бы допустить, что почти половина страны находилась под посевом. Пример Франции указывает, что отношение площади посеваемых культур к общей площади страны составляет для северо-восточных и северо-западных областей приблизительно одну треть, для юго-западных — одну четверть и для юго-восточных — одну пятую. Очевидно, что Аттика площадью посева не превышала первые, но очень вероятно, что она не была ниже последних. Можно предположить, что минимум пятая часть ее поверхности была под зерновыми культурами — пшеницей и ячменем — в эпоху, когда область культурного земледелия менялась так мало и при той системе земельной эксплуатации, которая, например, позволяла сеять ячмень между виноградными лозами. Допустим, таким образом, что пятая часть ее площади была занята этими культурами. Аттика с Саламином имеют площадь в 734,14 квадратных географических мили; возьмем круглое число 730 миль, равное 249842,41 гектара, пятая часть которых равна 49968 гектарам. При-

нимая урожай в 11 гектолитров с гектара — самая низкая урожайность юго-востока Франции,— мы будем иметь 549653 гектолитра, или 1056526 медимнов, которые, будучи прибавлены к миллиону медимнов ввоза, составят количество более чем достаточное для нужд страны, считая в ней 310 тысяч жителей.

7

Всем вышесказанным, я думаю, установлено следующее:

1. Число 60 тысяч рабов, на которое делает указание Ксенофонт, когда он предлагает покупать рабов «до тех пор, пока их не будет три на одного афинянина», относится только к работам в копях, и никогда это число нигде, кроме как в его теории, не имело реального существования; поэтому отсюда нельзя сделать никакого вывода, касающегося в целом числа рабов в Аттике.

2. Число рабов в 400 тысяч, даваемое Афинеем на основании слов Ктесикла, базировавшихся на результате переписи Деметрия из Фалер, является общим числом, включающим в себя все рабское население; слова другого собеседника, который относит эти десятки тысяч рабов к рабочим в Лаврийских копях, ни на чем не основаны, сознательно преувеличены и противоречат тексту, совершенно ясно и точно.

3. С другой стороны, в одном месте Фукидид говорит, что остров Хиос имел рабов больше, чем какое-либо другое государство, кроме Спарты. Но Спарта не могла иметь илотов больше чем 220 тысяч. Хиос мог вполне собрать у себя 210 тысяч рабов. Таким образом, рабское население Аттики не могло быть выше 200 тысяч человек.

Этот предел, который не может быть повышен, был ли он достигнут? Ни один текст не указывает нам положительно более низкого предела. Совокупность всех

свидетельств, касающихся рабства,— столь широко распространенное использование рабов, особенно женщин, для внутрисемейного обслуживания, применение мужского труда в земледелии, в каменоломнях и рудниках, во всех видах производства, для всех нужд торговли и мореплавания у народа, у которого все эти занятия находились на первом плане и были так широко поставлены, — все это, конечно, предполагает, что общее число рабов было довольно значительным. Прибавим, что доказательство, полученное нами из данных ввоза зерна в Аттику и его производства внутри страны в тех нормах, которые были указаны выше, может служить для получения цифры низшего предела населения, которого нам не хватало, и тем подтверждает полученные мною выводы. Действительно, потребление я высчитывал по максимуму, а производство по минимуму, какие можно было допустить в разумных пределах. Я принял за потребление на одно лицо 2,93 гектолитра в год, тогда как во Франции оно колеблется от 2,71 до 2,42 гектолитра; я считал посевной фонд в 1/3 всего полученного зерна, хотя есть много оснований считать его значительно ниже. По урожайности я взял цифры ниже, чем во Франции в соответствующих областях; наконец, что касается величины площади, отведенной под посевные культуры для питания населения, я не перешел норм, имеющих место во Франции. А между тем Франция и Аттика, с этой точки зрения, находятся не в одинаковом положении. Франция может ограничить свои посевные культуры в указанных пределах, так как в этих пределах она может дать достаточно зерна для удовлетворения потребностей всех своих жителей. Аттика же, принужденная прибегать к ввозу из-за границы, естественно, должна была стремиться поднять свою внутреннюю продукцию возможно выше, до уровня своих потребностей. Лишь допустив крайнее неплодородие страны, можно считать, что при подобных обстоятельствах Аттика не могла

данную грань перейти. Таким образом, конечную продукцию в 549653 гектолитра, или в 1056526 медимнов, надо признать наиболее низкой, какую только можно предположить для Аттики. Выкинем отсюда 200 тысяч медимнов для посева; остается для потребления 856526 медимнов, и так как ввоз был минимум 800 тысяч, мы будем иметь 1656526 медимнов как наименьшее количество зерна, которое потреблялось в Аттике. При расчете $\frac{3}{4}$ хеникса в день на человека, или $5\frac{5}{8}$ медимна (=2,93 гектолитра) в год, получается минимум 294500 жителей.

В этих пределах, от 295 тысяч до 310 тысяч человек, мы должны установить цифру населения Аттики, по всей видимости, ближе к 310 тысячам, чем к 295 тысячам. Принимая бесспорно количество афинского населения приблизительно в 67 тысяч, население метеков в 40 тысяч, получаем, что рабское население составляло от 188 тысяч до 203 тысяч человек.

Афиной, по-видимому, удвоил число рабов, ссылаясь на данные, имеющиеся в переписи Деметрия из Фалер. Мне придется сказать то же, и даже в большей еще мере, относительно того, что он говорит о рабах в Коринфе и в Эгине, несмотря на авторитеты, на которые он ссылается, и несмотря на согласие с ним в этом отношении Бёка. Действительно, дальше в той же беседе Афиной говорит, что, по данным Тимея, в Коринфе было 460 тысяч рабов, а, согласно Аристотелю, в Эгине было 470 тысяч. Без сомнения, эти два города, в руках которых некогда была почти вся торговля по побережью Средиземного моря и которые, главным образом, торговали с Эвксинским Понтом, должны были иметь большое количество рабов. Но сам Бёк признает, что эпоха их процветания, конечно, предшествовала развитию могущества Афин, и, таким образом, свидетельства Аристотеля и Тимея, даже при признании их подлинными, не являются для рассматриваемой эпохи современными. Итак, можно только

строить смелые предположения на основании воспоминаний о древнем морском главенстве этих двух государств. Ведь нет ни одного факта, который подтверждал бы эти предположения; а против себя они имеют все правдоподобные доказательства, вытекающие из наблюдений над устройством страны. В самом деле, Коринф обладает очень узкой областью и каменистой почвой на подступах к перешейку, Эгина же — очень гористый остров в $25\frac{1}{4}$ квадратных миль, или 2425 квадратных стадий (=83 квадратным километрам). И вот, определяя для него свободное население в 130 тысяч человек, значит, всего 600 тысяч, мы получим на квадратный километр 7230 человек, т. е. вдвое больше, чем в промышленных районах Франции, приблизительно только в три раза меньше, чем в Париже. Одним словом, весь остров, покрытый домами в два или три этажа!

Эти цифры мы должны отвергнуть и найти другие, более соответствующие истинному положению этих государств. Эгина, менее благоприятствуемая своим природным положением, более ущемленная в своей торговле растущим значением Афин, должна была всегда в отношении численности рабов отставать от Аттики; с каждым днем она отставала все больше. Коринф, находившийся на подступах к Пелопоннесу и на главной торговой дороге между востоком и западом, остался свободным и продолжал эксплуатировать тех многочисленных рабов, которые позволили дать его жителям прозвище «отмеривателей хениксов». Мегара, дорическая, как и Коринф, и не менее неверная духу этого воинственного племени, посвятила себя тем же торговым интересам, хотя и при худших условиях. Оттесненная Афинами с арены крупной торговли, она занялась, главным образом, ремеслом: большинство мегарцев, по словам Ксенофонта, жило производством туник и трудом рабов-варваров, которых применяли при этой работе. Кроме того, рабы могли быть объеди-

нены в известном количестве в других местах, где практиковался тот или другой вид спекуляции: например, на Делосе или в Дельфах, где все жители превратили свои дома в меблированные комнаты для иностранцев, и т. д. И то, что я сказал о европейских греках, в еще большей степени относится к их колониям, к этим городам, действительно промышленным и торговым, в которых находились главные рынки рабов: на востоке — Хиос, о котором говорят, что его жители первыми занялись такой торговлей; Эфес, который вел такую торговлю с азиатскими народами в ущерб самим грекам; Милет, Фокея, Родос и т. д.; на западе — Тарент, Сибарис, столь известные большим числом рабов и своей роскошью, и Кирена, где существовал обычай на пиру, который великий жрец устраивал своим предшественникам, каждому из участников давать по рабу, который ему служил.

Таким образом, у народов, обратившихся к производству и торговле, всюду мы находим рабов, как мы нашли крепостных у народов, осевших в той или другой стране в силу завоевания и более продолжительное время оставшихся верными учреждениям, благодаря которым они здесь утвердились. Наряду с этими государствами, торговыми или воинственными, есть также другие, которые не являются, точно говоря, по своему характеру ни теми, ни другими и, по-видимому, образуют особую категорию, как, например, локры или фокидяне. По словам Тимея, с рабством они познакомились очень поздно, жена Филомена (около 355 г.) была первой, которая у фокидян появилась публично в сопровождении двух служанок, приблизительно в то же время Мнасон, который содержал тысячу рабов, был обвинен как отнимающий тем самым нужное пропитание у такого же числа граждан. Вообще нужно сказать, что Тимей — писатель подозрительный, особенно когда он возражает Аристотелю. И как раз здесь он имеет претензию критиковать его по по-

воду учреждений локров и вполне возможно, что в своих возражениях он заходит слишком далеко. Кроме того, в этом месте он говорит только о покупных рабах и о домашнем обслуживании, как раз в этом отношении самые молодые обслуживали самых старых, как говорит Тимей. Вполне возможно, что локры и фокидяне, как и многие другие эллинские племена, имевшие крепостных для работ на полях, могли уничтожить или сильно сократить другую форму рабства.

Констатируя повсюду в Греции существование в это время порабощенного населения то как крепостных в результате завоевания, то как рабов в государствах торговых, я не рискну выразить в цифрах то число, до которого это население доходило. Тексты слишком неполны, чтобы позволить делать общие выводы, хотя бы чуть-чуть претендующие на достоверность, и такие пробелы в истории большинства этих народов не должны нас удивлять — ведь самая их политическая жизнь известна столь несовершенно. Но у нас есть возможность сравнивать тот и другой типы государств, тех государств, которые являются как бы двумя полюсами греческого мира, в которых лучше всего выразились эти две тенденции греческого духа — уважение к древним обычаям и безотчетное стремление к прогрессу, гений войны и гений цивилизации, — я имею в виду Спарту и Афины: первая безраздельно господствовала над целым покоренным народом, вторая властвовала над целой массой купленных рабов. В Спарте в эпоху Геродота число порабощенного населения было в семь раз больше числа народа-победителя, и если в число свободных мы зачислим периэков, а в число порабощенных — массы тех рабов, которыми должны были пользоваться периэки при работе и на земле и в мастерских, то число порабощенного населения поднимется еще выше, более чем вдвое превосходя свободное население, вплоть до того времени, когда Мессения была освобождена. В Афинах рабское

население было почти вдвое больше числа свободных афинян и иностранцев. У других народов это отношение должно быть ниже и по необходимости изменяться под влиянием многих причин. Быть может, их можно распределить таким образом: что касается крепостных, то за Спартой идут Фессалия, Аргос и различные дорические колонии Азии, Африки, а также Сицилии и Италии, что касается рабов, то за Афинами мы можем назвать Коринф, Эгину, Мегару, а в числе колоний более всех других Хиос, который Фукидид ставит следом за Спартой, хотя в несколько другом отношении. В конце концов, подводя общий итог, можно сказать, что порабощенное население, рабы и крепостные, является населением более многочисленным, чем свободные, это база, на которую нужно опираться при изучении греческого общества, взятого во всем его целом. Но в частности для истории рабства, так как наши тексты чаще всего касаются внутренней жизни Афин, мы в результате нашего анализа дали цифры, при помощи которых с большей или меньшей точностью можно определить место рабов в государстве и влияние, которое они должны были на него оказать.

Глава восьмая

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОВ В СЕМЬЕ И В ГОСУДАРСТВЕ

Во всех спорах о рабстве, какое бы влияние на судьбы государств ему ни приписывали, нужно всегда отправляться от установки политической к точке зрения гуманности. Ведь в конце концов тут идет дело о человеке: теперь нет никого, кто осмелился бы этого не признавать. И прежде всего надо подсчитать все то добро и зло, которое проистекает для него из такого положения. Конечно, по этому вопросу возможны различные точки зрения; и в зависимости от принятой точки зрения можно найти основание, чтобы нападать на самый факт или защищать его. Одни, пораженные злоупотреблениями, допускаемыми при домашних порядках, без дальнейших рассуждений отказываются от какого бы то ни было примирения с подобным общественным строем; другие, не отрицая злоупотреблений, видят очень крупную компенсацию их в выгодах этого режима: это жизнь труда, но жизнь уверенная, где человек без забот и беспокойств за завтрашний день обеспечен насущным хлебом, одеждой и кровом; разве это даже для нашего времени не является как бы отблеском золотого века? И обычно этому колониаль-

ному обществу противопоставляют общество европейское, столь гордое своей цивилизацией и своими свободами, где человек перестал быть собственностью, не переставая быть орудием, т. е. где он имеет труд, где он бывает очень рад иметь его, не будучи всегда уверенным найти с его помощью все необходимое для себя и для своей семьи. Если бы он всецело принадлежал своему хозяину, которому он все равно обязан отдавать все свое время и все свои силы под влиянием еще более повелительного хозяина — голода; если бы этот хозяин, который заставляет его работать, был заинтересован беречь его, поддерживать, воспитывать его детей, то не было ли бы это разрешением, и быть может лучшим, чем всякие другие, того вопроса, который так различно и оживленно обсуждается и который хотят сделать поводом к революции, — вопроса об организации труда? И тем не менее никто не осмеливается серьезно предложить такого решения. Не говоря уже ни о чем другом, простой здравый смысл, инстинкт народа отвергает его. Я покажу дальше, что этот инстинкт его не обманул; и чтобы доказать это, нам не нужно будет форсировать факты, сгущать краски. Я представлю положение раба таким, каким оно является по памятникам и произведениям того времени, когда применяли рабов, не думая об уничтожении когда-либо рабства. Я возьму его во всех его видах, вместе с тем не отказывая себе в праве исследовать вопрос до конца, до той основы, на которой все это зиждется. Что страдания и лишения семей рабочих часто превосходят страдания рабов, на это я, конечно, не буду закрывать глаза, да в отрицании этого я вовсе и не заинтересован. Это честь для народных масс, что они предпочитают все бедствия своего положения тому состоянию, которое обеспечивает их существование ценой унижения. В этом сознании собственного достоинства сказывается истинная природа человека.

Высший закон для рабов, закон общий для всех, это быть ничем, кроме как вещью в руках своего господина; и это положение имело своим непосредственным результатом то, что они были исключены из класса лиц и подчинены законам, которыми регулировалась собственность на вещи. Но хотя отношения между господином и рабом и были основаны на этой единственной базе, они могли видоизменяться по месту, времени и племени раба; явление, в сущности неизменяемое, могло в этих формах испытать на себе влияние тысячи всяких внешних условий, зависящих от различных характеров и нравов; и законы, которые опираются на эти обычаи, а иногда им предшествуют, под воздействием более совершенной, более возвышенной мысли, стремящейся поднять эти нравы на более высокую степень, могут дать свою санкцию обычному поведению и установить, как правило, для всех образ действий, усвоенный лишь немногими. Возьмем человека у самого порога его рабской жизни и посмотрим, как развивалось и видоизменялось в основном его положение.

Рабы, рожденные в доме, росли, так сказать, без призора, в полной заброшенности, вдали от гимназий и всякого воспитания, способного пробудить в них представление о нравственности, до того дня, когда они могли принять участие в труде; если, их покупали, то их покупка сопровождалась — по крайней мере так было в Аттике — такими обрядностями, которые должны были сделать для рабов более приятным дом, где им придется служить. Их сажали к очагу, и хозяйка обсыпала их сухими фруктами и другими «лакомствами» с пожеланиями, чтобы новая покупка пошла на благо дому; это было своего рода посвящением их для приема в недра семьи, орудиями которой, но не членами, они должны были стать. В то же время им давали

имя, которое иногда обозначало или их происхождение или положение, известные черты их характера, физические или моральные свойства, но которое наиболее часто бывало взято по прихоти хозяина из числа имен, наиболее употребительных у свободных людей и даже наиболее прославленных в мифах или истории: Европа, Эвридика, Ясен, Мелеагр, Филипп, Олимпиада, Александр, Антигон, Деметрий, Арсиноя, Сапфо, Платон, Феокрит, Апеллес и т. д. Затем, не обращая внимания на эти блестящие имена и на происхождение своих рабов, им назначалась одна из служебных обязанностей по прихоти той же хозяйской воли, которая теперь распоряжалась ими по своему произволу. Вместе с работой они получали вещи, необходимые для жизни: для питания — определенное количество муки, фиг, сколько им отвешивала рука хозяина, чесноку, который они иногда делили с хозяином; для одежды — кусок материи, из которой они делали себе пояс или очень короткую накидку, небольшую шерстяную тунику, шапочку из шкуры собаки и в лучшем случае еще какой-нибудь грубый мех, чтобы завернуть в него ноги или тело, — но все это лишь по доброй воле хозяина и в зависимости от того, насколько этим рабу гарантировалось повышение работоспособности или сохранение здоровья, так как раб был его имуществом.

Таким образом, раб был отстранен от всех человеческих прав, от всего, что предполагает личность. Нет никакого брака: слово, которое обозначает его, никогда не употребляется греческими писателями для того, чтобы выразить союз мужчины и женщины из числа рабов. Нет никакой семьи: раб не обладает формальным правом, которое создает семью благодаря закономерному и урегулированному объединению родителей и детей; его дети — это продукт, который является частью имущества господина и увеличивает «стадо» его слуг. Никакой собственности: разве может

приобрести что-либо для себя тот, кто не принадлежит сам себе? Что бы он ни приобрел своим трудом, все это составляет имущество его господина, равно как и то, что может ему достаться в качестве подарка или наследства.

Однако строгость этих логических выводов на практике могла быть значительно смягчена. Иногда рабам разрешались брачные союзы. Один закон Солона, введший для рабов целый ряд других ограничений, не препятствовал им вступать в подобные отношения. Ксенофонт, который в общем осуждает этот прием и считает, что дурные рабы станут от этого еще хуже, наоборот, одобряет его по отношению к верным рабам как одно из средств закрепить еще сильнее узы их преданности; а это предполагает известного рода фиксацию, если не легальную, то по крайней мере условную, в отношениях между мужчиной и женщиной, между отцами и детьми, т. е. некоторую форму брака, призрак семьи. Если в этом можно верить свидетельству Плавта, такие браки, неслыханные в Риме и, как можно было бы предположить, не имеющие прецедентов в других странах, практиковались в Греции, в Карфагене, в древнейших поселениях Апулии; и эти свадьбы рабов, продолжает он, устраивались там с большей заботливостью, чем браки свободных. Это последнее выражение есть дань сатире; но важно уже и то, что не все в этом отрывке является сплошной иронией. Мы уже видели в гомеровскую эпоху, что хозяин награждает верного слугу, давая ему подругу жизни, и Ксенофонт свидетельствует о непрерывности этого обычая, санкционируя его своим одобрением. Казалось, что интересы хозяина встречали тут больше гарантий, когда раб брал на себя целиком тяготы ответственности за ту или другую часть хозяйства, за ферму, за стада; надзор и различные заботы по управлению лучше распределялись между мужчиной и женщиной, связанными между собой в браке, и это точно так же было

и в Риме, как мы увидим позднее. Разница только в том, что в Греции такой союз мог быть поставлен под охрану определенных форм, в подражание обычному браку. Точно так же раб в «Хвастливом воине», в сцене, изображающей, как он одурачивает своего хозяина, говорит о своей помолвке и своем будущем браке с горничной предполагаемой метрессы солдата. Плавту пришлось прибегнуть к этим правовым формам, чтобы представить более торжественным, и, следовательно, более комическим брак фермера с мнимой Казинной, формам, невозможным в Риме для этого сословия, почему ему и пришлось вперед их оправдывать, чтобы освободить от всех законных сомнений грубоватую веселость своей публики.

Наряду с зачатками семейного права обычай Греции иногда давали рабам известные права на собственность. Разумеется, это не было неизменным правилом: скупой, который, конечно, не составлял в этом случае исключения, не имеет другого способа, чтобы вознаградить себя за разбитое рабом блюдо, как вычесть его стоимость из предметов первой необходимости у несчастного, уменьшая ему порцию пищи. Но исключения из этого были по меньшей мере достаточно часты. Так (главным образом в городе), имели место случаи, когда рабы, отдаваемые в наем, получали от хозяина часть его арендной платы на частичное покрытие издержек своего существования. То, что раб экономил на предметах первой необходимости, составляло фонд его благоприобретенной собственности, его пекулий, который мог увеличиваться различными способами. Старались стимулировать его рвение по дому и его активность к труду, предоставляя ему часть благ. Так, управляющему имением предоставлялся лично для него известный участок земли, пастуху давали овцу. В «Горшке» Плавта старая служанка скряги владеет в качестве собственного имущества... петухом. Равным образом рабов, используемых на многочисленных ра-

ботах в ремесле и торговле, пытались иногда материально заинтересовать в работе — в вещах, которые они должны были изготавливать или которыми им приходилось торговать. К этим продуктам труда прибавьте те маленькие доходы, которые получались от друзей дома и о которых говорит Лукиан в своей статье «О наемных писателях»; он дает там несколько образцов, приложимых как к Греции, так и к временам Империи. Раб вознаграждался в самых различных случаях — при приглашении на обед или при каком-либо другом выражении милости своего господина; ему платили за хорошее известие, за то влияние, которое он оказывал на хозяина, участвуя в назначении или выборе подарков. Прибавьте еще то, что рабам удавалось перехватить самим благодаря щедрости или небрежности хозяина, Когда хозяином был молодой мот, который расточал свое состояние, то «быть скромным — это значило вредить себе без пользы для него», — говорит один из персонажей Менандра. Раб старался получить свою долю из того, что погибло в бездонной пропасти, увеличивая при случае издержки вдвое, крадя, грабя, отхватывая часть добычи. Так, Гета в «Грубьяне» проводит как раз ту политику, которую я изложил выше, равным образом и честный Стасим в «Трехгрошевом», после того как он напрасно старался поставить преграду расточительности своего молодого хозяина, кончает тем, что решает сам использовать обстоятельства и получить свою часть, как собака со стола. И он даже не очень старается скрыть приписки в тех счетах, которые он представляет ему: «А то, что я украл? Гм, да это самая большая часть расхода!».

Оставляя в стороне эти мошенничества, хозяин с удовольствием смотрел на то, что сбережения его рабов росли: ведь частное имущество раба, как и сам раб, были имуществом его господина. Обычно он не трогал сбережений рабов — частое злоупотребление этим, уничтожая доверие, заставило бы иссякнуть

и самый источник. Но по букве закона хозяин имел на них право собственности, и в отдельных случаях к этому прибегали все еще довольно часто. «Увы! — восклицает Дав, подсчитывая вместе с товарищем по рабству свои средства, которым угрожала необходимость взноса на свадьбу его господина, — увы! какая несправедливость судьбы, что более бедные должны давать более богатым!» Эти сбережения, которые он так нищенски собирал грош к грошу, отнимая их у своего рациона, крадя их у себя самого, его хозяйшкa обдерет в один прием, не считаясь с теми страданиями, которых они стоили. Другой подарок, которым их обяжет обоим Гета, будет, когда у нее родится сын; затем, когда ему будет год, когда он будет введен в круг семьи. Но по крайней мере в промежутках между этими событиями рабы могли располагать своими средствами и для того, чтобы купить самому себе раба, и для того, чтобы сберечь себе, как мудрый Стасим, некоторые средства, которые могли бы оградить его от последствий безумств своего господина, и для того, чтобы подражать ему в сумасбродствах и в тягостный ход своей трудовой жизни вплести несколько дней опьянения и удовольствий.

В силу законов лишенные всех естественных человеческих прав — прав брака, семьи и собственности, — они тем более были лишены гражданских прав и права участия в религиозных обрядах. Рабы были исключены из общества, но так как они должны были жить здесь, чтобы обслуживать его, их старались выделить иногда рядом внешних признаков: грубой одеждой, бритой головой. Но в Афинах эти правила соблюдались не настолько строго, чтобы рабов можно было отличить по внешности от граждан любого класса: от бедных, которые зачастую были одеты в ту же одежду, как и они, от богатых, подражать которым во внешнем виде они так любили, употребляя духи, вопреки постановлениям Солона, пробираясь вперед, не уступая дороги сво-

бодным и предаваясь оргиям, изображение которых в римском театре вызывало возмущение. «Вы, конечно, будете удивлены, — говорит Стих у Плавта, — видя, как эти низкие рабы пьют, любят и участвуют в пирах своих хозяев; все это нам дозволено, должны мы помнить, в Афинах». И эти слова римского поэта находят себе доказательства и в других случаях. Эсхин в речи против Тимарха выводит некоего Питтолака, государственного раба Афин, богатого развратника, игрока, устраивавшего петушьи бои; и Ксенофонт в общих выражениях рисует нам такой же портрет: «Может быть, будут удивляться, что позволяют рабам жить в роскоши, а некоторым даже пользоваться великолепием; но этот обычай, однако, имеет свой смысл. В стране, где флот требует значительных расходов, пришлось жалеть рабов, даже позволить им вести вольную жизнь, если хотели получить обратно плоды их трудов». Таким образом, можно поверить Плавту, и если он несколько и преувеличивает, то много правды в «Дивертисменте», прибавленном к «Стиху», и в изображении того раба, который является главным действующим лицом в пьесе «Перс». Токсил, раб, управляющий домом, в отсутствие своего господина выкупив и отпустив на волю рабыню, которую он любит, имеет паразита, предоставляющего к его услугам свою собственную дочь, свободную гражданку; последняя участвовала в их плутнях, а затем продана бесчестному купцу с опасностью для своей чести. Раб-управляющий организует и руководит всеми этими хитрыми планами с наглостью человека, захватившего права хозяина в доме; свои удачи он сопровождает оргиями, в которых принимают участие его сотоварищи по рабству, чтобы посмеяться над этим гулякой и выпить за счет отсутствующего хозяина.

Рабы были лишены права участия в религиозных церемониях и общественных жертвоприношениях; их допускали в святилища, когда здесь требовались их

услуги; а это были такие «услуги», которые оказывали гиеродулы храмов Афродиты в Коринфе, в Эриксе и т. д. Иногда даже и их услуги не допускались, отвергались: у афинян уже одно присутствие раба на празднике Эвменид или при мистериях Деметры считалось святотатством; на острове Косе они должны были выходить из храма Геры, когда приносились жертвы в честь богини. Но они были допущены в фиазы, или религиозные ассоциации частного характера, подобно иностранцам, которым также было разрешено организовывать их как в Афинах, так и в других местах. На Родосе государственные рабы образовали такое общество под покровительством Зевса Атабирия, и один из этих рабов был его жрецом. Позднее, приблизительно во II в. н. э., у ворот Афин, недалеко от Лаврийских копей, можно было видеть святилище; один раб из Ликии, по имени Ксанф, принадлежавший римлянину Каю Орбию, который наверно использовал его на работе в копях, посвятил это святилище богу Мен, или Луне, и организовал здесь религиозное братство, в котором он сам был жрецом и в которое были допущены иностранцы. По-видимому, он сам составил регламент и велел его высечь на камне, сохранившем нам память о нем.

Но в Афинах существовал ряд народных празднеств, от участия в которых рабы не были отстранены. Более того, рабы имели свои специальные празднества, например, в Афинах — первый день Антестерий, посвященный Дионису, когда им разрешалось наравне с другими испробовать новое вино, дар бога; равно в Трезене в первый день месяца Герестиона им было позволено участвовать вместе с гражданами в играх и пирах; в Спарте они участвовали в празднике Гиакинфий, по-видимому, специальном празднике жителей Лаконии; также участвовали они и в ряде других праздников: в празднике Элевферий в Смирне, где их жены носили костюм и украшения свободных женщин; в одном празднике в Аркадии, где мужчины-рабы за-

нимали места за столом своих господ; в празднике Зевса Пелория в Фессалии, когда господа даже служили им. Они имели своих жрецов, как, например, в Эпидавре в храме Афины, великий жрец которого должен был всегда быть беглым рабом, победителем в мономахии (единоборстве). Рабы имели даже среди богов Олимпа своих богов; Гермеса, который покровительствовал их воровству и принимал в нем участие, и Сатурна, который ежегодно в свой праздник (нового года) возвращал им то время, когда они не были рабами, возвращал им чудное время «золотого века».

Отметим еще одно противоречие. Эти самые люди, почти полностью исключенные из гражданских и религиозных обществ при жизни, по смерти не были лишены тех почестей, которые предназначались для граждан. Хозяин включал их в семейную гробницу, и не раз он воздвигал над ними какой-нибудь памятник, который свидетельствовал о его расположении и о его печали.

В итоге надо сказать, что от равенства древних времен, которое в гомеровские времена еще продолжало существовать под видом простоты и благородной фамильярности между господином и старым слугой, не осталось и следа в эту эпоху более высокой цивилизации. Развиваясь, общество отметило более резкой и жестокой чертой расстояние между двумя классами. Рабы, более многочисленные, более различные по своему происхождению, стали также и более чужими для семьи господина; и Теофраст, который в Своих «Характерах» выражает точку зрения своего века, называет «деревенщиной» тех, которые, как некогда Одиссей, приходили провести время среди своих слуг, занятых работой. Но это не значит, что исчезла всякая интимность между хозяином и рабом. В постоянном общении, в условиях домашней жизни, расстояние, которое их отделяло, как бы велико оно ни было, еще очень часто преодолевалось. Но место беседы, простой

и естественной, как сама патриархальная жизнь, заняла фамильярность беспутной жизни, в которой иногда руководящая роль переходила к рабу в силу того влияния, которое сильный или сильно порочный характер может оказывать на характер более слабый как в пороке, так и в доблести.

2

Таков тот раб, которого комики видели в афинском обществе, и таковым они нам его изображают. В древней комедии его роль отмечена еще мало. Комедия в первое время своего существования не делала из раба основного персонажа в той же мере, в какой он им не был и в действительной жизни. Она обращала свои нападки на правительство, на народ, на государственных людей и общественные явления. Это сцена исторического характера или сцена нравов свободных граждан; здесь нет интриги, в которой рабы были бы действующими лицами, выступали бы в роли советчиков. Они фигурируют там как необходимый аксессуар или чаще даже в качестве третьестепенных лиц, задачей которых являлось развлечь и потешить зрителей криками, которые они выпускают, когда их бьют. Такова была их двойная роль, которую они играли до Аристофана. Этот поэт сохранил их как аксессуар и уничтожил их как интермедию; можно сказать, он заставил их войти более активно в ход комедии; сократив у них элементы шутовства, сближающие их с паразитами, он дал им более определенный характер. Если в большинстве своих пьес он заставляет их появляться только в роли обслуживающих, то существуют другие комедии, где он ставит их на то место, которое они часто имели в жизни. В «Осах» и в «Мире» они играют более активную роль, не становясь еще существенным элементом всего хода действия пьесы, не особенно выявляя себя в диалогах. В «Лягушках» и в «Богатстве»,

которые находятся на грани комедии древнегреческой и среднегреческой, они оживляют все действие своим присутствием и своими комическими дурачествами. В «Лягушках» Ксанфий, грубый на словах, смелый в своих репликах, издевающийся над бахвальством своего хозяина, изнеженного Диониса, который играет роль Геракла, господствует над ним благодаря твердости своего характера в опасные минуты; он готов на все: и взять на себя первую роль и предоставить ее Дионису, в зависимости от того, что это влечет за собой для него — удары или удовольствие, и очень комично сваливает на бога последствия своей трусости, когда при угрозе наказания за дурные поступки Геракла, знаки отличия которого он хотел взять в последний раз, он хочет оправдать себя, представляя на допрос своего мнимого раба, сына Зевса. В «Богатстве» Карион оплакивает в начале пьесы печальное положение раба, связанного с судьбой своего господина и фатально увлекаемого по следам его безумств, но со своей стороны он предлагает и обещает помочь этому: он расспрашивает, он советует, он хочет во все вмешиваться, и он действительно вмешивается, начиная с того самого момента, когда он узнал слепого бога богатства, вплоть до резких изменений, которые производит бог, став зрячим, в распределении своих даров. Он тут как тут, чтобы встретить человека, ставшего богатым по заслугам, или чтобы выразить презрение разорившемуся сикофанту-доносчику, чтобы дать занятие Гермесу, покинутому своими почитателями, и старухе, потерявшей своего молодого любовника. В этих двух ролях, так же как и в «Осах» и в «Мире», мы видим всегда одну и ту же фигуру любопытствующего по отношению к господину приставалы, бесстыдного насмешника, желающего быть с господином запанибрата, в связи с вопросами, которые тот ему предлагает, с теми советами, которые он ему дает, споря с ним с некоторым видом превосходства.

Тот характер отношений раба к своему хозяину, изображение которого мы находим со времен древней комедии, отмечен в еще большей степени новой комедией, переходом к которой служит «Богатство» Аристофана. Являясь картиной частной жизни, эта комедия, конечно, должна была дать более видное место рабу. Так как комедия, прибегая к интриге, ставит раба в центр завязки, то она должна представить в более ярком свете те отношения, которыми раб связан с другими лицами и, главным образом, с хозяином. Комедия, столь богатая шедеврами, комедия Филемона, Дифила, Менандра до нас не дошла в виде цельных произведений, но мы ее знаем благодаря Плавту и Теренцию. Плавт, при всей оригинальности своего комического темперамента, сохраняет, по крайней мере, основной фон той пьесы, которую он заимствует из греческого театра; к этому относятся интрига и те положения, которые не могут быть устранены без того, чтобы не пострадал и сам основной фон; таким образом, даже под этой латинской оболочкой эти комедии все же прекрасно остаются пьесами греческими; и не раз, когда контраст с римскими нравами был уже очень резким, Плавт считал нужным предупредить об этом свою публику. Теренций, чуждый Риму и по своему происхождению и по воспитанию, путешествуя и создавая свои пьесы под покровительством знатных консуляров — какого-нибудь (Сципиона) Эмилиана или Лелия, занимавшихся изучением Греции, — меньше вдохновлялся римскими нравами и Плавтом, своим предшественником, чем теми образцами, которыми пользовался Плавт. В этой отделке формы, в этом языке высшего общества, в этом совершенном чувстве меры, которое даже самым шутовским выходкам придает блеск и изящество, как сквозь прозрачный и чистый хрусталь, мы можем узнать аттического писателя. Таким образом, мы вправе вскрыть у обоих этих поэтов то, что они заимствовали из Греции, и указать,

что эти столь общие им обоим картины отношений между прислугой и хозяевами в сущности принадлежат Греции. Почти все рабы у Плавта обычно держатся со своими господами тона развязности и наглой фамильярности, которая могла не быть чуждой и Риму при известных обстоятельствах, когда хозяин, являясь сам игрушкой своих страстей, давал к этому повод своему рабу, но которая, конечно, была характерным явлением для афинского общества. Такими в сущности являются Либан и Леонид в «Ослах», Хрисала в «Бакхидах», Палинур в «Проделках паразита», Аканфий в «Купце», Милфион в «Пэнуле» и превзошедшие всех три героя мошенничества — Транион в «Привидении», Эпидик и Псевдол в пьесах, названных их же именами и посвященных их подвигам: Эпидик, ручающийся, что он заставит танцевать под свою дудку хозяина и его друга, умнейших сенаторов, затем, когда он откровенно им в этом признается, принимая их гнев со всей смелой покорностью, он заставляет их бояться какого-либо нового подвоха с его стороны; Псевдол смело является к господину и заявляет ему, что он сегодня же хочет его надуть: заставив его побиться об заклад, что не удастся сделать этого, Псевдол, выиграв пари, заставляет господина своими собственными руками взвалить ему на плечи 20 мин, которые он выиграл. Таковы рабы и у Теренция — то беспечные и насмешливые по отношению к мучениям ревности их молодых хозяев, как Биррий в «Андрянке», то преданные им и берущие в свои руки их дела; таков Дав в «Андрянке» или Сир в комедии «Сам себя наказавший». Первый проявляет самоотверженность и усердие, которые заслужили ему расположение Памфила; второй — с авторитетом, право на который дают ему его заслуги, предписывает господину свой план действий, не желая излагать его подробно, не терпя ни вопросов, ни возражений, выставляя за дверь молодого ветреника, боясь, что его присутствие испортит все

планы, которые он составил. Оба направляют свой обстрел против отцов, ведя с ними беседы в достаточно фамильярном тоне, но в таких выражениях, которые подчеркивают различие их характеров: первый с шутливым добродушием, придающим ему вид человека, попавшего в ловушку, приготовленную стариком; он пускает в ход свои тонкие остроты и смущает внутреннее чувство старика несколькими эпиграммами, ведущими прямо к цели; второй ведет беседу под маской откровенности, смело накладывая руку на слабые стороны старого развратника, чтобы тем сильнее господствовать над ним.

Ты что там? – Да ничего. Явлюсь тебе, Хремес;
Так рано! А вчера подвыпил столько! – Ну,
Не слишком много. – Что ты! Не рассказывай!
Как не увидеть здесь орлиной старости,
Как говорится! – Хе! – А интересная,
Изящная ведь женщина! – Согласен я. –
Тебе как показалось? И красивая
Такая с виду, господин!

Чтобы воспроизвести этих афинских рабов, мы могли бы не останавливаться на Плавте или Теренций, но заимствовать у Мольера многие из его портретов, не менее остроумных, но более нам близких. Лакеи Мольера — все эти Скапены и Лафлеры, столь нахальные не только по отношению к их молодым господам, рабам их услуг, но и по отношению к их отцам, которых они также водят за нос, — не были никогда, я, по крайней мере, так думаю, отражением отношений лакея к маркизу в реальной жизни, а являлись только свободной и оригинальной имитацией Теренция и Плавта, которые, в свою очередь, подражали Менандру; а Менандр выражал только то, что было в действительности. Нельзя сказать, чтобы все рабы походили на рабов его комедий, но рабы его комедий имели своих представителей в афинском об-

ществе, и, конечно, его типы были достаточно общими, чтобы они могли найти место наряду с вероломным развратником, прожорливым паразитом и «хвастливым воином». Верность изображений этих персонажей подтверждена историей. По словам Демосфена, рабы в Афинах имели столь большую свободу слова, какой не имели и граждане во многих других государствах, а Ксенофонт нам показал, что эта свобода слова была ничуть не меньше, чем и свобода их действий.

3

Но несмотря на всю эту видимость «командования», рабы на самом деле были только рабами, и это им основательно доказывали. Эта свобода в высказывании своих мнений, эта свобода действий, это «могущество» были у них только грезой, призраком. Чтобы рассеять этот призрак, чтобы вернуть их к пониманию действительности, что нужно было для этого? Палка! Палка хозяина, которая играет такую большую роль в новой комедии, перенесенной в Рим, была уже могущественным средством и в древней комедии. Аристофан в одной из своих парабаз (песен хора, обращенных к публике) хвалится тем, что

...от беды он избавил рабов горемычных,
Суесящихся, строящих плутни везде, а в конце
избиваемых палкой,
Чтобы раб-сотоварищ их мог поддразнить, над побоями
зло насмехаясь:
«Ах, бедняк, это кто ж изукрасил тебя? Или с тылу
с великою ратью
На тебя навалилась треххвостка? Или ты к лесорубам
попал в переделку?»
Вот такую-то рухлядь и пакостный вздор, болтовню
балаганную эту
Уничтожил поэт, он искусство свое возвеличил до неба...

Аристофан, не имея возможности положить конец тем нравам, которые были столь распространенными, что не могли быть устранены в результате театрального действия, должен был ограничиться показом того, как самые пошлые вещи могут быть возвышены талантом и хорошим вкусом. Палка была тем, что в обычной жизни и в законодательстве наиболее ярко проводило черту различия между рабом и свободным человеком. Там, где свободный присуждался к уплате 50 драхм штрафа, раб должен был получить 50 ударов бича. Палка во всех случаях была орудием суда, самым сильным аргументом, самым высшим доводом в руках господина и во всех случаях самым верным истолкователем его воли. Сколько раз совет даже хорошего слуги прерывался этим сухим и резким словом «стони», и удар следовал за этим словом. Сколько раз мог он воскликнуть, как раб Ксанфий в «Осах»: «О, черепаха! Как я завидую твоему щиту, который покрывает твою спину!». В минуту возбуждения, когда ярость требовала себе выхода наружу, били своего раба: «Когда наши хозяева чем-нибудь очень взволнованы, удары сыплются на нас». Равным образом Аристотель имел полное основание сделать замечание, что домашняя служба такова, что при ней чаще всего несешь последствия дурного настроения хозяина. И между тем это было особенно желательно рабам. С того времени, как они покорились всем этим неприятностям, когда они взвели как следует, что может вынести их спина,

Что вынести могут
Плечи, что им не под силу, -

они находили достаточную компенсацию за эти моменты гнева в том праве злоупотреблять фамильярностью, которая была тесно связана с их домашней службой.

Рабы в мастерских, более удаленные от своих гос-

под, находились не в лучшем положении. Не пользуясь этими случайными выражениями признаков расположения, они в то же время не выгадывали в отношении обращения с ними, находясь под надзором и в зависимости от заведующего, их же товарища по рабству; однако он не был расположен облегчить их несчастья, наоборот, он стремился дать себе отдых от чувства своей подчиненности тем, что проявлял в жестокой форме свое право командования. Что касается рабов в деревне, еще более удаленных от хозяина, то и их положение было точно так же достаточно тяжелым; плохая пища, грубое одеяние — все, что составляло обычный удел раба, — не находили у них для себя ни в чем компенсации; они несли свой обычный тяжелый труд, не дававший никаких надежд на то, что он когда-нибудь окончится; и чем труд был тяжелее, чем сопротивление ему казалось более естественным, тем более жестокими были управление, надзор и меры воздействия. Часто раба-земледельца заковывали в цепи из страха, чтобы он не забыл своего рабского положения и не вспомнил бы свою свободную природу среди свободы полей. Его работа и обращение с ним напоминали работу и обращение с вьючным скотом, с применением тех предупредительных мер, которых не требовали вьючные животные, рожденные для ярма; таким образом, чем ниже спускаемся мы по этой иерархии труда, тем более обнажается перед нами общая основа рабства с его страданиями и бедствиями, а око-



*Раб, работающий
закованным в цепи*

вы, которыми хотели его сдержать, убедительнее всего доказывали прирожденное право человека на свободу.

Распределение рабов по различным отраслям труда зависело от положения или от доброй воли хозяина. Их распределяли обычно по их качествам или по их заслугам. Наиболее грубых или наиболее мятежных отправляли на более тяжелые работы, на мельницы или в копи, чтобы искупить вину, проистекающую из их дикой природы, или их преступную непокорность. Это было первое средство ввести среди них дисциплину; но были еще средства, более быстрые и более энергичные, и хозяин, который в этом отношении имел вообще полную власть, применял их по собственному выбору и в той мере, в какой он хотел. Грамматик Поллукс перечисляет нам все виды мельниц, тюрем и мест заключения, все виды исполнителей и палачей, все виды плетей и розог, назначенных для того, чтобы пороть рабов, чтобы им «чесать хребет». Но он забыл оковы, колеса, виселицы, дыбы — все эти машины, чтобы выворачивать у них члены или разбивать у них кости. Все это были обычные вещи, применение которых могло удержать только одно соображение — заинтересованность хозяина в рабе как в своей собственности.

Против этих эксцессов хозяйской власти раб находил иногда защиту и убежище в обычаях и в законе. Обычай греков открывал ему в качестве убежища храмы, священные рощи, алтари богов. Изгоняемый из этих священных мест во время празднеств как непосвященный, он был допущен к ним как молящийся, так как вещее слово бога гласило: «молящие святы и чисты». Напрасно ссылались на их недостойность, на их преступления. «Жилище богов, — говорит поэт, — есть общая для всех защита». Он же говорит, что алтари, можно думать, специально сохранены для них под влиянием всеобщего понимания жестокости судьбы:

«И лесные звери находят убежище; алтари служат убежищем для рабов, а города — для городов, разрушенных грозой; ведь в мире нет, чтоб кто-нибудь был счастлив до конца». Один из пунктов устава религиозной ассоциации, связанной с храмом, воздвигнутым около Андании, на дороге от Мессении к Мегалополю, специально открывает в этом храме убежище для рабов. Члены ассоциации должны были там указать для этого место; одно им было запрещено под угрозой двойного возмещения и штрафа в 500 драхм: лично давать приют или брать для служения себе такого беглого раба. Покровительство богов сообщалось простым соприкосновением со священными предметами: повязка, венки из лавра, посвященного Аполлону, гарантировали рабу защиту против гнева его господина. Иногда, говорят, эти убежища делали больше: они разрывали цепи рабства. Храм Геракла в Канопе, по сообщению Геродота, удерживал у себя рабов, которые приходили туда искать убежища; храм Гебы во Флиунте, по свидетельству Павсания, возвращал им свободу; освободившись, они вешали свои цепи на деревья священной рощи.

Но хозяева не совсем безоговорочно соглашались на такое умаление своих прав. Если они не осмеливались открыто восставать против этой привилегии, то они действовали против нее, так сказать, обходом, и, делая вид, что они ее не нарушают формально, они фактически ее уничтожали. Было бы святотатством убить раба, когда на нем надеты эмблемы покровительства богов; начинали с того, что с раба снимали их. Нельзя было оторвать рабов от алтаря: их заставляли покинуть его «добровольно», при помощи голода, при помощи огня. «Я пойду искать Вулкана, этого врага Венеры», — говорит Лабракс, угрожая тем, кто просил богиню о защите. Таким образом, обычай, всем известный, не всеми уважался, и в той войне, которую коварство объявило суеверию под влиянием столь могущественного интереса, было очень трудно, чтобы раб нашел у

подножия алтаря убежище, я не говорю уже против несправедливых законов, но даже против злоупотреблений хозяйской власти.

Афины, которым принадлежала честь признания священных прав молящих о защите, распространившегося затем во всем [эллинском] мире, в связи с тем, что это право нарушалось, пожелали подтвердить его новыми установлениями в пользу рабов. Не идя до такой крайности, как во Флиунте, они пошли дальше того, что было в обычае; и, целиком поддерживая обычай, введенный религией, они пожелали внести этот же дух в свое законодательство. Они дали известные гарантии рабу даже вне убежища. В то время как Спарта отдавала его на публичное издевательство, Афины, наоборот, оказывали покровительство как его личности, так и его жизни, применяя по отношению к нему действие закона об оскорблении, как и к свободному человеку, и мстя за его смерть, как за убийство гражданина. Афиняне сделали больше: они проникли к самому очагу хозяина, чтобы наблюдать, как он пользуется своими правами. Раб принадлежит хозяину, но хозяин не мог по произволу его истребить. Закон запрещал ему это под страхом применения санкций, правда, менее тяжелых, чем в обычных случаях: изгнание и религиозное покаяние и очищение. Платон в своих «Законах» не признавал за этот проступок никаких других наказаний, кроме смерти. Даже тогда, когда раб заслуживал крайнего наказания смертью, если бы он убил своего господина, родители умершего не должны были сами присуждать его к смерти, но на основании древнего закона отдать его в руки магистратов. Господин не мог сам злоупотреблять средствами поддержания дисциплины, которые, как было сказано выше, в других местах были предоставлены неограниченной воле господина: раб, который имел законные основания для жалобы, мог требовать продажи себя и перейти, таким образом, с дозволения суда к хозяину

более мягкому. Закон даровал ему право на защитника, как во всяком споре, касающемся свободы; и святилища, главным образом храм Тесея, храм Эвменид и Эрехтейон, открывали ему убежище до момента окончательного решения.

Такой образ действий Афин диктовался не только соображениями гуманности — это была хорошая и умная политика. Действительно, когда ярмо гнета делалось чересчур тяжким, рабы имели два средства избавиться от него — восстание и бегство: восстание является орудием масс, когда рабы имеют возможность сговориться и действовать заодно, бегство — средство каждого в отдельности в обычной изолированной рабской жизни. Без сомнения, оба приема, самые различные в своем проявлении, тем не менее являются одинаково губительными для интересов хозяев: один более сильный, но более редкий, другой — более слабый, но непрерывно повторяющийся. Конечно, против этого двойного зла государство и хозяева не были совершенно безоружными. Чтобы предупредить восстания рабов, старались делать более трудным их общение друг с другом, насколько возможно, способствовать изоляции их друг от друга, объединяя их в группы, различные по происхождению и языку; особенно считали нужным их запугивать и сдерживать при помощи того превосходства незначительной по численности группы над большой массой, которое создается единой и крепкой организацией: на какие бы группы ни делилось государство, против рабов должно было всегда быть единство интересов среди хозяев. Не было недостатка в таких средствах, которые позволяли удержать рабов или вернуть их под ярмо: цепи на ноги, кандалы на руки, железный ошейник на шею и после первого преступления — клеймо на лоб. Если, несмотря на это,

раб убежал, то все это по меньшей мере являлось уликами, которые всюду следовали за ним и свидетельствовали против него. Раз он был заклемен, то хозяину было достаточно предъявить на него свои требования, объявив его своим беглым рабом. Он это делал при помощи письменных или устных объявлений, которые сверх того обещаниями вознаграждения поощряли желание разыскать раба и вселяли уверенность, что он будет выдан; это является содержанием папируса, опубликованного Летронном со столь интересным и обширным комментарием. Мы даже можем видеть зачатки организаций, имеющих целью такие преследования: были договоры о выдаче между отдельными городами, контракты взаимного страхования между частными лицами. Как пример такой статьи о выдаче беглых рабов можно указать на Никиев мир между Спартой, с одной стороны, и Афинами и их союзниками — с другой; известно, что позднее Персей, желая обеспечить себе помощь против римлян и привлечь ахеян на свою сторону, указывал им на этот союз как на средство положить предел бегству рабов от ахеян, для которых Македония из-за их взаимных несогласий была местом убежища. Что касается договоров о взаимном страховании, то у нас есть интересный образец подобных документов: у Антимена, или Антигена, получившего от Александра приказ о поддержании дорог в Вавилонии, родилась идея подобного рода спекуляции. За премию в 8 драхм в год он застраховывал хозяину всякого раба в определенной сумме и извлекал, по словам Аристотеля, огромные доходы: вещь, вполне понятная, несмотря на неизменность таксы страхования для рабов различной оценки. Условленную премию за всех получал он; если же один из рабов бежал, то на сатрапа провинции возлагалась обязанность или найти его или уплатить деньги.

Все эти меры, как бы многочисленны они ни были, лишь констатируют зло, но вовсе не доказывают, что

они служили действительным средством для его искоренения. Когда эксцессы деспотизма бросали в среду рабов зерна брожения, они вспыхивали ярким пламенем восстаний, и если рабы не ломали всех преград, то исчезали тысячами неожиданных и непредвиденных путей. Иногда рабы находили для бегства широкие возможности в тех потрясениях, которые производили в государствах внутренние волнения или иноземные вторжения: доказательство — 20 тысяч афинских рабов, большей частью рабочих, бежавших к спартамцам в Декелею. Хитрость и насилие были тогда уже бессильны. Разве ненависть к ярму и жажда свободы у поработенных классов не окажутся более изобретательными и более плодотворными в создании своих военных хитростей? Насилие и все средства принуждения часто вызывали взрыв, тем более ужасный, чем дольше они применялись. Так, не было совершенно восстаний в Афинах, где рабы были почти свободны, но они были в Лаврийских копях, где рабы были приставлены к труду более тяжелому и подвергались более жестокому обращению. Однажды они перебили своих сторожей, овладели укреплением на Сунионе и долгое время опустошали страну. Не менее значительные восстания были на острове Хиосе, в государстве, которое после Спарты имело наибольшее число рабов и которое, не будучи так крепко организовано (как Спарта), желало держать их в своем повиновении такими же актами суровости. Рабы поднялись почти все, когда в 412 г. афиняне пошли войной на Хиос; вследствие своего прекрасного знания местности они причиняли жителям чрезвычайные беды. Они еще раз подняли восстание незадолго до времени, в которое жил сиракузянин Нифодор, который сохранил воспоминания об этом событии в своей «Поездке вдоль берегов Азии». Бежав в горы, они оттуда устремлялись на те дома, где некогда были рабами, и предавали их грабежу и опустошению. Все усилия свободных не имели никакого

успеха против таланта и счастья вождя беглых рабов Дримака; свободные должны были принять условия, которые он предложил, и, так сказать, предоставить в его полное распоряжение все свои богатства. В этом договоре Дримак ставил условия от имени всех рабов; для себя и своих товарищей в частности он потребовал признания права брать во всех житницах по своим весам и мерам, сколько ему покажется справедливым; для других рабов он открыл убежище или, скорее, трибунал для беглых, принимая тех, обиды которых были основательны, и возвращая назад тех, которые бежали без основания. Мы видим здесь, как под надзором прежнего раба устанавливается по всем формам суда право бегства, как производится, так сказать, узаконенное мародерство, как он сам для себя устанавливает границы этого закона. По какой-то странной превратности судьбы хозяин работал на своего раба и отдавал ему отчет в результатах своего труда. Повинность не была так точно фиксирована, как это было в положении илота: раб узнавал, сколько собрано, и брал, сколько он считал правильным; а затем печать Дримака, поставленная на ферме, предохраняла ее от вторичной контрибуции. Он сам, обладавший властью как господин, и даже больше, чем господин, среди своих, страшный для всех свободных — своих данников, отправлялся в дни праздников по деревням как новый сеньёр, получая приношения, вино и живность, преследуя «дурные мысли» и наказывая за заговоры, устраиваемые против него. В конце концов на Хиосе стали приходиться в негодование от этого долгого и унижительного подчинения. Но положить ему конец сумели только подлостью: за голову Дримака была назначена высокая цена, и он, уже престарелый, вследствие ли утомления жизнью или вследствие недоверия к своим рабам, приказал одному молодому человеку, которому он хотел добра, отрубить ему голову. Жители Хиоса заплатили с удовольствием, но им не пришлось долго

радоваться. Действительно, Дримак не был единственной силой восстания, скорее он один был сдерживающим его началом. Число рабов не уменьшилось, и они уже не имели сдерживающего начала. Случаи бегства продолжались, но уже без контроля; продолжались и грабежи, но уже без меры и веса. При таком усилении бедствий жители Хиоса прибегли к тому, кого они поставили вне закона, и воздвигли ему алтарь с надписью: «Герою-благодетелю».

Но это не было для Хиоса концом всех несчастий; этот народ, который первым освятил обычай торговли рабами, погиб из-за рабства и в рабстве. Попавший в руки своих собственных рабов, переселенный в Колхиду после победы Митридата, он сохранился только в пословице как величайший пример отомщенной несправедливости: «Хиос купил себе своего господина».

5

При наличии таких неизбежных тяжелых последствий строгости должны были лучше понимать мудрость мягкого обращения. Как было указано выше, так действовали Афины; как мы увидим ниже, этому учили философы: Платон — с ясным сознанием опасности рабства; Ксенофонт — с тем преувеличением, которое все проникнуто влиянием Спарты, где раб боится своего господина, и своего рода сожалением о демократических принципах, которые заставляют вас бояться своих же слуг; наконец, Аристотель — с тем знанием меры, которое составляло силу этого великого гения. В общественном мнении, как и в обычаях, в теории, как и в законе, надо сказать, было гораздо менее гуманности, чем благоразумия, менее сочувствия к рабу, чем беспокойства за своих сограждан. Исключительно с этой точки зрения уже тогда находили в справедливом обращении и сдержанном отношении не только большую политическую выгоду, но и выгоду

моральную. Действительно, при всяком насилии, при всяком злоупотреблении властью страдает не только раб, который подвергается оскорблению, но и свободный гражданин, который его наносит. Раб чувствует его на своем теле, хозяин оскверняет свою душу. Так, Платон никогда не бил своего слугу, провинившегося перед ним... он поручал другим бить его. Это отчасти было мыслью закона, когда он защищал скромность раба против покушения на нее со стороны свободного; и Эсхин в своей речи против Тимарха даже не старается это скрыть. Лишь имея в виду интересы свободного, по какой-то странной привилегии закон запрещал позорное обращение с рабом. В известном отношении закон преследовал одну и ту же цель и тогда, когда он наказывал за убийство раба, и тогда, когда он поднимал судебный процесс против тех, кто глумился над ним: он боялся, как бы при таком обращении с людьми не привыкли чересчур легко совершать убийства, насилия и наносить оскорбления. По крайней мере, что касается закона об оскорблении, то Демосфен перед лицом всех варваров объявил его величайшим проявлением гуманности со стороны Греции, той самой Греции, которая после стольких обид откинула наследственную ненависть, желая только поработить их, не причиняя им никаких обид. Ксенофонт более зло, но и более просто объяснил этот закон страхом, как бы не ударили гражданина, думая ударить только раба. Если мысль закона была темной, то одной из форм афинского судопроизводства достаточно, чтобы ее разъяснить. Раб не был [юридической] личностью и вследствие этого не имел права вести дело в суде. В единственном случае, когда хозяин не мог заменить его, а именно: когда шел закономерный спор между тем и другим по вопросу о свободе, закон давал рабу защитника, который и вел его дело. Но если он не мог фигурировать как заинтересованная сторона, бывало иногда необходимым призвать его туда в качестве сви-

детеля. Раб, всегда привязанный к свободному, обычный свидетель его частной жизни, был часто единственным, кто мог дать показания перед судом. Но при наличии закона, не признававшего в нем человека, логика вещей толкала к тому, чтобы не доверять его совести. Его свободное показание бралось под сомнение, его допрашивали только под пыткой, как будто требовались оковы и мучения, чтобы напомнить ему о его настоящей природе и извлечь из него истину. Этот обычай продолжался с таким постоянством, которое было необычно для Афин, и мы не только встречаем его следы во всех процессах, но слышим восхваления его у всех ораторов. Лисий, Антифонт, Исократ, Исей, Демосфен, Ликург не только помнят об этой традиции, но своим примером, своими речами дают ей новую санкцию. Лисий не сомневается в непогрешимости этого средства и говорит о нем с простотой убежденности. Антифонт в своей речи «За Хоревта» вызывающе сопоставил в виде контраста две природы, человека свободного и раба, равно и приемы, которыми можно заставить их давать свои показания: для человека свободного — это клятва, для раба — пытка, «которая обязательно извлечет из него истину даже тогда, когда она будет стоять ему жизни, так как чувство боли в данный момент действует гораздо сильнее, чем страх несчастья, предстоящего в будущем». Но как выбирать между присягой свободного и пыткой раба, так ярко сопоставленными Антифонтом, в случае их расхождения? Тут никогда не было сомнения. Исократ, кончая свою речь против Пасиона, который отказался представить на допрос одного из своих рабов, говорил судьям с полным убеждением, что его слова никогда не могут быть опровергнуты: «Я всегда видел и знаю: вы считаете, что в делах и частных и государственных нет ничего более надежного и верного, как пытка, и вы полагаете, что свидетели могут дать вымышленные показания, но что пытка обнару-



Наказание раба плетью

живает совершенно ясно, где истина?». И Исей в аналогичной ситуации развивает ту же мысль. «Что касается граждан или государства, — говорил он, — то вы твердо убеждены, что пытка есть самое верное средство доказательства; так, когда в вашем распоряжении находятся рабы и свободные и когда вы хотите выяснить себе спорный пункт, то вы не прибегаете к свидетельству свободных, но, призывая на допрос и пытку рабов, вы стремитесь этим путем открыть истину фактов». Демосфен в речи против Онетора не нашел ничего лучшего, как заимствовать именно это рассуждение своего учителя; в конце концов, и в других речах, подлинность которых вызывает меньше сомнений, он не раз находит случай высказаться по этому поводу. Пытка кажется ему всегда наиболее верным показанием (это один из пяти видов доказательств, изложенных в «Риторике» Аристотеля). «Что могло быть лучше, — говорил оратор Стефану, — как поставить этого раба на пытку, чтобы уличить нас во лжи». Что касается его, он никогда от этого не отказывается: даже тогда, когда он может подтвердить улику другими способами, когда он имеет на своей стороне и факты, и массу свидетельских показаний, он сохраняет еще в запасе, чтобы увенчать все эти факты, чтобы санкционировать все эти показания, пытку раба. Таким образом, пытка была общепризнанным важнейшим средством открытия истины, была в некотором роде в глазах этих людей с жестоким сердцем свидетельством, уподобляющимся самому факту. «В спорных

вопросах, — говорил оратор Ликург, — вам кажется всегда более справедливым и поистине демократическим, в том случае, если рабы — мужчины и женщины — одинаково видели то, о чем идет дело... допросить их при помощи пытки и таким образом верить больше фактам, чем их словам». Таким образом, выше доказательств письменных или доказательств устных были, если я могу употребить особое выражение для этого чуждого нам обычая, доказательства телесные, свидетельства тела, как их называл Демосфен: «давать показания на собственном своем теле», «показание тела». Это было свидетельство раба. На самом деле, чем был раб в представлении общества, в самом словесном выражении? Телом. Вот почему, когда нужно было заставить его говорить на суде, обращались к его телу; не хотели слушать и верить тем словам, которые сходили с его губ: были убеждены, что надо использовать тот голос его природы, который слышится в криках боли. Чем глубже проникала эта боль, тем более искренними и верными, казалось, должны быть эти свидетельства крови и мяса. В Афинах употреблялось не в переносном смысле известное образное выражение «добираться до сердца и печени» — исследовать тайные мысли!

Комедия, которая и здесь дает нам дополнительные доказательства, или, скорее, которая на этом материале, столь хорошо известном благодаря таким жизненно близким чертам, находит возможность подтвердить историческую правдивость выводимых ею характеров, несколько раз изображала на сцене, перед глазами зрителей, эти формы допроса и описывала их процедуру. Так, когда раб Ксанфий, принятый за Геракла и привлеченный к ответственности по поводу известных совершенных им преступлений, хочет оправдаться, предлагая для допроса своего мнимого раба (бога Диониса), то Зак (судья подземного мира) спрашивает его: «Какой допрос я учиню ему?» — «Все виды: дыбу, лестницы, ремни; бей его, рви, крути, лей ук-

сус в ноздри, прикладывая к его бокам раскаленную черепицу и все остальное... только не бей его стеблями порея и молодого лука». Если к «кобыле», употребляемой для того, чтобы растягивать члены, мы прибавим еще «колесо», которое являлось другим видом этой пытки, то перед нами — все обычные средства, употребляемые для наказания рабов; ими же пользовался и судья для допроса. Существовали, я бы сказал, эксперты или палачи (и тех и других называли одинаково), приставленные к этому делу. Но часто стороны выступали здесь сами, лично: тот, кто давал своего раба на пытку, не отказывался в то же время предоставить своему противнику руководство всеми деталями этого кровавого допроса.

Правда, у ораторов мы находим известные сомнения относительно действительной ценности этого средства. Ораторы являются адвокатами и в силу своего положения обречены на противоречие, лишь бы только это противоречие не имело места в одном и том же процессе; только в этом Демосфен и упрекает своего противника Афоба. Иногда они являются просто софистами и по поводу одного и того же дела выступают и за и против: когда Антифонт в своих образцах «контроверс», защищая одного убийцу, отвергал показания раба, который не был подвергнут пытке, что мог он противопоставить этому в своей реплике? Противоположное требование. Но это была необходимость, обусловливаемая его положением, и таково было правило Аристотеля. «Пытка, — говорит он в «Риторике», — есть тоже один из видов доказательства; и она, по видимому, внушает доверие, так как она сопровождается известным принуждением. Нетрудно представить те средства, которые можно извлечь из нее. Если результаты ее для нас благоприятны, нужно настаивать на ней и указывать, что из всех показаний те, которые получены пыткой, являются самыми верными. Если же они нам невыгодны и благоприятны для нашего про-

тивника, можно разрушить самые очевидные показания, говоря против пытки вообще; принуждение может вырвать столь же ложное, сколь и истинное показание, так как одни готовы вынести все, чтобы только не сказать правды, другие готовы сказать все что угодно, лишь бы только избавиться от нее скорее. Можно привести много примеров того и другого, известных судьям».

В конце концов, как учил философ, можно было спорить по поводу того или другого частного случая, но никогда не удавалось поколебать самый принцип. Слова, которые в этих антифонтских «контроверсах» указывали на их действительность, вполне выражали общественное мнение, и это доказывается как фактами, так и всеобщностью применения пыток. Предлагали и требовали рабов на допрос, подобно тому как у нас происходило прежде с принесением присяги сторонами, но гораздо чаще, так как, прибегая к этому способу доказательств, не лишали себя этим самым и других возможностей. Требования были часты, и отказ был опасен перед лицом этой толпы судей, столь жадных до судебных пыток. В судебных речах можно видеть, какую выгоду ораторы извлекали отсюда для защиты и нападения. Благодаря Плутарху нам, например, известно, что Андокид, отказавшийся выдать на пытку одного из своих рабов, которого требовала обвиняющая сторона, был признан виновным и изблеченным в том преступлении, которое ему приписывали. Ни пол, ни возраст не давали права на исключение; женщины подвергались пытке наравне с мужчинами, быть может, даже чаще, как более обычные свидетели тех сцен внутрисемейной жизни, события которой разбирались перед судьями. Какими выходили несчастные из этих кровавых пыток? Полумертвыми, искалеченными; но все это делалось за счет того, кто этого потребовал, и исполнители сами оценивали убытки. Считали, что они удовлетворяют самым строгим тре-

бованиям благоприличия, когда стараются не нарушать интересов хозяина, предлагая ему оценить сломанные руки или еще более тяжёлые повреждения. И между тем — заметим себе это особенно — раб не рассматривался здесь как виновный; наличие этого при варварском законодательстве все же так или иначе объясняло бы эти меры жестокости; он даже не считался соучастником, он был просто допрошен как свидетель:

Виновный на суде, свободным оставаясь, говорит;
Свидетели ж — в оковах и под пыткой!

А Афины были, по свидетельству всей Греции, той страной, где раб находил для себя наиболее гуманное обращение!

6

Чтобы подвести итоги и, заканчивая этот отдел, выразить в наиболее общих и наиболее верных определениях действительное положение рабов в греческом обществе, надо вернуться к исходной идее учреждения рабства. Раб принадлежал господину; сам по себе он был ничем; он ничего не имел. Вот основное положение, и все, что можно отсюда извлечь путем логических выводов, являлось, таким образом, действительной картиной положения рабов во всех странах. Во все времена, при всех условиях жизни власть господина царит над ними и по произволу меняет их судьбу. В том возрасте, когда они сильны и обладают всей полнотой своих способностей, их обрекали, по выбору хозяина, или на труд, или на разврат: на труд — людей более грубой физической природы, на разврат — более нежных, воспитанных для наслаждения хозяина; когда же он пресыщался ими, они отсылались, чтобы заниматься проституцией в его пользу. И до и после трудового возраста они были предоставлены своей слабости

или дряхлости; детьми они росли без призора; стариками они часто умирали нищими; мертвыми они часто бывали покинуты на проезжих дорогах; начальники демов в Аттике должны были приглашать хозяев пойти и взять их.

Но эти обычаи с течением времени претерпели некоторое изменение, особенно в Афинах. Общим выводом о рабстве можно противопоставлять афинскую практику как наиболее благоприятное исключение, делаемое из общего правового положения рабов. Эти исключения были двух видов: одни — порядка общественного, установленные законом, другие были отношениями частного характера, ставшими обычаем. Так, в принципе раб был вещью и, как следствие этого, был чужд тем законам, которые руководят жизнью людей. Отвергнутый судом как свидетель, он допрашивался как машина, орудие, и тем не менее закон предоставлял ему иногда если не право ведения судебного процесса, то по меньшей мере выгоду от результатов его. Он давал ему гарантии чисто личного свойства: против иностранцев, защищая его не меньше, чем свободного, от насилия над его нравственностью, личностью, жизнью; против самого господина, покровительствуя рабу, хотя и с меньшей твердостью, и ставя если не его нравственность, то по крайней мере его личность под свою охрану от слишком вопиющих эксцессов в проявлении власти хозяина. В принципе, раб сам по себе был ничем, ничего не имел, и закон тут ничего не менял в положениях общего права; но обычай внес сюда некоторые послабления, позволяя иногда, чтобы он имел жену, чтобы у него были отдельные сбережения и чтобы он, не нанося ущерба правам хозяина, проявлял некоторую власть по отношению к своей жене, детям, своему имуществу. Но обычай, каким бы всеобщим он ни был, не является абсолютно обязательным. И этот закон, специально афинский, хорошо ли он соблюдался? Опыт подтверждает более

чем достаточно наши сомнения в этом: закон не подобен истории. Эти исключения, эти формы послабления не составляли нового права. Обычное право оставалось всегда неизменным, независимым от обычая и более сильным, чем закон, если бы он захотел от него освободиться; и раб, в свою очередь доведенный до крайности, поднимался против суровости этих обязательств, выходящих далеко за пределы того, что хотела возложить на него разумная политика. Исключенный из религиозных празднеств, он устраивал себе другие, или даже ему их устраивали, и в некоторых местах хозяева фигурировали на них в качестве слуг; отделенный от общества, он проникал туда под покровительство или без покровительства свободных, чтобы разделять с ними их удовольствия и их роскошь. Предмет презрения и исполненный дерзости, считаясь существом испорченным по своей природе и реагируя на все извращенными странностями, он искал и находил возмещение за свою жизнь раба в этой распушенной фамильярности, которую он проявлял иногда под гнетом домашней жизни, в тех свободных выходках, которые были ему разрешены этой безудержной демократией, в дни пьянства и дебошей, сменявших время от времени его страдания, наказания и труд. И ни хозяева, ни тем более государство не старались ни регулировать эти скотские порывы, ни сдерживать эти безобразные выходки, будучи уверены, что найдут в нем опять раба, когда рассеются в подобных беспорядочных кутежах его слепые инстинктивные и непреодолимые стремления к свободе.

Отсюда ясно, что действительное положение раба нельзя определить так просто, как закон, который им руководил. Это вечный конфликт между порядком, который вытекает из самой идеи рабства, и исключением, которое обычай и закон должны были ввести туда или которое должно там быть терпимым. Это только доказывает, что рабство, как состояние противоре-

ственное, по необходимости обречено на противоречие. Оно всегда имеет в наличии два момента: право хозяина, которое установлено при помощи насилия, и право раба, которое, будучи оспариваемо, тем не менее остается в глубине его души как вечная основа для сопротивления. Таким образом, при состоянии рабства невозможны никакая гармония, никакой мир: это или война, или перемирие; и перемирие, наилучшим образом сохраняемое, было в то время, когда суровость права испытывала наибольшее число исключений; это афинское рабство, которое может быть определено в немногих словах: деспотизм, умеряемый своеволием; две крайности, в которые почти фатально упирается человечество, когда оно отходит от своего естественного состояния, имя которому — свобода и равенство.

Рабство не имело ничего общего с тем средним положением, которое годилось для рабочих классов. Если действительно общество со всем тем разнообразием обязанностей, которые оно распределяет между своими сочленами, хочет, чтобы оно жило без потрясений и чтобы каждый занимал то место, на которое он поставлен, то нужно, по крайней мере, чтобы даже и занимающий последний ряд получал законное удовлетворение потребностей, живущих в душах всех, как доказательство их природного равенства и общности их положения перед лицом создавшей их природы. Надо, чтобы он имел семью, неприкосновенные права, чистые радости, доступные для всех; собственность, по крайней мере являющуюся результатом его труда, которая, по прекрасному выражению Тюрго, является наиболее святой из всех видов собственности; регулярный отдых, который предписывается в древнейших легендах и сказаниях человечества; и в этой жизни, исполненной тяжких трудов и кратковременных радостей, — законное уважение, заслуженное выполнением долга, какой бы он ни был, и в первую голову уважение к труду, который является началом нравствен-

ного совершенства. Нужно, чтобы этот труд не был безнадежным даже в этом мире и чтобы ценой страданий в настоящем можно было благодаря прогрессу, являющемуся законом человеческого развития, приготовить себе более счастливое будущее. И как раз всего этого не было в обычном праве рабства. Не допускалось, чтобы раб имел семью, и когда ему это разрешали, то ограничивали его права и создавали, без сомнения, очень горькие радости при наличии развратных господ, которые имели полную волю над его детьми. Труд был возложен на него навсегда; это была для него наследственная необходимость. И на этом тяжелом жизненном пути, длину которого он не мог измерить, а конец предвидеть, отдых давался ему из милости, освобождение — по исключению. Наконец, в таких городах, как Афины, где эти «милости» были более широко применяемы, эти исключения более общи, все то же презрение, исполненное превосходства, абсолютное и непобедимое, тяготело над состоянием раба и следовало за ним до самого его освобождения.

Нам остается сказать несколько слов о том, как ему даровалось это «освобождение», на каких условиях и с какими оговорками; затем я изложу, каковым было общественное мнение в Греции по вопросу о рабах, о вольноотпущенниках, о самом труде, чтобы показать со всех точек зрения положение рабочих классов в законодательстве, в обычаях, в общественных воззрениях. К установлениям законодателей я прибавлю философские системы, касающиеся этих вопросов; а бесплодность их усилий в области теории, как и в мире явлений, поможет доказать, что если учреждение плохо по своему принципу и по своей сущности, то единственное средство его исправить — это уничтожить его.

Глава девятая

ОБ ОТПУСКЕ НА ВОЛЮ

1

Данте дал точное определение ада, когда он над тем входом, которым вел его туда Вергилий, поместил надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий!».

Таковой же была сущность и основа всех бедствий рабства. Служить без надежды, служить без конца, служить лично самому, служить в своем потомстве, служить всем — таков был закон: наследственность, непрерывность! Но как раз эта часть закона, конечно, самая жестокая, потребовала облегчения положения раба. Те мучения, которые он там претерпевал, даже если бы они были в общем умеренными, в духе более благоприятных для него афинских законов, все же оставались адом, так как по необходимости они оставались бесконечными. Нужно было, чтобы туда проникла хоть смутная надежда. В этом мире, где все подвергалось изменению, раб, поставленный своей печальной судьбой на последнюю ступень счастья или, вернее, несчастья, должен был иметь столько же надежды, сколько богатч — страха. «Нет нигде, друг мой, — сказал ему поэт, — нет нигде города рабов, но судьба влечет всех с занимаемых ими мест. Многие, сегодня

лишенные свободы, завтра будут вписаны в дем Суниона, а через три дня будут иметь место на агора; рок для каждого из нас поворачивает кормило жизни куда хочет».

Раб мог получить свободу на условиях тягостных, за плату, или на условии дарственности, путем выкупа или через отпущение на волю.

Прежде всего он мог выкупиться на свои сбережения. Как было указано выше, это было поощрением труда, наградой за хорошее поведение. И в конце концов хозяин тут не терял ничего. Взяв столько контрибуций со сбережений раба, он получал сверх того полную его стоимость в обмен на свободу. Но было ли у раба право заставить хозяина согласиться на такой обмен? Самюэль Пти вывел такое заключение — совершенно неправильно — из одной фразы Плавта и с большим правдоподобием — из «Златоуста» Диона (речь о свободе): «Ну так что же, безумец, — восклицает он, — или нельзя сделаться свободным, не будучи отпущенным на свободу хозяином?» Он приводит целый ряд примеров таких освобождений, с помощью или без помощи государства перед лицом великой опасности или после поражения, и продолжает: «Но разве я не могу освободить сам себя, найдя деньги, чтобы выкупить себя?». Однако авторитет Диона не настолько уже велик, чтобы изменить общее право в столь важном пункте, при полном молчании на этот счет всех древних авторов. Может быть, он делает намек на принудительную продажу раба в случае плохого обращения с ним: подобно тому как он мог быть куплен другим, он мог выкупиться сам, имея деньги. Но, может быть, тут дело идет о выкупе исключительно добровольном, так как автор просто отмечает, что можно стать свободным, не будучи освобожденным хозяином, а выкуп, т. е. свобода, купленная на тяжких условиях, не является, в сущности говоря, освобождением.

Отпуск на волю в подлинном смысле слова произ-

водился или хозяином, или государством в формах, часто аналогичных, но с результатами иной раз различными.

Когда хозяин, умирая, отпускал на волю своего раба, гарантией этого служило его завещание; мы уже встречали много подобных фактов у Диогена Лаэртского. Когда же он давал ему свободу при жизни, он старался найти несколько иные средства оповестить об этом. Объявление делалось в различных местах, где собирался народ, например в театре; и народ слушал с вполне законным нетерпением и неудовольствием эти выкрикивания глашатая, прерывавшие или покрывавшие голос актера; поэтому впредь было запрещено нарушать народные увеселения выполнением этого обычая. Такое объявление делалось также в суде, где оно было более уместно; на празднествах, в храмах, как можно сделать заключение из рассказа Свида, когда он говорит, что Кратес, взойдя на алтарь, громко провозгласил: «Кратес освобождает Кратеса!»; вероятно, это была одна из обычных форм освобождения рабов на волю, которую он заимствовал, чтобы торжественно освободить себя от собственного ига. Наконец, освобождение на волю могло быть подтверждено еще или при помощи особых документов, вроде той надписи на камне, которая была найдена на Косе, по которой рабы и их дети были отпущены на волю под условием выполнения известных религиозных обрядов в честь Геракла; или же при помощи внесения в государственные списки, на что нам указывает положение вольноотпущенных в Афинах — формальность, которая подтверждалась также специальным декретом, написанным на камне, как это доказывают многочисленные документы, открытые в Фессалии. Почти всегда там дается расписка в сумме, которую отпущенные на волю платили государству как бы для того, чтобы получить право на регистрацию.

Этот вид гарантии приводит нас к другой форме

отпущения на волю, дарственного ли или по выкупу, с которой мы могли уже познакомиться из собрания надписей Бёка, но которую на основании новых надписей гораздо лучше выяснил Курциус в своей вводной статье большого научного значения. Речь идет об отпущении на волю под видом продажи или дарения божеству.

Эти надписи, найденные в Дельфах и в нескольких других соседних городах, указав, как и все государственные акты, имя архонта эпонима, месяц его магистратуры и т. д., называют имя продающего и его отчество, имя раба, его пол, очень часто его возраст, всегда его происхождение и указывают продажу или дарение, которое сделано богу, иногда с согласия родителей, мужа, жены или даже детей. В большинстве случаев этот дар представляется бесплатным, и можно себя спросить, не идет ли выгода от всего этого в пользу храма; в других случаях делается специальная оговорка, что раб, посвящаемый подобным образом, не может быть опять обращен в рабство; таким образом, он отпущен на волю, и бог не имеет на него никаких других прав, кроме защиты его свободы, если она с какой-нибудь стороны подвергнется угрозе. Если дело идет о продаже, что является более частым случаем, надписи указывают цену, свидетельствуют, что она была внесена целиком богу, чтобы передать ее хозяину, и на каких условиях; после этого они объявляют ее ненарушимой и священной. Но для того, чтобы выполнение этой оговорки было лучше гарантировано прежнему рабу, этому акту дается гарант. Этот гарант должен под своей личной ответственностью охранять свободу отпущенного на волю против всяких покушений; при отсутствии гаранта всякий человек приглашается взять на себя его защиту и привлекать насильника к суду и при этом с полной гарантией свободного выполнения этого долга против всех жалоб и претензий прежнего господина; что же касается насильника,

то ему угрожают штрафом, который поднимается в некоторых надписях до десятикратной стоимости раба и должен быть разделен между тем, кто донес на насильника, и храмовым казначейством. Акт оканчивается именами свидетелей: это два жреца, два или три архонта и частные лица.

Условия, которые обыкновенно сопровождают формулы дарения или формулы продажи во всех актах, где раб ввергает сумму выкупа богу, ясно указывают, что под этой скрытой формой идет дело об освобождении на волю и что новый гиеродул уже не раб. Все это делается для свободы, для того, «чтобы иметь право делать, что он хочет, идти, куда он хочет, в течение всей своей жизни». Чего же еще надо больше, чтобы быть свободным? Гарант, который должен охранять условия договора, часто бывал иностранцем по отношению к храму, к тому месту, где он находился, что предполагает, как это отметил Курциус, что раб не обязан был здесь оставаться. Но в очень большом числе случаев эта фикция уничтожается, и голый факт проявляется без всякого прикрытия. Рабы принесены в дар Аполлону, но они должны оставаться при дарителе до самой его смерти и только с этого момента могли быть свободными. Какую пользу мог извлечь бог из такого дарения? В Стиресе отпуск на волю при подобных условиях выражен просто, без соблюдения формы дарения или продажи; и если в том же акте, несколько ниже, его аннулируют вследствие невыполнения условленных пунктов, то прибегают к выражению, встречающемуся при многих других случаях такого мнимого дарения — посвящение.

Эти примеры, которые с такой ясностью определяют характер подобных посвящений, точно так же доказывают, что эти отпуска на волю не всегда были полными и окончательными. Хозяин, который дарит или продает раба, мог сделать некоторые оговорки. На 435 надписей Вешера и Фукара приблизительно сотня

(такая же пропорция в надписях приходится и в других случаях) возлагает на проданного богу раба обязательство оставаться при своем хозяине, а в двух или трех случаях — при человеке, который указан хозяином (№ 29 и 427). Это обязательство, в сущности привязывающее его на всю жизнь к тому, при ком он должен был оставаться, иногда ограничивается определенным временем (от двух до восьми лет) или сроком, который может даже перейти за время смерти господина: одна женщина должна оставаться у своего господина, сколько он проживет, а после его смерти — у его сына, пока он не женится. Иногда после смерти хозяина раб мог быть свободным, только заплатив определенную выкупную сумму лицам, указанным хозяином; иной раз ему позволялось «выкупить» это обязательство дальнейшего своего пребывания или за деньги, или подставив вместо себя другого раба.

Раб своими собственными деньгами приобретал, таким образом, если так можно выразиться, только голую собственность на самого себя; доход с него принадлежал хозяину. Он должен был ему повиноваться, что включало необходимость выполнять все обязанности под страхом аннулирования контракта. Но иногда эти обязательства определялись особо и тем, надо полагать, ограничивались. В одной надписи выражается желание, чтобы раб приготовил своего ученика в качестве заместителя для потребностей хозяина (№ 213); в другой — чтобы он в продолжение пяти лет занимался совместно с хозяином медициной, получая только одежду и пропитание. Хозяин дает своей рабыне свободу делать все, что она хочет, исключая прав жить вне его города или стать здесь его гражданкой (№ 53); другой продает богу молодого раба на условии, что он будет жить у мастера, где он научится ремеслу сукновала и будет им заниматься в его, хозяина, пользу. Имущество продаваемого таким образом раба, равно как и его труд, является предме-

том многих договоров. Иногда хозяин оставляет за собой полное право наследования в такой мере, что не только деньги, которые раб приобрел, служа ему, но и все, что он приобретает в новом своем состоянии свободы, должно будет принадлежать ему, хозяину; и чтобы предупредить всякие сделки или какой-либо обман, вольноотпущеннику запрещалось при своей жизни распоряжаться своим имуществом через продажу его или дарение под страхом аннулирования не только этой продажи, но и самого договора, в силу которого он стал свободным. Иногда, не ожидая этого, лишь вероятного, наследства, хозяин делает оговорку, что отпущенник заплатит ему «выкуп» или предоставит ему вместо себя долю в той ассоциации, членом которой он состоял. Вольноотпущенник платил свою долю, а «патрон» ел его обед; существуют также обязательства, которые держат раба под своей властью даже после смерти хозяина. Во многих надписях хозяин возлагает на раба обязанности относительно своей могилы. Раб, обязанный по условиям продажи жить у того, кто его продал, кормить его, платить за него взносы на расходы по трибе, должен также после его смерти похоронить его и воздать ему все погребальные почести; другие должны были каждый год возлагать венок на его могилу (№ 110), в новолуние и в седьмой день увенчивать венком его статую (№ 136 и 140). В этих надписях отображен один оригинальный случай: молодая девушка была продана богу, без сомнения, за деньги, данные ее отцом и матерью — оба рабы — на условии, когда она вырастет, прийти им на помощь, будут ли они рабами или свободными; если она этого не сделает, то у отца и у матери или у тех, которых они укажут, сохраняется право ее за это наказать (№ 43).

Эта продажа раба божеству часто продолжает связывать его достаточно большим рядом обязательств не только по отношению к богу, но и по отношению к

хозяину, который его продал; и тем не менее даже в этом случае он мог считаться вольноотпущенным; даже при этих путях, наложенных на его свободные действия, можно видеть признаки того, что он свободен. Хозяин имеет еще право его наказать, если он остается в его доме, но только как человека, стоящего ниже его, а не как человека, ему принадлежащего; хозяину запрещено передавать его другим. Он мог быть хозяином его труда, он мог оставить себе часть его заработка и все его наследство, но он уже больше не был хозяином его детей. Обратное обстоятельство оговорено в надписи: женщина, продавая богу двух женщин-рабынь под условием, что они останутся при ней, прибавляет, что дети, которые родятся у них во время этого пребывания, будут принадлежать ей. Это исключение подтверждает правило, по которому они рождались свободными. Это обстоятельство вытекает из тех оговорок, которые охраняют свободу этих рабов или детей, которые могут у них родиться, или из тех, где хозяин оставляет за собой право на их наследство, в случае если у них не будет детей (№213); и, с другой стороны, эти оговорки относительно наследства, как и штрафы, которые на них иногда накладываются в случае неисполнения ими договора, показывают также и то, что в общем они оставались господами своего имущества. Другим признаком их свободы являются те гарантии, которые им даются и которые я отметил выше, давая общую формулировку этих актов. Они не только имеют в качестве своего защитника того гаранта, который подписывается под условиями продажи и обязуется наблюдать за их выполнением под угрозой определенных наказаний; они имеют сверх того для разрешения всех своих споров со своим прежним хозяином судей в числе трех, приговор которых не подлежал обжалованию, и эти третейские судьи выбирались хозяином и его прежним рабом — обстоятельство,

которое и того и другого делает равноправными перед лицом закона.

Торжественность формы освобождения, санкции, которые ему придавались, угрозы насильнику, штраф, который поднимался до пяти- и десятикратной стоимости раба, должны были делать его особенно желательным, заставляли особенно добиваться его. Казалось даже, что при наибольших гарантиях оно обеспечивало и наибольшие выгоды в обычном течении жизни. Хозяином, «патроном», является бог; требовал ли он от своего «клиента» каких-либо особых услуг? Может быть, хотя ничто не говорит за это; но во всяком случае он был менее суровым и менее требовательным господином по отношению к этой массе вольноотпущенников, чем обычно хозяин по отношению к незначительному числу своих рабов. В конце концов, этот обычай относится только к последним временам Греции: нет ни одной надписи, по указанию Курциуса, — и таково же мнение Вешера и Фукара, — которая относилась бы ко времени раньше III в. до н.э.; многие надписи относятся только к императорской эпохе. С другой стороны, этот обычай ограничивался довольно незначительным числом священных мест. После храма Аполлона Дельфийского, который является главным местом, — это храмы Диониса в Навпакте, Афины Полиады в Давлии, Асклепия в Златее и Стиресе, храмы Афродиты в Этолии, Сераписа, который, по-видимому, унаследовал роль Асклепия, в Херонее, Тифорее и Коронее. В эти храмы обращались не только исключительно жители данных городов; с аналогичной целью приходили сюда из окрестных мест — из Харадры, Бойоны, Эриней, Амфиссы; можно было бы найти единичные примеры, охватывающие более широкий круг жителей более далеких стран, как, например, те два раба из Галлиполи, на берегах Фракии, о которых сообщает Курциус.

Освобождение на волю ставило раба в совершенно новое положение по отношению к своему старому хозяину и к государству. Из его положения абсолютной зависимости проистекала двойная опека: в силу свободы он поступал под опеку государства, в силу патронажа он оставался под опекой своего хозяина; для государства, по крайней мере в Афинах, он становился метеком, для своего старого хозяина — клиентом.

Таким образом, прежде всего он был подчинен всем обязанностям метеков: занесению в списки, что служило в то же время подтверждением его освобождения, регулярному налогу в 12 драхм и всем тем обязанностям, которые были указаны раньше. Метек, независимо от внесения в списки, должен выбрать себе патрона; для вольноотпущенника возможности выбора не представлялось: это, естественно, был его старый хозяин. Обязанности вольноотпущенника по отношению к нему были такими же, как и обязанности метека по отношению к патрону; кроме того, они могли быть пополнены хозяином, который мог оговорить это при отпуске на волю.

Действительно, вольноотпущенник обыкновенно оставался тем, чем был раньше, во времена своего рабства. Флейтистка продолжала наниматься поденно в дни празднеств, как и гетера; когда же она входила в преклонные года, она становилась тем, чем была Никерата, и находила способ продолжать в лице других свое старое ремесло. «Если бы Формион был продан повару или какому-либо другому специалисту, — говорил Аполлотор, выступая против ложных показаний Стефана, — он научился бы его делу. Купил его мой отец, научивший его банковскому делу». Став вольноотпущенником, раб еще не освобождался от обязанности выполнять в пользу господина свою обыч-

ную работу, притом на условиях, какие тому было угодно назначить; иногда он должен был оставаться при нем, откуда имя Парменон, что мы уже несколько раз видели при освобождениях рабов под видом религиозного посвящения; в других случаях он жил на свободе, и для его хозяина это служило средством использовать его по мере надобности, не беря на себя обязанности давать ему полагающееся содержание.

Закон, который охранял раба от злоупотребления властью со стороны хозяина, должен был также охранять вольноотпущенников от злоупотреблений со стороны их патронов. Они могли к этому законному «опекуну» прибавить наблюдателя, род второго опекуна, который за некоторые услуги приходил в минуту необходимости ему на помощь. Что касается законных прав патрона, то закон поддерживал их со всей суровостью. Процесс апостасии (отступничества, вероломства) вчинялся против вольноотпущенников, так же как процесс апростасии (измены своему покровителю, отказа от него) — против метеков, обвиненных в неблагодарности; он слушался перед архонтом полемархом, и судьями были члены трибы хозяина. В этом процессе все могли давать свои показания, будь то иностранцы или граждане. Если отпущенник был объявлен виновным, он опять становился рабом; он мог быть продан или закован в цепи. Если он выиграл (и приговор в этих условиях нельзя было подозревать в пристрастии в его пользу), то патрон терял все свои права, которыми он пользовался так несправедливо.

Таким образом, освобождение на волю устанавливало положение, среднее между рабством и положением гражданина. Оно, скорее, извлекало раба из рабского состояния, но не делало его еще вполне свободным. Освобожденный раб мог спокойно отбросить все знаки рабства, отрастить себе волосы, изменить свое имя, сделав его более благородным: какой-нибудь Стефан стал называться Филостефаном; Тромес,

отец Эсхина, стал Атрометом; Симон принял поэтическое имя Симоида, а Сосий — имя воинственного Сосистрата. Но тем не менее он оставался вне общества действительно свободных лиц, подавленный еще двойным гнетом патрона и государства.

Однако этот гнет в той или другой части мог быть смягчен.

Тот, кто и раньше устаивался доверия своего господина, заведя его торговыми операциями или управляя его состоянием, не мог найти в своем освобождении положения худшего, чем он имел, будучи рабом. С этого времени хозяин создавал ему такое положение, из которого и тот и другой могли извлечь выгоду; дело доходило до того, что, умирая, хозяин оставлял ему часть своего состояния, опеку над своими детьми и руку своей жены; что касается жены, то иногда он отдавал ее ему еще при своей жизни; у ораторов можно найти этому много примеров. Так, Формион, вольноотпущенник богатого банкира Пасиона, бывшего раньше тоже рабом, получил от своего господина вместе со свободой управление его банком и оружейную мастерскую за известную ежегодную плату; и он сделался настолько богатым, что мог дать займы своему бывшему хозяину 11 талантов. Хозяин, умирая, оставил ему в наследство свою жену и приданое, а также опеку над своим младшим сыном Пасиклесом. Старший сын, Аполлодор, опротестовал распоряжения своего отца по завещанию, и Демосфен, защищая Формиона против сына, восклицал: «Думает ли он, что, убежденные в честности Формиона при исполнении им своих обязательств, вы будете упрекать его за его брак с вдовой Пасиона? Пусть он откроет глаза, он увидит то, что вы все видите: он увидит, что банкир Сократ, отпущенный на волю своими господами, подобно Пасиону, уступил свою жену своему старому рабу Сатиру, что другой банкир, Сосиклес, заранее назначил для своей жены в качестве своего заместите-

ля Тимодема, который еще жив и теперь и который прежде был его рабом; он увидит такие примеры отношений хозяев к своим слугам и вне Афин: в Эгине Стримодор отдает свою жену, а потом, после ее смерти, свою дочь замуж за своего раба Гермея. Он увидит, наконец, двадцать таких фактов. И почему же этого не может быть также и в данном случае?». Правда, немного позже тот же Демосфен в речи, составленной для того же Аполлодора против того же Формиона, давал ответ на этот вопрос, нападая на завещание как подложное, незаконное, невозможное, негодую на этого вольноотпущенника, который разорил детей своего прежнего хозяина; против этого раба, который не постыдился жениться на своей госпоже и обращаться как с женой с той, которая осыпала его голову печеньем и фруктами, согласно обычаю, когда он был куплен. Но этот запоздалый ответ, оспаривая подлинность завещания, вовсе не опроверг приведенных примеров и подтвердил факт передачи господином наследства, включая и супружеские права, своему вольноотпущеннику.

Государство, так же как и хозяин, могло смягчить суровые условия, в которых обычно оно держало вольноотпущенника, и возвысить его положение в государстве, часто даже с известной выгодой для казны. Его включали в ценз как афинянина, т. е. из простого метека он делался «исотелес» — несущим одинаковые тяготы: гражданином с точки зрения податей, но не почестей, а тем более не с точки зрения гражданских прав; так, он не мог законным образом принимать вклады на землю, так же как он не мог оставлять завещаний. Освобожденный от всякого патронажа, вычеркнутый из того списка, куда он был внесен благодаря своему освобождению от рабства, он мог записываться в реестры дема Суниона, заняв там такое положение, которое поэт Анаксандрит изображает как среднее между рабством и положением гражданина; но

чтобы достигнуть всей полноты гражданских прав, ему нужно было сделать еще один шаг, причем формальности для этого были очень строги. Вольноотпущенник, как и иностранец, мог получить права гражданства только на основании решения, принятого на собрании 6 тысяч граждан, и это избрание могло подлежать апелляции: хотели избежать всяких неожиданностей и предоставляли народу возможность, если его первое решение было благоприятно, еще пораздумать.

Более легко получались права гражданства при освобождении раба государством.

Я говорю не только о тех, кого государство освобождало на основании закона, в силу особого постановления. Например, декрет, изданный с целью обуздать ту контрабандную торговлю, от которой страдали Афины, обещал свободу рабу, донесшему об этом. Я говорю о государственных рабах. Государство имело рабов так же, как и частные лица; оно могло, как и эти последние, освобождая их, вознаградить их рвение, проявленное и доказанное ими во время их службы. В таких случаях освобождение обыкновенно было простое и освобожденный должен был смешаться со всей массой метеков: он записывался в государственные списки, выбирал себе патрона из среды граждан и подлежал двум видам обязательств, которые касались права местожительства для иностранца. Но эта мера принимала иногда более широкие размеры. Народ, предоставляя государственному рабу свободу, которой он распоряжался на правах хозяина, мог прибавить сюда политические права, которые зависели от него как от суверена, и он их действительно давал в торжественные моменты, как вознаграждение или поощрение от имени всего народа; например, он дал их тем, кто оказался победителями при Аргинусских островах, или тем, кто сражался при Херонее. В этих случаях те из рабов, которые не принадлежали государству, были выкуплены у их хозяев и вписаны вместе с другими в

число новых граждан; их называли платейцами в память того декрета, который некогда предоставил права гражданства жителям Платей, пришедшим на помощь Афинам в битве у Марафона.

Может быть, и на этой ступени своего социального положения вольноотпущенник не обладал еще всей полнотой гражданских и политических прав. Демосфен в речи, где, правда, его утверждение могло быть внушено интересами судебного процесса, заявлял, что Пасион как новый гражданин не имел права по духу солоновского закона оставлять завешания. В другой речи он с большим основанием напоминал, что новые граждане не имели права мечтать ни о должности архонта, ни о жреческой должности и что сами платейцы были подчинены всей строгости этого закона. Эта милость, т. е. вся полнота прав гражданства, была присвоена только их детям, рожденным от гражданки. Таким образом, клеймо этого гражданства «сегодняшнего дня» стиралось в их крови только во втором поколении; и не только это ограничение привилегий напоминало старому рабу о тех цепях, которые он с себя снял. Если он был богат и особенно если он по тщеславию добивался звания гражданина, то находили удовольствие подвергать испытанию его политическую правоспособность как нового члена гражданской общины, обременяя его всевозможными повинностями. Одно почетное поручение следовало за другим, литургия за литургией; хорег, триерарх — никто не оспаривал у него этих титулов, связанных с огромными затратами, так как он должен был расплачиваться за все в меру своего состояния и требований массы. В другой речи Демосфена можно прочесть историю всех этих несчастий Аполлодора, сына банкира Пасиона и нового гражданина, во время выполнения им триерархии: ему приходилось нести огромные издержки на наем матросов, которые переходили к другим, давать авансы, которые ему не возвращались, всегда платить и быть всегда ог-

рабленным, на все свои жалобы и заявления не получать иного ответа, кроме презрения и пословицы: «Ты этого хотел: мышья захотела отведать смолы».

Были ли обычными эти милости? В одной речи Демосфен горько жалуется на легкость, с которой их расточали как какую-либо продажную вещь, людям потерянными, «детям или внукам рабов». Этот упрек может быть преувеличенным в количественном отношении, но он правильно характеризует качество лиц, допущенных к этому положению. Народ, всегда столь ревниво относящийся к своим привилегиям, не проявлял себя столь ревнивым по отношению к своему достоинству; так, чтобы польстить Антигону, он пожелал дать звание афинского гражданина одному из его рабов; на это предложение Антигон ответил: «Я не хочу бить афинянина». Этим званием облакались люди темного происхождения: какой-то игрок в мяч за свой талант, торговец рыбой, наверное, за свои деньги и т. д. Когда город Перикла среди провинциальных городов Римской империи не имел другой привилегии, кроме права считаться столицей изящной литературы и изящного вкуса, чести быть гражданином Афин добивались усиленно очень многие, и афиняне нашли здесь новый способ извлекать для себя выгоду, пока, наконец, Август из уважения к памяти их великих предков не запретил им продавать за горсть серебра право на афинское гражданство.

В цветущие времена Афин число новых граждан из числа вольноотпущенников, по-видимому, было не очень значительно по сравнению с числом исконных афинян; равным образом и число вольноотпущенников не должно было значительно превышать числа рабов. Это доказывает перепись Деметрия Фалернского. И действительно, есть один только класс, с которым их можно было сопоставить, — это класс метеков. Как мы видели раньше, метеков было 10 тысяч человек в возрасте от 20 до 60 лет, т. е. приблизительно 40 тысяч

мужчин и женщин; и так как иностранцы составляли самую значительную часть этого класса, его часто обозначали их именем.

Итак, освобождение ожидало, конечно, далеко не всех рабов. Для большинства из них рабство оставалось тем, чем оно было по закону: бесконечным злом, вечной тюрьмой. Были удовлетворены тем, что выход был найден в возможности избавления для небольшого количества рабов. Если благодаря этому избегали взрывов восстаний или непрерывных потерь, вызываемых бегством, если общественная безопасность была обеспечена, этого уже было довольно — из этого не делали для себя никаких других выводов. Да и как могло быть иначе при распространенном среди греков взгляде на рабство, при наличии философских систем, которые в некотором роде освящали общественное мнение авторитетом разума? Эта сила общественного мнения, это новое могущество, которое она обрела в философии, является, конечно, не менее поучительной и не менее интересной частью истории поработанных народов; и вполне естественно, что к этому приводит меня дальнейшее рассмотрение предмета моего исследования. Я показал, каковым было рабство с точки зрения права и фактически в жизни и в законах, в обычае, на практике; я приступаю теперь к тому, чтобы показать, чем оно было в теории; тогда мы будем иметь перед глазами всю совокупность идей и фактов, которые его образуют, и мы будем в состоянии судить о влиянии, которое оно оказывало.

Глава десятая

ВЗГЛЯД НА РАБСТВО В ДРЕВНОСТИ

Потребовалось очень много лет для того, чтобы принцип единства и равенства человеческого рода, не раз выраженный в творениях древнееврейского народа, проник в законодательства христианских народов; и теперь сколько еще есть государств, где он не успел окончательно восторжествовать!

Этот принцип, очень рано забытый, не так легко мог прийти на память и особенно проявиться на практике, настолько противодействующие ему интересы были традиционны и могущественны. В действительности с ранних пор человек, вынужденный добиваться всего только трудом, возмутился против закона, который принижал его природу, и, не имея сил разбить это ярмо, более сильный переложил его на более слабого. Такое разделение произошло не только в общественном труде, но даже в недрах семейств, составляющих общество, и это разделение было объявлено необходимым теми, для которых оно служило основанием их благополучия и досуга.

Эти факторы, которые распространили и увековечили рабство среди стольких варварских народов в течение всех веков, с большей силой проявились у греков в силу характера их политических учреждений. Досуг

и, как следствие его, порабощение другого класса, делавшее возможным этот досуг, оказались необходимыми не только для благополучия в частной жизни, но и для выполнения государственных обязанностей. Гражданин должен был отдать всего себя на службу государству; вся духовная его деятельность требовалась на служение государству; все физические силы его служили обязанности защищать свое государство. До периода возмужалости воспитание должно было готовить его к этой двойной задаче, и даже взрослым он продолжал еще эту подготовку среди забот политической жизни.

Таковы были взгляды греков на обязанности в отношении государства, взгляды, которые более или менее полно проявлялись во всех конституциях, под властью ли аристократии или демократии, и вполне осуществились в Спарте в законах Ликурга. Таким образом, рабство было связано с основными принципами государственной жизни. Чтобы его уничтожить, нужно было, чтобы человек не имел ни обязанностей, ни потребностей или, еще лучше, чтобы природа сама все давала ему для обслуживания, — дискуссионная тема, которая была подхвачена и развита согласно свойственному каждой из них духу античной эпопеей и комедией в описаниях золотого века: одной — с той прозрачностью формы и благородной простотой, которую сумел придать ей Гесиод, другой — с теми причудливыми чертами, которые были заимствованы из утонченности иного уже века, чтобы в карикатурном виде ввести ее в свои картины. Единственно при этом условии допускали равенство людей и для того, чтобы оно вновь появилось в данный момент, требовали по меньшей мере, чтобы вернулись вновь к людям все эти чары древних времен. Так, комический писатель Кратес в новом проекте социальной конституции составляет своего реформатора вести такой разговор: «Сверх того, никто не будет владеть ни рабом, ни ра-

быней». «А как же, — возражает другой, — старик тоже должен обслуживать сам себя?» «Вовсе нет, — продолжает реформатор, — я заставляю двигаться все нужные предметы без малейшего прикосновения к ним. Всякий корабль будет приближаться сам собой, когда его позовут. Нужно будет только сказать: стол, стань передо мной! Накройся! Квашня, замесись! Стакан, наполнись! Чаша, где ты? Ополоснись хорошенько! Пирожок, иди сюда на стол! Чугун, вынь из своего нутра этих животных! Рыба, подходи! — Но, скажет она, я еще не поджарилась с двух сторон. — Хорошо, перевернись, подсыпь под себя соли и сейчас же поджарься в жире».

Эти времена давно уже прошли и отделены от рассматриваемых нами новыми поколениями, новыми творениями в нисходящем ряде веков. Это был век железа, век притеснений и рабства, и поэт напоминает об этом роковом законе судьбы, который пригнул головы всех. Но в этих условиях, созданных для человеческого рода, когда необходимость труда влекла за собой необходимость рабства, кто применит его к новообразующимся обществам, по какому признаку различать людей, имеющих право командования и обязанности повиноваться?

Для первых времен возникновения цивилизации, когда нравы носили еще отпечаток варварства, ответ на эти вопросы прост и ясен. Господствует право силы, право, которое легко распознать и которое проявляет себя в действиях. Рабство, позволяя утвердить себя путем насилия, тем самым в самом себе носило признак законности. Факт превращался в право, и победитель поработал побежденного не в силу логического вывода, что он, победитель, став владыкой над жизнью побежденного, мог ему вернуть ее на известных условиях и с известными оговорками, но в силу права превосходства, вытекающего из факта победы. И такое его право, переходя к его потомству, не меняло своей при-

роды по отношению к потомству поработанных народов. Свободный человек был всегда начальником не как более благородный, но как более сильный. Славное происхождение само по себе не давало ему права господства, как и не защищало его от тяжелого положения раба. Сыновья богов, сыновья царей в одинаковой мере могли подпасть под его иго. Геракл был рабом, равно и все славное племя детей Приама, как и блестящее потомство героев, поработивших их себе. Самое молодое из эллинских племен, дорическое племя, которое даже не упоминается Гомером, установило и твердо держало свой деспотизм над славным народом ахейским, записанным первым в золотой книге Греции, над народом, который в героические времена песен Гомера превосходил всех славой своего имени. Кем стали сыновья спутников Ахиллеса? Пенестами. Кем стали сыновья благородных воинов Менелая и Агамемнона? Илотами.

Это грубое господство силы даже тогда, когда оно продолжало существовать в законодательстве народов, все-таки не могло удержаться в общественном мнении, и прогресс культуры должен был его осудить. Духовное развитие продолжало играть все большую и большую роль и обеспечивало себе преимущественное влияние в делах человечества; самый сильный перестает быть самым лучшим; им становится более ловкий и более умный; постепенное изменение этого понятия прекрасно можно проследить на последовательных оттенках слова, которое выражает это понятие — «лучший, сильнейший».

Но если право повелевать перестало теперь принадлежать силе, законность рабства уже не оправдывается одним только фактом [насилия], который его создал и его поддерживал. Его оправдания стали искать в самой сущности рабства; и так как себя они считали способными властвовать, то хотели думать, что других природа умышленно создала существами, годными только для рабства. Рабство унижало человека:

Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет.

И вот решили, что человек стал униженным не вследствие рабства, но для рабства — софизм, который применяется в интересах данного института вплоть до специального толкования этого стиха Гомера. Буквально создали расы свободные и расы рабов. И, таким образом, рабство, установленное государственным правом и гражданскими законами, стремилось найти еще себе основание в естественном праве, и человеческая совесть успокоилась при этом тройном освящении рабства.

Таковы были идеи, которые господствовали над человеческими умами; и когда имелись столь положительные и столь настойчивые интересы для того, чтобы считать рабство законным, понятно, что чувство первоначального равенства людей померкло и заволокло в сознании человеческого рода. Но ведь в конце концов это забвение столь же мало говорит против единства человеческих племен и народов, как и почти повсеместно распространенное язычество не могло отвергнуть единства бога. Но во всяком случае поспешим сказать, что такое мнение, столь, казалось бы, распространенное, не овладело окончательно душами всех. Можно было принять факт существования рабства, склониться перед необходимостью и тем не менее протестовать против мнимых прав, предъявляющих притязание на то, чтобы их признавали. Поэты, особенно драматурги, более близкие к человеческой природе благодаря своей привычке изучать без предвзятой идеи ее инстинкты и затем изображать вдохновляющие ее идеи и нравы, не раз произносили красноречивые и достойные слова: «Если кто сделался рабом, то разве его тело не то же, что у нас? Никого природа не создала рабом: судьба поработила его тело». Равным образом и философы, заглянув в глубину своего сердца,

видели истинное назначение человека и присоединились к этим протестам. «Есть люди, — говорит Аристотель, — которые смотрят на власть хозяина как на противоестественную. Это закон, говорят они, а не природа, разделил людей на свободных и на рабов. Таким образом, рабство несправедливо, так как оно насильственно».

Однако нужно сказать, что эти протесты и в театре и у философов бывали довольно редки. Театр обычно выражал мнение народа, а философы чересчур часто уступали сами тому общественному мнению, которое господствовало в их время. Представляет значительный интерес рассмотреть, как перед лицом столь важного вопроса вели себя наиболее блестящие гении Греции, каковы были их предубеждения и системы, их поучения и рассуждения, их утверждения, их сомнения и признания. В исследованиях, где доказательства постоянно сталкиваются с их выводами, в исследованиях нерешительных, где встречается столько противоречий, чувствуется, что, желая убедить других, они чувствовали необходимость убедить самих себя; и эти усилия являются новым выражением уважения, воздаваемого священному закону природы — неисковеренному в человеке чувству права на свободу.

2

Платон оставил нам две большие системы организации общества: «Республику» и «Законы»; в первой он хотел представить перед нами в новом виде самую идею государства; во второй, представляющей нечто среднее между миром идей и миром явлений, он хотел выводы своей «Республики» сблизить с реальными условиями, сделать их применимыми в жизни, хотел возвести в идеал существующие установления Афин. Нечего уже и говорить, что в одном случае его мысль должна будет подчиниться влиянию политической не-

обходимости, в то время как в другом она явится в полном блеске, освободившись от всякой посторонней примеси. В одной его работе он — государственный человек, в другой — философ. Какое же место в государстве для него, как для философа, т. е. с точки зрения чистого разума, занимает рабство?

В «Республике» государство — это взрослый человек, поднявшийся на высшую ступень силы. Естественное строение государства для философа представляет таким же, как и естественное строение человека; и это настолько верно, что, желая найти для человека определение справедливости, он ищет его в государстве, как в таком примере, где справедливость дает возможность рассмотреть себя в наиболее крупных и наиболее легко различимых чертах. Он различает в государстве, как и в отдельном человеке, области знания, силы и инстинктов, смелых и слепых; но в нем так сильно чувство естественной свободы в его определении человека, что он в вопросах рабства будет восставать против соблазнов собственной системы. Нет, это вовсе не является признаком ума или силы, когда под предлогом естественного превосходства порабащают существа, у которых господствует один только инстинкт, и кладут как бы на основе естественного права основание обществу на принципе командования и подчинения; первый естественный союз образовался благодаря добровольному объединению людей, равных по происхождению, которые соединяют воедино свои различные способности для служения общественным нуждам. Таким образом, первое общество свободно и основано на труде: нет знатных, нет простого народа, нет хозяев, нет рабов в этом объединении существ, которые все же, несмотря на свое равенство, различны. Там есть только земледелец, строитель и ткач; затем те, которые будут делать для них орудия их труда, которые будут перевозить их произведения или обменивать их на иностранные продукты. Это для Платона

«истинное государство, строение которого представляет собой здоровый элемент». Но, подобно тому как человек, не удовлетворяясь тем, что для него необходимо, прибавляет сюда тысячи искусственных потребностей, которые порождает испорченное воображение, так и государство портится и, так сказать, подвергается плохим настроениям. Тогда появляется наподобие кортежу паразитов толпа слуг, которых первоначальное и чистое общество еще совершенно не знало. И вот с этого момента, при наличии этих новых условий, противоположных тем, которые были у людей при добровольном объединении, начинается роль законодателя.

И на самом деле он берет общество таким, каким оно является в действительности, когда природа уже испорчена. Потребности общества не будут уже, как в первые времена, исключительно насущными потребностями жизни — хлеб, жилище, одежда и побочные мелочи, для получения которых труд общины делился без борьбы и усилий. Государство выросло, и в стремлении к расширению оно вступает в соприкосновение с соседними и соперничающими обществами; эти отношения усложняются и вовне и внутри, и одним из первых условий существования государства становится забота о его защите и о руководстве им.

Нужно было расчлнить и согласовать в этих целях различные силы, которые благодаря простоте первых времен легко объединялись в естественной гармонии жизни; и Платон, предоставляя массе выполнение функций обеспечения материальной жизни, которая в былые времена была достаточно обеспечена, выдвигает людей с храбрым сердцем на защиту государства, людей ума — на управление им.

Таков тот двойной облик, под видом которого Платону рисуется идеал человеческого общества. Сначала общество естественно: смысл его основывается на общности потребностей, условием его является труд, а правом — свобода. Затем появляется общество, от-

ношения которого уже исказились под влиянием человеческих страстей и где за отсутствием естественного равенства господствует между различными классами известное равновесие, поддерживаемое действием закона. В первом государстве нет совсем рабов, во втором — слуги могут быть употреблены для нужд роскоши. Но философ, который, по-видимому, их допускает, так как он только делает на это намек в нескольких местах, совершенно не выдвигает их в своем произведении и не вводит их как необходимый элемент в конституцию своего государства. Все заключается в трех классах: советников, управляющих государством, воинов, которые его защищают, земледельцев и ремесленников, полноправных хозяев земли и ремесел, оплачивающих продуктами своего труда первые два класса, обеспечивающих им управление и охрану. Во всех этих классах он уважает свободу, вплоть до последних ступеней социальной иерархии, до чернорабочих, «людей, мало достойных принимать участие в жизни государства, но чьи крепкие тела недоступны усталости».

Но не грозит ли рабство, которое, по-видимому, является чуждым платоновскому государству, вновь появиться под другим видом? Не являются ли эти классы, облеченные столь различными обязанностями и правами, настоящими кастами? Как выглядит естественная свобода, если наследственно они образуют столько же совершенно разобщенных друг от друга поколений? Платон, далекий от того, чтобы в этом разобщении увидеть опасность, наоборот, стремится к нему, как к какому-то благу, и, вместо того чтобы покровительствовать прогрессу и объединению граждан различных классов, он хотел бы, не меняя их положения, обратить некоторым образом их профессию в их естественное состояние и иметь, таким образом, наследственно неизменные классы людей-земледельцев, людей-мастеровых, людей-воинов и людей-правителей. Он особенно хотел провести резкую черту

между классами низшими и высшими и создать поистине привилегированный класс для управления и для ведения войны. Но став на путь, столь пагубный для единства человеческой природы, этот великий и блистательный гений теряет здравый смысл, и с первых же шагов он впадает в эти страшные и чудовищные заблуждения: общность жен, бесплодные в силу закона браки, аборт. И среди этих роковых заблуждений тем не менее так велика его вера в первоначальное равенство, что она вызывает воспоминания о них в различные века жизни человечества, чтобы сделать более священным столь резкое разделение этих классов. Даже при всеобщей наследственности общественных обязанностей он требует зачисления в правители и в класс воинов не только на основе права рождения; он требует от них прежде всего тех качеств, которые, как он надеялся, при помощи этих средств будут вечно передаваться в этих семьях из поколения в поколение по наследству. «Вы все, которые участвуете в жизни государства, вы все братья, сказал бы я им, продолжая это предположение, но бог, который вас создал, прибавил золота в тех, которым свойственно управлять другими и которые поэтому являются наиболее драгоценными; он прибавил серебра в состав воинов, железа и меди в состав рабочих и земледельцев... Вы будете иметь детей, которые будут на вас похожи. Но переходя от одного поколения к другому, золото может стать иногда серебром, как и серебро — перемениться в золото, и то же самое произойдет и с другими металлами. И прежде всего бог рекомендует правителям показать себя здесь хорошими стражами: больше всего обратите внимание на тот металл, который окажется смешанным в душе ребенка; и если у собственных их детей будет некоторая примесь железа или меди, абсолютно необходимо, чтобы им не было оказано никакой поправки, но чтобы их удалили в тот класс, к которому они подходят: в среду мастеровых

или в среду земледельцев. Если эти последние имеют детей, в которых проявляется золото или серебро, то они должны быть возвышены — одни до ранга воинов, другие до ранга правителей, так как есть предсказанье, гласящее, что государство погибнет, когда оно будет управляться или охраняться железом или медью».

Таким образом, рабство объявлялось необходимым и естественным. Платон не признает такого положения естественным и доказывает, что в нем нет необходимости в той структуре, которую он набрасывает как для примитивного общества, так и для того общества, которое может и должно в известном направлении перестроиться в руках законодателя. Он идет даже дальше: он требует уничтожения этого права, по крайней мере поскольку это касается греков, из страха проложить тем самым путь для господства варваров. Он ничего не говорит о «варварах»; и действительно, насколько ему казалось противным природе и бесполезным само по себе иметь рабов, настолько ему представлялось трудным при современном положении греческих государств путем реформы дойти до уничтожения рабства. В «Законах», где мысль философа вновь возвращается к существовавшим тогда учреждениям с целью способствовать их улучшению, сопоставляя их, где это возможно, с их божественными образцами, ему ни на одну минуту не приходила в голову мысль открыть миру дорогу, которая привела бы его к состоянию, соответствующему его природе. Между обществом «Республики» и обществом «Законов» — целая пропасть, оправдываемая необходимостью. Итак, общество уже будет делиться на свободных и рабов. Платон признал естественную несправедливость этого положения и законное нежелание человека подчиняться ему, но он склоняется перед этим верховным законом судьбы, который властвует в его «Законах». Он исследует тут только выгоды и неудобства, и его вывод — не уничтожать рабов, но обращаться с ними так, чтобы они, оставаясь

полезными, не были опасными. Я не могу удержаться, чтобы не привести в переводе весь этот важнейший отрывок, к которому нам придется возвращаться еще не один раз:

«Вопрос о рабах во всех отношениях является затруднительным. Основания, которые приводятся в его защиту, в одном смысле хороши, но дурны в другом; ведь они одновременно доказывают пользу и опасность иметь рабов. Если есть какая-либо трудность оправдать или осудить пользование рабами в той форме, как оно установлено у других народов Греции, эта трудность является несравненно большей, когда приходится говорить об илотах в Лакедемоне; меньше затруднений представляет вопрос о мариандинах, рабах жителей Гераклеи, и о фессалийских рабах, называемых пенестами. И когда посмотрим на то, что происходит там и в других местах, то чувствуется необходимость установить какие-либо правила относительно владения рабами. Мы знаем, что нет никого, кто бы не сказал, что нужны верные и преданные рабы: ведь среди них нашлось много таких, которые выказали больше преданности, чем братья или сыновья, и которые своим господам спасли жизнь, и имущество, и все их семейство; мы знаем, что так говорят о рабах... Но не говорят ли также, с другой стороны, что душа раба не способна ни на что хорошее и что никогда разумный человек не должен верить рабу? Это дает нам понять самый мудрый из поэтов, говоря:

*Разума лишь половину дает Зевс широкоглядающий
Людям, которых постигнет печальная рабская доля.*

В зависимости от того, какой из этих противоположных взглядов разделяют люди, одни из них ни в чем не доверяя своим рабам, обращаются с ними как с дикими животными, и силою палки и ремня делают их душу не в три, но уже в двадцать раз более рабской;

другие действуют совершенно обратно... Ясно, что человек — существо, трудно поддающееся управлению, — лишь с величайшим трудом соглашается на это разделение на свободных и рабов, на хозяев и слуг, вызванное необходимостью. Отсюда вывод — раб есть имущество очень хлопотливое. Опыт показывал нам это не раз: и частые восстания мессенцев, и те несчастья, которым подвергаются государства, где много рабов, говорящих на одном и том же языке, а также и то, что происходит в Италии, где бродяги производят всякого рода грабежи и насилия. Ввиду этих беспорядков нет ничего удивительного, что люди не знают, какого взгляда им держаться в этом вопросе. Я вижу только два выхода: первый — рабов иметь не одного и того же племени, но, насколько возможно, таких, которые говорят на различных языках, если хотят, чтобы они более охотно переносили гнет рабства; второй — хорошо обращаться с ними не только для них самих, но еще в большей степени в своих интересах. Это хорошее обращение заключается в том, чтобы не позволять себе никаких обид по отношению к ним и быть, если возможно, по отношению к ним еще более справедливым, чем по отношению к равным себе».

Итак, Платон держится в некотором отношении как бы середины в вопросе о рабстве; он воздерживается как отвергать, так и оправдывать это учреждение, и фактически он его принимает со всеми преимуществами и опасностями, которые оно представляет в условиях существующих обществ. Но он не загоняет свою философскую мысль под ярмо общих предубеждений. Этим государствам, которых рабы столько же обременяют, сколько и обслуживают, он противопоставляет свое государство, где труд, свободный, хотя и регулируемый конституцией, дает достаточно для потребностей государства; во всяком случае, он отвергает всякую видимость законности этого пресловутого естественного права, в котором хотели найти основа-

ние для унижения человеческой личности. Чтобы дополнить его мысль, хотелось бы отнести к положению рабов то, что он говорит о свободных в их отношении к авторитету правителей или богов: «В состоянии зависимости, как и в состоянии свободы, излишество является самым страшным злом, в то время как истинная мера — величайшим из благ. Быть слугами богов — это справедливость; быть слугами людей — злоупотребление».

3

Система Аристотеля сильно отличается от системы Платона; она отличается и по своим выводам, она отличается и по принципу; причина этого, нужно сказать, заключается в том, что оба философа сами имеют и методы и тенденции, совершенно противоположные. Платон, который как по привычке, так и по внутреннему инстинкту стремится ввысь, к идеалу, отгораживается от влияния окружающих его фактов; в его политической теории философ берет верх над государственным человеком. Аристотель, который исходит из опыта, остается более под воздействием установленных фактов, и в самых отвлеченных построениях своей политики в нем преобладает государственный человек. Таким образом, в этой перестройке общественной организации главнейшим элементом для Платона является человек, для Аристотеля — гражданин. Отсюда следует, что, в то время как Платон организует свое государство по типу самой природы, Аристотель рискует воспринять самую природу, как слепок с государства.

Конечно, это ошибка, в которую впал великий гений.

Государство, по определению Аристотеля, — это общество, организованное таким образом, что оно в самом себе находит средства удовлетворить все свои

жизненные потребности. Его цель — благополучие, т. е. совокупность наибольшего количества благ как в мире, окружающем человека, так и в нем самом — в его физическом существовании и в духовном облике; и так как духовные свойства имеют первенствующее значение, то показательным государством следует признать то, где благодаря законам всякий гражданин сможет обеспечить себе наибольшее количество благополучия благодаря личным достоинствам. Но эти личные достоинства, понимаемые как проявление духовных качеств, требуют свободного от работы времени: нужно будет, чтобы гражданин был избавлен от всех забот материальной жизни, пусть же различные обязанности по земледелию или ремеслу, пусть все заботы о самом индивидуальном обслуживании падут на другую часть населения государства. Таким образом, между всей массой людей, которая составляет государство, начинается намечаться резкая линия раздела. С одной стороны — гражданин, который в самом себе воплощает все назначение государства, стремящийся к благу путем развития личных достоинств, имея свободное от труда время; с другой стороны — люди, единственной целью которых, по-видимому, является давать гражданам возможное количество этого свободного времени: в области земледелия и ремесленного производства это пахари и ремесленники; в области частного обслуживания — это рабы.

Изложив так эту организацию, необходимую для государства, Аристотель старается найти ее и в семье и даже в самой природе человека. Ведь человек рождается со склонностью к общению. Полного завершения это свойство достигает в семье; а последняя предполагает три элемента: человека, который управляет семьей, женщину, которая продолжает жизнь семьи, и раба, который эту семью обслуживает. Уничтожьте одну из трех линий этого треугольника, и треугольника уже не существует; следовательно, раб является некоторым

образом третьей составной частью человека: уничтожьте его, и перед вами не будет уже человека, человека общества, истинного человека. Сама природа дала ему это двойное и неизбежное дополнение — женщину и раба. Но отношения раба к господину определяются не только положением человека в обществе, в семье; Аристотель открывает их в сущности природы отдельного человека: они подобны отношению души к телу. Раб — это тело, и это представление в конце концов переходит и в язык: раба просто и открыто стали называть «телом». Это — тело, отделенное от своего господина как бы для того, чтобы устранить от него то чувство усталости и печали, которые через посредство тела сообщаются душе; но это тело настолько связано с его природой, что оно не имеет вне его своего реального существования, и Аристотель, по-видимому, не хочет, чтобы это понималось как чистая абстракция, как идея; он говорит: «Господин является понятием господина только по отношению к рабу; наоборот, раб является рабом не только по отношению к господину: он целиком сам по себе есть раб».

Таким образом, рабство необходимо; рабство естественно. Этот вывод, извлеченный из идеи государства, из первичной организации семьи и из организации самого человека, согласно Аристотелю, находит свое подтверждение еще и в домашнем хозяйстве. «Эта область, как и все другие,—говорит он,—нуждается в специальных орудиях, и среди этих орудий одни являются неодушевленными, другие—одушевленными, как руль и матрос в руках хозяина корабля; равным образом собственность в общем есть орудие и раб есть живая собственность и первое из орудий» А кроме того, рабство и необходимо; ведь нет ничего другого, что могло бы заменить раба, рассматриваемого как одушевленное орудие. Чтобы можно было обойтись без раба, нужно, чтобы неодушевленные орудия сами получили движение и жизнь, и, таким образом, фило-

соф выдвигает как принцип то, что внушало комедиографу эти причудливые сцены общества без рабов. «Действительно, — говорит Аристотель, — если бы всякое орудие могло работать само по данному приказу или даже предвосхищая его, как статуи Дедала или треножки Гефеста, которые, по словам поэта, сами собой являлись на собрание богов, если бы челноки ткацкого станка ткали сами собой, если бы смычок сам собой играл на кифаре, то предприниматели стали бы обходиться без рабочих, а хозяева — без рабов». И все эти глупости, которые охотно можно было бы отнести на счет воображения сумасшедшего, находят себе место в теории философа, как основанные на доводах разума. Рабство естественно, ибо если для его отмены требовалось бы перевернуть все законы физического мира, то оно само должно стать законом природы; и перед лицом этой двойной необходимости не оставалось ничего другого, как склонить свою голову под это иго. Таким образом, Аристотель считал, что он вполне доказал то, о чем он говорил вначале: «Наконец, сама природа создала в целях сохранения одни существа для господства, другие — для повиновения. Она пожелала, чтобы существа, одаренные прозорливостью, повелевали как господа, и чтобы существо, способное по своим физическим свойствам исполнять приказание, повиновалось как раб; и этим самым объединяются интересы господина и раба».

Но во всяком случае заметим: все эти рассуждения, посредством которых Аристотель старался найти законное оправдание рабству в самом человеке, в семье и в государстве, могли выводиться не столько из фактических данных, сколько из определенной идеи человека, семьи и государства, полученной в отрешение от понятий, соответствующих реальному миру. Мы все еще в области теории; освободимся от всех тонкостей той аргументации, которой он пользуется, и переведем принципы в область фактов, в это истинное

поле наблюдений; за Аристотелем ведь навеки останется слава первого, установившего и укрепившего науку. И сюда он сам переносит рассмотрение этого вопроса. «Теперь нужно посмотреть, — говорит он, — есть ли люди, созданные так самой природой, или же они совсем не существуют; есть ли люди, по отношению к которым, кто бы они ни были, можно сказать, что для них справедливо и полезно быть рабами, или же, напротив, всякое рабство есть явление противоестественное. Рассуждение может легко разрешить эти вопросы». Но вместо того чтобы открыто подойти к фактам и здесь заложить основы своей системы, он прибегает к различным изворотам неясной аналогии, чтобы возможно скорее опять броситься в область гипотез. В принципе он устанавливает величайшую полезность власти и повиновения; сверх того он устанавливает как факт, что есть существа, предназначенные природой к управлению и к повиновению: право и обязанность, откуда рождается совершенная гармония; и он старается найти осуществление таких взаимоотношений: в человеке — между душой и телом; в семье — между мужчиной и женщиной; во всем мире — между человеком и животными.

Так ли это происходит и в обществе между людьми? Аналогия, отнюдь не приводящая нас к такому выводу, казалось бы, должна заставить от него отказаться; ведь здесь уже нет больше речи о различиях по полу, роду или сущности: здесь речь идет об отношениях одного человека к другому. А между тем Аристотель продолжает: «И здесь тот же самый закон должен господствовать во всем человечестве. Если есть человек, стоящий ниже себе подобных, подобно тому как тело ниже души, как животное ниже человека (а это приложимо ко всем тем, лучшее проявление существа которых заключается в физической деятельности), то это раб по природе; для таких людей, все равно как для других существ, о которых мы только что говори-

ли, самое лучшее — подчиняться власти господина; ибо тот является рабом по природе, кто может предоставить себя в распоряжение другого (он потому-то и отдается другим, что способен на это) и кто может понимать смысл указаний, сделанных другими, сам же рассудком не обладает».

Но есть ли люди, созданные так природой, или же их совершенно не существует? Этот вопрос, как можно ясно видеть, далекий от разрешения, снова появляется перед нами. И, даже отвечая на него положительно, можем ли мы сказать, что рабство так, как оно существует среди людей, является осуществлением естественного рабства? Таковы два фактических момента, которые нужно точно установить. Без первого нет естественного рабства; без второго — нет рабства законного.

Если рабство является действительно частью естественного права, если природа создала известные существа с единственной целью отдать их на службу господину, то они должны быть такими, чтобы со всей точностью соответствовать этим целям. «Ведь природа, — говорил философ, — вовсе не так поступает, как наши кузнецы, выделяющие дельфийские ножи для всяких нужд; у нее каждое существо имеет одно только предназначение, так как орудия считаются совершеннее, если они служат не для многих целей, а только для какого-нибудь одного применения». Раб вовсе не должен иметь всех совершенств нравственного существа — личное достоинство, волю, — так как он никогда не следует своим собственным внушениям; вся его жизнь, все силы должны заключаться в способностях физических, подобно тем молодым девушкам из золота и серебра, которых Гефест выковал себе, чтобы они подерживали его неровные шаги.

Подражала ли природа его искусству и создала ли она действительно это раздвоение души и тела? Аристотель хотел бы это установить хотя бы в известной

мере; и эта часть его аргументации представляет странный контраст глубокого проникновения и ослепления, прямоты и различных уверток. Это — зрелище великого духа, борющегося против себя самого, увлекаемого в ту или другую сторону под двойным влиянием своих идей и своего метода. Он находит в фактах опровержение своей системы и не имеет сил решиться это признать; он снова прибегает к теории и все же не может уничтожить следов своих живых и блестящих исследований, которые должны были бы привести к другим выводам: «Если предположить в рабах личные (нравственные) достоинства, то в чем же будет их отличие от свободных людей? Если их отрицать, то дело получается не менее абсурдным, так как ведь они — люди и имеют свою долю разума». Ясно, что он колеблется; и одно это его сомнение подрывает всю его теорию. Если нельзя с уверенностью сказать, что рабы таковы, то естественное рабство не имеет твердого основания. Над всеми этими сомнениями поднимается один факт: «они — люди и имеют свою долю в сознательной жизни». Если бы он к этому единственному факту приложил всю силу своей логики!.. Но «чем же они будут отличаться от свободных людей?» Он останавливается и, вместо того чтобы следовать по пути истины, которая уже вырисовывается перед ним, он через различные уклонения и двусмысленности возвращается к своей чистой теории: «Свободный властвует над рабом совершенно иначе, чем муж над женой, отец над сыном; важнейшие элементы души предсуществуют во всех этих созданиях, но они выявляются у них в самой разнообразной степени. Раб совершенно лишен воли; женщина имеет ее, но в подчиненной форме; у ребенка она еще не вполне развита». Таким образом, у раба нет собственной воли. Он имеет только волю своего господина. У него нет и собственного разума. Та часть разума, которую философ иногда ему придает как человеку, в его глазах является, так сказать, разумом

переданным, пониманием заимствованным; раб поднимается до понимания разумного только тогда, когда оно ему указано. Разум поднимает его на одну ступень выше животных; но что касается службы господину, то в этом отношении он не ставит раба выше животного, и законность такого сопоставления, как оправдание рабства, он находит не только в природе души раба, но даже в его физическом строении: «Сама природа того пожелала, так как она сделала тела свободных отличными от тел рабов, дав этим силу, необходимую при грубых общественных работах, и, наоборот, сделав других неспособными сгибать свою прямую фигуру при исполнении этих грубых работ и предназначив их исключительно для занятий жизни гражданской, которая у них делится между военными упражнениями и занятиями мирными».

И все же он колеблется при этом странном утверждении. Раньше в нем немедленно же возмущалось его нравственное чувство перед этой суровой необходимостью оскотинить душу раба, чтобы поработить его «естественно», «согласно законам природы». Здесь же он имеет против себя очевидность фактов и здравый смысл. Необходимо познакомиться с его рассуждениями: «Часто бывает, я с этим согласен, что одни являются свободными только своим телом, в то время как другие — только душой». Но он уклоняется от решительного вывода, подставляя вместо факта гипотезу: «Конечно, если бы люди были всегда так различны между собою по своему внешнему виду, как они отличаются от изображений богов, то пришлось бы единодушно согласиться, что менее красивые должны быть рабами других: и если это верно по отношению к телу, то еще больше оснований было бы так говорить по отношению к душе; но красоту души узнать не так легко, как красоту тела». Какой вывод можно сделать отсюда? Что никакой вывод невозможен. Аристотель, наоборот, делает очень неожиданный вывод: «Но как

бы там ни было, очевидно, что одни естественно являются свободными, а другие — естественно рабами и что по отношению к этим последним рабское положение столь же полезно, как и справедливо». И, таким образом, этот вопрос, который является исключительно вопросом действительности, который по его же признанию имеет факты против себя, он разрешает вне мира реальностей, чтобы тотчас же навязать этой реальности свой столь легко полученный вывод.

Но, допуская, что существует естественное состояние рабства, какой поддержкой послужило бы это тому рабству, которое было установлено в обществе его времени? Для того чтобы система Аристотеля могла быть оправдана для данного времени, нужно было бы допустить, что человек низшего духовного развития становился всегда рабом и что при обращении в рабство можно было производить это различие, отмеченное природой. А ведь в действительности состав рабов всегда пополнялся или по рождению, в порядке наследственности, или через войну. Аристотель допускал и тот и другой способ. Действительно, рождение кажется самым естественным путем, чтобы продолжить творения, которые природа сама создала; а война в глазах философа является средством, которое природа дала людям, чтобы вернуть к подчинению своим вечным законам тех, кто от них освободился. «Война, — говорил он, — является в некотором отношении естественным средством приобретения, так как она заключает в себе понятие охоты; ее необходимо вести против диких животных и людей, которые, будучи рождены для повиновения, отказываются подчиняться. Это война, которую сама природа сделала законной». Бесчестный и подлый обычай торговли рабами, обращенный в право, возведен в степень долга!

Но поражает ли война только людей, рожденных для рабства, и может ли рождение навсегда гарантировать, вместе с правом на господство и с обязанное-

тью повиноваться, «естественные» условия для свободного человека и для раба? Аристотель высказывается не очень решительно по этому последнему пункту. «Верно, — говорит он, — что очень часто природа этого хочет, но не всегда может»; что же касается второго пункта, как бы смог он ответить утвердительно при наличии живых традиций прошлого и этих вечных свидетелей его времени? Эти дочери царей, эти благородные пленницы, несчастья которых, воспетые Эсхилом, Софоклом и Эврипидом, всегда волновали души людей и вызывали в свободных сердцах самые живые симпатии, все они — Андромаха, Филоксена, Кассандра, старая мать стольких несчастных детей Гекуба, — какое, не правда ли, оправдание естественного права рабства и его применения в результате войны!

В душе ее дыханье видно божества;
Оно ее объемлет, хоть она раба,

говорит Эсхил о Кассандре; вместе с Софоклом голос народа повторял:

Пусть тело рабское, но ум свободного,

или вместе с Эврипидом:

Раба позорное название носить —
Такая участь многих; духом же они
Свободней тех, кого рабами не зовут.

И как мог философ не выступить, даже во имя своей теории, в защиту этих несчастных, обладающих великой душой, этих жертв грубого насилия? Ведь эти несчастья отнюдь не были воображаемыми. Эти великие страдания не вызывали бы такого живого чувства сострадания, если бы судьба их не имела повторений ежедневно; и души, наиболее предназначенные для свободы и господства, часто делались жертвами последствий войны, получивших оправдание филосо-

фа; доказательство этому — малоазиатские греки, ставшие рабами варварской Персии в результате своей любви к свободе, которая была так велика, что они пожелали освободиться от всяких уз политической зависимости; доказательством служат и другие греки, порабощенные грехами же в связи с войнами из-за стремления одних к независимости или даже честолюбию, других — к господству. Обладало ли рабство даром переделать в один момент эти благородные натуры? Это было бы его приговором; но это было не так. Спартиат, ставший пленником и спрошенный при продаже, что он умеет делать, ответил: «Быть свободным». Другой при подобных же обстоятельствах показал себя не менее достойным свободы; когда глашатай стал кричать: «Продается спартиат», он прервал его со свойственной его народу гордостью следующими словами: «Скажи: пленник».

Однако нужно обратить внимание на следующее: теория о естественности рабства осуждает политическую основу рабства, если она ее не оправдывает; а основа рабства не может считаться оправданной, если нельзя доказать законности средств, при помощи которых рабство установлено. Таким образом, еще раз в этом пункте теория Аристотеля очень скомпрометирована. Как согласовать с этими принципами право рождения? Как оправдать в его общем применении право завоевания и власти над покоренными народами? Аристотель чувствует эти трудности; он отмечает отвращение к этому и возражения против всего этого, и однако он все еще ищет объяснений, собирает авторитеты, даже разумные доводы. «Эти два противоположных мнения, — говорит он, — были поддержаны людьми мудрыми. Причина этого разногласия и мотивы, приводимые той и другой стороной, заключаются в том, что личное достоинство имеет право, если оно имеет к этому средства, пользоваться до известной степени даже насилием и что победа всегда предполагает известное

превосходство. Конечно, можно считать, что и сила никогда не была лишена всякого достоинства и что здесь весь спор в сущности идет только об идее права, которая для одних заключалась в гуманности, а для других — в господстве более сильного».

Итак, одна только сила может устанавливать право; и рабство действительно логически приводит к тем временам варварства, когда оно безраздельно господствовало. Однако философ не мог принять принципов, которые, подчиняя духовное развитие грубой силе, ниспровергали в интересах рабства всю его политическую систему, приспособленную для свободных людей; и в замешательстве от этой альтернативы, не имея возможности ни осудить право войны без потрясения рабства, ни оправдать его, не подвергая опасности свободу, он нападает на возражения и опровержения. Со своей стороны он, по-видимому, склоняется к мнению тех, которые, «применяя имя рабов к варварам, с величайшим старанием отвергают его для себя». Но даже и такая условная «делка» была неприемлема, да, кроме того, она была и бессильна; ведь если война слепо поражает благородные души, как и варварские тела, и если, даже предполагая, что он правильно классифицирует господ и рабов, рождение не является верным средством продлить в них естественные качества почтенности и властвования, что же говорить о самом установлении рабства, которое, однако, всецело покоится на этих порочных основаниях? «Это вновь заставляет искать, — говорит Аристотель, — что является естественным положением рабства». Как философ он возвращается к этой легкой гипотезе воображаемого рабства; как политик он принимает его как факт и уже далее без малейших угрызений совести воздвигает на этих основаниях здание своего государства.

Благодаря этим простым сопоставлениям можно схватить всю мысль Аристотеля о рабстве, смысл его системы и причину его ошибок. Согласно его словам,

рабство необходимо и естественно, Он находит его в современном ему устройстве государства и семьи, он поддерживает рабство с мыслью, что в основе его лежат принципы такой же организации. Так как он иначе не может их понять, то он полагает, что они именно так и созданы, организованы самой природой, и в этом он ищет для себя подтверждения, вплоть до сущности самого человека. Если действительно природа сделала из рабства основу семьи и государства, то она должна была создать людей для рабства и для господства. Философ определил теоретически раба и хозяина, и он хочет показать, что эти теоретические различия встречаются и в действительности. Вот вся его мысль, вот вся его система, и можно видеть, под каким влиянием она была создана. Он думает, что он идет методом эксперимента, и основывает свою теорию на наблюдении; он исходит из фактов, но фактов таких, какие он находит в обществе, которые он предполагает в природе, а по существу его выводы покоятся на гипотезе, слабость которой он вскрывает своими же собственными колебаниями и недостатки которой можно показать при самом простом анализе.

Нет, человек не является от природы рабом; нет, рабство не является необходимым элементом семьи и государства, естественно организованных. Раб, говорят, необходим для семьи, для общества, т. е. необходим для человека в его естественном положении в обществе и в семье. Но если раб является человеком, то тут получается противоречие в самом принципе: хотя сделать раба из того, кто сам хочет иметь рабов; и самая организация, которую предполагают для семьи и государства, нарушает права, которые хотели установить. Чтобы она действительно существовала, заключая в себе этот необходимый элемент рабства, в условиях естественной жизни, нужно было бы, чтобы сам раб стоял вне общего человеческого права, нужно допустить, что в человеческом роде есть два вида орга-

низмов — один для властвования, другой для того, чтобы служить, — и, таким образом, считать, что в этом их конечная цель и их самый законный и самый истинный интерес. Существуют ли в действительности эти два вида организмов? Без сомнения, различия между людьми существуют, и Аристотель весьма основательно сводит их к двум принципам: человеческая природа двойственна; она состоит из души и тела; у людей, взятых как отдельные личности, могут преобладать в большей или меньшей степени качества или тела, или души. Но природа, которая вложила в них эти два элемента, никогда эти элементы не разделяла; и как бы велико ни было в отдельных случаях преобладание того или другого из них, оно никогда не доходит до того, чтобы установить такие родовые различия, которые не могли бы исчезнуть в той же самой личности, а должны передаваться ее потомству; а этого-то и требует рабство. Ведь раб — и это надо особенно отметить — это не индивидуум, это целая категория людей. Под тысячью самых разнообразных индивидуальных форм сохраняется все же единая человеческая природа, а следовательно, случайные отношения могут быть очень разнообразны, но основные права индивидуума должны быть тождественны и общи для всех. Этот принцип, который благодаря чистым лучам гуманной философии, несмотря на потрясающее отступничество новейшего времени, остался аксиомой, доказывает незаконность порабощения человека в семье и семьи в государстве и до самого основания разрушает теорию Аристотеля относительно раздвоенной личности.

Его семья противоестественна: ведь как бы мало в рабе ни осталось общечеловеческого облика, у него осталось право иметь семью; это есть самое основное право человека; это, говорит Аристотель, дополнение к его существу. В этом тройном сочетании человека, женщины и раба, которые, по его словам, составляют единство, я уже вижу элементы двух семейств — одно-

го полного, другого искалеченного в своих составных частях и в своих правах. Равным образом и его государство столь же противоестественно; об этом можно судить сразу по одному факту. Граждане, которые посвящают себя исключительно государственным делам, должны быть очень немногочисленны и должны быть обслужены: значение и сила государства возможны только при этих двух условиях. Для обслуживания их философ допускает рабство; чтобы ограничить их количество в пределах, необходимых для внутреннего порядка, он допускает право аборта для женщин. Чудовищность последнего приема плохо рекомендует пер- вый. Но разберем дело по существу.

Природа, которая заложила основы семьи, не определила точно форм общества. Люди рождаются на свет с одинаковыми правами на семью, так как она является лишь законным развитием их организма, но они не равны по своим умственным и физическим силам, которые создают личность. Распределять государственные обязанности среди всех в соответствии со способностями, установить порядок и гармонию — таковы два необходимых условия, на которых возможно организовать идеальное государственное устройство, чтобы добиться действий, наиболее осмысленных и урегулированных и, как следствие этого, более могущественных и наиболее способных достигнуть объединения. Если пренебречь этими условиями, то в зависимости от того, будет ли все внимание обращено на то, чтобы распределить обязанности согласно с личным достоинством или прежде всего обеспечить общий порядок, начнутся бесконечные перестройки государства, будут происходить постоянные изменения в отправлении общественных функций; или же классы делаются чем-то постоянным, неподвижным и навсегда оставляют за каждым из них ту часть действия, которую считали нужным и полезным им ранее поручить. Некоторые из народов древнего мира пошли по этому

последнему пути; современные фанатики примкнули к другому течению; известно, какова их судьба. В вопросе о рабстве Аристотель доказывает законность первого положения, а вывод делает в пользу второго! Это вовсе не значит, что он занял позицию между двумя крайностями, а очень может быть, что истина и была бы именно там. Человек не может следовать ни за природой в ее вечных изменениях, ни претендовать на то, чтобы фиксировать ее в формах неизменяемой организации. Общество должно представлять соединение устойчивости и изменяемости: устойчивости — в организации семьи и в правах на собственность и наследование, рассматриваемое как приложение к этому праву; изменяемости — в социальной иерархии, предоставляя каждому в качестве исходной позиции то место, на которое его поставило рождение, с возможностью подняться или опуститься в зависимости от своих заслуг. Если бы в обществе было естественное рабство, то, следовательно, там существовали бы племена, где принципы, обуславливающие низшую ступень развития, на которой основывается рабство, удерживались бы в силу своей собственной природы и переходили бы к следующему поколению — и так навсегда и неизменно. Но сам Аристотель восстал против этого пресловутого различия природы между людьми, нападая на олигархию. «Если бы некоторые властвующие люди отличались от подчиненных им других смертных настолько же, насколько, по нашему представлению, отличаются боги и герои от людей, превосходя последних как своими физическими качествами, так и духовными, и если бы с такой же несомненной ясностью можно было констатировать превосходство властвующих над подчиненными, то, очевидно, было бы лучше предоставить одним всегда властвовать, другим всегда быть в подчинении. Но эти различия не так легко установить, да и фактически очень трудно встретиться с таким превосходством, о

котором рассказывает Скилак: у индусов цари будто бы в такой именно сильной степени превосходили своих подданных. Таким образом, становится ясным по многим причинам, что всем должно в одинаковой степени принадлежать право на очередное участие и во властвовании и в подчинении. Ведь равенство есть тождество прав и обязанностей людей, равных между собой. Государство было бы нежизнеспособным, нарушая законы равенства». Замените слово «властвующие» словом «господин» и слово «подданные» словом «раб», и вы будете иметь вывод, согласный с правильными принципами.

То, что справедливо по отношению к человеку в свободном состоянии, не является ли еще более справедливым по отношению к рабу? Или философ делает логические выводы только по отношению к гражданам? По крайней мере, кажется, что он в некотором отношении насилует логику, когда он становится лицом к лицу с рабством; и получается, таким образом, что при всех своих нападках на иерархию каст он приходит только к упрощению этой системы. Его государство — это каста свободных, покоящаяся на существовании касты рабов, в противоположность тем самым принципам, которые он нашел в природе во имя политической свободы государства.

Основной недостаток системы Аристотеля заключается, как я указал выше, в том, что он постоянно смешивает гипотезу и реальность в тех предпосылках, из которых он выводит свою теорию. На самом деле раб обязан выполнять самые тяжелые работы, поэтому для него нужно тело более крепкое; раб работает по указанию хозяина: он должен иметь умственные способности более низкого порядка; раб действует по воле другого: у него нет надобности в воле. Аристотель предполагает его в действительности таким, каким он должен быть по его теории; и на основании этого тройного призрака, созданного его воображением, чтобы

соответствовать действительным условиям рабства, он создает реальное существо, продукт природы, которое отныне оправдывает положение, творцом которого является только человек. На этот призрак своего воображения он направляет свои наблюдения; из этого призрака он извлекает свои истины. Развейте его, и все разрушится; и при этом разрушении его системы не останется ничего, кроме заключений без предпосылок и наблюдений без выводов. Нет, я ошибаюсь: исследования Аристотеля неизбежно оставляют после себя длинную светлую полосу; и теория, которая так долго занимала его гений, даже в тех ошибках, которыми она полна, для нас глубоко поучительна. Действительно, Аристотель верил в законность рабства, но он установил, на каких условиях оно только и могло существовать. «Всякий деспотизм в своей основе незаконен, за исключением лишь тех случаев, когда сама природа предопределила, что одним людям свойственно властвовать, другим — подчиняться. Если это так, то во всяком случае нельзя стремиться к деспотической власти над всеми, но только над теми, кто предназначен к этому». Но что нужно, чтобы рабство существовало как естественное право среди людей? Нужно, чтобы среди них существовали не только две природы тела и две природы умственных способностей, но еще две природы нравственности. Но ведь подобные условия являются осуждением самого факта рабства. Напрасно философ старается найти доказательства этому в реальном мире. У него нет фундамента, ему приходится прибегать к гипотезе, «окопаться», и при ее помощи уже он пытается согласовать реальные факты даже в ущерб логике, аргументируя одними доказательствами, а выводы делая из других. Подобно тому как Платон, эта столь чистая и благородная душа, всячески стремясь к созданию привилегированной группы в недрах человечества, впал в великий грех, защищая общность жен и аборт, равным образом и

Аристотель, великий наблюдатель, твердый логический ум, из желания найти рабство в природе позволил себе пойти на полное забвение фактов, данных наблюдением, на странные нарушения тех самых правил, которые он сам начертал для хода рассуждения, — два примера, которые доказывают в лице двух величайших гениев античности, что никогда не может быть нанесено оскорбление природе со стороны человека без того, чтобы она не отомстила за себя, искажая некоторым образом ум, виновный в том, что он не понял ее.

Рабство не выиграло и от школ исключительно нравственного характера. Перед лицом этого бедствия школы Эпикура и Зенона наглухо замкнулись — одна в своем эгоизме, другая в своем индифферентизме, обе одинаково безжалостные; первая — вследствие своей любви к благополучию и удовольствию, вторая — в силу презрения к ним. То рабство, которого Платон и Аристотель требовали во имя исполнения обязанностей лицами свободными, Эпикур провозгласил необходимой служительницей роскоши и удовольствий. Эпикурец не меньше, чем спартиат, желал, чтобы его обслуживали; и всякий знает, могли ли эти презренные потребности внести какое-либо изменение в злоупотребления рабством. Что касается стоицизма, то он не знал, что ему делать с рабством; во имя чего же стоицизм мог требовать его уничтожения или ограничения? Для Зенона благо — это жизнь сообразно с природой. Природу же он находил во всем, и своего рода фатум, или рок, увлекал, таким образом, человека в вечный поток вещей, в котором он существовал. Свободный или раб, он всегда находил себе свое место; одинаковая слабость духа — видеть в этом повод для гнева или сострадания. Тот, кто в своем рабском состоянии умел покоряться, не был рабом; тот же, кто не умел этого делать, был достоин быть таким рабом. Таким образом, рабство поддерживалось там, где его находили, но его находили также и в человеческой

природе: Зенон объявил рабом всякого злого, а Посидоний обрекал этому состоянию всякого, кто, будучи слишком слабым, чтобы руководить самим собой, в обмен за свои услуги находил со стороны более сильного помощь и руководство, которых ему не доставало.

4

Обстоятельство, которое должно было бы сверх всего другого открыть глаза на действительный характер рабства, — это нежелание человеческой природы подчиниться ему, ее возмущения в стремлении скинуть его с себя; и Платон это предвидел. Но рабство рассматривалось всеми если не как естественное, то как необходимое условие при данном положении общества, и всегда можно было установить линию своего поведения по отношению к нему. Философы склонялись к человеческому отношению к рабам, насколько они только могли это сделать, не потрясая основ рабства. Какова должна быть цель свободного, каков был его интерес? Предупредить столкновения, сопротивление и, если возможно, даже самую злую волю; сделать так, чтобы рабы употребляли силы своего духа и тела для содействия предначертаниям господина, а не для противодействия им. Не нужно ни очень вялых, ни очень решительных. «Надо остерегаться и тех, и других, — говорил Аристотель, — очень слабые не выносят совершенно труда, слишком гордые — командования». Особенно старались предупредить объединения рабов, которые усиливают их, и для этого рекомендовалось практиковать по отношению к ним систему изоляции. Изоляция в семье: никакого регулярного брака, как общее положение, разрешение браков исключительно в виде вознаграждения наиболее преданных или с целью иметь в лице детей как бы заложников их поведения. Изоляция в обществе: Платон и Аристотель в этом отношении согласны друг с другом; для того что-

бы помешать рабам понимать друг друга и сговариваться между собой, они советуют, как мы видели, объединять их так, чтобы они различались друг от друга и языком, и происхождением.

После всех этих советов, основанных на недоверии к рабам, все рекомендовали по отношению к ним меры кротости и гуманности как лучшую политику. Мы уже видели, что Платон, после того как он признал в своих «Законах» жестокую и тягостную необходимость рабства, везде настаивает, как на лучшем средстве смягчения его, на хорошем обращении с рабами: «Обращение, которое состоит в том, чтобы, если возможно, быть с ними даже более справедливыми, чем мы бываем по отношению к себе равным». Ксенофонт, так сказать, осуществляет эти наставления в своем «Трактате о хозяйстве». Его благосклонность простирается на все ступени рабства: «Мы должны внушить ей чувство дружбы к нам, — указывает он, говоря о ключнице, — переживая вместе с ней все наши радости, когда мы веселимся, все наши печали, когда мы горюем; мы должны внушить ей желание беречь наше добро, показывая ей, что мы разделяем с нею наше благополучие; мы должны возбудить в ней желание справедливости, предпочитая честного человека плуту, показав ей, что первый будет жить более богато, в большем почете, чем другой. Вот как мы должны держаться с ней». Он подчеркивает контраст между рабами, закованными в цепи, так часто старающимися бежать, и теми «слугами», свободными от всяких цепей, которые думали только о работе, которые испытывали удовольствие, оставаясь у своих господ. Таким образом, раб, заведующий делами, является почти членом семьи, рабочий не лишен гуманного отношения; со всех доступных сторон хотят добраться до человека, мирными способами поработить его, привязать его к себе как при помощи лакомств, так и при помощи похвалы, привилегий и отличий.

«Трактат о хозяйстве» («Экономик») Аристотеля

содержит те же правила и истины с меньшей вольностью, с большим чувством меры, сообразно с характером его гения. Ему диктует их не сердце, а разум, который все подсчитывает; это чувствуется с первых же слов. «Первая и самая необходимая собственность, — говорит он, — самая лучшая и самая важная, — это человек». Он, как и Ксенофонт, различает управляющего и рабочего; он указывает те же правила поведения хозяина по отношению к ним и резюмирует их коротко: «Никаких оскорблений, никакой фамильярности». Те же элементы в режиме их жизни, заключающие три вещи: труд, повиновение и пищу. Пища без труда и повиновения — это распушенность; труд и повиновение без питания — это уже притеснение; одно обессиливает, другое расслабляет; так двумя противоположными путями получается один результат. Все эти три условия надо комбинировать в известной мере, а их сочетание должно быть искусно соразмерено в соответствии с заслугами и свойствами каждого. К этим, так сказать, повседневным моментам присоединяются другие, более торжественные: праздники и жертвоприношения, которые на время прерывают труды и которые, как он говорит, организованы больше в интересах рабов, чем свободных людей. И, наконец, — свобода как награда за их службу.

Эти наставления как основные были признаны всеми, кто занимался этими вопросами, исключая ранний стоицизм, для которого рабство являлось вещью безразличной, а поэтому всякая мысль о реформе его была бессмыслицей, всякое сочувствие — слабостью. Известно непреклонное положение основателя этой школы: «Ни жалости, ни прощения». Но если он запрещал жалость, то в то же время он самым решительным образом лишал права и на гнев, а это запрещение было особенно выгодно рабу, так как Зенон находил равными преступлениями ударить раба или ударить отца. Поэты пропагандировали эти положения с подмост-

ков театра. Раб, которого не щадят, говорил Менандр, будет плохим; будьте менее суровы, и вы сделаете его лучшим; приводились примеры жестокости господ, немедленно за это наказанных отмщением небес.

Некоторые голоса поднимались даже выше этих чувств личной заинтересованности и защищали право раба на признание, в нем человеческого достоинства. Филемон говорил: «Хотя и раб он, о, владыка, но он не менее человек, чем другие люди», — слова столь же возвышенные по своему настроению и не менее прекрасные по форме, чем слова Алексиса, столь хорошо переведенные Теренцием:

Homo sun, humani nihil a me alienum puto
(Я человек, и мне не чуждо, думаю,
Все то, что свойственно людям другим).

Но, нужно признаться, этот голос остался почти без отзвука. Не таковы были господствующие настроения. Рабов презирали, и потому, не считая их достойными занимать внимание своей персоной, философы в своих советах занимались ими исключительно с точки зрения интересов хозяина. Сам Платон, порицая жестокость обращения с ними, предлагает их презирать: «Жестокий по отношению к своим рабам, вместо того чтобы их презирать, как делают те, кто получил хорошее воспитание»; и он преследует их этим презрением даже за пределы их рабской жизни. Ксенофонт, всегда такой гуманный, заимствует у искусства дрессировать диких животных способы, которые он хочет применить к рабу. Что касается Аристотеля, как мог он предписать человеку обязанность быть человеческим по отношению к своему рабу? Ведь он мыслит только абстракциями; он превращает в закон правило смотреть на раба только как на раба, т. е. он сводит отношение к нему только к двум понятиям: зависимости и властвования. В своей никомаховой «Этике», трак-

туя вопрос о дружбе, он устанавливает, что ее не может быть между господином и рабом, в той же мере как не может быть ее между человеком и лошадью или быком; и он обосновывает свою мысль: «Это потому, что между этими существами нет ничего общего: раб ведь только одушевленное орудие, все равно как орудие — это неодушевленный раб. И поскольку он — раб, не может существовать дружбы по отношению к нему». Правда, он прибавляет: «Но этот вопрос осложняется постольку, поскольку раб является человеком; в самом деле, установлено, что отношения справедливости существуют между человеком и всяким, кто подчиняется одному с ним закону и участвует в одних и тех же общественных договорах». И нужно быть признательным ему за это выражение непосредственного чувства. Продолжая сравнение философа, надо спросить: разве человек не любит свою лошадь, своего быка, в которых он видит своих хороших помощников? Аристотель в своей частной жизни не был чужд таким выражениям чувства: это доказывается теми либеральными распоряжениями, которые он делает в своем завещании по отношению ко многим своим рабам. Но его теория делает его нечувствительным по отношению к бедствиям их положения. Раб для него лишь орудие, цель которого — служить, и в этом живом орудии он так мало замечает душу, имеющую потребности и права человеческой личности, что не претендует возложить на нее большие обязанности: «Мы установили, — говорят он, — что раб бывает полезен для повседневных потребностей. Отсюда ясно, что он должен обладать и добродетелью в слабой степени, а именно в той, чтобы его своеволие или вялость не наносили ущерба исполняемым им работам».

Это систематическое, подтверждаемое доказательствами, презрение со стороны части философов легко переходило в сознание и представление массы; или, скорее, — будем в этом справедливыми — это было

всеобщее предубеждение, распространенное, так сказать, повсюду в атмосфере древнего мира; оно господствовало над мыслями и подготовляло основания для всей системы. Мы уже видели, что Теофраст считал грубой деревенщиной тех, кто делил труды со своими рабами, говорил с ними о делах или кто останавливался, чтобы поделиться местными новостями с наемными рабочими, работающими в их имениях. Расхождение этих двух классов намечалось более глубоко, чем когда бы то ни было раньше. Киническая школа, единственная, которая, казалось, была близка к классу рабов, не уменьшила неуважения к этому классу тем, что пожелала разделить его с ним. К тому же это было чудачеством немного меньшим, чем-то, которым они заслужили свое название. Но как эти философы могли поднять рабство в глазах общественного мнения, когда по своим нравам они спускались еще ниже, доходя даже до явного скотства? Возможно ли было реабилитировать труд, внушая рабу презрение к нему? Насколько было хорошо готовить его к свободной жизни, прививая ему презрение ко всяким общественным законам?

Диоген, выставленный на продажу, заявлял: «Кто хочет купить себе господина?» — и он нашел покупателя на этих условиях. Каково бы ни было у киников основание их философии, унаследованное ими от сократовской школы, нужно сознаться, что форма выражения у них была достаточно грубой; и в дальнейшем всегда у их подражателей встречалось больше бесстыдства, чем добродетели. Ссылались на Геракла (это он, одетый в львиную шкуру, был образцом для киников), который, поставленный во время своего рабства сторожить стадо, убил в честь Зевса самого тучного из быков, устроил праздник и пригласил, в тоне достаточно властного и угрожающего, принять в нем участие своего хозяина, вполне законно недовольного таким своеволием. Еще указывали на молодого спартиата, достойного отпрыска племени Геракла: став ра-

бом, он без возражений исполнял все обязанности свободного человека; но когда от него потребовали выполнения какого-то дела чисто рабского, он разбил себе голову с возгласом: «Я не буду рабом».

В первом случае имели в виду киников, во втором — стоиков, которые, выйдя из недр кинической школы и сбросив, по крайней мере на некоторое время, эту звериную внешность, тем не менее сохранили почти то же отношение к рабству. Мудрец, будь он свободным или рабом, идя по определенному пути, всегда имеет право прервать его; и если он не может идти дальше, не делая ошибок, то он не только вправе, а уже обязан положить этому конец. И вне стоицизма это мнение было очень распространено в греческом обществе. Не отрицая власти судьбы над миром, греки вовсе не отказывались от всех прав; и, подчиняясь этой всеобщей зависимости, они оставляли все же за человеком частицу свободы: это свобода делать что-либо или не делать, и в крайнем случае — свобода смерти. Мы хотим сказать: тщетно война поражала всех своими слепыми ударами; тщетно самые знаменитые люди могли быть ввергнуты в рабство; все это не помогало, чтобы поднять раба в глазах общественного мнения. Среди превратностей судьбы рабство оставалось как бы пробным камнем, который обличал натуры истинно рабские. «Ведь совершенно напрасно, — как говорил Филон после вышеприведенных примеров, — покупатель стал бы составлять договор о продаже раба, который не хотел бы работать»; массы свободных людей смотрели на этих несчастных, попавших в рабство и переносивших все его унижения, как на существа, достойные своей судьбы. Природа тут проявила свои права; и война просто выполнила здесь свое провиденциальное назначение, которое ей приписывал в этом смысле Аристотель. Без всякого угрызения совести презирали тех, кто оставался под игом рабства; и это презрение преследовало их иногда до самой моги-

лы. В Марселе (древней Массилии) было две повозки, чтобы отвезти на место похорон людей свободного звания и рабов; и сам Харон, у Аристофана, отказал рабу в своей лодке, чтобы переехать на берег теней.

Подведем итоги. Рабство было санкционировано у греков самим фактом своего существования, законом и общественным мнением. По мнению всех, оно было необходимо; по заявлению многих, оно было естественно. Немного голосов поднималось в защиту этих людей, в которых не хотели даже признавать права на человеческое достоинство; большинство же старалось доказать в общем, что по своим нравственным качествам рабы стоят на более низкой ступени; а эта низшая ступень оправдывала презрение к ним и манеру обращения с ними; и нужно сказать, что те послабления, которые были введены практикой, не имели другого основания, кроме хорошо понятого личного интереса.

Было ли рабство действительно необходимо? Да, конечно, оно было необходимо в государствах, организованных так, как Спарта, или таких, о которых мечтали Платон и Аристотель, организованных по аналогичному, хотя и более совершенному плану. Но надо было бы исследовать, была ли необходима такая конструкция общества, была ли она естественна, нельзя ли было тот институт рабства, который объявлялся основой такого общества, считать одним из видов государственных преступлений, основанных на законе и которые оправдывали и рекомендовали оба философа. Были ли рабы действительно существами низшего порядка? Опять-таки да, такими они бывали часто; но тут нужно было бы принять в соображение, что даже на самой последней ступени рабства они обязательно должны были удерживать права человека в силу своей природы; нужно было бы посмотреть, не является ли само рабство одной из причин этой деградации обращенных в рабство племен. Тогда рассуждение, освобожденное от всех чуждых ему предубеждений, от всех

предвзятых мыслей, могло бы охватить весь этот вопрос в целом; оно могло бы смело и верно исследовать все эти извилины мысли, рассеять весь этот мрак, и заключения против рабства были бы в той мере ясны и четки, как этого можно было ждать от предпосылок. К сожалению, нет ничего более трудного, чем освободиться от предубеждений, продиктованных старыми обычаями или собственническими интересами; можно ли упрекнуть древнюю философию в том, что она защищала рабство в своих системах, когда в наше время, при господстве христианских принципов, широко применяемых в нашем законодательстве, можно было видеть, как в колониях, где имеются рабы, продолжало сохраняться это «естественное право» рабства, и оно удерживалось на этом проклятом участке жизни до того момента, когда государственное постановление, довольно решительное по существу, оставило за ним лишь ограниченное поле применения, со всеми оговорками, которые оно могло им предоставить? И в наше время стоит тот же вопрос, что и в древности, и заключения, к которым мы приходим на основании тех текстов, которые у нас остались, применимы и к старому французскому колониальному режиму. Опровергая Аристотеля, я опроверг и все те софизмы, которые, конечно, с меньшим авторитетом, повторялись о естественном праве рабства со времени появления его книги; равным образом, показав на примере Греции, какое губительное влияние оказывает один факт наличия рабства на классы свободных и порабощенных, я отвечу на эти странные теории, которые превозносят рабство и восхищаются им как благодеянием для человечества.

Глава одиннадцатая

ВЛИЯНИЕ РАБСТВА НА ПОРАБОЩЕННЫХ И НА СВОБОДНЫХ

Прежде чем рабство было уничтожено в колониях, оно принципиально получило почти всеобщее осуждение. Но его защищали как необходимое условие для тех стран, где оно еще существовало; его восхваляли как оказавшее благотворное влияние на те страны, где оно некогда господствовало. Если верить его апологетам, то рабство было воспитателем человеческого рода. Это оно извлекло дикие народы из их жалкого состояния; это оно подняло свободные народы на столь высокую ступень цивилизации. Все — и люди, и вещи — произошли от этого института; и мы, сбрасывая с себя его спасительные оковы, дети рабов или свободных, мы должны благословлять рабство как вторую природу, как мать, которая выносила и вскормила нас.

За этими панегириками, за этими свидетельствами чисто сыновней благодарности, к которой очень часто склонны прибегать даже враги современного рабства, скрываются сожаления о его уничтожении, и они не настолько уже замыкались в прошлое, чтобы не иметь никакого отношения к настоящему. Ведь почему бы тому, что было некогда хорошим, не сде-

латься опять таким же при аналогичных обстоятельствах? Если рабство могло служить на пользу человечеству, значит оно больше не является уже одним из тех противоестественных учреждений, которые были созданы волей человека и оскорбляли провидение; нет, оно означает в таком случае учреждение, благословенное самим богом, служащее прогрессу человеческого рода; оно имеет провиденциальный характер; вот то значение, которое хотели бы ему придать. Изгнанная философией из области естественного права, эта идея устремилась в иную сферу, в которой нет места доводам разума, — в сферу божественного права. Но чтобы там укрепиться, она должна была подвергнуться исторической проверке. И если самый простой анализ принципиальных положений теории естественного рабства был достаточен для того, чтобы заставить рухнуть всю систему, то точно так же анализ фактов разрушает теории, которые хотят показать нам благотворное действие рабства и найти в нем божью волю. Во всех этих теориях имеется один недостаток: они считают точно установленным то, что является вопросом и требует доказательства. Древний мир в широком масштабе практиковал применение рабства, и цивилизация в этом мире принесла плоды, которые новейшее время собрало как самое дорогое его наследие. Но какое отношение существует между этими двумя фактами? Помогло ли рабство развитию цивилизации или, наоборот, не помешало ли оно ее развитию и не уменьшило ли ее результаты? Вот что надо установить, прежде чем решать, надо ли воздавать за него хвалу провидению или признать его преступлением человечества. Каковы были естественные последствия рабства, в каком отношении находятся между собой теоретические выводы и факты, — таков вопрос в целом, и, не выходя из пределов Греции, я думаю, можно будет подтвердить те выводы, которые не раз уже проходили перед нашими глазами.

1

Раб был «купленной» вещью, «одушевленным орудием», «телом», имеющим естественные движения, не имеющим собственного разума, существом, совершенно поглощенным другим. Собственник этой вещи двигатель этого орудия, душа и разум этого тела, начало этой жизни — это хозяин. Хозяин для него все его отечество и его бог; это, так сказать, его закон и его долг: «Он для меня, — говорил Менандр, — и государство, и убежище, и закон, непреложный судья справедливого и несправедливого; только для него я должен жить». Таким образом, бог, отечество, семья, жизнь — все слилось для раба в одном существе; он не имеет ничего, что делает человека членом общества, ничего, что делает его человеком нравственным; он не имеет даже своей личности, не имеет своей индивидуальности («раб безличен»).

Но он мог, вернее, он даже должен был оставаться чуждым этих понятий добра и зла, которые являются законом жизни свободных людей; ведь для него, в обиходе его жизни, весь закон заключался в единственном слове — повиноваться.

Раб! Владыку слушай, прав ли он или неправ.

Не полагалось, чтобы голос его совести находился в противоречии с волей его хозяина. Поэтому-то философы и старались всегда регулировать эту волю, которая для стольких зависимых существ являлась единственным правом и справедливостью. Для рабов нравственность ограничивалась этими правилами, находящимися в полном согласии с высшим законом их положения, влияние которого могло сделать их более послушными воле господина, более энергичными при обслуживании его, более преданными его интересам. С этой целью Ксенофонт советует хозяину развить в них на собственном примере привычку поступать честно; по-видимому, в этих пределах он ограничивал обуче-

ние их справедливости с применением к ним некоторых законов царского времени и еще более суровых законов Дракона и Солона. Аристотель уточнял этот вопрос. Он спрашивал себя, можно ли требовать от рабов что-либо, кроме их пригодности как орудия («помимо его пригодности быть орудием для работ и службы»), как, например, скромности, храбрости, справедливости и т. д. Он колеблется и уклоняется от категорического ответа; но в дальнейшем он их исключает из любого общества «как неспособных к счастью и к жизни, устроенной по собственному предначертанию», и когда он определяет науку для раба, он под этим понимает только подготовку его, начиная с детского возраста, ко всем деталям своих служебных обязанностей, их обучение тому, на основе чего некогда в Сиракузах создали целое предприятие [для торговли «высококвалифицированными» рабами].

От раба требовали талантов и ловкости в исполнении его обязанностей. Правда, от него могли требовать еще других достоинств, но в меру их полезности; к чему нужен ловкий раб, если добро хозяйское не является для него священным? Какая польза в бдительном надсмотрщике, если он «выносит сор из избы»? Нужно, чтобы он обладал верностью и молчаливостью. Но что касается достоинства в собственном смысле этого слова, то для раба оно отрицалось принципиально. «Господин, — говорит Аристотель, — должен быть для раба источником достоинства»; и вовсе не было желательно, чтобы в этом отношении раб делал большие успехи. Один из персонажей Эврипида говорит:

Нет радости в рабах, коль лучшими они
Окажутся своих владык;
Не нужно, чтобы раб, уж если стал рабом,
Людей свободных мыслями владеть он мог,
С презрением осмелившись на нас смотреть;
Не люб мне раб,
Умом хозяина который превзошел.

Что должно было получиться из всего этого?

Рабы оставались в общем чуждыми тех нравственных достоинств, которые сохранялись только для свободных людей, но в той же мере они не имели и тех специальных достоинств, которые хотели наложить на них как узду, не заботясь о воспитании их душ на основе этих принципов. Они оставались тем, чем их называли в жизни, «телами», в теле они видели все свое благо, и своего благополучия они искали в удовлетворении своих чувств. Чувственность была основой их природы, и все в их воспитании служило для ее развития. Исключенные из гимнасий, где воспитывались дети свободных, не обученные даже домашним обязанностям, они росли в полном неведении добра и слишком часто близко знакомясь со злом; они жили в полной зависимости от человека, абсолютного владыки всего их существа, который в числе своих прав считал и право злоупотреблять их телом. Что же удивительного, если чувства господствовали над разумом этих бедных созданий, которые становились жертвами чувственности даже раньше того возраста, когда пробуждаются страсти? Что же касается других, то как могли бы они подняться над этой материальной жизнью, к которой такими крепкими оковами приковывали их обязанности, свойственные их положению? Деградируя под влиянием губельного для них благоволения или от дурного обращения, потеряв человеческий образ от ранних пороков или чрезмерных трудов, они действительно вполне подходили под определение Аристотеля, который обрекает рабству человека, в котором господствуют чувства. Но то, что Аристотель относил на счет природы, не было ли это скорее извращением характера под влиянием рабского положения? Вот именно этот-то вопрос и избегал ставить Аристотель, а его между тем было так легко проверить опытом. Таким образом, тот самый факт, который оправдывает определение философа, осуждает его теорию.

Чувственность, которая в силу самого принципа рабства и вследствие физического воспитания рабов составляла всю их сущность, породила и развила в них все пороки, корнем которых она сама и является. Раб обладает чувствами, нуждающимися в удовлетворении, но так как все принадлежит хозяину, то он может это сделать только за счет хозяина; он похитит у него свой труд и плоды своего труда, чтобы доставить себе несколько незаконных удовольствий в течение этого похищенного отдыха. Лень, инстинкт воровства — таковы были первые признаки противодействия со стороны его подавленной природы; затем хитрость и притворство, чтобы подготовить или чтобы загладить свои мошенничества, или бегства, если другого средства не оставалось; грамматики, руководимые, конечно, более хорошим знанием характера самого раба, чем языка, искали корня общего имени «дулос» (раб) в слове «долос» (обман), а слова «андраподон» (беглый раб) в слове «аподостаи» (бежать). Если ни обман, ни бегство его не могли защитить, он смело шел на побои, и «Большая этимология» доходит до того, что это значение находит в третьем его имени — «терапон» (слуга), производя его от «типто» (ударяю)! Но все эти наказания, которые, по словам Платона, делали его душу в двадцать раз более рабской, достигали только того, что укрепляли в нем все пороки рабства и сверх всего прочего ненависть к господину, жажду мести и умение применять всю утонченность, все уловки и коварство, которые слабый применял как орудие против сильного. К этому влиянию основных условий рабства надо присоединить влияние господина, который посвящает его в свои развратные похождения, использует его плутовство и тем дает ему право на наглые выходки, в которых раб ищет себе вознаграждения за свою преступную угодливость: деспотизм рабства, который тяготеет над господами, в свою очередь позорно поработшенными.

Таков логически должен был быть и таким в сущности и был характер раба; таковы были характерные черты, которые получили отображение на подмостках древнего театра. Я не говорю о трагедии: трагедия, которая представляет нам в действии сцены древнего эпоса, сохраняет за своими персонажами те достоинства, которых не находили, а тем более и не предполагали в рабе. Когда трагедия показывает нам его, она поднимает его до высоты своих героев; и если и она свидетельствует о вырождающейся основе его природы, она показывает это некоторыми косвенными намеками, а не ходом действия. Но уже в сатирических драмах, обычно дополнявших трагедию, действительность является без трагических ходов и без прикрас, и раб получает все естественные черты своего характера. «Киклоп», долгое время единственная и до сих пор одна только полная сатирическая драма, дошедшая до нас, дает нам истинный портрет раба в лице Силена, готового отдать все стада своего хозяина за кубок вина, бесстыдного, ленивого лгуна, готового ложно клясться жизнью своих детей, ищущего в предательстве возможности скрыть свое воровство. Комедия должна была воспроизводить его личность с не меньшей реальностью; и я уже отметил выше, говоря об отношении раба к хозяину, то место, которое в сценах частной жизни комедия уделяет рабу, чья роль меняется в зависимости от различного характера самой комедии в каждом из трех ее периодов. Аристофан, как в общем и вся древняя комедия, не сделал из раба ни разу главного действующего лица своей комедии. В «Лягушках» Ксанфий в конце концов является случайным персонажем вступительной сцены; то шутовское выступление, где он фигурирует, является только введением, очень длинным, без сомнения, и очень комическим, к тому, что является главным предметом комедии: спору между Эсхилом и Эврипидом; и даже в «Богатстве», истинно

бытовой пьесе, Карион, который участвует в стольких забавных выступлениях, в развитии хода действия не является необходимым. Но в рабах Аристофана уже можно найти черты, которые проистекают необходимым образом из их положения. Чувственность, родную мать этих пороков, если можно так выразиться, которую Эврипид уже характеризовал словами «желудок — это все для раба», Аристофан описывает с большой правдоподобностью, устанавливая контраст двух натур, в зависимости от условий их жизни, в том диалоге, где хозяин и раб восхваляют каждый со своей точки зрения достоинство денег: «Они дают возможность иметь всего, чего лишь хочешь, вдоволь: любви, — хлеба, — музыки, — сластей, — славы, — пирожков, — почестей, — фиг, — честолюбия, — сладкой каши, — власти, — чечевичной похлебки». Невозможно более резко отметить различие точек зрения обоих собеседников.

Было бы нетрудно у того же Аристофана найти детали, которые дополняют эту картину: привычку раба к обжорству и воровству, привычку к обману, ставшую инстинктом, эту испорченность женщины, ставшую ее второй натурой вследствие условий ее жизни; эту единственную и часто все же бесполезную узду в виде страха наказания и пытки; эти попытки к бегству, жестоко наказываемые, но на которые тем не менее всегда решались. Совокупность этих черт можно найти у двух действующих лиц из «Богатства» и из «Лягушек». Карион, который так наивно раскрыл только что перед нами всю сущность своей природы, несмотря на похвалу, довольно, впрочем, двусмысленную, своего хозяина, выявляет все, чего это заявление и заставляет ждать: он чужд всяким честным побуждениям как в тех советах, которые он дает, так и в образе действий; свое обжорство он доводит до воровства, а воровство до святотатства ради самой грубой алчности; он говорит с оттенком превосходства, по праву

человека осведомленного и о пьянстве своей хозяйки, и о жульничестве жертвоприносителя, и с одинаковым неуважением относится как к богам, так и к людям с того момента, когда они благодаря порокам снижаются до его уровня. Эта горькая насмешка над свободным человеком, который делается равным рабу или даже опускается ниже его, становясь порочным, это презрение к наказанию, эта гордость зла, которая свидетельствует о его превосходстве, — все это является облеченным в форму гениального выражения шутовства, грубости и сарказма в лице Ксанфия из «Лягушек», этого достойного собрата Кариона. Все это резюмируется в одной сцене, где Эак (который еще не заседает среди судей подземного царства наряду с Миносом) удивляется этому герою бесстыдства и хочет с ним соревноваться:

А странно, что тебя не изувечил он,
Когда ты, раб, назвал себя хозяином!
— «Попробовал бы только!» — Это сказано,
Как слугам подобает. Так и я люблю.
— «Ты любишь, говоришь?» — Царем я чувствую,
Как выберу хозяина исподтишка.
— «А любишь ты ворчать, когда посеченный
Идешь к дверям?» — Мне это тоже нравится.
— «А суетишься попусту?» — Еще бы нет.
— «О, Зеве рабов! А болтовню хозяйскую
Подслушивать?» — Люблю до сумасшествия.
— «И за дверьми выбалтывать?» — И как еще!
Мне это слаще, чем валяться с бабою.
— «О, Феб! Так протяни мне руку правую
И поцелуй и дай поцеловать себя!»

Такие действующие лица, еще редкие у Аристофана, в позднейшей комедии становятся необходимейшими персонажами. Они обычно облечены теми же пороками с некоторыми оттенками, но одна черта господствует над всеми — это гений обмана, дух воров-

вина, он уж ненасытное брюхо; если он стащит самый маленький кусочек, он уже бездонная глотка». Многие действительно проявляли воздержание, и им резонно удивлялись как чуду дисциплины; но многие без борьбы позволяли себе катиться по той наклонной плоскости, по которой влекли их природные склонности, и присваивали себе все, что только возможно, из тех радостей, бесчувственным орудием или бесстрастным свидетелем которых хотели их сделать. Они крали, отправляясь на рынок; хозяин, который посылал за ними других рабов, чтобы они следили за их покупками, этим часто добивался только того, что его обманывали вдвойне, а сам он, как в «Характерах» Теофраста, получал прозвище недоверчивого. Они крали при исполнении обязанностей, поскольку на них не был надет намордник, как на раба философа Анаксарха; они уже заранее старались стащить из обеда хозяина кусочки наиболее вкусные, дополняя их соответствующими возлияниями. А если они бывали поварами? Воздержание было бы вещью невероятной... не будь даже такого случая, какой мы видим у Аристофана с его двумя рабами Тригея, выведенными им в первой сцене «Мира». Во всякой другой обстановке и особенно для наемных поваров воровство было традицией и правилом: один из «шефов» дает уроки этого своим помощникам в «Сотоварищах» Эвфрона и в «Тезках» Дионисия. Каждый брал сколько мог, без зазрения совести, в зависимости от окружающей его обстановки: рабочий — от продуктов своего труда, управляющий — от всего. Так действовали все, начиная с честного эконома, который, имея желание беречь добро своего хозяина, обращал в свою пользу все, что он спасал от мотовства своего господина, вплоть до расточительного раба, который с одинаковым безразличием растрчивает как свои сбережения, так и состояние, которое он должен был охранять. Театр не был бы полным изображением реальных сцен жизни, если бы наряду с ра-

бами, которые отдают свою ловкость на службу интересам хозяина, не было Таксила в «Персе» Плавта, ведущего смело и без всякой маскировки всю интригу в своих интересах, корчащего из себя хозяина и даже больше чем хозяина, так как ему нечего беречь, кроме своих плеч, а их он не жалеет.

Какую узду можно было накинуть на подобные свойства, когда самый принцип нравственности не считали возможным признать для раба; и какой счастливый случай мог бы дать ему возможность применить правила, специально выработанные для раба философией господ? Использовать любой ценой все чувственные удовольствия — такова была вся философия рабов, и среди них не было недостатка в учителях подобного рода. В пьесе Алексиса, так и названной «Учитель разврата», один раб говорит:

Чего ты мне еще городишь?! Ишь, Лицей,
Софисты, академия! Давай-ка пить,
Да брось все эти пустяки, ей-ей, Манес!
Дороже нет, как собственный живот; он твой
Отец и мать, тебя родившая опять.

Все эти пороки появляются перед нами как бы во всем их естественном, неприкосновенном виде в лице этих существ, преданных чувственности по доброй воле или из корыстных расчетов. Эти дети, воспитанные среди разврата трактиров или дворцов, эти танцовщицы, флейтистки, которые нанимались на празднества и продавались во время оргии, все эти рабы для удовольствий, тем вернее отдаваемые на бесчестие, чем щедрее природа одаряла их своими самыми блестящими дарами, — как могли они познать нравственность, даже если Сократ или Ксенофонт, Платон или Аристотель, Софокл или Эврипид были очень близки к ее познанию; и какое противоядие могли они найти, когда самая религия во многих храмах покровительствовала

и предписывала такие жертвы сладострастию, как будто это были почести, воздаваемые богам! Воспитанные в такой накаленной атмосфере страстей, они быстрыми шагами шли по пути зла, и поэты уже не знают, образ какого чудовища действительной жизни или мифологии может послужить им образцом для изображения той или другой куртизанки.

В таком виде они перешли из Греции в римскую комедию. Если роковое влияние не захватывало молодую девушку почти в колыбели, то ее вела к пороку страсть к нарядам, и ей отказывали даже в чувстве любви; ведь настоящая любовь не знает корысти! Ее учили:

Люби как следует свое; его же обери.

Обязанность куртизанок, матерей или наложниц и спутниц куртизанок — задушить в душе молодых девушек все то природное хорошее, что могло еще сохраниться среди этого порока.

С одним жить — не любовницы то дело, а матроны.

А другая проповедует:

Преступно сожалеть людей, дела ведущих дурно.
Хорошей сводне надо обладать всегда
Хорошими зубами. Если кто придет —
С улыбкой встретить, говорить с ним ласково;
Зло в сердце мысля, языком добра желать;
Распутнице ж — похожей на терновник быть:
Чуть притронется — уколется или разорит совсем.

Таким образом, разврат без любви и в возмещение этого любовь к золоту, привычка к разврату и оргиям, где золото расточается и собирается, — такова была жизнь этих рабов; и вполне естественно, что хозяин иногда сам бывал их жертвой. Рабы его обворовывали; если не было ничего лучшего, они выпивали его вино, а во время его отсутствия за его счет они предавались

всему, что услаждало их чувственность, разбуженную и применяемую в своих интересах.

Все это, естественно, толкало раба на ложь и прикрытие, чтобы выполнить или скрыть свое преступление; а когда все открывалось, со стороны хозяина следовало жестокое наказание.

Все вышеописанное доставляло обычные темы для театра, и слишком долго было бы приводить столь известные всем примеры. Но, не признавая в рабе сознательного существа, имели ли вместе с тем право возлагать на него всю ответственность за его поступки? Конечно, нет. Поэтому-то Аристотель хотел, чтобы ее отмеривали ему в том количестве, в каком ему оставлен разум; и так как он давал ему свободной воли и разума меньше, чем ребенку, то он поэтому требовал, чтобы с ним обращались и бранили его с большей снисходительностью. Но его логика не оказывала своего действия: у хозяев была своя логика. Раб обладал малым разумом, поэтому и не обращались к его мыслительным способностям; но у него было тело, и к нему обращались на таком языке, который один только мог быть для него понятен, — удары и пытка. Таковы действительно и были обычные пути общения с ним со стороны свободного человека. Удары, при помощи которых воспитывали животных, служили для воспитания и раба; мы видели, что таким же путем получали их наказания перед судом; с тем большим правом эти удары были общепринятой манерой их наказания, когда рабы бывали виновны. «У рабов, — говорит Демосфен, — тело отвечает почти за все грехи; напротив, свободные, даже при величайших преступлениях, находят средство сохранить его неприкосновенным». Всем известно, какое место в театре занимали сцены подобного рода. Соучастие хозяйского сына не давало никакой выгоды и не спасало слуги [от наказания]; и в последствиях этого общего преступления, где раб как орудие должен был рассмат-

риваться менее виновным, ясно сказывалось различие этих двух натур: сыну — выговор, рабу — побои, и он их уже ожидал:

Наслушаешься брани ты,
Меня ж, подвесив, выпорют, наверное.

Эта, часто слепая, жестокость наказаний в конце концов заставила природу раба приспособиться к своему положению: низкий и пресмыкающийся, когда он еще боялся наказания, бесстыдный и не знающий удержу, когда он закалился и привык им бравировать. Эти черты изображены в комических сценах. В лице Силена из «Киклопа» Эврипида мы имеем пример низости; как пример бесстыдства следовало бы указать после рабов Аристофана, о которых я говорил уже раньше, персонажи Теренция и Плавта. Эта наглость принимает в новой комедии еще более яркий характер. Между другими примерами надо только вспомнить Траниона из «Привидений», который, после того как он широко использовал доверчивость своего хозяина и даже злоупотребил ею, находит еще средства, чтобы не бояться наказания. Феопропид, желая схватить его неожиданно, зовет своих слуг под предлогом допросить их в его присутствии. «Это хорошо, — говорит раб, — а я пока что заберусь на этот алтарь». — Это для чего? — «Ты ни о чем не догадываешься? Это для того, чтобы они не могли на нем найти себе убежища против того допроса, который ты им хочешь учинить». Старик, сбитый с толку, приводит ему тысячи оснований, чтобы выманить его из убежища (страх, который овладевает им при мысли о нарушении святости убежища, оправдывает то, что вся эта сцена перенесена в Грецию: право убежища не имело такой силы у римлян). Наконец, взбешенный, он вспыскивает гневом. Но его гнев бессилен против этого упрямого и насмешливого раба, и так как он в конце концов отказывается простить его и

настаивает на наказании, то Транион говорит: «Чего ты беспокоишься? Как будто завтра я не начну опять выкидывать своих штук! Тогда ты сразу и накажешь меня за обе мои провинности, и за новую и за старую».

Хозяева, прибегая к хитрости своего раба, развили его дерзость себе на горе. Это совмещение проступков и преданности раба, который вкладывает в предприятие всю свою душу и рискует своим телом, создали ему права, счет на которые он предъявляет со всем бесстыдством. Посмотрите, как раб Сир играет роль господина и подражает ему в свободных манерах, осуществляя план, который он составил, покровительствуя любовным похождениям Клитона. Он не терпит ни сомнений, ни указаний; слезы, просьбы — все его раздражает; он приказывает, грозит все бросить; нужно, чтобы молодой хозяин слепо и без возражений повиновался ему, и, когда его присутствие ему надоедает, он без всякой церемонии отправляет его прогуляться. Некоторые действующие лица у Плавта заходят еще дальше. В «Ослах» Плавта, написанных в подражание «Онагу» Демосфила, два раба, в помощи которых молодой Аргирипп нуждается, чтобы приобрести себе любовницу, желают, чтобы она вознаградила их за те деньги, которые они ей приносят: один требует, чтобы Филения поцеловала его колена, и желает поцеловать ее в присутствии ее любовника, который это терпит; другой требует, чтобы Аргирипп согнулся до земли и носил его на своей спине, как лошадь; и, унизив своего молодого господина, доведя его до уровня вьючного скота, они хотят доставить себе удовольствие, чтобы с ними, рабами, обращались, как с богами; они желают, чтобы он воздавал им божеские почести, как Спасению и Фортуне. Это бесстыдство, право на которое, что называется, они приобрели за «наличные деньги», конечно, должно было продолжиться за пределы их услуги; навсегда сохранились тайные узы зависимо-

сти, которые, несмотря на всемогущество господина, держали его прикованным к своим рабам, и они давали ему это почувствовать своим сарказмом и своим презрением: достойное возмездие со стороны рабства тем людям, которые имели претензию быть господами по праву умственного превосходства и которые, утопая в пороках, были вынуждены прибегать к уму своего раба, чтобы добиться успеха.

3

Эта фамильярность, вызванная общностью проступков, проистекая не из искренней преданности, тем более не создавала привязанности. Чаще всего рабы служили своему господину потому, что требовалось, чтобы они покорились тому положению, которое им доставалось на долю. Рабы были неразрывно связаны с господином; если они не всегда участвовали в его радостях, они обычно испытывали его горе. Им приходилось делить его несчастья, им приходилось следовать за ним в изгнание и вести с ним вместе жизнь, полную приключений: это доставляет страдание Кариону в «Богатстве» Аристофана. Но бывали, конечно, примеры верности и преданности у рабов, как и мягкости обращения, доверчивости и доброты у господ. Даже при таком положении, которое из человека делало скота, если бросались в эти души семена добра, можно было собрать у более счастливых натур плоды любви и личных достоинств. Театр и здесь воспроизводил реальные факты. Мы видели, как трагедия в своих идеальных картинах из героических времен не раз заставляла проходить перед нами эти фигуры старых слуг, которые получали своего молодого хозяина еще в колыбели, которые направляли его первые шаги и которые с неизменной преданностью следовали за ним во всех превратностях его жизни; и все уроки, извлекаемые из их примера, трагедия резюмирует в несколь-

ких прекрасных словах безропотной покорности, предложенной в качестве образца для всех: «Пускай останусь я рабом, уж если меня таким сделало мое рождение, но пусть я буду считаться среди хороших рабов, и, не имея имени, пусть я сохраню чувства свободного человека. Разве это не лучше, чем носить двойное ярмо, как делают те, которые к власти господина присоединяют деспотизм своих пороков?». Комедия не могла отказаться от пропаганды нравственных принципов. Среди рабов безусловных бездельников и плутов она поместила несколько верных и честных слуг с благородной речью и заставила почувствовать господ то значение, которое они имеют для них:

Когда найти случится доброго раба,
Другого блага в жизни нет его ценней, —

говорит Менандр. Хозяева старались крепко привязать к себе слугу, пропагандировать его пример; оказывая ему знаки внимания при жизни, они почтили его после смерти могильным памятником; мы уже раньше видели, что надписи сохранили память об этом. Очевидно, было известное основание приписывать рабу этот язык истинной преданности и вечной верности:

Если на старости лет ты придешь, где и я, о, владыка,
Буду охотно рабом в царстве Аида твоим.

Другого, засыпанного землей в то время, как он рыл могилу для своего господина, можно было заставить говорить:

Земля легка надо мною:
Так и в Аиде твое солнце мне будет светить.

Но, конечно, нужно открыто признаться, что такие рабы были редки, и было гораздо легче приписать мертвым такие мысли, чем внушить их живым.

Те, кто был одушевлен такими чувствами по от-

ношению к своим хозяевам, на самом деле в среде себе подобных рассматривались как предатели. Ненависть к хозяину была как бы в природе раба; она сохранялась даже и при той тесной связи, которую иногда преступление устанавливало между ними. Под маской униженности, под внешним выражением бесстыдства и шутовства могло расти это чувство, настолько сильное, насколько оно должно было быть скрытым. «Ничто так не подходит к низкому характеру раба, — говорит Лукиан, — как в тайне сердца питать свой гнев, давать расти своей ненависти, заключив ее в недрах своей души, скрывать одни чувства и обнаруживать другие, под внешним видом, дышащим веселостью комедии, переживать трагедию, полную печали и горя». Против своего хозяина он пускал в ход все обычные средства измены; в Греции у него в руках было средство государственного значения — донос. Такая возможность имела часто место и всегда охотно принималась в среде подозрительной афинской демократии. Гражданин, который отломал, например, ветку от священной оливы, видел себя отданным почти на произвол своих рабов; ненависть, подстрекавшая в них желание предать хозяина в руки правосудия, усиливалась еще любовью к свободе: ведь его осуждение вело за собой их отпущение на волю. Так, один раб обвинил Фереклета в том, что он справлял мистерии у себя в доме; в другом процессе подобного рода Лисий старался предостеречь судей против подобных обвинений, указывая им на ту опасность, которая нависнет над головами всех, если позволить таким обычаям забрать силу. Сколько других средств для удовлетворения своей ненависти мог найти раб и не удаляясь от домашнего очага, не черпая их где-либо на стороне, а находя их в своей испорченной положением натуре! Действительно, мало того, что рабы могли более или менее открытыми путями покушаться на жизнь своего господина, их

изобретательная ненависть давала им возможность наносить иные удары. Допущенные со своими пороками в недра семьи, они доставляли себе гнусное удовольствие распространить в ее среде позор и бесчестие; и для них было величайшим счастьем, если им удавалось когда-либо осквернить подобными оскорблениями последние минуты умирающего, радуясь не столько своей безнаказанности, сколько бессилию его бешенства.

Преданность была так редка, ненависть так опасна, что хозяин мог желать от своего раба больше всего того безразличия, которое, не привязывая его к своему положению, не толкало его, однако, ни на преступное пренебрежение своими обязанностями, ни на стремление насильственно разорвать связывающие его узы; по-видимому, это и было то, к чему в общем пришло рабство, своего рода компромисс между требованиями деспотизма и сопротивлением подавленных классов. Поддерживая полностью все права господина, допускали некоторое послабление в отношении суровости дисциплины. Такова была политика Афин в вопросах внутренней жизни, но в этих актах снисходительности было также кое-что от политики паразита Плавта. Раб в конце концов находил себе в этом известную компенсацию за самую тяжесть своих цепей; и, конечно, не упускали случая дать ему это почувствовать:

Уж лучше быть рабом, служа хозяину
И доброму, и щедрому, чем вечно жить
И впроголодь, и плохо, хоть свободным будь, —

говорит Менандр. Правда, труд наложен тяжелый, но зато жизнь обеспечена:

Когда б свободным был, на свой бы страх я жил;
Теперь живу на твой я счет.

Больше того, хлеб у него был всегда обеспечен, а уклониться от работы ему представлялось много возможностей. Благодаря ловкости и хитрости его чувственная сторона даже среди всех унижений, связанных с его положением, умела доставлять себе моменты радости; и привычка к пороку и его удовольствиям, завоевывая все больше и больше эти души, в конце концов тушила в них чувство любви к свободе:

И многие, сбежавши от господ и став
Свободными, приходят добровольно к ним
Назад, к кормушке той же.

Действительно, это уже крайний признак нравственного падения. Я согласен, что это может быть результатом их крайней нужды, результатом печальным и вместе с тем вполне закономерным; но для других это было результатом преступной слабости. И с этого момента рабство хорошо выполняло свое дело: оно создало среди людей подлинно рабские натуры; оно создало для себя своего рода естественное право против прав природы и гуманности.

4

Итак, до какой степени и в какой категории рабских классов можно найти черты благотельного влияния рабства? Рабство поражало как греков, так и варваров. Что касается греков, то с трудом можно было бы защищать положение, что благодаря ему они могли что-либо выиграть; и для других также этот вопрос не может получить иного разрешения. В самом деле, каковы были те варварские области, где вербовались рабы? Север, жители которого всегда славились воинственным характером, и Азия, замечательная по своей способности к изящным искусствам.

Аристотель признает за греками одно только пре-

имущество перед указанными областями — это умение соединить в своем лице вместе то, что составляло специальную особенность каждого из них. Какое же благоприятное влияние могло оказать рабство на эти страны и на людей, в них живущих? Что касается стран, то они не получали никакого: у них лишь отнимались рабочие руки. Что же касается этих людей, то, уведенные или проданные в рабство, какой ценой и в какой мере они могли возвыситься до цивилизации победителей? Цивилизация есть результат прогресса нравственности и умственных сил. Она предполагает в себе те добродетели государственные, семейные и личные, которые создают нравы народа; и среди трудов того или другого народа на первом месте она считает умственный труд, примененный ко всему прекрасному, истинному и полезному, к литературе, к знаниям, к искусству. Но как варвары могли улучшить свои нравы, как могли они приобрести эти достоинства, которые становятся правилами нравственности, если они были лишены отечества, семьи, своей собственной личности? И как без этой нравственности они могли подняться до высоких идей свободных народов, особенно когда гордость этих народов закрыла для них область духовного развития, чтобы бросить их в область физической чувственности? Осужденные на одуряющий труд или погруженные в грязь опасных милостей домашней службы, они брали из этой культуры то, что подходило к их природе, плохо воспитанной или уже испорченной, — любовь к роскоши и к самым грубым удовольствиям. И, таким образом, они на самом деле опускались под влиянием того положения, которое вместо самых необходимых прав человека давало им украденные радости удовольствий, пользуясь которыми они подвергали себя опасности.

Вот каково было влияние рабского положения, и таким оно и должно было быть. Рабство разрушало в

человеке его личность; лишение человека в самом начале самой основы нравственности — плохое средство, чтобы приготовить его к восприятию культуры. Правда, встречаются иногда исключения, вызывающие наше уважение и удивление, так как природа никогда не теряет окончательно своих прав. Можно еще говорить о нравственных достоинствах молодых рабов, воспитанных достойным обращением в привычках и условиях свободных людей; греки, ввергнутые в рабство, умели иногда, что бы ни говорил Гомер, сохранить благодаря энергии своей натуры всю силу своих духовных качеств и счастливый отпечаток того свободного воспитания, в условиях которого они сформировались. Но о варварах мы знаем мало. Все это пресловутое воспитание при помощи рабства в конце концов создало особую категорию людей — вольноотпущенников. И если отпущение на волю могло благотворно подействовать на более честных рабов и открыть им доступ в этих исключительных случаях, вызывающих наше уважение, в высшие сферы, то не менее верно, что в общем вся масса вольноотпущенников была ничуть не лучше массы рабов. Какое достоинства можно ждать от человека, который носил печать своего старого положения, поставленную иногда у него на лбу и всегда по меньшей мере на спине, в виде длинных кровавых рубцов? Те пороки, которые были свойственны рабскому состоянию под влиянием породивших его принципов, он сохранял в силу привычки, став вольноотпущенником. Рабы, находившиеся в деревне, рабы из мастерских реже находили случай откупиться от своих господ: наиболее искусные из них были слишком дороги; что же касается других, то если они и ускользали из-под рабского ярма, то приносили в среду свободных гораздо меньше навыков к труду, чем привычек к дурным страстям, развившихся в их душах вследствие суровости их первоначального положения. Отпуск на волю был более частым уделом рабов, занятых домаш-

ней работой, рабов для роскоши и удовольствий. Но каким честным ремеслом могли они заняться на свободе, отвыкнув от труда еще во время своего рабского положения? Они обращались к своим прежним занятиям. Все эти Давы, Псевдолы, Эпидики — все они отдавали в наем свое заслуженное мошенничество. Они становились «трехгрошевыми людьми», такими, какими мы их видим у Плавта в его «Трехгрошевом». Другие, некогда проданные в рабство, сами в свою очередь становились торговцами рабами; в грязи их юных лет и позоре их дальнейшей жизни они накопили достаточно привычек к разврату, подлости и низости, чтобы стать настоящими хозяевами домов терпимости. Женщины, с детства воспитанные в этой испорченной атмосфере, впитавшие в себя ее нечистые испарения и купленные затем распутством какого-нибудь мота, а затем отпущенные на волю в результате его снисходительности или его пренебрежения, продолжали делать то, чему они научились. Еще молодые, они шли за некоторое вознаграждение на празднества в качестве танцовщиц или флейтисток; они продавали себя на день, на месяц, на год или привлекали к себе распутников с еще большей для себя выгодой; став матерями, они продавали невинность своих детей и на эти гнусные деньги покупали для разврата маленьких девочек, если не могли их похитить: достойные подруги того нечистого животного, которое так правильно называет Плавт за способность к похищению девушек и лицемерие «кошкой, ловящей девушек».

Но рабство было пагубно не только для рабов, но и для свободных, которые их поработили; оно отомстило таким образом за оскорбленную природу.

5

Свободные возлагали на рабов тысячи видов всякого рода работ и частного, и государственного харак-

тера. Но за эти услуги — они были ведь бесплатными — расплачивались особым образом; и не раз поэты, наблюдая затруднения, проистекавшие из этого института, проклинали рабство:

И рабство — разве ты не видишь, злом каким
Оно само уж по себе является? —

говорит Эврипид; и далее:

Нет бремени столь тяжкого, для дома нет
Имущества и худшего, и вредного.

И Менандр, который так высоко ставил значение и ценность верного раба, восклицал при других обстоятельствах:

Раба, верь, хуже нет, будь самым лучшим он.

Влияние рабства сказывалось на господствующих классах и прямо и косвенно и обнаруживалось в аналогичных симптомах и в человеке, и в семье, и в государстве.

Оно искажало даже у свободного чувство нравственности. Человек не становится хуже, господствуя над животным, так как животное ему естественно подчинено. Но подобная же власть над существами, которые ему равны, вела к тем большему количеству эксцессов, чем менее она была естественной; и такой властью нельзя пользоваться без большой опасности лично для себя. Эти дурные страсти, которые нужно сдерживать столько же уважением к другим, как и силой разума, теряя одно из сдерживающих их начал, тем легче освобождались от другого; и они устремлялись ко злу тем скорее, чем хуже было положение рабов. Таким образом, во все времена в самом господине развивались те пороки, которые доводили характер

человека до злоупотребления властью одного человека над другим, развивались раздражительность и постыдное сладострастие. Пифагор говорил своему небрежному земледельцу-арендатору: «Я бы послал тебя на казнь, если бы я не был раздражен»; а Платон держал свою палку над головой провинившегося раба до тех пор, пока у него не утихал гнев. Вот два примера выдержки, но их пришлось взять из очень высоких сфер; что же касается выдержки по отношению к тем женщинам, господами которых они были, то даже в этих высоких сферах мудрости не всегда можно было рассчитывать найти совершенные образцы. Здесь вообще пропадал всякий признак насилия; какое сопротивление могла оказать испорченная натура раба подобным наклонностям? Удобная обстановка способствовала распространению порочных проявлений, привычка прикрывала благопристойность, и нравственность, которая не отрицала права на это, спокойно переносила их применение. Таким образом, разврат стал всеобщим или, лучше сказать, порок вошел, как правило, в жизнь свободных. Отец, потворствуя всем фантазиям своего сына в недрах семьи и дома, был очень рад, что он не идет разоряться где-нибудь на стороне, а иноземный гость находил себе временную подругу под кровлей того дома, который его принял, — одна из обычных обязанностей гостеприимства; то же самое происходило прежде, может быть не так часто, и в наших колониях.

Рабство исказило организацию семьи. Женщина была подчинена воле мужчины, но она упала значительно ниже той ступени подчиненности, которой требовало домашнее сотрудничество. Некогда мужчина покупал женщину, женился на ней; он имел в ней рабыню, а не подругу; и той интимности чувств, которой не давал ему брак, он искал на стороне. Товарищество героических времен узурпировало у женщины эти права, и позднее, когда искажилась простота преж-

них веков, эта узурпация пошла еще дальше. Под влиянием таких нравов женщине стало еще труднее занять свое прежнее положение в обществе мужчины. И даже тогда, когда брак установился на условиях большего равенства, когда женщина, получившая приданое от своей семьи, вместе с ним приносила как бы свой выкуп, она все же оставалась в этом мире низших интересов, куда она некогда была удалена, и очень часто ее нравственный облик оказывался результатом того положения, в которое ее поставили, — это ее жадное любопытство, склонность к воровству и обжорству, любовь к вину, над которой насмеются даже рабы, это тайное влечение к беспутству, от которого ее муж напрасно старался себя уберечь.

К этим результатам античного рабства женщины прибавьте более непосредственное влияние рабства, державшегося рядом с ней у домашнего очага. Жена, не отличавшаяся ни образованием, ни преимуществами своей культуры, легко находила в тех рабынях, которые ее окружали, своих соперниц. Именно в этом кругу, порожденном рабством, почти исключительно здесь культивировался вкус к литературе и искусствам; куртизанки обладали очарованием живой беседы, являясь истинной душой общества. Молодежь стекалась к ним, и сам Сократ покидал срою ворчливую Ксантиппу, чтобы послушать Аспасию. Но подражали ему в его воздержности его ученики, которых он привозил с собой? Я уже говорил, какие имена фигурируют в позорном каталоге Афиня. Там мы находим Платона и ту эпиграмму, обращенную к прекрасной Архенассе, которую приписывают ему; Аристотеля с сыном, которого он имел от гетеры Герпиллиды; Эврипида, который так ненавидел женщин, и Софокла, который обесславил среди них свои седые волосы; Лисия, Исократ, Демосфена; Аристиппа, проповедника наслаждения, и Диогена-киника, соперника без ревности, и прославленного Эпикура, более логично-

го в своей философской системе, чем можно было бы это сказать вообще о его жизни. Эти интимные связи философии с искусством куртизанок остались не без результата. В подражание школам философов Гнатена составила правила, которые должны были соблюдаться, когда входили в дом к ней или к ее дочери. Каллимах рассказывает о ней в III таблице своих «Законов».

В свою очередь куртизанка появлялась в самом доме гражданина, чтобы занять то место, которое свободная женщина оставила за его столом пустым: отсюда нечистый характер домашних собраний, эти развращающие прелести, бросаемые без покрова в обстановку празднеств, эта изощренность обольщений, эта грубость разврата; отсюда та распушенность нравов, которая нашла себе отображение даже в таких произведениях, как, например, «Пир» Ксенофонта. Обычай узаконил все. Супруга, наложница, куртизанка в греческом обществе в обычаях многих имели свое совершенно определенное место, и Демосфен не боится признавать это открыто. И нечего говорить, кому будет тут принадлежать первая роль. Куртизанки имели свою историю, свои общественные памятники: пример — Фрина, которой жители Дельф воздвигли золотую статую; они имели иногда не только поклонников, но и алтари, и поэт-комик находил вполне справедливым, что подобные алтари не воздвигаются нигде для замужних женщин:

Совсем понятно, что везде по Греции
Святилища гетер находим, но нигде
Не видно в ней хоть одного — законных жен.

То же самое распределение мест мы находим в картинах, где рисовалась частная жизнь греков. Наложница, куртизанка — почти исключительно и только они фигурируют в речах ораторов; они господствуют в театре, и свободные женщины выводятся там един-

ственно для того, чтобы язвительностью своего характера некоторым образом оправдывать те беспутные попойки, на которые уходили их мужья, чтобы забыться.

Эта дезорганизация семьи, столь пагубная и для мужчины и для женщины, оказывала свое влияние и на ребенка. Сюда нужно прибавить то непосредственное влияние, которое он испытывал более прямым путем от рабства, когда забота о его воспитании доверялась рабам, несмотря на все запреты древних законодателей и вполне определенные предостерегающие указания философа. Остатки уважения к свободному воспитанию заставляли приобретать кормилиц из Спарты, как будто все благородство спартиата не заключалось в его свободном состоянии! Но после спартанской кормилицы появляется педагог; ни одна страна не имела привилегии подготавливать их из среды рабов с мужественными качествами любви к свободе. В первые годы жизни ребенка, когда он особенно восприимчив к внешним впечатлениям, он был исключительно предоставлен руководству учителей-рабов; он впитывал в себя их пороки, а философских систем было так много у греков, что под любую дурную склонность можно было подвести свою теорию, для всех безумств найти свое оправдание. «Негодяй! ты погубил моего сына! — восклицает слишком поздно один отец, обращаясь к одному из таких рабов. — Тому, кто был поручен твоими заботам, ты внушил выбрать путь жизни, не свойственный его природным качествам. Ты виновник того, что с раннего утра он уже пьян, чего прежде с ним не бывало». — «Но если он научился жить, за что же, хозяин, ты бранишь меня?» — «Так это ты называешь жизнью?!» — «Так по крайней мере говорят мудрецы. Ведь Эпикур учит, что удовольствие есть высочайшее благо. А разве можно жить радостно иначе, чем живя без стеснения?» — «Но скажи мне, видел ли ты когда-нибудь пьяного философа или преданного очаровани-

ям тех удовольствий, о которых ты говоришь?» — «Всех!»

6

Как ни опасно было это влияние рабства на характер отдельных лиц или на семейные отношения, все же была надежда, что оно будет обезврежено и удержано в надлежащих границах государственными мероприятиями. В своем рабе господин встречал существо, стоящее ниже его, но во всяком другом гражданине находил себе равного; устои семьи были потрясены в самой внутренней своей организации, но она могла вновь восстановиться на более широком фундаменте как часть общей семьи, т. е. государства. Такова была природа учреждений Ликурга, поскольку это касалось семьи, такова была та форма, которая грезила Платону в его идеальном государстве. Однако ни суровая дисциплина спартанского законодателя, ни гений афинского философа не могли уничтожить в этом государственном строе его пороков, не создавая вместо них еще более тяжких злоупотреблений. Что касается отдельных, частных лиц, то привычка к гражданскому равенству не уничтожала домашнего деспотизма; наоборот, они сами давали тем большую волю личным чувствам и проявлениям суровой жестокости по отношению к рабам, чем более суровость законов заставляла их сдерживать себя в отношениях друг к другу; доказательством этого является опять-таки Спарта.

Но если рабство в этих пределах представляло те недостатки и затруднения, которых не могли исправить даже государственные установления, то, быть может, в возмещение этого оно представляло для самого государства какие-либо выгоды? По крайней мере так думали. В сумме тех нужд, которые жизнь и правительство возлагали на плечи народа, делалось подразделение, согласно тому различию, которое было уста-

новлено между рабами и свободными: для одних — физическое тело и его потребности, для других — умственное развитие и его права; на первых возлагались обязанности, необходимые для поддержания материальной жизни, на других — различные обязанности политической жизни; на грубом и тяжелом труде рабов покоился тот досуг, в котором нуждался свободный гражданин, чтобы заниматься исключительно благородным трудом для государства. Это как раз то, что мы видели в Спарте; равным образом это и есть то, что, не исключая и Афин, в более или менее ясно выраженной форме занимало всецело философию в ее приложении к политике.

Однако оставалась одна трудность: как и на чем укрепить тот фундамент, на котором должен был покоиться государственный строй? Каким бы способом ни старались разрешить этот вопрос, все же в решении этой проблемы оставалась страшная по своей неизвестности величина: это воля, свободная даже в состоянии рабства, могучая сила, которая умела становиться не только равной, но даже большей, чем самые могущественные средства воздействия; и кто же мог тогда дать гарантию против потрясения столь неустойчивого равновесия? В самом деле, не раз восстания нарушали это равновесие, как мы это видели, например, во времена Дримака на Хиосе. Рабство, окрепшее благодаря самому факту гнета, могло иногда при известных обстоятельствах найти себе помощь, которая позволяла ему разорвать свои оковы. Оно извлекало себе пользу из всех внутренних переворотов, с равным жаром примыкая как к дворцовым заговорам, так и к народным движениям, как это можно было видеть в Сиракузах и на Коркире. То, что, по признанию философов, должно было служить необходимым орудием для поддержания общественных свобод, на самом деле всегда готово было стать орудием для деспотизма. Повсюду рабство служило с одинаковым усердием и тирании и демаго-

гии, этой тысячеголовой тирании, пользуясь безнаказанностью со стороны одной и милостями со стороны другой; и сам Аристотель должен был вполне признать это. Ненависть рабов очень хорошо помогала политике тирана, будь это отдельный человек или народ, против богатых; мстительность тирана очень хорошо соответствовала их грубости; примеры: Омфала, отдавшая на волю рабов дочерей самых знатных лидийцев, чтобы отомстить за нанесенное ей оскорбление; а во времена исторические — Херон из Пеллены, ученик Платона, отдавший на подобное же поругание жен и дочерей тех граждан, которые попали в его проскрипционные списки. То же было, когда те овладевали властью, как Афинион, который, став хозяином Аттики, постоянно вспоминал пословицу: «Рабу не давать ножа!»; Раб находил также поддержку и у внешних врагов; это оказалось роковым для Хиоса при приближении афинян, которые подняли против господ всех рабов; а при приближении Митридата кто выдал ему в полное его распоряжение самих господ? И историк склоняется перед этим разрушением и гибелью, как перед приговором судьбы: «Так постигло их справедливое отмщение божества, их, которые первые стали пользоваться для своих услуг купленными рабами, хотя у них было достаточно свободных людей для нужд самообслуживания».

В государствах, которые умели подавлять эти мятежи или, более того, умели предупреждать их более мягким обращением, рабство оказывало другое влияние, менее страшное, но не менее губительное: оно задушило или разложило свободный труд. Напрасно Сократ, этот философ здравого смысла, спрашивал, почему свободные граждане считают для себя почетным быть более бесполезными, чем рабы; и почему кажется менее достойным и справедливым работать, чем мечтать, сложив руки, о средствах для жизни? Предрассудок господствовал над здравым смыслом.

Геродот в другом случае показал нам, как распространен был этот предрассудок среди варваров, а равно и среди греческих народов; а философия поддерживала его и укрепляла, далекая от того, чтобы бороться против него. Эта же мысль Сократа в тексте Ксенофонта применяется меньше к мужчинам, чем к свободным женщинам; он это хочет показать в басне о собаке и овцах, где мужчина вполне доволен своим положением стража и защитника. На этом основании и в этой форме Платон требует для своих классов воинов и правителей привилегии жить на средства рабочих классов, поставленных на самую низкую ступень и почти что исключенных из государственной жизни; тот же принцип воспроизведен и у Аристотеля со всей строгой последовательностью его выводов. С его точки зрения, только воины и правители составляют «политическое», правомочное государство, и с большим неудовольствием он делает соучастниками их гражданской, частной жизни, но не их прав, всех этих земледельцев, ремесленников, наемных рабочих. Земледельцев он хотел бы видеть рабами; ремесленники и наемные рабочие, по его мысли, идут вслед за земледельцами, и он напоминает о конституции Фалеаса, который всех их делает рабами. Он объявляет все их занятия «недостойными свободного человека», и он запрещает молодым гражданам изучать их. Таким образом, труд в любом виде является признаком рабства; те, которые им занимаются, ведут существование униженное, не оставляющее места нравственным достоинствам; они являются уже рабами в душе, и они живут свободными только потому, что государство является не настолько богатым, чтобы заменить их рабами, или не достаточно сильным, чтобы обратить их в такое состояние, как это однажды предлагал сделать Диофант.

Какие можно сделать выводы из всего вышесказанного? В Спарте, единственном государстве, где было

проведено это абсолютное разделение между трудом и общественной жизнью, мы могли проследить быстрое развитие процесса вымирания. Свободное население растворилось среди населения, низведенного на более низкую ступень и поработанного, жившего ремеслом или земледелием, подобно тому как растение, занесенное на вершину скалы, сохнет и погибает, задущенное терновником, который рождает и кормит вокруг него более благодатная почва. В Афинах и в тех государствах, которые, как и они, развились прежде всего на основе труда, земледелие, ремесло и торговля никогда не подвергались такому презрению: наоборот, они пользовались общественным уважением. Но вместо того чтобы уважать рабочего, основную силу, создававшую их процветание, они унизили его настолько же, насколько сами возвысились. Действительно, по мере того как они поднимались, совершенно естественно происходило это разделение, на которое я уже указывал, между руководством большим предприятием или его внешними сношениями и мелким производством или торговлей на рынке. Первое из них привлекало к себе знатных и богатых, объединенных между собой в одну и ту же группу в силу своего состояния; но и второе не всегда являлось исключительно уделом бедных, и по мере того как крупная коммерция облагораживалась участием в ней знатнейших фамилий, труд спускался со ступени на ступень благодаря своему соприкосновению с рабской массой. Для свободного класса это было смертельным ударом. Бедные, жившие трудом своих рук, должны были выдерживать конкуренцию с рабами со всеми последствиями того презрительного отношения, которое отражалось и на их положении. Да и как, предоставленные самим себе, они могли бороться под гнетом такого общественного мнения против союза капиталов богачей и труда рабов? И действительно, многим приходилось уступать: одни из них под гнетом необходимости шли просить у богача места

рядом с его рабами в тех мастерских, где они находили наряду с большей возможностью получить средства для пропитания еще большую потерю уважения к себе; другие, избегая этого унижения, искали себе средств для жизни вне труда, продавая свое умение вершить дела, по существу еще более унижительные: они делались паразитами за столами богачей за право кормиться, торгуя заготовленными ими заранее анекдотами и остроумием, которые составляли все их имущество, и в большей степени вызывая смех не столько своими остроумными шутками, сколько печальной фигурой голодного, старающегося шутить; они делались сикофантами — ябедниками — на народной площади и соперниками вольноотпущенников, продающими себя за деньги на различные роли при помощи всякого рода обмана; или еще чаще они становились наемниками другого рода, уходя далеко от своего города, чтобы поступить на службу к какому-нибудь азиатскому царю в надежде вернуться оттуда по горло набитыми золотом и фанфаронством, не потеряв ничего из своей глупости и трусости: обычный багаж солдата в комедии, этого «хвастливого воина».

Что касается остальной массы народа, продолжавшей заниматься своим ремеслом, она в не меньшей степени была испорчена губительным влиянием рабства. Униженные в своей внутренней частной жизни, не переставая быть господами в жизни общественно-политической, бедные мстили за презрение к себе притеснениями, за муки свободного труда расхищением богатств и конфискацией наследств. Таким образом, вместо народа, живущего трудом и уважаемого, каким хотел его сделать Солон своими законами, каким старались сохранить его все государственные люди, включая Перикла, получилось население, работающее по необходимости, праздное по своим инстинктам, испорченное, во всем усвоившее себе привычки и характер тех рабов, с которыми оно смешалось и по сво-

ему положению и благодаря распушенности афинской жизни, население презренное и в то же время суверенное, которое свое рабское настроение внесло в управление государством. Все это объясняет, не оправдывая их, те теории философов, которые, вместо того чтобы искать реформы государства в восстановлении почетного положения труда, подвергали труд изгнанию и желали его целиком свалить на рабов, — губительные теории, которые могли только отягчить зло, но совершенно не могли излечить его.

Эти симптомы вырождения государства можно было бы объяснить разными причинами; но если хотят открыть источник всех этих второстепенных влияний и истинный корень зла, нужно обратиться к рабству. Рабство бросило одно и то же семя разложения и гибели в недра двух видов управления, столь противоположных друг другу, — аристократии Спарты и демократии Афин. Мы видели, что именно под влиянием рабства спартанская аристократия, уменьшавшаяся из-за растущей бедности, обратилась в олигархию и закончила тем, что окончательно вымерла. «Она погибла за недостатком людей». В той самой книге, где Аристотель предает изгнанию труд, он написал эти слова, которые являются осуждением системы Ликурга и его собственных теорий, и действительно в его время эти слова почти уже исполнились. Из уважения к мужественному гению дорян не следует уже называть Спартой тот город, который не захотел принять реформ Клеомена, город, который победоносно боролся с римлянами, находясь под властью тирана, и который, став свободным, продался им, чтобы разрушить свободу греков и свою собственную! Равным образом и демократия Афин, искаженная под влиянием рабства и по духу и по своей организации, обратилась в демагогию и, испорченная в этом странном сочетании власти и бедности, оказалась готовой продать себя, когда появились римляне. Вырождение человека, дезорганизация

семьи, разрушение государства — вот истинные результаты рабства в Греции.

7

Но этот великий народ исчез в потоке времен, завешав нам свою культуру; и, оставляя в стороне переходящие формы, имея перед глазами только тот блистающий ореол расцвета, в каком Греция всегда будет жить в наших воспоминаниях, поставим себе вопрос: какую долю труда, затраченного на создание этой культуры, мы можем отнести на счет рабства?

Два фактора особенно содействуют прогрессу культуры: достижения и развитие умственных и духовных сил и достижения и развитие жизни материальной. Что касается потребностей общественной жизни, то они первоначально удовлетворялись самими гражданами; и какой век мы можем назвать более великим, как не тот, когда свободный труд, облагороженный Солоном, возвеличенный и удостоенный всякого почета Фемистоклом и Аристидом, сохранял свое первенствующее положение, исполненное благородства, под сенью трофеев Марафона и Саламина! Но не получая никакого улучшения в руках рабов, он мог только приходить в упадок под влиянием того презрения, которое, поражая свободный труд, в то же самое время душило всякое проявление изобретательности и прогресса. Рабы были машинами; они воплощали в себе все их недостатки, не имея их преимуществ. Машины, инертные по своей природе, отдают себя на волю человеческого разума как послушная сила; рабы, сила мыслящая, могли использовать эту внутреннюю силу не столько для того, чтобы помогать, сколько для того, чтобы противодействовать. И даже если они не противодействовали, то во всяком случае они совершенно не помогали, так как если ненависть к своему игу не всегда воодушевляла их, то и не так часто они выходили из

того состояния безразличия, которое являлось обычным в их положении.

Но, быть может, рабы способствовали прогрессу умственному, духовному? Самое поверхностное изучение истории литературы, науки и искусства нам указывает, что в Греции они были в общем совершенно чужды всему этому. Религиозная поэзия и эпос, священные гимны и военные песни были немислимы без свободы. Да и могло ли такое великое вдохновение чистым ключом забить из рабского источника? Откуда могло оно там проявиться? Спарта дошла до того, что запрещала своим илотам петь гимны и военные песни. В области прозы красноречие, которое иногда оказывало влияние на действия народов, история, которая изображала их судьбу, слишком близко соприкасались с интересами граждан, чтобы не остаться навсегда их неотъемлемой собственностью; и философия могла претендовать на место рядом с ними, та философия, которая со времени Сократа занималась вопросами политическими, изучением гражданина и государства. Науки, которые развились на основе философии, постигла в общем та же участь: не только науки отвлеченного характера, но и науки практические, даже медицина, основание которой приписывалось боже-ству, которой занимались герои божественного происхождения при осаде Трои, вплоть до исторических времен передавалась как священное наследие в семьях, которые назывались по имени своего родоначальника асклеиадами. Наконец, искусства всегда оставались уделом свободных людей у народа, который создал культ красоты и видел в ней высший идеал добра и справедливости. Живопись, скульптура, которые столь достойным образом содействовали поэзии в ее стремлении придать незабываемые черты своим богам и сохранять память о героях, архитектура, которая создала в честь их памятники или храмы, все виды искусства, так неразрывно связанные с религиозным или нацио-

нальным движением Греции, — все это было запрещено рабам. Тем менее могли быть им дозволены занятия музыкой и гимнастикой; это были искусства, применявшиеся не к грубой материи, но к самому человеку: гимнастика формировала его тело, музыка — его душу; в силу этого они были признаны философами главнейшими и наиболее необходимыми средствами воспитания. Таким образом, литература, науки и искусства развивались в общем вне сферы рабства. Рабы могли к ним приближаться лишь на определенное расстояние: к литературе как переписчики, к искусствам как ремесленники, к наукам в качестве подручных, к медицине как ассистенты или же обманом; если некоторые из них, заслужив по своему уму расположение своего хозяина, поднимались на более высокую ступень, то это было лишь редким исключением, допускавшимся не для всех видов литературы. Эзоп был рабом. Нравоучительная басня, со всеми своими завуалированными намеками, была обычным жанром литературы, который вполне подходил слугам. Философия в своей отвлеченной части, поэзия чувств могли быть также доступны для них. Что же до нас дошло из поэтического творчества? Песни куртизанок, как, например, стихи Аспасии о любовных похождениях Сократа, или грязные отрывки, которые нашли развратника, чтобы их собрать и переложить в стихи, или несколько трудовых песен, таких, какие даже негры импровизируют под кнутом надсмотрщика, песни, происхождение которых мы можем приписать им в той же мере, как и свободным рабочим, участвовавшим вместе с ними в общем труде. В философии Эпиктет, который был рабом в эпоху, когда римляне держали Грецию под своей властью, имел только четырех предшественников: сатирика Мениппа, Помпила, бывшего рабом Теофраста, Персея, раба у стойка Зенона, и Миза, раба Эпикура. Подобные исключения лишь подтверждают правило, а имена этих рабов являются только

исключениями на протяжении всей великой и богатой истории греческой культуры. Эта культура ничем не обязана рабам, более того, можно сказать, что она достигла такой высоты исключительно потому, что греки так старательно не допускали их к области искусства. Это факт; повторение его мы найдем в Риме, где знание и искусство свободных являлись достойными соперниками Греции, тогда как искусство рабов существовало недолго, и то при содействии греков.

Но если рабство не принимало прямого участия в развитии литературы и искусства Греции, нельзя ли ему приписать хотя бы косвенное участие: ведь оно предоставляло свободным людям возможность и время для того, чтобы им заниматься? Еще раз нет, так как свободный труд был способен удовлетворить всем потребностям Греции и мог оставить у народа достаточно свободного времени для всестороннего развития умственных и духовных сил. И у нас, так же как у греков, были великие и блестящие гении во всех областях культуры; и если они были более редкими, никто, конечно, не осмелится видеть причину этого в исчезновении рабства; сравните в пределах одного отрезка времени и в одинаковых численных выражениях страны, обладавшие рабами, и то, что они создали.

Таким образом, подводя итоги, мы должны сказать, что рабство было пагубным для человечества, было пагубным для варваров так же, как и для греков, для рабов так же, как и для свободных; пагубным для человека вообще в самой своей основе, приводившей к его вырождению, делавшей из него животное, простое орудие, отнимая у него насколько возможно вместе с личностью также и сознание и основу всякой нравственности. Рабство было губительным для варваров, страны которых оно опустошало, а народы ослабляло, бросая их без подготовки в лоно культуры, которую они воспринимали чувственной своей стороной, усваивая ее пороки. Рабство было губительным для гре-

ков, которых оно развратило на всех ступенях их существования — как отдельную личность, так и семью, и государство. И если культура Греции развилась столь блистательно, если она поднялась высоко, несмотря на все эти покушения мертвящих принципов, которые разрушили в ней все вплоть до любви к свободе, то это является плодом деятельности свободного гения. В этом заключалась ее жизненная сила.

ТОМ II

РАБСТВО В РИМЕ

Глава первая

СВОБОДНЫЙ ТРУД И РАБСТВО В ПЕРВЫЕ ВЕКА РИМА

Выводы, к которым мы пришли на основании изучения истории общественных отношений в Греции, касающихся влияния рабства, могут быть проверены и найдут себе подтверждение в истории Рима. Число текстов, сохранившихся для Востока, столь незначительно, что лишает нас возможности во всех подробностях изучить те специфические условия, в которые там было поставлено рабство, так же как и его влияние на общество в целом. В Греции факты более многочисленны, но место действия более ограничено. Рим, в противоположность Греции, заключает в себе огромное число фактов при огромном поле действия; его власть объединяет вокруг италийского полуострова крайние точки цивилизации и варварства, эллинов и народы Запада, Карфаген и Египет, а также северные племена. Рим жил в течение предельного срока, положенного народу, развивая в этих обширных границах времени и пространства все следствия, которые вытекали из принципов, вошедших в его конституцию, причем ничто не нарушало этого поступательного движения и не задерживало прогресса. Он пал, когда эти следствия изжили себя, дошли до своего логического конца, но

даже тогда его гений не умер и продолжал жить в его языке и в его праве. До нас дошли его поэты, ораторы, моралисты, историки, несмотря на то, что многие из них погибли и все без исключения пострадали от небрежности и некультурности варварской эпохи. До нас дошел его кодекс законов, хотя и искаженный и сокращенный благодаря тем рамкам, в которые втиснула его более слабая рука, желая его сохранить. Словом, можно сказать, что Рим, взятый в целом, сохранился для нас так же, как сохранились некоторые носящие на себе его печать памятники, и донныне возвышающиеся среди быта и жизни современных обществ, невзирая на сокрушающее действие времени. Отдельные части могли быть разрушены, некоторые детали стертые, но общая совокупность пережила эпохи разрушения или безразличия; поэтому рабство, положенное в основу этого здания, может быть изучено и в своей сущности и в своих отношениях к обществу, для которого оно служило фундаментом.

В процессе последовательного развития форм государственной и общественной жизни этого великого народа какое участие принимало рабство в общем движении и прогрессе? В этом приобщении мира к цивилизации какое влияние оказывало оно на перерождение варварских племен?

Именно в этой области, и нигде больше, оно должно было выявить присущий ему характер. И если будет доказано, что оно и здесь было тем же, чем, как мы видели, оно было везде, т. е. причиной деморализации и нравственного падения рабов и господ, то можно сказать, что дело его проиграно. От лучей разума и убеждения, провозглашающих равенство человеческого рода, уже нельзя будет укрыться за завесой прошлого; она упадет и откроет перед глазами эту отвратительную язву человечества, вину за которую хотят свалить на судьбу, как будто бы судьба должна принять на себя роль античного Рока — силы слепой и

инертной, которая, оставляя человеку свободу действия, в то же время берет на себя ответственность за его поступки.

1

История Рима на протяжении тех двенадцати веков, которые ей суждено было заполнить, представляет собой несколько ясно очерченных периодов, которые, однако, можно свести к трем главным. К первому периоду относится основание Рима и его укрепление. Законы и учреждения, установленные в эпоху царей, развиваются и дополняются в первые века республики. Рим расположил побежденную Италию по различным ступеням искусно построенной иерархической лестницы, установив в то же самое время полное единство внутри собственного государства. Вот откуда берет начало та совершенная гармония и та мощь, которую он проявил в борьбе против Ганнибала: он сражался за свое существование и приобрел владычество над миром. Во второй период под знаменем республики завершается завоевание мира, а империя его организует; это эпоха могущества и величия, продолжающаяся от трех до четырех столетий, начиная с конца второй Пунической войны до эпохи Антонинов. Но одновременно с его развитием усилились и причины его падения, таившиеся в структуре римского общества.

Правительство империи даже в свои лучшие дни бессильно бороться с ними; все приходит в упадок — и учреждения, и общественный дух, и нравы. И когда империя разворачивает перед нами картину своего управления, то оказывается, что это лишь пустая форма, в которой удобно расположатся варвары, не приложив к этому иного труда, кроме того, который необходим, чтобы войти. Несмотря на то, что историю рабства в Риме труднее, чем в Греции, разделить на строго определенные периоды, все же она более или менее

совпадает с указанными подразделениями. Рабство существует уже в первом периоде при древнеримском укладе жизни, в его еще чистом виде. Оно развивается и организуется во втором под влиянием идей и потребностей, которые сумела передать Риму побежденная им Греция; в третьем оно приходит в упадок. Значит ли это, что судьбы Рима были тесно связаны с судьбами рабства и что ему было суждено потерять мировое владычество, когда авторитет отца семьи, это подобие суверенитета государства, померк? Такой вывод был весьма на руку защитникам рабства. Но прежде чем согласиться для римского мира на такое заключение, столь сильно противоречащее тому, что мы видели у греков, надо подвергнуть изложенные в первой части идеи проверке теми фактами, которые предоставляет нам история Рима. Поэтому мы расскажем, каким образом возникло рабство в Риме, как оно распространялось и как было организовано. Для каждого из двух первых периодов мы попытаемся установить его отношения к тем формам государственного управления, которые были для Рима источником силы и которые заключали в себе секрет его власти над миром. Затем мы исследуем, какие причины вызвали начало упадка рабства и что общего было между этим падением и падением государства.

В первый период римской истории рабство было развито очень слабо. Римский народ был беден и воинственен, отличался простотой нравов и презирал ремесла, но уважал земледелие и занимался им; отсюда уже ясно, какое участие в работах сохранил за собой свободный труд наряду с рабским в домашней жизни.

Свободный труд в Риме получал свою долю даже из того, что обычно являлось источником рабства. У воинственного народа наиболее обычным источником рабства является война. И в Риме она часто пополняла ряды рабов людьми, взятыми в плен у соседних народов. Но в этих разрушительных войнах одинаково

легко как выиграть, так и потерять, вернее, одно только рабство при этом выигрывает, но зато свобода проигрывает: ведь получают рабов, а лишаются граждан. И Рим, без сомнения, кончил бы установлением у себя более или менее замкнутой олигархии и превратился бы в Спарту варваров, если бы он благодаря искусно проведенной системе не сумел использовать в интересах расширения гражданской общины то, что обычно служило для поддержания рабства. Поистине достойный повелевать миром, он завоевывал для себя свободных людей, подобно тому как другие приобретали рабов. Он включал в свой состав соседние народы либо путем дарования им всех прав гражданства, как это случилось с тремя первоначальными трибами, либо оставляя их вначале на более низкой ступени; такова была масса, частью допущенная в город, частью оставленная победителями на завоеванной территории, масса темная и безыменная, которая вскоре была организована Сервием Туллем наподобие курий и образовала сословие плебеев в противоположность сословию патрициев. В Риме той эпохи лицом к лицу стояло два народа: один — господствующий, другой — низший и связанный с первым твердо установленными отношениями клиентелы или более суровыми обязательствами, которые создает крайняя нужда между богатыми и бедными, но все же это были два свободных народа, которые со времени царствования Сервия занимали вполне определенное место в общем государственном строе и которые в конце концов слились благодаря энергичной настойчивости трибунов и осторожным уступкам сената.

Итак, война (именно в ней лежала основа величия Рима) в равной степени увеличивала и класс свободных и число слуг.

Класс свободных продолжал занимать все высшие должности, число которых все увеличивалось по мере развития общества.

Главным занятием класса свободных было земледелие; оно являлось главной основой мирной жизни римлянина. Патриции и наиболее знатные из плебеев проводили большую часть времени в деревне, среди своих полей; вот почему публичные объявления делались в те же дни, когда торговые дела призывали их в город; вот почему давалось название «рассыльный» тем лицам, которые «отправлялись в путь», чтобы пригласить сенатора явиться в курию; вот откуда, наконец, произошли те различные наименования, употреблявшиеся для обозначения лиц или вещей, имевших наибольшее влияние или наибольшее значение в государстве: люди важные и значительные назывались «землевладельцами», государственные доходы получили свое название от пастбищ, а деньги — от скота. Высшей похвалой для гражданина считалось, если его называли превосходным сельским хозяином, но под этим понималось не только простое руководство всем тем, что касалось сельскохозяйственных работ. Цинциннат сам обрабатывал свой участок в 2 гектара, когда послы сената предстали перед ним, чтобы приветствовать его как диктатора. И его одержавшие столько побед руки так же просто «сменили меч на орало», как только была обеспечена государственная безопасность. Родовое имение римлянина в первые времена обычно ограничивалось этими скромными размерами; оно не должно было превышать двух, а впоследствии четырех гектаров. В Риме на практике осуществляли тот принцип, который карфагеняне если не проводили на практике, то зафиксировали письменно: чтобы глава семьи был действительно хозяином своего поля, размеры последнего не должны были превышать его силы. В этих же пределах были рассчитаны и участки граждан, посылаемых в колонии, и Маний Курий, победитель самнитов, объявлял опасным того гражданина, которому казалось мало этого количества земли.

Поскольку земельная собственность была ограни-

чена этими нормами, всякий легко поймет, что рабство было явлением мало распространенным. Полагали, что это маленькое поле было достаточно для всей семьи:

Кормила такая земелька
И самого отца, и кучу всю в доме, в котором
В родах лежала жена и четверо деток играли:
Трое хозяйских и рабский один.

Глава семьи, следовательно, не был в состоянии держать больше чем одного помощника. Поэтому личность раба достаточно точно определялась именем его господина. Говорили: раб Квинта Марка или Квинтипор, Марципор; эти древние наименования, согласно Плинию, не имели другого происхождения. В том случае, если общественные обязанности вызывали гражданина из деревни, управление фермой переходило в руки раба, бравшего себе на помощь нескольких наемных рабочих. До эпохи первой Пунической войны среди наиболее прославленных граждан можно было найти примеры этой античной умеренности. Так, Регул, стоявший во главе африканского войска, требовал своего отозвания, ссылаясь на то, что вследствие смерти раба и недобросовестности наемных работников его маленькое поле заброшено, а семья терпит нужду.

Но нельзя не сознаться, что подобные примеры были редки. В таких случаях мелкий собственник, который не был Регулом и который не мог просить у сената отпуска или обработки своей земли за счет государства, был вынужден, чтобы прокормить свою семью, занимать деньги из 12 процентов у патриция. В залог он давал свою землю, но лишь редко получал ее обратно: он мог чувствовать себя счастливым, если лично его самого не захватило это владение богача, которым поглощалась всякая мелкая собственность. К этому земельному владению, увеличившемуся бла-

годаря ростовщичеству за счет наследственных участков плебеев, прибавьте еще владения, расширившиеся вследствие завоеваний на неприятельской территории. Это «общественное поле», отданное в долгосрочную аренду патрициям, в результате соглашения между богатыми и руководителями государства проявляло тенденцию сливаться все более и более с собственностью. Еще в первые времена республики Спурий Кассий обратился с призывом о необходимости аграрных реформ, а более чем за сто лет до той эпохи, когда Регул докладывал сенату об опасности, угрожавшей его маленькому поместью, Лицинию с великим трудом удалось провести закон, ограничивавший 500 югерами [около 150 гектаров] присвоенные богачами государственные земли.

Это перемещение, это расширение земельной собственности должно было нарушить равновесие между трудом свободным и трудом рабским даже в сельской жизни и повлечь за собой самые пагубные последствия. Но свободный труд, прежде чем погибнуть, начал видоизменяться. Мелкий собственник, лишенный своих владений, нередко оставался на своей земле в качестве колона, или наемного земледельца; он разделял с рабами все сельские труды, причем глава семьи и его жена еще не сложили с себя обязанностей по надзору и не передали их в руки раба-управляющего и его жены.

Итак, земледелие далеко не являлось исключительным уделом рабов. Гражданин занимал в нем первое и самое главное место или в качестве хозяина или в качестве простого работника, если нужда лишила его собственности. Труд, которым гордился знатный богач, не мог позорить разорившегося плебея.

Даже городской труд, труд ремесленников, должен был отчасти остаться в руках свободного населения. Прежде всего самые необходимые в домашнем быту предметы, как хлеб и одежда, производились дома, и подобно тому, как земледелие составляло удел муж-

чин, так изготовление этих вещей лежало на обязанности женщин, не исключая и самых знатных. Лукреция, правда, в эпоху более отдаленную, принадлежала по своему положению к самому высшему слою общества (это высокое положение уравнивает различие в эпохах) и показывала пример этих трудовых привычек, продолжавших жить еще некоторое время среди римских женщин. «У греков, — говорил Колумелла, ссылаясь на «Экономику» Ксенофонта, — и впоследствии у римлян, вплоть до времен наших отцов, домашняя работа находилась в ведении матрон». Итак, в этой области, по крайней мере, было налицо участие граждан в труде. Так же обстояло дело и с ремеслами. Последние были не в большом почете у римлян, и Дионисий Галикарнасский говорит даже, что занятие ими гражданам было запрещено. Но не следует забывать, что наряду с патрициями, наделенными всеми политическими правами и являвшимися поэтому единственными настоящими, исконными гражданами, тут были и вновь прибывшие семьи, получившие разрешение жить в городе, но не пользовавшиеся еще гражданскими правами: и связанные с патрициями отношениями клиентов к своему патрону. Именно эти патриции и являлись носителями всей совокупности религиозных верований и предрассудков, составлявших сущность римского духа, а впоследствии превратившихся в «обычаи предков». Остальное население, столь различное по происхождению, лишенное гражданских прав, могло еще не разделять этих чувствований. К тому же вполне естественно, что, не имея земли, подобно афинским метекам, оно искало средств к существованию в занятиях ремеслом, где оно не встречало ни конкуренции граждан, ни конкуренции рабов; римляне, слишком бедные, чтобы держать такое количество рабов, которое было необходимо для удовлетворения всех их потребностей, были слишком горды, чтобы объединить их с целью эксплуатации их

уменья, как это делали афиняне. Таким образом, ремеслами занимались свободные работники среди той части населения, которая впоследствии была причислена к гражданам. Представители искусств, необходимые при отправлении религиозных обрядов и в общественной жизни, как-то: флейтисты, золотых дел мастера, кузнецы, красильщики, башмачники, медники, горшечники, объединялись во столько же цехов, основание которых приписывается Нуме, а кузнецы увековечили в легендах и воспели в народных песнях одного из своих сочленов, Мамурия, который сумел выковать щиты, столь похожие на божественный щит, упавший с неба, что их с трудом можно было отличить. Это те самые семьи ремесленников, которые позднее, при организации плебеев Сервием Туллем составили городские трибы; то малое уважение, которым они пользовались среди других, достаточно ясно указывает, каковы были их функции.

Что касается домашнего обслуживания, то простота жизни первых римлян заставляет предполагать, что оно само по себе не требовало значительного количества рабов. Исключение может быть, пожалуй, сделано только для царского периода. Дионисий Галикарнасский, рассказывая о смерти Тулла Гостилия, упоминает о толпе слуг, погибших вместе с ним в пламени, а история Тарквиния Гордого свидетельствует об известной роскоши среди лиц, приближенных к царю. Но допуская даже, что в основе этих описаний не лежат обычные представления о роскоши царей, приходится признать, что такие исключения встречались очень редко.

Небольшое количество рабов, необходимое для полевых или домашних работ, т. е. мужчина, помогавший главе семьи при обработке поля, и женщина, принимавшая участие в рукодельных работах госпожи, в большинстве случаев справлялись и с остальными домашними работами. Наиболее знатные римляне, на-

холившиеся во главе армий, обслуживали сами себя; если же у них являлось желание особенно блеснуть величием своего рода за пределами своего тесного круга, то право патронатства давало им возможность благодаря огромному числу клиентов составить себе такую многочисленную свиту, которой они должны были гордиться гораздо больше, чем аристократия более позднего времени своей свитой из купленных рабов.

То, что мы наблюдаем в частной жизни, повторяется и в жизни государства. Незначительное число рабов встречается среди слугителей магистратов или среди исполнителей приговоров по уголовным делам; не кто иной, как раб, сбросил Марка Капитолина со скалы Капитолия. Но главнейшие должности и обязанности по общественной службе, обязанности ликторов, писцов, вестовых, глашатаев распределяли между собой люди свободные. В центуриях Сервия Туллия, т. е. среди гражданского населения, мы встречаем не только ассоциации рабочих (*tignarii* — «плотники»), но и ассоциации горнистов и трубачей.

2

Эти беглые указания свидетельствуют о том, что свободные граждане занимали не последнее место в городском труде и что рабы встречались лишь наряду с ними. Но какова была доля их участия в этом труде и в каком отношении друг к другу могли находиться эти две группы в раннюю эпоху Рима? Текст Дионисия Галикарнасского, цитируемый и комментируемый Дюро-де-ла-Маллем, дает нам возможность определить это отношение с достаточной точностью. «В это время, — говорит он (477 г. до н. э.), — граждане, способные носить оружие, составляли 110 тысяч человек, согласно данным последней переписи. Что касается женщин, детей, рабов, торговцев и иностранцев, занимающихся ремеслами (ни один римлянин не имел права

жить торговлей или ремеслом), то их число по меньшей мере в три раза превосходило число граждан». Дюро-де-ла-Малль, применяя к этим цифрам закон, установленный для населения Франции, считает, что число 110 тысяч для лиц призывного возраста, т. е. от семнадцати до шестидесяти лет, позволяет предполагать число 195145 для всего мужского населения, а удваивая эту цифру включением в нее числа женщин, мы получим общее число граждан в 390 290 человек. Итак, все население, включая наряду с гражданами и всех тех, кто не был ими, т. е. иностранцев, вольноотпущенников и рабов, составляло, согласно Дионисию, 440 тысяч [число военнообязанных плюс утроенное количество остальных]. Разница в 49710 человек, следовательно, будет составлять число лиц этой первой категории. Дюро-де-ла-Малль подразделяет ее на 32524 иностранцев или вольноотпущенников и 17186 рабов. Но мы не имеем достаточно солидных доказательств, подтверждающих правильность этого распределения. Мы более склонны отнести большую часть из этой общей суммы на долю рабов. Как бы там ни было, ясно одно, что число рабов сравнительно с числом свободных граждан очень незначительно, так как оно не достигает при самом широком исчислении одной восьмой и едва ли намного превышает одну шестнадцатую.

Итак, рабский труд повсеместно шел рука об руку с трудом свободных, причем в более раннюю эпоху этот последний преобладал над первым: в городе он обеспечивал потребности низших классов, в деревне он делал честь самым уважаемым гражданам. Но вскоре рабство начинает распространяться. В самом начале республики его ряды значительно пополнились массой граждан, разорившихся и спустившихся на низшую ступень благодаря ростовщическим процентам, этому подтачивающему государственный организм злу, которое, поглотив их отцовские владения и благоприобретенное имущество, начинало подбираться к их телу.

Рабство обрекало на условия еще более суровые, из которых не было выхода, массу жителей, населявших Италию, каждый раз после тех упорных войн, которые в конце концов закончились подчинением полуострова власти римлян. Число рабов возрастало по мере расширения земельной собственности. Оно стало настолько значительным, что казна сочла возможным создать источник дохода в виде пятипроцентного налога, которым облагала акт отпущения на волю. Но лишь внешние войны, увлекая римлян в объятия новой цивилизации, привили им вкус к роскоши, привычку к безделью и эту увеличенную потребность в рабах, одновременно облегчая им возможность увеличить число последних. Этот новый дух распространяется среди них в ту самую эпоху, когда растет и крепнет величие Рима, т. е. с 200 года до н. э. по второй век нашей эры. В этот же период распространяется и принимает свою окончательную форму рабство, тогда же начинает обнаруживаться то влияние, которое оно должно было иметь на класс свободных и класс рабов. Поэтому в рамках именно этого периода мы и должны рассмотреть вопросы, поставленные выше.

Глава вторая

ИСТОЧНИКИ РАБСТВА В РИМЕ

1

Рим получал рабов из тех же источников, что и Греция, и римское право относило их к двум категориям: рабом рождались или им становились.

Рабом рождались: это право господина на потомство своих рабов не могло быть смягчено у народа, который собственность окружал своего рода ореолом гражданской святости и который ставил «квиритский надел» выше общего права. Поэтому, когда впоследствии мнения прославленных юристов, этих «первых лиц в государстве», разделились по вопросу о том, «является ли дитя рабыни приростом?» — не подумайте, что спор идет об его положении. Это не природа оспаривает его у хозяина, а ростовщик. Это вопрос собственности, а не свободы. Поскольку рабство было заключено в довольно тесные рамки благодаря простоте нравов, соотношение между мужчинами и женщинами было, вероятно, более равномерным, браки между ними — явлением более обычным и воспитание детей стоило дешевле в обстановке деревенской жизни, более или менее общей для всех. Римляне, кажется, рас-

считывали каждую весну на этот приплод, как на всякий другой: отсюда название *verna* (весенний), даваемое детям рабов. Когда земельный надел гражданина увеличился, стали находить средства возможно скорее возвращать матерей на работу, оставляя только одну для воспитания младенцев. Итак, даже при данных условиях рождение рабов представляло некоторую выгоду. Это источник богатства, которым отец семьи не должен пренебрегать, и Колумелла, так же как и все те, кто писал о сельском хозяйстве, высказывается за поощрение деторождения рабынями. Дети увеличивают цену матери, подобно тому как ягнята увеличивают цену овцы. Вергилий в тех же выражениях говорит о младенцах, лежащих у груди своей матери:

Лежат у сосцов два рожденных ягненка,

а Гораций, вдохновленный видом семейного очага, с удовлетворением причисляет толпу юных рабов к остальным богатствам дома:

Лежит толпа своих рабов, богатства знак,
Вокруг божеств сияющих.

Этот источник, наиболее ценный для семьи в тот начальный период, когда дитя раба могло забавляться вместе с сыновьями господина в условиях простой деревенской жизни, потерял свой характер, как мы это отметили уже для Греции, когда рабство распространилось и расстояние между двумя группами увеличилось. Тогда молодой раб, рожденный и воспитанный в унижениях рабской жизни, нередко носил на себе это двойное клеймо рождения и воспитания. Однако могло случиться, что раб, имевший счастье быть приближенным к господину, в силу длительной привычки и более интимных отношений получал тогда другое наименование за свою привязанность и за свои услуги. Мы

имеем пример молодого *verna* — раба, усыновленного своим господином. Но это могло быть также как бы знаком отличия среди толпы купленных рабов: рабы и даже вольноотпущенники удерживали это название на своих могилах.

Рабом становились: если коснуться прежде всего внутренних источников, то мы увидим, что этому могли содействовать воля отца, требования кредитора и сила закона, — теми различными способами, которые были характерны для каждого из этих моментов. Отец был абсолютным господином над жизнью своего ребенка. Для того чтобы родившийся имел право на жизнь, он должен был быть признан и воспитан отцом. Подобно тому как в более раннюю эпоху отец мог его убить, точно так же как должен был при известных условиях его подкинуть, он сохранял право продать его, и это право было столь полным и непререкаемым, что продажа, совершенная по всем формам гражданского отчуждения, не могла его уничтожить. Оно вновь восстанавливалось, как только покупатель отказывался от своих прав вследствие акта вольноотпущения; оно могло благодаря новой продаже опять временно аннулировать, не теряя, однако, своей силы; лишь в третий раз оно прекращалось. Итак, власть отца семьи, бывшая, как было уже сказано, самым полным выражением могущества Рима, проявлялась с наибольшей абсолютностью по отношению к существам, связанным с ним самыми тесными узами, узами природы и крови; и законовед с гордостью говорил, что это составляет величие его родины: «Ведь нет, можно сказать, никаких других людей, которые бы имели такую власть по отношению к своим сыновьям, какую имеем мы».

Право подкидывать и продавать своих детей признавалось за отцом и удерживалось в течение всех эпох римской истории с теми видоизменениями, которые зависели от природы этих двух явлений. Подкинутый

ребенок не становился в силу самого этого факта рабом того, кто его подобрал. Между ними устанавливались лишь отношения воспитанника к воспитателю или кормильцу. Речь шла только о содержании, и Траян на вопрос Плиния ответил, что ни в коем случае факт воспитания не должен был служить предпосылкой лишения свободы. Ведь свобода была правом по рождению, правом неотъемлемым, если только оно не было продано, так как отец, подкидывая своего сына, не отдавал его. Иначе обстояло дело с продажей: в данном случае отец отказывался от своей власти и передавал ее со всеми ее последствиями покупателю; это была сделка противоестественная, освященная законом, сделка, которая, так или иначе смягченная или ограниченная, оставила свой след в законодательстве империи эпохи христианства.

Эту абсолютную власть, которую закон XII таблиц предоставлял отцу над детьми в силу так называемого естественного права, он давал и кредитору по отношению к его должнику в силу гражданского обязательства. Должник мог в силу специальной договоренности поступить в услужение к кредитору, не теряя ни своих личных, ни политических прав: он выполнял на службе у последнего работу, которая должна была погасить его долг. Но по истечении срока уплаты, при отсутствии договоренности или поручителя, его приносили кредитору и в течение еще шестидесяти дней держали на цепи и кормили за счет нового господина: предусмотрительный закон определял количество муки и вес цепей. В рыночные дни 3 раза сряду его приводили к претору и объявляли, за какую сумму долга он был осужден. Затем, если его несчастье никого не трогало, его казнили или продавали в чужую сторону: закон не хотел допускать скопления в Риме рабов, представлявших собой печальные тени пришедшего в упадок города, мрачные образы того будущего, которое ожидало ослабленного трудом и изувеченного войной пле-

бея и его несчастную семью, всецело связанную с его судьбой, вместе с ним свободную или обращенную в рабство. Хорошо известна формулировка закона, его логика и его бесстрастная суровость, хорошо известно, как он применялся в том случае, если должник был заложен нескольким кредиторам: «Пусть его разделят». И чтобы они не боялись, что это кровавое правосудие может обратиться против них самих, чтобы предохранить их от права возмещения, во имя которого, может быть, захотели бы взять от их собственного тела то, что они, может быть, взяли себе сверх своей доли, закон говорил: «Немного больше, немного меньше — это не сочтется за обман».

Не следует искать другого скрытого значения в этом законе, но прибавим, что не следует искать в истории и исполнения этого закона. Римское право знало тайну деления неделимых вещей (а личность человеческая, несомненно, обладала этим свойством); их продавали и вырученную сумму делили между собой. Закон сам указывал на этот способ, и если он выдвигал на первое место другую альтернативу, то это делалось для устрашения. В силу этого закон мог регламентировать случай реального раздела человека. Эта статья, столь успокоительная для участников в дележе, никогда не являлась действительно страшной для должника, подлежащего разделу.

Причисляя к источникам рабства право отца и право кредитора, следует, однако, отметить и особенности, характерные для Рима. Сын, проданный отцом, и гражданин, приговоренный своему кредитору, были скорее служителями, чем настоящими рабами. Это было фактическое рабство, без сомнения законное, но все же временное. Лишившись пользования свободой, они тем не менее не лишались ни своих прав, ни тех неизгладимых черт свободного рождения, которых никогда не могло дать отпущение рабов на волю. Так обстояло дело с сыном, так как отец прибегал к этим видам

продажи, чтобы научить его владеть собой, сделать из него настоящего отца семьи и полноправного гражданина. Так же обстояло дело и с осужденным должником, и Квинтилиан, стараясь найти пример, чтобы разъяснить одну из риторических тонкостей, достаточно ярко осветил этот исторический вопрос: «Раб, отпущенный на волю своим господином, становится вольноотпущенником, осужденный снова становится свободнорожденным; раб не может получить свободу против воли своего господина, получает ее даже против своей воли, по уплате долга. Для раба нет закона, к осужденным же он применяется. То, что является собственностью человека свободного и принадлежит только ему — имя, отчество, фамилия, название родовой трибы, — все это удерживает при себе осужденный». Однако и гражданин мог окончательно сделаться рабом, и он подвергался тогда тому, что римляне называли «высшей степенью потери гражданских прав». Это значит, что он переставал считаться членом не только семьи, не только государства, но как бы самого человечества; его вычеркивали из числа свободных людей. Эта кара поражала со времен Сервия Туллия того, кто уклонялся от переписи, «подобно тому как человек, удерживаемый в законном рабстве, является свободным от ценза, — говорит Цицерон, — так и тот, кто, будучи свободным, уклоняется от ценза, тем самым теряет свою свободу». То же самое имело место по отношению к тем, кто отказывался записываться в ряды легиона, как это видно из некоторых отрывков Тита Ливия. Благодаря более непосредственному применению закона о возмездии это наказание постигало еще тех, кто, будучи старше двадцати лет, разрешал купить себя как раба, чтобы получить часть суммы, вырученной от этой незаконной продажи, аннулирования которой он мог впоследствии требовать как гражданин. Наконец, оно применялось к лицам, приговоренным к высшей мере наказания. В отличие от

нашего права, эта гражданская смерть наступала не после приведения в исполнение приговора, а непосредственно после вынесения его — как только относительно их произнесен приговор, они меняют свое состояние); они становились рабами в силу наложенного наказания, — рабы в силу наказания; из уважения к гражданину, к свободному человеку, в руки палача отдавались только рабы.

2

Таковы были внутренние источники рабства, и мы видим, в какой мере они могли содействовать его распространению. Смертный приговор превращал рабство в переходную ступень от свободы к смерти. Он только тогда стал содействовать фактическому пополнению класса рабов, когда впоследствии рабам, приговоренным к смерти, стали даровать жизнь, употребляя их для общественных работ в каменоломнях и рудниках. В противоположность этому порабощение гражданина, отданного в руки кредитора, сына, проданного отцом, было явлением весьма обычным в эту эпоху нищеты, когда господствовал патриций, являвшийся почти исключительным обладателем состояния и носителем государственной власти. Оторванный от работы благодаря непрерывным войнам, простой народ меньше выигрывал от получаемой добычи, чем терял вследствие всевозможных притеснений, так как война больше разрушает, чем создает, и каким бы постоянным успехом она ни сопровождалась, она в силу необходимости ведет всегда к разорению не только побежденного, но и победителя. Чтобы жить, он должен был занимать, а ростовщические проценты в этих условиях могут иметь только один фатальный результат, так как они увеличивают сумму, подлежащую отдаче, по мере того как поглощаются полученные деньги. Поэтому он едва ли мог избежать суровых законов о долгах, т. е.

рабства. Боясь увлечь вместе с собой всю свою семью благодаря тем узам, которые связывали ее с его личностью, он чаще всего старался отсрочить приближение этого несчастья, распродавая ее членов как бы в розницу. Эта жестокая необходимость, вызываемая нуждой, и то сопротивление и восстания, которые она вызывала со стороны плебеев, отметили наиболее драматическими чертами великие события внутренней истории Рима, так прекрасно описанные Титом Ливием. Этих храбрых людей, сражавшихся за пределами своей родины за независимость и господство, по возвращении домой ожидали только притеснения и рабство, их свобода подвергалась меньшей опасности во время войны среди врагов, чем в мирное время среди своих сограждан. Чтобы заставить вспыхнуть это накопившееся чувство злобы и досады, достаточно было лишь самого незначительного повода. Таким поводом при приближении вольсков (495 г. до н. э.) послужило впечатление, произведенное тем стариком, который, бледный, истощенный от пережитых страданий, бросился в середину толпы, неся на себе внешние признаки своих несчастий. Призванный на войну с сабинами, он был свидетелем уничтожения своего урожая, он видел, как его ферма погибла в огне, как все его имущество было расхищено, как был угнан его скот. Чтобы заплатить несправедливо жестокие налоги, он занял деньги. Его долг, возросший благодаря нарастающим процентам, прежде всего поглотил его поля, перешедшие к нему от предков, затем другое наследие и, наконец, как отвратительная язва, добрался до его тела. Его увел кредитор, ставший его господином или, вернее, палачом, — и рядом со своими благородными шрамами он показывал кровавые следы позорного бичевания. Вид этого старика и его рассказ возбуждали толпы должников, закабаленных так же, как и он, или только что освободившихся от долговых обязательств; слухи об этом распространялись по городу, прибавляя

ужасы восстания к опасностям вражеского нашествия. При таких обстоятельствах сенат отступал от своих жестоких требований и предоставлял консулам успокоить толпу изданием какого-нибудь эдикта. Заключенным возвращали свободу при условии зачисления в войско и гарантировали неприкосновенность их имущества и детей во время похода; но как только они возвращались, их снова заковывали. Два консула были таким образом скомпрометированы благодаря вероломству сената, но Валерий, назначенный диктатором, не захотел пожертвовать этой политике популярностью своего имени. Не будучи в состоянии сдержать свое слово, он взял его обратно, сложив с себя свое звание, а народ, надеясь теперь только на самого себя, отправился на Священную гору, откуда он вернулся с трибунами (493 г. до н. э.).

Трибунат был своего рода апелляционной инстанцией, состоявшей из 5—10 человек, прибежищем, всегда открытым для просящих, всегда активным посредником в пользу угнетенных. Но трибун мог действовать только против злоупотреблений, а закон сам по себе был достаточно суров, чтобы давить на народ. Итак, зло не прекращалось. Когда Кай Лициний Столон и Люций Секстий включали в свои знаменитые предложения новый закон о долгах, они спрашивали, не предпочитают ли видеть, как заимодавцы обманывают народ и должник за неуплату заковывается в цепи и подвергается пыткам; как кредиторы каждый день уводят с форума толпы присужденных им людей; как наиболее благородные дома наполняются закованными в цепи гражданами и как каждое жилище патриция превращается в тюрьму. Эти законы Лициния, ликвидировавшие прошлое (в 366 г.), как и те, которые уменьшением (постановлениями 354, 347 гг.) и отменой ростовщических процентов (в 354, 347 и 342 гг.) предусмотрительно заботились о будущем, оказались бесильными. В государстве не существовало больше зако-

ном установленных процентов, но страдающие члены этого организма тем не менее были данниками высшего класса, обладателя богатств и политической силы, и указанные отношения не стали менее суровыми оттого, что перестали быть регулируемыми.

Очевидно, что для того, чтобы помочь злу, необходимо было изменить природу заклада, а не условия кредитования: оставить обычный процент на сумму долга, но освободить должника от гарантии собственной личностью.

Как и в случаях с Лукрецией и Виргинией, так и сейчас преступная страсть одного из угнетателей, злоупотребление своей властью дало толчок тому событию, которое, по словам Тита Ливия, положило начало «новой эре свободы» для римского плебса.

Патриций из рода Папириев получил за долги в качестве залога сына одного плебея по имени Публиций. Он думал иметь в лице этого ребенка только раба; но так как чувство своего свободного происхождения возвышало Публиция над тем положением, которое он занимал в настоящий момент, то хозяин, придя в ярость, велел раздеть его и наказать розгами. Молодой человек, весь истерзанный, убежал к народу, громко жалуясь на бесчестие и жестокость кредитора; толпа, тронутая несчастием юноши столь нежного возраста и возмущенная нанесенной ему обидой, подстрекаемая представлением о своих собственных бедствиях и мыслью о своих детях, устремляется на форум, а оттуда в курию. Это внезапное волнение заставило консулов собрать сенаторов; все прибывавшая толпа бросилась к их ногам, указывая на окровавленное тело жертвы. «В этот день, — говорил Тит Ливий, — плохо сдерживаемая страсть одного человека разорвала страшную цепь долговых обязательств, и консулы получили предложение объявить народу, что «ни один гражданин, если только он не был уличен в преступлении, не мог до начала отбытия наказания содержаться в оковах;

чтобы кредиторы брали в залог имущество должников, но не их самих» (закон Петилия 326 г.). В силу этого закона все граждане, взятые за долги, были освобождены и принимались меры к тому, чтобы и впредь они не могли подвергнуться такому обращению».

Таким образом, та неприкосновенность, которую трибун гарантировал угнетенному благодаря своему вмешательству, была введена в закон и стала достоянием всех. Та же самая мера, которая обеспечивала свободу должника, способствовала тому, что случаи продажи сына отцом стали более редки; эта форма рабства сильно сократилась, но все же она не была окончательно отменена. Интересы богатых противодействовали этому закону. Тридцать шесть лет спустя подобное же покушение увлекло восставший народ на Авентинский холм и угрожало Риму гражданской войной; даже во время Пунических войн можно было еще встретить должников, присужденных кредиторам и содержащихся в оковах: после битвы при Каннах диктатор, по словам Тита Ливия, пожертвовав честью государства ради необходимости, предложил освободить всех осужденных за преступления и за долги, если они возьмутся за оружие; и он вооружил шесть тысяч человек оружием, отобранным у галлов. Что же касается реального рабства, то оно несколько не было ограничено. Уголовное право продолжало карать этой высшей степенью унижения, отнимавшей у человека отечество и свободу, продавая уклонившегося от переписи или от военной службы или отправляя виновного на общественные работы. Новое применение рабства в качестве непосредственно налагаемого наказания встречается еще в начале Империи в постановлении сената, внесенном Клавдием; оно касалось свободной женщины, вышедшей замуж за раба, и предусматривало не менее восемнадцати различных других случаев. И это рабство было настоящее и полное. Осужденный, которому удавалось спастись и записаться в солдаты, подобно рабу,

приговаривался к смерти. Ребенок женщины, ставшей рабыней в силу наказания, навсегда оставался рабом в силу наказания.

3

Все же кадры рабов пополнялись преимущественно извне. Известно, с какой суровостью римляне осуществляли право войны. Они осуществляли его даже по отношению к самим себе; гражданин, как и неприятель, взятый в плен на войне, лишался гражданских прав, становился вне закона и как бы переставал существовать как личность. Не раз сенат применял эти суровые принципы, поражавшие гражданской смертью тех, кто спас свою жизнь ценой свободы. Их оставляли в рабском положении, которое они предпочли смерти. За них отказывались давать выкуп; после битвы при Каннах предпочли выкупить и вооружить восемь тысяч рабов; если же неприятель, как это сделал, например, Пирр, отсылал их по собственной воле или если тяжелое положение государства заставляло принять их и даже вновь использовать, то они занимали уже не прежнее положение, а понижались на один ранг: бывший всадник становился пехотинцем, бывший пехотинец причислялся к вспомогательным войскам. Они должны были служить и носить свое позорное клеймо до тех пор, пока не искупят своей вины, представив оружие, снятое ими с двух убитых ими противников. Те же строгие правила военного режима удерживались и в установлениях гражданского права. Пленник считался мертвым, его брак расторгнутым, наследство открытым, а имения считались бесхозными. Но внешняя практика очень скоро смягчила суровость закона. Когда пленник, освобожденный благодаря выкупу или спасшийся бегством, возвращался, то принято было считать, что он никогда не был пленником. Он вступал во владение своим имуществом и



Пленный галл

всеми своими правами, которых он не был лишен правом давности, этой хранительницы права спокойного владения.

Это право войны Рим применял и к своим врагам, но уже без тех оговорок, которые ослабляли или

уничтожали его действие по отношению к гражданам. Победенные обращались в рабов, причем они даже не могли быть уверены, что им будет оставлена жизнь. После триумфа многие, как правило, предавались смерти, иногда их избивали в лагерях или же их самих заставляли уничтожать друг друга во время той борьбы, которая служила для увеселения солдат. Остальных, в том случае если нельзя было произвести обмена, обращали в рабство. Подобные примеры мы встречаем в самую раннюю эпоху истории Рима. Они становились все более многочисленными в течение тех долгих италийских войн, когда республике приходилось выдерживать упорную борьбу с соседними племенами. Во время войн с Ганнибалом, где Рим все на тех же полях сражался за свое существование, для него после многих зловещих дней настали и дни победы со многими пленными. Большая часть их еще до битвы при Каннах явилась предметом обмена; впоследствии более пятнадцати тысяч были проданы в пользу государства, и когда после разрушения Карфагена в 202 г. война захватила весь мир, то все театры военных действий стали поставлять свои жертвы, пополняя класс рабов.

Сицилия видела, как ее земли и народонаселение сократились на одну десятую («децимировались»); Сардиния благодаря своим постоянным восстаниям увеличивала число своих поражений и поколения своих пленных. Цизальпинская Галлия, Испания заплатили толпами рабов римским легионам, которые выбивались из сил, чтобы их подчинить. Несколько позднее эта участь не миновала и Трансальпийскую Галлию, когда Цезарь начал против нее свою жестокую войну. Примеры мы находим на каждой странице его блестящих «Комментариев». Этой участи подвергаются целые народы. Ужас этого факта может сравниться только с жестоким хладнокровием рассказчика. Цезарь убивает, забирает и продает: «убивши сенаторов, остальных продал в рабство с аукциона». За один раз он продал

пятьдесят три тысячи человек. Если верить Плутарху и Аппиану, то он взял в плен свыше миллиона, прежде чем добился той окончательной победы, вслед за которой в очень недалеком будущем ворота Рима и двери сената должны были открыться перед теми же галлами как полноправными гражданами.

Не было ничего труднее, как захватывать этих рабов, но и не было ничего труднее, как их держать. Испанцы были слишком опасны; жители Сардинии слишком непокорны; они могут гордиться тем, что именно в силу этого своего качества они дали повод, к возникновению поговорки: «Сарды — для продажи». Поэтому от них в качестве слуг нельзя было ожидать ничего хорошего. Цицерон, видя, что Цезарь расширяет театр военных действий вплоть до Британии, скорбел о той печальной добыче, которую он с собой приведет и которая будет состоять из рабов, вероятно мало сведущих в музыке и литературе.

В то же самое время, когда Рим продолжал вести эти упорные и бесславные войны на западе, легкие и блестящие победы на востоке доставляли ему при значительно меньшей затрате сил толпы людей, более знакомых с искусствами и условиями рабства. Эллинские народы, к своему несчастью, столь разбеденные с самого начала борь-



Пленный дак

бы Македонии с римлянами; Эпир, который, будучи сперва союзником Рима, затем отвернулся от него, не принеся, однако, с собой победы для противной стороны; Иллирия, присоединившаяся к Эпиру и к Македонии накануне поражения,— все эти народы, населявшие север Греции, заплатили весьма тяжелую дань рабству, когда Павел Эмилий завершил поражение Персея. Вслед за македонским царем среди блеска триумфального шествия двигались изображения побежденных народностей; и действительно, почти целые народы были лишены свободы и рассеяны повсюду в качестве рабов. В одном только Эпире было продано сто пятьдесят тысяч человек. Средняя Греция оставалась еще нетронутой, но та политическая зависимость, в которую она была поставлена, являлась как бы преддверием к еще более тяжелому положению. Эта политическая униженность ослабила страну, в то же время чрезмерно возбуждая в душах людей ненависть к игу. Когда они захотели разбить его, они его только усилили. Греция была окончательно покорена, и последние борцы за ее свободу отправились в Рим, чтобы увеличить собой число рабов.

То же самое происходило и в Азии. Везде войска, уходя, уводили с собой цвет побежденных народов; везде победители, прежде чем поставить все население страны, мужчин и женщин, в одинаковые условия зависимости, собирали еще дань рабами среди наиболее преданных ее защитников. Это было неизбежным следствием всякой битвы и завершением каждого похода. И если бы мы собрали все тексты древних писателей, то все же не получили бы действительной, реальной картины. В самом деле, исторические рассказы дают далеко не исчерпывающие сведения по этому вопросу. Пленников еще считали во время первых войн Италии, во время Самнитских войн, когда, имея равные шансы на успех, особенно заботливо отмечали потери, понесенные той и другой стороной, как два

игрока, поставившие на карту свое состояние и свою жизнь. Тит Ливий сохранил среди всего остального и эти фрагменты древней римской истории. Но впоследствии Рим знал одни лишь победы, и, не имея основания опасаться чего-либо, даже в случае какой-нибудь неудачи, он значительно меньше стал интересоваться этим подсчетом. Привычка часто заставляла пренебрегать упоминанием их числа, которое, естественно, само собой напрашивалось. Даже сам Цицерон, возвратившись после осады Пинденисса и из своего похода на Исс, не считает своих пленников. Он ограничивается тем, что сообщает Аттику, что их продавали в тот момент, когда он писал, в третий день сатурналий. Итак, о них не говорят даже в общих терминах, за исключением некоторых замечательных случаев или таких, которые отмечены какими-либо особенностями. Так, например, называли (на этот раз опасность была очень велика) число пленников, взятых Марием при «Секстиевых водах» и при Верцеллах и состоявших из девяноста тысяч тевтонов и шестидесяти тысяч кимвров. Исчисляли также несметную добычу, захваченную Лукуллом в Понте как стране, богатой и с давних пор не подвергавшейся разорениям, сопровождающим войны; добыча была столь значительна, что раб продавался за 4 драхмы (1 р. 20 к. золотом), вол — за 1 драхму (30 коп. золотом) и все остальное в том же духе. Упоминали также о многочисленных рабах, выведенных Катонам из страны, занятие которой было для него лишь приятным путешествием, а именно с острова Кипра. Говорили о них потому, что Клодий, декретировавший эту экспедицию, оспаривал у совершившего ее Катона честь дать имя рабам. Будучи долгое время предметом спора между этими двумя славными именами — Клодиев и Порциев, они в конце концов не получили ни того, ни другого и продолжали называться кипрцами, как и прежде. Упоминали еще о сорока четырех тысячах пленных, которых Август су-

мел захватить в горах Салассиев, а в конце первого столетия Империи мы встречаемся с последней страницей истории евреев, на которой Иосиф Флавий смог записать все те бедствия, которые сопровождали пленение: наиболее молодые и крепкие из пленников предназначались для триумфа; из числа оставшихся — детей продали, более пожилых отправили в каменоломни Египта, огромное число распределили по провинциям, где они погибали в цирках, растерзанные хищными зверями, или от меча. Во время самой сортировки, порученной Фронтому, другу Тита, двенадцать тысяч умерли от голода; из двух миллионов семисот тысяч человек погиб один миллион сто тысяч, а девяносто семь тысяч остались рабами.

Но, по мнению некоторых, это количество было еще слишком незначительно. «Сколько врагов, столько рабов» — такова была та новая форма, которую Сизиний Капитон придал старой поговорке, переставив ее слова и смысл: «сколько рабов, столько врагов».

Все народы прошли перед лицом римского народа в этом торжественном смотре, произведенном победоносными воинами, все народы послали на Капитолий обычные жертвы триумфов, все отдали рабству многочисленные толпы своих детей. Но привычка к этим зрелищам притупила чувство. Сама поэзия в большинстве случаев обходит молчанием эти сцены отчаяния, в которых римлянин не появлялся уже больше в качестве жертвы. Лишь одна муза Вергилия с волнением изображает эти удивительные картины. Она обращается опять-таки к Греции, и в трогательных словах Андромахи, обращенных к Энею, слышится как бы отзвук печальных жалоб Эврипида.

4

Последствия войны были одинаковы во всех странах, куда только проникали оружие и власть

Рима. В областях, у пределов которых Рим остановился, он продолжал поддерживать постоянный очаг рабства, преимущественно на берегах Дуная. Пески Африки, горы Азии могли служить препятствием для вторжения и защитой для местного населения; но широкая долина Дуная и обширная равнина, спускающаяся с севера на юг к Черному морю, казалось, были предназначены во все времена быть источником рабства. Название скифов, согласно древним авторам, являлось почти синонимом раба. Пока же в ожидании давов среди рабов сцены обычно фигурировали геты. Казалось бы, что обращение в рабство должно было ограничиться этими областями и что господство Рима, распространяясь все дальше, должно было гарантировать безопасность странам, изъявившим ему свою полную покорность. Однако ничего подобного не произошло. Трудно было ожидать, чтобы в то время, когда Рим благодаря постоянному контакту с Грецией и Азией начинал усваивать все вкусы более утонченной цивилизации, он мог удовлетвориться рабами-варварами. Сирия, Киликия, Каппадокия чаще всего дают комедиям имена рабов. Рабы, происходившие оттуда, пользовались очень небольшим почетом по сравнению с другими рабами, которых цветущие города Ионии и наиболее славные области Греции посылали на службу великим людям Рима.

Таким образом, жители стран, находившихся в зависимости или под протекторатом Рима, не были гарантированы от возможности обращения в рабство, а правители, обязанные защищать их, нередко сами являлись тому причиной или по крайней мере этому содействовали. Проконсулы, которым было поручено управлять провинцией при помощи нескольких легионов, не желали считать себя лишенными права войны благодаря миру. Им не нужны были битвы, чтобы приговаривать к рабству или к смерти своих подданных, в которых они не переставали видеть своих врагов. Что

касается всадников — этих капиталистов, прикрывавшихся военным званием, — то они находили более простые и более легальные способы благодаря практикуемому ими ростовщичеству и управлению налоговым делом. В самом деле, эти народы, часто разоренные предшествовавшими войнами и вынужденные прибавить к своим прежним повинностям еще налог в пользу римлян, не всегда оказывались в состоянии платить в установленный срок. Но с ростовщиками можно было договориться. Они предлагали аванс, вопреки запрещавшему его закону Габиния; они открывали счет должнику государственной казны и превращали его в своего должника. Римский закон некогда отменил законные проценты, тогда их стали назначать по своему усмотрению. Стоик Брут давал сенату Саламина займы деньги из 4% в месяц, или 48% годовых. Он получил от сената два декрета, имевшие целью прикрыть то, что было незаконного в этом займе, заключенном для уплаты налога. А для того, чтобы заставить выплатить ему проценты, Скаптий, его креатура, получил от Аппия, правителя Киликии, войска и командование над ними; с этими войсками он осадил или только блокировал сенат, но так удачно, что несколько сенаторов погибли от голода. Жители Саламина во что бы то ни стало хотели освободиться от своего долга; чтобы выплатить его, они объединили проценты с капиталом. Но это совсем не входило в расчеты Брута. Его поверенный в делах отказался принять капитал. Он желал получить только проценты и обратился к Цицерону, преемнику Аппиана, с просьбой прислать ему еще отряд всего в пятьдесят всадников. После всего этого не прав ли был Брут, воскликнувший при Филиппах: «Добродетель, ты лишь пустое слово!»?

Денежные вымогательства, увеличенные всевозможными побочными взысканиями, являлись для провинций источником колоссальной задолженности. Про-

винция Азия, обложенная Суллой и вынужденная обратиться к публиканам (ростовщикам), заплатила двойную стоимость налога, и понадобилось в четыре раза больше, чтобы погасить долг. Всадники владели секретом извлекать доходы из доходов государства, несколько их не уменьшая этим единственным в своем роде искусством питать и оплодотворять кредит. И когда он дал все, что только можно было из него извлечь, когда средства должников окончательно иссякали, тогда кредиторы прибегали к закону о долгах, который не был отменен для провинций, и, забравши сперва деньги, они забирали потом и людей. Можно было бы видеть в этой картине преувеличение, очень ловко придуманное, но вполне допустимое, если бы для его подтверждения мы не имели важного свидетельства, доказанного очень важным событием. Когда Марий, повинувшись распоряжению сената, потребовал у Никомеда, царя Вифинии, следуемый с него отряд вспомогательных войск, Никомед ответил, что у него нет здоровых подданных, что они все забраны и отправлены в качестве рабов в различные провинции откупщиками налогов. Сенат был глубоко взволнован этим заявлением, которое под столь покорными выражениями скрывало такое серьезное обвинение против римской администрации. Сенат решил успокоить мир, дав ему как бы некоторое удовлетворение за прошлое и гарантию для будущего, и издал соответствующий декрет, который он не сумел провести в жизнь. Но это не осталось безнаказанным. Стремление к свободе, оживленное надеждой, не легко было снова подавить. Оно вспыхнуло в огромном восстании: это была вторая и наиболее серьезная из всех войн, ареной которых была Сицилия.

5

К тому злу, которое римское управление порождало в мире благодаря своим суровым мерам или зло-

употреблениям, следует прибавить еще и то зло, которому оно потворствовало благодаря своему безразличному отношению. Рим никогда не претендовал на господство на море. Он довольствовался тем, что никакой другой народ не казался способным затмить его. Он уничтожал неприятельские флоты и, победив, допускал гибель своих собственных. Это господство, в котором он отказывал другим, не претендуя на него лично, перешло в руки пиратов. Уничтожение карфагенского флота после битвы при Заме и гибель флотов Антиоха были первым шагом к их могуществу. Ободряемые, с одной стороны, беспечностью римлян, они, с другой стороны, находили себе поощрение во все возрастающей среди них роскоши. Они одни могли доставлять им этих отборных людей, которых уже нельзя было встретить на полях сражений; кроме того, в этом им помогало соревнующееся честолюбие дегенеративных царьков, которые делили между собой остатки наследия Александра: морские царства Кипра и Египта видели в них союзников против царства Селевкидов. Итак, они плавали на свободе, брали в плен и продавали своих пленников или в Сиде, где они даже не считали нужным скрывать их происхождение, или на обширном рынке острова Делоса, расположенного в центре их плаваний, рынке столь богатом, что, по словам Страбона, оттуда каждый день можно было вывозить «мириады» рабов.

Пиратство, превратившееся, таким образом, в торговлю, стало вскоре одним из наиболее прибыльных и чаще всего практикуемых видов торговли. Всадники, наиболее именитые фамилии Рима, снаряжали корабли и отправлялись служить под этим флагом. Итак, вскоре пиратство стало почетным ремеслом. Оно превратилось уже как бы в организованную силу, обладающую арсеналами, гаванями, флотом, определенными наблюдательными пунктами. Пираты нападали теперь не только на корабли, затерянные в морском просторе, но и

на города: ими было занято более четырехсот. И даже сам римлянин не мог чувствовать себя в безопасности в Италии. В былое время предводители пиратов, высадившись на берег Литерна, посылали своих людей приветствовать великого Сципиона в его уединении. Эту дань уважения они должны были, вероятно, оказывать ему после сожжения карфагенского флота. Но после падения Митридата их наглость не знала больше границ, и если они причаливали к берегам Италии, то только для того, чтобы похищать преторов в их пурпурной тоге, их ликторов и их связки (*tascas* — пучки прутьев с топорами). Они похитили дочь Антония, своего главного врага, когда она отправилась в свое имение. Решиться на такие дерзкие нападения можно было или для того, чтобы нанести оскорбление, или в надежде получить выкуп, так как римский гражданин представлял из себя товар, который нелегко было реализовать на рынке. В этом случае они доставляли себе удовлетворение иным способом: если среди пленников находился человек, сославшийся на это грозное звание, они притворялись удивленными, испуганными, падали на колени, молили о прощении; они надевали на него тогу во избежание нового недоразумения, затем, высказывая множество сожалений, они спускали в море трап и приглашали его свободно по нему спуститься; в случае необходимости его к этому принуждали силой.

Помпею удалось благодаря широко предоставленным ему полномочиям и средствам и бесконечной снисходительности, проявленной по отношению к пиратам, уничтожить морской разбой как силу, но не как ремесло. Он продолжал существовать после этого периода явной наглости пиратов, как и до него, более незаметно, но с не меньшей энергией проявляясь в тех границах, до которых ему пришлось сократиться.

Те же потребности роскоши поощряли его активность и обезоруживали все репрессивные меры. На этом

обширном рынке Делоса, среди этого смешения всех языков, при покупке товара оптом (с условием, что в их среде нет римского гражданина) у торговца не слишком осведомлялись о происхождении его товара. А в Сицилии на опыте убедились, насколько небезопасно спрашивать об этом рабов. Морской разбой, вынужденный скрываться, тем не менее расширил арену своих действий. Его деятельность на суше и на море проявлялась теперь не в мимолетных и неожиданных высадках, но в более продолжительном пребывании. Под покровом гражданских войн он мог снять с себя маску; но даже и в мирной обстановке он осмеливался действовать более открыто. Люди, идущие вооруженными как бы для собственной защиты, нападали на путешественников среди полей и уводили их, свободных и рабов, в «эргастулы» (рабочие дома), где их и скрывали. Август приказал осмотреть домашние тюрьмы, причем обнаружилось много злоупотреблений. Но во многих местах они были не замечены или снова возобновлялись. Во время следующего правления Фаннию Цепиону было поручено произвести по всей Италии осмотр всех тюрем, предназначенных для рабов, где хозяева, по слухам, насильно держали путешественников и тех несчастных, которые из страха перед военной службой скрывались в этом убежище. И ритор Сенека в своих декламациях делал намеки на подобные же факты, оставшиеся безнаказанными.

6

Торговля была наиболее простым способом, посредством которого всякий мог приобрести себе тех, кого война или морской разбой сделали рабами. Торговля велась в тылу войска, в лагерях, куда полководцы иногда призывали торговцев для переговоров о массовой покупке пленников. Если же таких случаев не представлялось, то торговцы объезжали чужие стра-

ны, откуда можно было с прибылью для себя вывезти людей. Карфаген, подобно Тиру содержавший рабов для различных нужд своей промышленности и флота, вел также и торговлю ими. Для снабжения своего рынка он набирал их среди племен, живущих в его, Карфагена, африканских владениях. Но и после его падения не переставали требовать гетулов и мавров из Африки. Испания, так же как и Галлия, давала своих рабов; известно, с каким азартом вконец проигравшийся германец делал последнюю ставку на свою свободу. Но торговцы посещали эти варварские страны реже, чем азиатские царства, расположенные на границе римских владений, страны, где благодаря общегосударственной нищете рабство стало как бы местным злом, а именно: Вифинию, Галатию, Каппадокию, Сирию и т. д. Одного из этих торговцев Гораций называет «царем Каппадокии». Когда ассортимент рабов был готов, их отправляли в определенные, специально для этой торговли назначенные места. Рынки, указанные нами для греков, сохранили свою известность и в римскую эпоху; но с тех пор как сама Греция стала страной, поставляющей рабов, рынок на Делосе, как более центральный, затмил собой в качестве сборного пункта все остальные.

Рим был главным центром потребления. Именно в Рим стекались рабы со всех полей сражения, со всех рынков мира, чтобы затем рассеяться по разным местам для исполнения своих обязанностей и в городе и в деревне; но прежде чем достигнуть этого конечного пункта, они могли пройти через многие руки и испытать всякие превратности, так как эта обширная торговля допускала всякого рода спекуляции. Барыши, которые она давала, должны были возбудить алчность римлян. Этот вид коммерции, объявленный Плавтом бесчестным, являлся одной из наиболее выгодных форм помещения капитала, которую восхвалял и часто применял цензор Катон: он покупал молодых рабов, что-

бы выдрессировать их, как молодых собак, и получить барыш, наживаясь на том, что выучка повышала их первоначальную стоимость. Но как бы Катон ни старался своими советами и примером приучить римлян к этому промыслу, все же греки имели перед ними большое преимущество благодаря долголетнему опыту и занимали первое место на этих рынках. Их встречали на Священной дороге, на дороге Субурры и возле храма Кастора, толпившихся вместе с своим товаром около грязных таверн и всецело занятых продажей и обменом; они пользовались очень дурной славой. «Не доверяйте людям, стоящим позади храма Кастора», — говорил Плавт. В самом деле — это те самые люди, которых мы уже встречали в Греции, — жестокие, жадные, безжалостные и безнравственные, заклейменные общественным презрением и самим законом; эти черты их характера с легкой руки первых законовевдов перешли в свод законов римского права.

Закон в интересах государства и частных лиц принял против них известные меры.

Мы прежде всего говорим «в интересах государства», так как эта торговля облагалась двумя различными налогами: налогом на право ввоза и вывоза и на право продажи. Первый был сдан на откуп публиканам. Им надо было заявлять о всех привозимых рабах: рабах, предназначенных для продажи или для домашних услуг, новичках или ветеранах. Платили за рабов, назначенных к продаже, за рабов, служивших для потребностей роскоши, и за рабов, исполнявших домашние работы, в том случае, если они были новичками, т. е. находились в услужении меньше одного года. Этот налог равнялся $1/8$ части стоимости для евнухов и $1/40$ для остальных рабов и, следовательно, представлял из себя то, что мы называем таксой с оценки. Оценка производилась публиканами. Легко можно себе представить, что торговцы всячески старались скрыть настоящую цену рабов и отнести их к

той категории, которая не подлежала обложению; иногда они пытались даже выдавать их за свободных. В темах «Контроверз» (фиктивных речей) приводили пример молодого раба, которого они освободили от налога, облачив его в претексту и надев ему на шею буллу. Ребенка продали в Рим, но когда дело раскрылось, его вернули и дали свободу, признав его вольноотпущенным по милости своего [прежнего] господина.

Налог на продажу был утвержден только при Августе и составлял 2% согласно указанию Диона, и 4% по указанию Тацита. Этот налог, возложенный вначале на покупателя, затем на продавца, был снова переложен на первого, так как вскоре убедились, что покупатель ничего не выиграл от перемены, потому что торговец поднял цену на всю ту сумму, которую он должен был выплачивать казне. Итак, в этом случае речь шла только об интересах граждан, и закон стремился исключительно к тому, чтобы оградить их от всевозможных обманов, которые легко могли вкрасться в практику этих сделок.

7

Говоря о Греции, мы кое-что уже сказали об этих обычаях; они мало изменились во времена Римской империи. Разница лишь в том, что благодаря более позднему и более многочисленному дошедшим до нас документам нам известны многие подробности.

Рабам, которых выводили на рынок, предварительно мазали ноги чем-нибудь белым: это было знаком рабского состояния; иногда полководцы брали с собой мел, чтобы отмечать им своих пленных. Обычно рабов выставляли открыто на помосте или, если стоимость их была более высокая, то, наоборот, их держали в своего рода клетке, которая, окруженная тайной, привлекала настоящих любителей:

Не тех, что стоят в первых сених напоказ,
Но которых хранят загородки на тайном помосте.

Слово *catasta*, т. е. «место выставки», имело два обозначения. В точности это понимали так, что одно и то же сооружение должно было служить двум целям: представлять из себя клетку внутри и помост сверху. Те, которые стояли наверху, открыто для всеобщего осмотра, имели какие-нибудь общие им отличительные знаки: или венок (это были военнопленные, на что указывала эмблема победы) или колпак (это означало, что за них не давали гарантии. Иногда ярлычок, повешенный на шею, указывал на их характерные черты, происхождение, качества, способности, а в более ранние времена и на их недостатки (по приказанию претора). После выставки начиналась продажа; она производилась с аукциона или по взаимному соглашению, оптом и в розницу; в случае публичного торга объявление об этом делалось заблаговременно. Если продавалась целая партия рабов, то к рабам, предназначенным для работ или для роскоши, присоединяли несколько стариков, представлявших из себя кожу да кости; они проходили благодаря остальным. При розничной продаже, по мере того как торговец показывал одного раба за другим, заставляя их поворачиваться, прыгать или проделывать другие «гимнастические», а также «литературные» опыты, глашатай, взойдя на камень, объявлял их происхождение, их имена, превеличивал их достоинства и насколько возможно повышал цену. В «Аукционе душ» Лукиана мы видим изображение этого рода продажи и образчик ловкости глашатаев. При частных сделках, когда торговец находился с глазу на глаз с покупателем, он проявлял ничуть не меньше изворотливости. Всем известно, насколько эти люди владели тайной делать мускулы более гладкими, округлыми и блестящими, как они умели продлить внешним образом детство или по крайней

мере задерживать первые признаки зрелости; глагол *mangonizare* («колдовать», «искусственным способом переделывать»), производный от их имени, дает точное представление обо всех этих хитростях. Покупателю они тоже были известны; да и как мог бы он их не знать? Они были предметом самых настоятельных указаний в книгах по сельскому хозяйству, они давали содержание для наиболее часто употребляемых философами сравнений. Варрон и Сенека оба говорят об одном и том же. Плиний, как мы это только что видели, уделял им место в своей «Естественной истории» и Квинтилиан — в своих «Уроках красноречия». Но торговец и сам обладал достаточным красноречием, чтобы восхвалять те достоинства, о которых нельзя было судить по наружному виду, т. е. достоинства и добродетели внутренние. Но пусть он все же остерегается: если только он отступит от трафаретных форм неопределенных похвал, если эти похвалы касаются вполне определенных качеств и специальных способностей, то он уже берет на себя определенные обязательства. Если будет обнаружена лживость его уверений, то покупатель вчинит против него иск. Даже замалчивание, при известных обстоятельствах, может послужить поводом к аннулированию продажи. Эдикт эдилов, внушенный исключительно чувством недоверия к этой категории людей, устанавливал главнейшие случаи, дающие право вернуть купленную вещь. А юристы, по-своему развивая дух и смысл этого закона, говорили в своих толкованиях: «Тот, кто продает рабов, должен предупредить покупателя о болезнях и пороках каждого из них, объявить, если он беглец или бродяга, а также указать, если на нем тяготеют какие-либо судебные обязательства. Все эти заявления должны быть сделаны публично и во всеуслышание во время продажи. Если какой-либо раб продан вопреки этим общим постановлениям или если он не обладает объявленными качествами и не соответствует тому, что про него утверждали или

обещали, когда его продавали, то мы присудим покупателю или всякому иному тяжущемуся право вернуть его. Точно так же, если раб совершил уголовное преступление, покушался на самоубийство или спускался на арену, чтобы сражаться с дикими зверями, то пусть об этом объявят во время продажи, и во всех таких случаях мы вынесем свое заключение [о возврате]. Кроме того, если кто-либо обвиняется в том, что он при продаже прибег к обману, сознательно нарушая эти постановления, наше заключение будет обвинительным».

Итак, мы видим, что возможность обмана была очень ограничена, так как закон, точно определив все частные и общие случаи, кроме того обещает свое заступничество, если обнаружится какое-нибудь непредвиденное им мошенничество. Немота, глухота, близорукость или болезнь глаз, при которой человек перестает видеть при слабом утреннем или вечернем свете, трехдневная или четырехдневная лихорадка, подагра, эпилепсия, полип, чирьи, растяжение жил, недостаток в строении ног и бедер, дыхание, указывающее на болезнь легких и печени, а у женщин бесплодие, выкидывание вследствие органического порока или некоторые другие недостатки их особого телосложения — таковы многочисленные пороки, которые юристы относили к числу тех, которые давали право на возврат купленного. Поэтому они считали себя вправе в этом отношении несколько ограничить безусловный смысл закона: болезнь столь явная, что не могла остаться незамеченной покупателем, по их мнению, не нуждалась в особом упоминании. Надо было быть самому слепым, чтобы купить слепого раба вместо вполне здорового. А тело раба — разве оно не было представлено совершенно обнаженным для осмотра и ощупывания покупателем? Отдельные незначительные недостатки, которые могли ускользнуть при первоначальном испытании, как то: грудь несколько более широкая, чем следует, слишком широкое плечо, сутуловатость,

не совсем прямые ноги, не совсем здоровая кожа, некоторая несимметричность глаз или челюстей, в том случае если это не мешало видеть и есть, небольшой недостаток речи или слуха, незначительное увечье, большее или меньшее число пальцев на руках и ногах, не представляющее неудобства при пользовании ими, не служили достаточным основанием для аннулирования состоявшейся продажи; тем более она не нарушалась, если не хватало нескольких зубов. Но тем не менее покупатель не был лишен права взыскивать убытки. Если он не мог требовать по суду права возврата, он мог вчинить иск, вытекающий из закона о торговых сделках, чтобы предохранить себя от всякого убытка. Точно так же юристы понимали болезни и недостатки, о которых говорилось в законе, не в буквальном смысле слова: они делали исключение для душевных заболеваний, если только они не были вызваны причинами физического характера и не имели следствием действительную нетрудоспособность, как некоторые случаи расстройства умственных способностей или помешательства. Но было безумие и другого рода, которое придавало этому понятию другое значение; свидетель тому Марциал:

Он просыл дураком и за двадцать тысяч мной куплен.
Гаргалиан, возврати деньги мне: он ведь с умом.

Пристрастие к вину, игре, хорошему столу, склонности к хитрости, лживости, ссорам и воровству были слишком обычными качествами раба, чтобы налагать на продавца законное обязательство заявлять о них под страхом аннулирования акта продажи. Но эти пороки, как и многие другие, являвшиеся скорее чертами характера, например, чрезмерная робость, корыстолюбие, жадность, припадки ярости или меланхолии, могли в случае простого умолчания о них послужить поводом к вчинению иска об убытках по торговым сдел-

кам, но мог возникнуть и процесс о принудительном возвращении покупки, если при продаже утверждалось противоположное. Действительно, торговец согласно постановлениям эдикта эдилов отвечал за то, что он утверждал или обещал. Поэтому, если он продавал раба, выставя его не вором, в то время как он был таким, уверял, что он ремесленник, когда он им не был; если он нахально выдавал за ученого просто грамотного и брал на себя смелость приписывать ему терпение, усердие в работе, ловкость, бдительность, бережливость, способствующую накоплению его «пекулиума» (рабского имущества), в то время как обнаруживалось только легкомыслие, озорство, любовь к безделью и к отдыху, лень, медлительность, обжорство, то против продавца мог быть вчинен иск о принудительном возвращении или о взыскании разницы между действительной стоимостью и чрезмерно высокой заплаченной ценой, только название раба «честным» не обязывает ни к чему. Однако, говорит юрист, не следует придавать слишком буквальное значение слову и предъявлять к рабу, объявленному обладающим определенными правилами, требований твердости философа.

В числе поступков, зависящих от душевных качеств, были такие, которые, не будучи объявленными, могли дать повод к иску о принудительном возвращении. Некоторые из них были предусмотрены в эдикте, другие были добавлены юристами. Эдикт прежде всего указывал на беглого раба, а юристы пускали в ход все тонкости своего искусства, чтобы точно определить случаи, которые можно было квалифицировать как бегство. Раб, выходящий из дома своего господина с намерением не возвращаться туда, есть уже беглый, если он скрывается с целью бежать, даже не имея еще средств для выполнения плана побега и не выходя еще из дома хозяина,— он все же беглый. Одного намерения было достаточно, чтобы наложить на него это клей-

мо («сделать душу его беглой»); раскаяние, за которым последовало добровольное возвращение, не могло его смыть; возвращение не уничтожало виновности в побеге: следы этого проступка остаются неизгладимыми на его личности, как то позорное клеймо, которое ставили на его лбу. Затем следует бродяга, своего рода беглый в малом виде, как называет его Лабейон («капельный беглец»), развлекающийся во время выполнения поручений в пути и поздно возвращающийся домой; слуга, о котором говорит Венулей, питавший особое пристрастие к картинам, несомненно относится к этой категории; раб, уличенный в каком-нибудь проступке или виновный в большом преступлении; а комментатор распространял право иска на раба, уже приговоренного к наказанию, вследствие чего покупатель уже не являлся абсолютным господином над его личностью. Наконец, претор вменял в обязанность объявлять, не спускался ли раб случайно на арену (это было указанием на опасную отвагу) или, может быть, покушался на самоубийство, так как считалось, что он был способен на всякие преступления против других, если он совершил такой проступок против самого себя.

Эти официальные предписания эдикта юристы дополняли другими. Торговец был обязан, под страхом того же наказания, объявлять родину раба, так как его происхождение говорило за или против его характера и служило указанием, способным привлечь или оттолкнуть покупателя. В самом деле, некоторые страны пользовались в большей или меньшей степени дурной славой в смысле нравов и привычек местного их населения: фригиец считался робким, мавр — тщеславным, критянин — лживым, житель Сардинии — склонным к мятежу, корсиканец — жестоким и непослушным в работе, далмат — свирепым, киликиец и каппадокиец в различных отношениях пользовались не лучшей репутацией, чем критянин. Наоборот, си-

рийца ценили за его силу, жителя Азии и особенно Ионии — за его красоту, александрийца — как вполне сложившийся тип тех молодых и развращенных певцов, которые выступали на празднествах и во время игр. Кроме того, вменялось в обязанность оповещать о том, был ли раб новичком или ветераном. Правда, мнения о смысле этих терминов несколько расходились. Некоторые полагали, что они должны заключать в себе не столько понятие времени, сколько зависеть от рода и характера службы. К числу этих лиц принадлежал Целий, подкрепляя свое мнение довольно веской аргументацией. Но это значило искать определение, так сказать, вне естественных границ самого слова. Другие, наоборот, придерживались узкого смысла. Согласно их мнению, старым и опытным рабом считался тот, кто в течение целого года служил в городе. Казалось бы, что это время учения должно было повысить стоимость раба и что все те хитрые уловки, в которых обвиняли торговца, эта неопределенность, благодаря которой они намеренно путали новичка и ветерана, имели целью придать новичку внешние признаки долголетней службы. В действительности же дело обстояло как раз наоборот. Новички ценились выше: несмотря на большую грубость, они были проще, более пригодны для службы, более покорны и более проворны во всех видах работы. Что касается других, то считалось, что их труднее перевоспитать, а им примениться к настраиванию нового господина. По истечении года за это уже нельзя было ручаться.

Иск о принудительном возврате следовало подавать в течение шести месяцев, а о взыскании разницы в цене — в течение года: если пороки, на которые ссылались, были менее легко распознаваемы, то срок удлинялся. Даже смерть раба не всегда служила достаточным поводом, чтобы приостановить дело; и чтобы предупредить всякого рода противодействие, возможное со стороны ответчиков, нередко организованных в

общества, разрешалось ограничиваться вызовом в суд одного главного продавца без его товарищей.

Несмотря на всю предусмотрительность закона, несмотря на все эти многочисленные случаи, дающие повод к подаче жалоб, и другие облегчения, для мошенника-торговца находилось достаточно простачков. Он делал требуемые законом оповещения, но с безграничным искусством умел ослабить первое впечатление и смягчить его значение множеством похвал:

Видишь, вот этот блестящий красавец до пят от макушки
Станет и будет твоим только за восемь тысяч сестерций;
Он — доморосток, привык услужать по кивку господина.
Греческой грамоты малость впитал и на всякое дело
Годен: что хочешь лепи себе из него, как из глины.
Даже недурно поет: неискусно, но пьющим приятно.
Много посулов ведь веру к тому подрывают, который
Хвалит товар чересчур, лишь сбуть его с рук замышляя.
Крайностей нет у меня — на свои я живу, хоть и беден.

Так ни один продавец не поступит с тобой, и другому
Дешево так не отдам. Только раз он забыл приказанье
И, как бывает, плетей испугавшись, под лестницу

скрылся.

Деньги отдай, коль побег, что не скрыл он, тебя не
смущает.

Думаю, плату возьмет не боясь он, что пеню заплатит:
Зная порок, покупал ты раба и условия ты слышал.

Несомненно, как это говорит Гораций, продавец возьмет деньги, не боясь наказания: покупателю было известно о проступке раба, и, следовательно, закон был против него.

Во всех многочисленных мероприятиях этого полицейского постановления законодателя интересует только законность договора; законодатель защищает право покупателя, он поддерживает законные права продавца; но не уделяет никакого внимания продава-

емому или покупаемому объекту. Раб подвергается всем случайностям сделок; если он окажется «испорченным», то убытки будут возмещены господину, и на этом все кончится. После этого юристы будут превозносить уважение закона к человеческому достоинству, так как в вопросах подобного рода закон не допускает, чтобы раб стал принадлежностью вещи меньшей, чем он, стоимости: это вопрос денег, а не гуманности. Раб тем не менее будет дополнением к вещи, дополнением к животному, если они представляют большую стоимость; в силу иска о принудительном возврате какой-либо вещи можно было с полным правом забрать колону вместе с землей, ремесленника вместе с мастерской, пастуха вместе со стадом. Итак, напрасно превозносят по этому случаю человеческое достоинство, и напрасно другой закон говорит, что к рабу неприложимо название товара, раз его выводят на рынок и отдают на произвол торговца под тем названием, которое ему заблагорассудится дать. Какое уважение к человеческому достоинству проявлял солдат по отношению к своему пленному в день победы или откупщик по отношению к тем несчастным, которых подати и нищета отрывали от семейств в течение многих веков насилия? И когда эта толпа, предназначенная к рабству, попадала в руки того, кто отводил ее на рынок, то едва ли какой-либо другой вид товара пользовался меньшей заботой во время пути, с тех пор как человек стал объектом торговли. И если закон отказывает ему в названии товара, то только благодаря своего рода пуризму, от которого раб ничего не выигрывает. Сам закон из разряда людей перевел его в разряд вещей и обращался с ним как с таковыми; он сам указал ему место среди низших созданий: он поместил его среди четвероногих из породы домашних животных, где он занял, пожалуй, первое место как по своему внешнему виду, так и по своей работе, так как в случае необходимости он их всех заменял: и осла с его

ношей, и лошадь у жернова, и вола в полевых работах, и собаку, сторожащую у двери, но, увы, он не всегда занимал первое место в уважении людей: иногда его ценили ниже скота. Прежде чем дополнить эту главу беглым обзором цен, установленных на рабов, необходимо сказать несколько слов о том, каким образом число рабов, сильно возросшее, распределялось между различными должностями и службами. Эти исследования позволят нам дать правильную перспективу общей картины рабства в Риме. В этих рамках мы сможем лучше познакомиться с условиями, в которые было поставлено рабство, и с тем влиянием, какое оно само оказывало.

Глава третья

ЧИСЛО РАБОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Раб — это человек, лишенный всякой индивидуальности, созданный для того, чтобы служить только орудием для удовлетворения потребностей другого, орудием тем более подходящим для этого назначения, что, имея возможность лучше узнать эти нужды, он мог лучше удовлетворять их. Поэтому институт рабов все глубже и глубже внедрялся в жизнь Рима по мере того, как его источники становились все многочисленнее, и наступил момент, когда рабство, вытеснив почти отовсюду свободный труд, некоторым образом на своих плечах одно выдерживало всю тяжесть римского общества; перемена очень серьезная, от которой Рим должен был ждать самых ужасных последствий в будущем, если бы только он так слепо не верил в свою судьбу; впереди была жизнь народа, отданная в руки рабов! Однако же рабство, рожденное насилием, могло держаться только насилием; допуская, что Рим был в состоянии его поддерживать, мог ли он быть уверенным, что сможет постоянно возобновлять его источники? И если бы когда-нибудь эти источники иссякли, что произошло бы в данном случае с трудом и жизнью? Кто вернул бы свободного человека на то место, откуда прогнал его раб, и в чем была бы гаран-

тия равновесия для общества в этот критический момент, когда революция коснулась бы самых его основ?

Тем не менее таковы два противоположных движения, которые сменяли друг друга в римском мире: замена свободного человека рабом, а затем раба — свободным человеком. Первое движение берет свое начало в эпоху завоеваний; оно проходило не без потрясения; раб не раз восставал против ига; да и свободный человек не оставался безучастным к той тенденции, которая, лишая его работы, угрожала его будущему. Но здесь, по крайней мере, опасность происходила от избытка жизненной энергии, от столкновения этих двух враждебных, поставленных лицом к лицу сил; а республика была построена на достаточно прочных основах, чтобы оказывать им сопротивление. Иначе обстояло дело, когда управление империи почувствовало необходимость вызвать противоположное движение. Рабский труд сокращался с каждым днем, а свободный труд не оказывался способным его заменить; под самыми основами империи начинала раскрываться бездна. Какой силе было суждено поддержать ее?

1

В начальную эпоху республики рабское население было очень незначительно; один текст Дионисия Галикарнасского позволяет приблизительно определить его численность. Оно составляло самое большее одну восьмую часть, а может быть, только одну шестнадцатую всего числа свободных. Небольшое пространство, занимаемое римскими владениями в эту эпоху (476 г. до н. э.), достаточно объясняет это. Рим, на который наседали со всех сторон этруски, сабиняне и вольски, владел на правом берегу Тибра узкой полосой земли вплоть до Кремеры на границе с Вейями; на севере находилась Сабинская область по сю сторону Кур; на востоке — древний Лациум, попавший в зависимость

от Рима после битвы при Регильском озере, и небольшая часть земли, недавно захваченная у вольсков благодаря одержанной над ними победе (Велитры, Лонгула, Поллуска, Кориолы), с двумя или тремя городами в центре (Норба, Эцетра и Суесса Помеция). Заключенный в столь тесные границы, Рим мог противостоять своим врагам только при помощи многочисленного войска, и потому для рабов оставалось очень мало места. К тому же если рабы не были рождены в доме своего хозяина, то каким образом можно было их удержать, имея соседями всегда враждебно настроенные племена, из среды которых война некогда вырвала их? Отсюда ясно, что рабы имелись далеко не в каждом доме и что многие римляне сами, без посторонней помощи, обрабатывали свои небольшие наследственные участки по примеру Цинцинната, которого посланные сената, пришедшие к нему с предложением стать во главе легионов, застали в поле за работой.

Но римские владения постепенно все расширялись, и вследствие непрерывных, следовавших одна за другой войн, распространивших господство Рима вплоть до самых границ Италии, случаи, дававшие возможность порабощения населения, все учащались, в то время как для пленных возможность избежать рабства все уменьшалась. Нет сомнения, что много уступок было сделано покоренным народам, чтобы удержать их в повиновении, и в недалеком будущем Италия превратилась в привилегированное государство, окруженное подвластными ему провинциями; эти именно обстоятельства обусловили могущество Рима и позволили ему, не открывая пока италийцам доступа к гражданским правам и в ряды легионов, включить их в свою политическую систему и считать их своими солдатами. Но те, которые во время борьбы были захвачены и обращены в рабов, были подчинены военному закону. Поэтому-то число рабов увеличивается в значительно большей степени, чем число граждан, в период от взя-

тия Рима галлами до второй Пунической войны. Число граждан увеличивается благодаря основанию нескольких колоний, организации нескольких новых триб и дарованию прав гражданства магистратам муниципальных городов. Это незначительное пополнение мало отразилось на числе способных носить оружие, колебавшемся со времени эпохи царей до Пунических войн в пределах от 120 тысяч до 300 тысяч. Рабское население образовалось из огромного количества италийцев, которых перестали щадить после многих поражений, из пленников, поставляемых Африкой и двумя захваченными у Карфагена островами — Корсикой и Сардинией, известными своими частыми восстаниями против нового римского ига; а после второй Пунической войны оно стало пополняться всеми этническими группами и племенами запада и востока. Об их числе мы не находим никаких специальных указаний у древних авторов. Каким же образом заполнить этот пробел?

Историки, хранящие молчание о рабах, иногда упоминают о свободном населении Италии. Если бы оказалось возможным привести все их оценки к определенной цифре и если бы каким-нибудь иным способом удалось установить общее число жителей полуострова, то разность и составила бы как раз число рабов. Именно этим методом Дюро-де-ла-Малль пытался достигнуть поставленной цели.

Итак, какова прежде всего была общая численность населения Италии? Автор пытается определить число населявших ее людей исходя из количества зерна, которое она могла производить. Он берет страну в границах римского господства в начале второй Пунической войны, т. е. весь полуостров до Рубикона и Макры. Он старается установить, сколько она могла производить, чтобы отсюда заключить, сколько она могла потреблять. И, сопоставляя общую потребляемость с потребляемостью индивидуальной, он получает вероятную цифру народонаселения.

Рассмотрим прежде всего, какова была производительность Италии. Италия в указанных нами границах имела, согласно данным Мальтбрена, у которого Дюро-де-ла-Малль заимствует свои цифры, 7774 квадратных югера, или немного более 15 миллионов гектаров (15356109). Но какая часть этой площади была пригодна для обработки и какая действительно обрабатывалась? За отсутствием общих данных для современной Италии Дюро-де-ла-Малль стал искать это соотношение в статистических таблицах Франции, опубликованных министерством земледелия в 1836 г. Пространство годных для обработки земель, согласно этим данным, считалось приблизительно равным половине всей площади, точнее, для римской Италии (по эту сторону Рубикона) — 7437906 гектарам. Но при этом необходимо учесть поля, находившиеся под паром; согласно среднему подсчету Колумеллы, они ежегодно составляли 35% общего количества десятин. Земли же фактически обработанные составляли только 0,65, или приблизительно $\frac{2}{3}$ земель, годных к обработке. Итак, производящей можно считать немногим меньше $\frac{1}{3}$ общей площади, т. е. около пяти миллионов гектаров (4834653).

По этому первому пункту мы несколько расходимся с выводами, полученными автором.

Таблицы, из которых он заимствовал исходные данные своих расчетов, несмотря на то, что они значительно превосходят старые данные статистики, все же оставляют желать многого в смысле точности. Далеко не все было исследовано; то, что ускользало от наблюдения, исчислено в общих чертах и приблизительно, чтобы как можно скорее представить общие выводы; и это особенно чувствуется по отношению к землям, годным к обработке, исчисленным более чем для половины всей площади страны. Новые, более точные публикации 1840—1841 гг. заполнили пробелы и исправили некоторые ошибки, вкравшиеся в слишком

общую оценку. Эти новые таблицы, использованные нами для определения количества урожая в Аттике, содержат для каждой области Франции более подробный анализ различного рода культур и той площади, которую они занимали. Возьмем, как мы это сделали для Аттики, юго-восточную область (к востоку от Парижского меридиана и к югу от 47-й параллели), область, граничащую с Италией и местами напоминающую ее как гористым характером местности, так и климатом. Общая площадь равняется 13287463 гектарам, а площадь зерновых культур (пшеница, ячмень, маис и т. д.) — 2490591. Если применить это отношение к римской Италии, то мы получим следующую пропорцию: $13287463 : 2490591 = 15356109 : x = 2878336$ гектарам, немногим менее 3 миллионов круглым счетом.

Разница в полученных результатах довольно значительная, так как вместо одной трети мы получили одну пятую. Какова же была обычная производительность? Вопрос этот, несмотря на свидетельства древних, а может быть, именно благодаря им, представляет некоторые трудности. Отношение урожайности к количеству семян, согласно Варрону, равнялось 10 и 15 к 1 в Этрурии и в некоторых других областях Италии; это исключительные случаи урожайности, и Колумелла, по-видимому, придерживается противоположной крайности, сводя ее в общем к 4:1. Дюро-де-ла-Малль повышает ее до 5:1, ссылаясь на пример некоторых областей современной Италии; это приблизительно средняя урожайность юго-восточной части Франции. Что касается количества семян, представляющего исходную единицу во всех этих отношениях, то Варрон определяет его приблизительно в пять четвериков — около 300 литров на $\frac{1}{4}$ десятины, в зависимости от качества почвы; в переводе на наши меры это составило бы 43,4 литра на 25,4 ара, или 1,7 гектолитра на гектар; Цицерон определяет его в 1 медимн, или 6 чет-

вериков (52 литра), или 2 гектолитра на гектар для наиболее плодородных земель Сицилии. Но такая же точно почва была и в некоторых областях древней Италии; а кроме того, наиболее производительные области не те, которые требуют наибольшего количества семян. Поэтому бесполезно будет проверить эти данные, сравнив их с результатами новейших исследований. Итак, цифры, указанные Варроном, меньше самых низких цифр для юго-восточной области Франции, а данные Цицерона, напротив, приближаются к средним цифрам. Это среднее количество (2 гектолитра), давая урожай в количестве 11,3 гектолитра, мы приняли за основание при определении продукции Аттики. Если с еще большим основанием мы примем это количество для Италии, может быть, несколько хуже обрабатываемой, но в общем более плодородной, то получим (при 11 гектолитрах на гектар) немногим больше 30 миллионов гектолитров (31661696) продукции и, скинув $1/5$ на семена (6332339), немногим больше 25 миллионов для потребления (25329357).

2

Каково было индивидуальное потребление? И по этому вопросу мы, всецело следуя методу Дюро-дела-Малля, отклонимся от приводимых им цифр, но в другом направлении.

Ученый экономист считал, что эта норма достаточно ясно указана у древних писателей как для городского, так и для деревенского жителя и определяет паек первого в 1 кг, а второго в $1 \frac{1}{2}$ кг хлеба в день. Прежде всего мы позволим себе сделать общее замечание по поводу этого способа оценки. Древние определяли количество продуктов, выдаваемых периодически трудящемуся, весом хлеба или мерой зерна. Если хотят использовать одну из этих двух норм для исчисления народонаселения, то предпочтение следует отдать вто-

рой, как по своей природе более постоянной и могущей быть непосредственно сопоставленной с числом, выражающим продукцию и общее потребление страны. Так, Катон говорит в своем трактате о земледелии: «Пусть выдают рабам, работающим в течение зимы, четыре фунта хлеба, как только они начнут работать на винограднике, — пять, и до тех пор, пока не кончится сбор смоквы (фиг); затем пусть снова дают четыре». Это составило бы от 1,30 кг до 1,63 кг, и Дюро-дела-Малль взял среднюю этих двух цифр. Но непосредственно перед этим, в том же отрывке, Катон, регулируя распределение продуктов между всеми занятыми на его ферме, говорит: «Рабам, работающим в течение зимы, — четыре модия (приблизительно 1,3 гектолитра), фермеру, фермерше, надсмотрщику — четыре с половиной, пастуху — три». Вот нормы, весьма отличные друг от друга и, как кажется, не менее отличные от вышеупомянутых. Если перевести это в единицы веса, то получим 29 кг, 26 кг и 19,050 кг зерна в месяц, или 1 кг, 0,86 кг и 0,635 кг в день. Но каковы были в ту эпоху соотношения между весом зерна и муки, муки и хлеба? И затем, вполне ли достоверно, что Катон, согласно данному тексту, подразумевал определенный вес, а не определенное количество, что он сказал четыре или пять фунтов, а не четыре или пять хлебов, вес которых был общепринят, как это делает Плавт, указывая на ежедневный паек куртизанки?

Эти трудности или по меньшей мере эти сомнения, относящиеся к первому тексту Катона, лишний раз подтверждают, что следует отдать предпочтение второму, т. е. тому, где говорится о мерах объема; и приводимых им цифр вполне достаточно, чтобы не отвергнуть свидетельство комментатора Теренция, который определяет ежемесячный паек раба в четыре четверика.

Сейчас мы имели в виду деревню; что касается

города, то мы не считаем более убедительными оба текста Саллюстия и Сенеки, в силу которых хотели установить для него ту же норму в два фунта хлеба в день. Саллюстий в одном из своих исторических фрагментов вкладывает в уста трибуна Лициния следующие слова: «На основании хлебного закона они оценили вашу свободу в пять четвериков, что ставит вас в положение получающих тюремный паек; как его скромные размеры, не позволяя вам умереть с голода, ослабляют ваши силы, точно так же вы не освобождаетесь от домашних работ благодаря такой ничтожной милости». Итак, хлебный закон определял количество зерна, полагавшееся каждому гражданину, в пять модий; но не вытекает ли отсюда, что это считалось мерой его личных потребностей? Конечно, нет, точно так же как это не было, согласно тексту, и точно определенным пайком заключенного: пять модий — это составляло $66 \frac{1}{2}$ фунтов зерна, и нельзя себе представить, чтобы заключенные падали от истощения при таком режиме. Это количество являлось долей каждого гражданина во время общественных раздач, но не каждого члена семьи. Из этой семьи прежде всего следует исключить одну половину — женщин — и часть из другой, так как впервые Август распространил эту раздачу на детей моложе одиннадцати лет. Итак, это была доля одного, но пользовались ею многие; именно это и делало такую милость столь ничтожной и заставляло оратора добавить: «Такая милость не освобождает от домашних забот».

Норму, приводимую Саллюстием для городских жителей, Сенека более непосредственно относит к рабам: «Это — раб, он получает пять четвериков и 5 драхм». Вывод кажется здесь более законным; и тем не менее, вместо того чтобы заимствовать его у Дюро-де-ла-Малля, мы предпочитаем воспользоваться одним его аргументом, взятым из текста Полибия. Полибий говорит, что пехотинец получает 2 обола в день и две трети ме-

димна пшеницы в месяц; всадник — 6 обол в день и два медимна пшеницы. На основании этой разницы он заключает, что это является не их пайком (ведь один не ест в три раза больше, чем другой), а просто их вознаграждением. Это было их жалованьем, которое выплачивалось частью деньгами, частью натурой, ежедневно и помесечно. Точно так же, когда Сенека упоминает об «этом Атрее из театра», восхвалявшем царство своих отцов, и когда он прибавляет: «Это — раб, он получает пять модий и 5 драхм», то в этом нужно видеть не столько месячный паек артиста, сколько высокую оплату деньгами и натурой, благодаря которой высококвалифицированный раб мог жить и получать прибыль.

Итак, эти тексты не дают нам никаких положительных данных относительно месячных норм питания человека; а приводимые в них цифры таковы, что как раз могут заставить нас отказаться от использования их с этой целью. Мы говорим это на основании сопоставления тех мест, где Катон выразил в тех же мерах количество зерна, установленное для трудящихся лиц даже в деревне, а именно: работникам — четыре модия (34,7 литра), пастухам — три модия (26 литров). Мы говорим это на основании возможного сравнения с цифрами, приводимыми новейшей статистикой. Для того чтобы установить этот месячный паек, мы имеем в настоящее время широкую и надежную базу в тех наблюдениях, которые проведены для всех областей Франции и которые определяют индивидуальное потребление пшеницы и других хлебных злаков для юго-восточной части в 2,42 гектолитра в год, 20,16 литра в месяц, а для всей страны — в 2,71 гектолитра в год, или 22,58 литра в месяц. Дюро-де-ла-Малль, который ввиду отсутствия готовых данных был вынужден сам создать себе средство для сравнения с помощью анкеты, проведенной с большими трудностями и чрезвычайно добросовестно, точно так же констатировал раз-

ницу в потреблении современных и древних народов: и он ищет причину этого в улучшении помола, который в настоящее время дает значительно больше, чем можно было получить при помощи еще довольно грубых приемов римской античности. Этим объясняется, почему цены на муку стояли значительно выше, чем цены на зерно. Но не для питания плебеев и рабов производили такую тщательную сортировку. После того как зерно было смолото, мука смешивалась с отрубями, как это нередко наблюдается во многих наших деревнях, и затем из нее выпекался всем известный грубый хлеб бедняков; поэтому и потеря от данного ему количества зерна была незначительна.

Итак, мы думаем, что не ошибемся, если примем за ежемесячный паек одного человека 4 четверика, или $\frac{2}{3}$ медимна, т. е. столько, сколько давали пехотинцу как часть его жалованья, согласно Полибию, или рабочему в качестве пайка, согласно двум фразам Катона. Это немногим больше 1 хеникса (32 хеникса в месяц) — меры, обычной для пропитания одного человека в Греции. Но эта цифра слишком высока, чтобы принять ее за среднюю величину. Это паек мужчины; для женщин, детей, особенно стариков, если дело идет не только о рабах, но и о свободных, пища которых была более разнообразной, этот паек следует уменьшить; приходится удивляться, что Дюро-де-ла-Малль оставил без внимания наблюдение, которому Бёк и Летронн придавали такое большое значение при подобных оценках. Летронн, метод которого является наиболее простым, уменьшает паек, обычный для Атики, до $\frac{3}{4}$ хеникса. Допустим и мы, что средняя норма потребления в Италии равна $\frac{3}{4}$ количества, назначенного для одного трудящегося, и мы получим 24 хеникса, или 3 модия, в месяц, мера, которую Катон относил непосредственно к целой категории рабов. Это равняется римской амфоре в 26 литров, а в год — 12 амфорам, или 6 медимнам (3,12148 гектолитра).

Римская Италия (полуостров, за исключением Цизальпинской области) производила для потребления, не считая семенного фонда из расчета 11 гектолитров на гектар, около 25 миллионов гектолитров (25329357). Считая по 3 гектолитра на душу, она могла прокормить немногим более восьми миллионов жителей (8114534). Это составило бы 52 жителя на квадратный километр — величина меньшая, чем та, которую дает современная Италия, и много ниже того числа, которое дает последняя перепись во Франции (70 жителей на 1 кв. километр).

После того как мы установили общую цифру населения, перейдем к вопросу о том, какую часть из этого общего числа составляли люди свободные и какую рабы.

3

Перепись производилась в Риме каждые пять лет, и ее данные сохранились для важнейших эпох его истории. Но сверх того до нас дошел один текст Полибия, относящийся ко всей римской Италии в начале того периода, к которому мы приступаем, т. е. накануне второй Пунической войны, когда Рим, обеспокоенный уже продвижением карфагенян в направлении к Пиренеям, стремится дойти до Альп и подчинить себе воинственные народы Цизальпинской Галлии. Сенат приводит в известность силы, которыми он в случае нужды мог располагать как среди граждан, так и среди союзников. Полибий в общей сводке определяет цифру в 700 тысяч пехотинцев и 70 тысяч всадников — всего 770 тысяч человек в возрасте, годном для военной службы, т. е. от 17 до 60 лет. Если исключить отсюда 20 тысяч венетов, как относящихся к Цизальпинской области, получим 750 тысяч человек для всей Италии по сю сторону Рубикона и Макры.

В этом числе Полибий считает 250 тысяч человек

пехоты и 25 тысяч всадников, принадлежавших к римлянам и кампанцам, которые после присоединения их области к Риму считались гражданами, хотя и без права голоса. Остальное число распределялось между союзниками, и автор, приводя эти отдельные цифры, почти полностью подтверждает установленное им общее число. Оно относится только к мужчинам, годным к военной службе. Но таблицы дают нам соответствующее население всех возрастов и обоого пола. На 10 миллионов человек приходится 5626819 в возрасте от 17 до 60 лет; какое же количество населения могут дать 750 тысяч того же возраста? Предыдущие соотношения дают нам цифру 1332902; удваивая ее для женщин, мы получаем всего 2665804 человека.

Вычтя это число из установленного для всего населения этой области Италии (8114534), получим остаток (5448750), выражающий число лиц, не подвергшихся переписи.

Но для того чтобы определить число рабов, необходимо еще исключить целый ряд социальных групп.

Прежде всего вольноотпущенников. Дюро-де-ла-Малль путем остроумных сопоставлений попытался установить их число на 225 г. до н.э. В 398 г. по основании Рима (356 г. до н. э.) был введен налог двадцатой части за право отпущения на волю, а в 543 г. (211 г. до н. э.) сенат, не имея иных источников, изъял из казны деньги, составившиеся из этого налога. Он взял оттуда 4 тысячи фунтов золотом, что составляет 4496200 франков золотом. Спрашивается: впервые ли он коснулся этих сумм с момента введения налога? Это кажется весьма вероятным как потому, что Тит Ливий нигде больше об этом не упоминает, так и по той форме, как он здесь говорит об этом. Все ли было взято, что хранилось в казне? Возможно, хотя на этот вопрос значительно труднее дать определенный ответ. Как бы то ни было, одна эта сумма, представляющая двадцатую часть стоимости вольноотпущенников, принимая

за их среднюю стоимость 457 франков 38 сантимов, дает право заключить, что в течение 145 лет было освобождено 200 тысяч рабов, что составляет 1380 в год. Дюро-де-ла-Малль, прилагая к этому числу закон о смертности, заключает, что в 225 г. живых вольноотпущенников было всего около 50 тысяч, число, которое можно несколько увеличить в том случае, если, как мы это увидим дальше, цена, установленная им для раба, покажется несколько высокой для первого периода республики.

Кроме того, следует исключить иностранцев. Число их, весьма незначительное в Риме, было заметно выше в городах Кампании и Великой Греции, куда их привлекала торговля, не открывая им, однако, доступа в число граждан; отсутствие каких бы то ни было указаний, могущих пролить свет на их численность, является первой причиной недоверности числа, остающегося на долю рабов. Но есть и вторая причина: Дюро-де-ла-Малль, делая свои исчисления, забыл включить в свои расчеты целую группу населения. Правда, вся Италия в границах Рубикона и Макры была подчинена Риму. Однако это кажется невероятным, да и текст Полибия не дает нам права думать, что вся эта область была охвачена переписью. Переписи подвергались согласно обычной формуле «латиняне и союзники». Но многих народов она все же не коснулась; некоторые избегли ее благодаря своей разбросанности среди гор, другие были исключены из нее и поставлены в положение «подданные», в силу которого они не составляли солдат, а несли денежные повинности. Но разве могли даже среди народов, подлежащих переписи, быть учтены все мужчины в военном возрасте? Если эта перепись должна была производиться не в одном каком-либо городе и не среди лиц, заинтересованных в том, чтобы быть записанными, но по всей стране, среди людей, смотревших на военную службу как на тяжелую повинность, не дающую никаких преиму-

ществ, то можно ли допустить, чтобы результат ее был вполне точный? Каждая ошибка в этом числе увеличивается в четыре раза, если взять его за основание при исчислении всего населения. Итак, все эти данные страдают слишком большой неопределенностью, чтобы мы могли дать им цифровую оценку более или менее достоверную и путем простого вычитания найти число рабов. Этот метод, освещая путь, не приводит, однако, к желаемой цели, и все же он не безрезультатен. Можно утверждать, что рабское население еще значительно уступало населению свободному, но нужно иметь известную смелость, чтобы выдвигать хотя бы даже приблизительную цифру. Статистических данных мы не имеем, поэтому сами произведем такую перепись. Представляя себе картину рабства в той форме, какую оно начинает принимать, посмотрим, нет ли другого пути, чтобы составить себе представление если не о всей массе рабов, то по крайней мере об отдельных ее категориях в тот период, когда число их, как кажется, достигло высших пределов.

4

Рабы обычно делились на две группы в зависимости от того, принадлежали ли они государству или частным лицам.

В более ранний период свободного населения Рима почти хватало для удовлетворения всех государственных нужд, как для службы при магистратах, так и для городских работ. Этим трудом занимались ремесленники, объединенные Нумой в корпорации; конституция Сервия Туллия говорит нам о приписанных к классам центуриях рабочих, о центуриях трубачей и флейтистов. Служители магистратов, как низшие, так и высшие, продолжали набираться среди свободных или, в крайнем случае, среди вольноотпущенников. Служители высших магистратов (некогда объединявшихся в

одной магистратуре консула) образовали одну коллегию, разделенную на три декурии по роду службы: ликторов, вестовых и герольдов; служители низших магистратов были прикреплены к каждой из этих должностей. Среди них не было ликторов; герольды, или глашатаи, вестовые, или писцы, образовали различные декурии при магистратах. Но служба при магистратах, как и городские работы, требовала всегда известного низшего персонала, и когда с увеличением территории стали расти и потребности, а граждане стали регулярно задерживаться при армии, то рабы, в свою очередь, становясь более многочисленными, должны были заменить их на этих должностях. Сципион после взятия Карфагена оставил 2 тысячи пленных для римского народа, а после отступления Ганнибала бруттинцы и некоторые другие племена были обращены в рабство в наказание за их восстание.

Рабы, как мы выше отметили, делились на две категории: на рабов, выполнявших общественные работы, и на рабов, несших общественную службу.

Первая категория была не менее многочисленна, чем вторая. Лица, бравшие на откуп общественные работы, имели в своем распоряжении рабов для исполнения этих работ. Агриппа владел целой «фамилией», т. е. группой рабов, которых он употреблял для наблюдения за водопроводом. Эту группу, завещанную им Августу, император назначил для несения общественной службы. В силу постановления сената от 741 г. римского летосчисления (13 г. до н. э.) лица, ведающие делом снабжения Рима водою, выезжая и покидая города, имели при себе двух ликторов и 3 общественных рабов. Итак, рабы наблюдали за исправным состоянием водопроводов и дорог, они исполняли как самые неприятные, так и самые тяжелые работы, вплоть до работ в каменоломнях и рудниках, куда обычно ссылали рабов, приговоренных к наказанию. Часть рабов, принадлежавших ко второй категории, использовалась

для различных поручений во время народных собраний, общественных раздач, в качестве полицейских во время игр, для разноски повесток. Более широко организовал это дело Август: возможно, что их использовали также во время похорон и для всяких других нужд.

Другая часть этих рабов, более многочисленная, состояла при полководцах и магистратах, чтобы служить им во время исполнения ими своих обязанностей, будь то в Риме или в провинции, в качестве курьеров или посыльных, низших судебных чиновников, надсмотрщиков в тюрьмах, исполнителей судебных приговоров и всевозможными иными способами. Некоторые были кассирами. Вероятно, считали, что касса находится в большей безопасности, если сам кассир является их собственностью. Другие, наконец, были приставлены к служению в храмах, где они иногда отправляли известные религиозные функции. Сервий Туллий, чье имя особенно дорого рабам, охотнее назначал рабов, чем свободных, для проведения праздника «перекрестков», считавшегося праздником Ларов, — полагали, что служба рабов должна была быть особенно приятна этим богам домашнего очага. Существуют памятники Ларам, причем лица, посвятившие их, все без исключения были рабы. Род Поттицев свалил на государственных рабов свои обязанности, связанные с культом Геркулеса, наследственным в его потомстве; эта нерадивость, как говорят, не осталась безнаказанной, но рабы все же не были лишены права занимать жреческую должность. Даже сам бог Марс не пренебрегал ими. В Ларинуме, в области самнитов, священнослужителями были рабы, и еще Катон признавал, что обряды в честь Марса Сильвана могли совершаться как свободными, так и рабами.

Эта группа пользовалась среди рабов своего рода привилегированным положением. Узы, связывающие их свободу, были более слабыми. Они получали для своего содержания ежегодное жалованье. Для занятий

и для жилья им отводилось место в государственных помещениях. Для исполнения своих обязанностей они должны были иметь некоторую свободу действий; они пользовались даже известным уважением. Считалось бы оскорблением, если бы в их среду проникли преступники, осужденные на работы в рудниках или на выступления на арене, или приговоренные к каким-либо другим наказаниям, словом, рабы «в силу наказания». Подобный случай произошел в провинции Плиния. Небольшой кучке таких осужденных удалось путем обмана пробраться в среду государственных рабов. Этот обман был раскрыт; но их безупречное поведение заставило Плиния колебаться: было слишком жестоко вновь подвергнуть их наказанию, но в то же время и неудобно оставить их на государственной службе. Траян ответил ему: «Верни в места наказания тех, кто был осужден в течение последних десяти лет, а что касается других, если найдутся слишком старые, то пошлем их на такие работы, которые больше других подходят к их наказанию, как, например, служба при банях, очистка сточных канав, проведение дорог и постройка крепостей».

Подобно тому как были рабы государственные, были также и рабы городские. Муниципии, являясь копией Рима в административном отношении, заимствовали у него также и организацию низшего служебного аппарата, более или менее многочисленного в зависимости от их средств; внутри этих муниципий различные коллегии и корпорации, организованные как на основании закона, так и на свободных началах, употребляли для своих внутренних нужд городских рабов. Таким образом, и компании откупщиков повсюду рассылали своих слуг, которых они обучили всем своим грабительским приемам. Но на последней ступени этой иерархии мы соприкасаемся уже с группой рабов, принадлежащих частным лицам, группой наиболее многочисленной и значительно более интересной.

Эта именно категория поможет нам изучить рабство во всем его многообразии и даст нам возможность оп-ределить степень расширения рабства.

5

В раннюю эпоху один и тот же раб обслуживал своего господина и в городе и в деревне, в последней притом чаще, чем в городе, так как именно там протекала трудовая жизнь древнего римлянина. Но понемногу его земельные владения расширились, нравы изменились, а развитие рабства повлекло за собой разделение рабского населения римского дома на две группы: на рабов в деревне и рабов в городе. Это различие, вошедшее в обычай, было санкционировано законом; тем не менее им нередко пренебрегали на практике, что сильно затрудняло применение закона. Роскошь, обусловившая это различие, казалось, должна была бы вновь стереть его в процессе дальнейшего развития, в результате которого римская знать вернулась в деревню, превратившуюся из места труда в место неги и досуга. Пребывание в городе или в деревне, не влиявшее больше на образ жизни господ, не отвечало больше и законом установленному делению между рабами. В том случае, если необходимо было установить это различие перед судом, приходилось справляться о мнении самого господина и просматривать записи по хозяйству. Как бы там ни было, мы не предвидим никаких затруднений от того, что мы поставим описание частновладельческого рабства в эту двойную, законом признанную, рамку. Так поступали все авторы, писавшие по этому вопросу. Принимая, как и они, это деление, мы заимствуем у них и некоторые детали их изложения, дополняя их отдельными замечаниями, сделанными нами на основании собственного исследования.

Деревня, как мы видели, была обычным место-

пребыванием древнего римлянина раннего периода. Вполне естественно, что именно здесь должны были находить убежище старые нравы и именно здесь оказывать наибольшее сопротивление новому духу; и опять-таки именно здесь новые нравы с особой гордостью выставляли свое торжество, когда на развалинах прежних жалких деревенских домов были воздвигнуты пышные виллы. Но прежде чем эта революция завершилась, потребовался большой подготовительный период. Не ожидая водворения этих чуждых ему нравов, древний римский дух сам подготовлял для них почву в силу того инстинкта, который заставлял его стремиться к земельной собственности. Мы видели, что патриций с давних пор стал присоединять к своему наследственному участку земли из государственного фонда, а затем упорно стремился превратить это долгосрочное владение в настоящую собственность, т. е. завладеть тем, что составляло неотъемлемое право государства. Затем, став крупным собственником, он продолжал преследовать свою цель, захватывая все те маленькие наследственные участки, которые нищета и ростовщичество отдавали ему в руки. Это был весьма значительный переворот, сильно отразившийся и на городской жизни, роковые последствия которого были оценены лишь позднее. Однако некоторые из них, начиная уже с данного момента, стали обнаруживаться в сельскохозяйственном труде. Богатый, прогнавший бедняка с его участка, очень скоро заменил его рабом, считая для себя более выгодным иметь работника, чем его нанимать. Эта перемена в эксплуатации земли, изменившая отношения между классом свободных и классом рабов, сильно отразилась также на распределении труда. Произошло разделение труда. Различные виды труда были распределены между различными категориями трудящихся, которые в свою очередь стали группироваться в зависимости от значения и рода занятий.

Земельные владения, ставшие более обширными,

имели вполне законченный штат служащих. Во главе этой иерархии стояли управляющий и его жена, данная ему, по словам Колумеллы, в качестве помощницы, а также для того, чтобы привязать его к месту его службы, затем помощник управляющего, надсмотрщики второго разряда, лесные и полевые сторожа и руководители работ.

Эти работы заключали в себе все, что касалось эксплуатации имения. Там были пахари, выбиравшиеся из среды самых рослых рабов, виноделы — из среды самых крепких, рабы, приставленные для культивирования оливковых деревьев, и те, на которых были возложены второстепенные работы по хозяйству, рабы, которые должны были все делать, так сказать, «рабы на все руки»; им давали неопределенное название. Изготовление различного рода продуктов, приготовление масла, вина требовало столько же различных категорий рабов. К работам, касавшимся обработки земли и ее продуктов, прибавьте воспитание и содержание скота, занятия, носившие сперва подсобный характер при земледелии, а затем погубившие его в Италии. Специальные рабы заведовали конюшнями: лошадьми, ослами, мулами; скотным двором: волами, козами, овцами и свиньями; птичником.

Кроме того, в поместье был довольно многочисленный штат служащих, необходимых для обслуживания людей или инвентаря, связанных с хозяйством: ключник, мельник и пекарь, женщины, приготовлявшие пищу, ткачи и прядильщицы для изготовления одежды; кроме того, врачи, лазаретные служители для ухода за больными, различного рода ремесленники для ремонта зданий и орудий. Во вполне благоустроенных виллах были также рабы-охотники, необходимые для охотничьих развлечений господина; птицеловы, охотники, выслеживавшие зверя и приручавшие его после того, как он был пойман. Кроме того, были рабы-палачи, которые должны были наказывать эту многочис-

ленную челядь. «Работный дом» являлся как бы естественным придатком и дополнением к деревенскому дому и служил не только местом наказания для провинившихся, но и местом отдыха для работников.

Иногда один раб занимал несколько должностей сразу; чаще же всего одну и ту же должность, одни и те же обязанности несло несколько человек одновременно. В больших имениях существовало не только одно разделение труда: там были созданы специальные группы рабов для наиболее важных видов труда; эти группы, состоявшие из десяти человек, назывались декуриями и находились под наблюдением раба или вольноотпущенника — декуриона. Древние весьма одобрительно отзывались об этой организации труда, которая, не представляя опасности в смысле возможности серьезного заговора, гарантировала значительные преимущества в смысле надзора и доброкачественности обработки. Этот способ работы практиковался еще в рабовладельческих колониях Франции.

Таково было разделение труда и различные права и обязанности сельских рабов. Судя по этому описанию, они должны были быть очень многочисленными. Но можно ли в этом вопросе прийти к какому-нибудь вполне определенному или по крайней мере более или менее вероятному выводу?

Само собой разумеется, что не все имения были точной копией этой образцовой виллы, в которой мы намеренно объединили различные детали сельскохозяйственного производства. Но Катон дает нам точные указания о количестве штата, необходимого для обработки имения определенного типа и определенного размера. Для обработки 240 югеров (60 $\frac{3}{4}$ гектара), засаженных маслинами, он считает необходимым иметь: управляющего или фермера, экономку, пять работников, трех людей для ухода за волами, одного — для ухода за ослом, одного — для свиней и одного для овец — всего тринадцать человек. Для обработки

100 югеров виноградников он предусматривает, включая управляющего и экономку, десять работников, одного волопаса, одного погонщика ослов, одного свинопаса, одного человека для ухода и подвязывания виноградных лоз — всего шестнадцать. Варрон подвергает это место критике. Он хотел бы, чтобы Катон взял более нормальную меру и более круглые цифры, с тем чтобы его формулу было легче применить к имениям средней величины. Кроме того, он находит, что руководителя или фермера и экономку не следует принимать в расчет, так как их число не меняется в зависимости от изменения величины имения. Но в конце концов все его советы сводятся к тому, что следует изучать характер почвы, господствующие в окрестностях обычаи и брать за исходный пункт для каждого нового исследования предшествующий опыт других.

Что бы мы ни говорили о нововведениях, которые Варрон предлагает с такой осторожностью, его критика не отнимает у цифр Катона силы опыта и практического значения; при условии внесения некоторых изменений, обусловленных их специальным применением, их можно взять за основание при общем определении численности населения, занятого этими работами. Итак, если за отсутствием аналогичных данных для современной Италии мы опять возьмем в качестве объекта для сравнения юго-восточную область Франции, то мы найдем, что на 13287463 гектара приходится 116798 гектаров, занятых под культурой оливковых деревьев; Италия по сю сторону Рубикона и Макры пропорционально этому имела бы на своих 15356109 гектарах площади 134981 гектар, занятый той же культурой. Эта культура требовала 13 человек на 240 югеров, или $60\frac{3}{4}$ гектара; следовательно, полученные нами 134981 гектар потребовали бы 28917 человек.

Виноградники занимают в юго-восточной части Франции 618705 гектаров из общей площади в 13287463 гектара; в Италии они заняли бы 715025 из общей пло-

щади в 15356109; принимая во внимание, что на каждые 100 югеров, или 25,3 гектара, требуется 16 человек, мы получим 452475 работников для площади в 713025 гектаров.

Культура хлебных злаков была значительно более распространенной, чем культура маслин и виноградников, однако Катон не дает никаких указаний о количестве штата, необходимого для хозяйств, где главное место занимала зерновая культура. Мы уже знаем, что в раннюю эпоху участок каждого гражданина равнялся двум, а впоследствии семи гектарам. Это была норма плебея, которую имел в виду Колумелла, напоминая принцип карфагенской агрономии: «Не следует, чтобы земля превышала силы пахаря». Переход от мелкого хозяйства к крупному необходимо влечет за собой уменьшение количества рабочих рук. Но вначале, пока увеличенные участки еще не достигли размеров латифундий, сила привычки заставляла римлян сохранять старые способы обработки, а следовательно, и число работников держалось приблизительно в тех же границах. Доказательством этого служат правила, даваемые Катонем относительно оливковых плантаций и виноградников. Агрономы, цитировавшие и комментировавшие его текст, не заполняют его пробела относительно хозяйств с зерновой культурой; но Сазерна, по свидетельству Варрона, по-видимому, устанавливает в качестве общей рабочей нормы 8 югеров на человека; возьмем 10 югеров, отбросив в сторону всякие соображения гуманности, которыми он еще думал руководствоваться, и допустим, что для обработки 100 югеров требовался штат в десять человек, состоящий из управляющего, слуг и землепашцев, как и в примерах, предложенных Катонем. Италия, в тех границах, которые мы раньше установили, имела 2878336 гектаров ежегодно обрабатываемой площади (не включая пара). Считая по одному человеку на 10 югеров, или 2,5 гектара, потребовалось бы 1138400 ра-

ботников, что для всех трех культур и для ухода за соответствующим количеством скота составит около 1500000 человек.

Но не все эти 1500000 человек были рабами. Слово *oregarius*, которое охотно употребляют агрономы, означает, независимо от свободного или рабского состояния, рабочего, работника. Существовали не только колонны, бравшие на откуп имения,— своего рода аренда, которую агрономы советовали заключать на возможно долгий срок, — были и мелкие свободные земледельцы, работавшие, по словам Варрона и Колумеллы, вместе с своими детьми где-нибудь на периферии; были также и поденные рабочие, которых приглашали для работы в нездоровых местностях и для тяжелых спешных работ во время жатвы и сбора винограда. Это был бедный люд, приходивший, вероятно, из густонаселенных долин Цизальпинской Галлии или спускавшийся с Апеннинских гор, точно так же как и в настоящее время многочисленные группы рабочих передвигаются в те же времена года из Бельгии и Оверни. Но исключения лишь подтверждают правило. Хотя главная масса этих работников не принадлежала еще к рабскому сословию, тем не менее она обнаруживала определенную тенденцию стать рабами, начиная со времен Катона и Колумеллы вплоть до Варрона. На это указывают все детали в расположении виллы, равно и характер перечисления служащих и выполнения самых работ. Почему существуют в этих виллах эти «рабочие бараки», упоминаемые впервые Катонем, затем Варроном и Колумеллой, зачем эти подробности о ночлегах, одежде и питании этой «фамилии»? К чему все эти наставления управляющему, эти бесчисленные заботы и та бдительность, которую они наперерыв предписывают ему, если главная масса работников не является постоянной и не принадлежит к дому? Особенное внимание следует при этом обратить на то, что цифры Катона, которыми мы пользо-

вались для определения количества работников по каждой отдельной специальности всей Италии, обязательно включают в себя 8 рабов из общего числа 13 для культуры оливковых деревьев, а для виноградников — 6 из 16, всего 14 из 29. Само собой разумеется, что пастух не был наемной рабочей силой, точно так же как не были ею и вола, а работники, дополняющие эти цифры, т. е. лица, непосредственно занятые культурой маслин и винограда, тоже, по всей вероятности, рабы. Труд свободного человека применялся для этих работ не как правило, а лишь в виде исключения. Что же представляли собой эти закованные в цепи люди, о которых говорит Катон? Это, конечно, не были те рабы, которым поручали уход за скотом или перевозку продуктов, — это были те, которые работали в поле, пахари, спавшие ночью на сыром каменном полу работного дома, и те многочисленные виноградари, называвшиеся на виноградниках Катона *oregarii*, о которых Колумелла говорит, что их чаще всего набирали среди осужденных рабов: «...и равным образом виноградники чаще всего возделываются колодниками».

Если число 1500000, может быть, и слишком высоко для рабов, занятых вышеупомянутыми работами, то, с другой стороны, оно слишком низко для всей совокупности сельских рабов.

Обработка земли, разведение маслин и винограда или обработка их продуктов, уход за скотом, входящим в состав хозяйства,— все это не исчерпывало всех сельскохозяйственных работ. К работникам земли следует добавить еще ремесленников, кузнецов, сукновалов и прочих, которых или нанимали, если поместье находилось недалеко от города (обычно это опять-таки были рабы, содержащиеся именно с этой целью), или держали в самом имении, если их наем был сопряжен с большими неудобствами или шел в ущерб главному производству. К пастухам, живущим в поместье, следует прибавить еще лесных и горных пастухов, пасу-

щих свои многочисленные стада в горных долинах Апеннин, народ совсем особый, численность которого сильно возросла за счет земледельческого населения, когда Италия, привыкнув жить податями, собираемыми ею со всего мира, решила прекратить собственное производство хлеба и превратила свои пашни в пастбища. Сюда же следует причислить весь служебный персонал, необходимый для обслуживания рабского коллектива, и, наконец, женщин и детей.

В имениях Катона, положенных нами в основу наших вычислений, упоминается только одна женщина — экономка, или *villica* — и один или два ребенка, выбранные среди самых больших и самых сильных, — это свинопас и пастух овец. Хотя число женщин уступало числу мужчин, однако оно не могло быть столь незначительным. Варрон не видел никаких неудобств или невыгоды в том, чтобы давать пастухам, живущим в имении, подругу по рабству; что же касается горных пастухов, то он считал это даже выгодным, так как эти подруги помогали им пасти стада, приготавливали им пищу и нередко укрощали их необузданные страсти.

Но это должны были быть женщины крепкие, способные носить за собой своих детей, как, например, те иллирийские женщины, которые при первых родовых схватках на короткое время покидали свою работу и вскоре возвращались, неся с собой новорожденного, как будто бы они его где-нибудь нашли, а не сами родили. Варрон, а вслед за ним и Колумелла советовали также давать отдельных жен начальникам работ, чтобы посредством этих семейных уз крепче привязать их к поместью. Среди мужчин различали таких, которых в особенности следовало женить; это не касалось женщин, ибо все они находились в более или менее постоянных или же временных связях; Колумелла высказывал пожелание, чтобы матерей, у которых было несколько детей, награждали, освобождая их от работ или отпуская на волю. Наконец, те препятствия, кото-

рые ставил Катон обычным отношениям между лицами различного пола, и цена, за которую он разрешал их, доказывают, что в поместье были и другие жены, кроме жены управляющего; тот барыш, который он получал путем этой странной спекуляции, несколько не уменьшал того, который он ожидал от плодovitости этих рабынь; эти связи, случайные или временные, так же как и связи более постоянные, приносили хозяину обычные плоды, эти «весенние плоды». Считая этих женщин и их детей, а также рабов, переставших работать вследствие преклонного возраста и все же продолжавших жить где-нибудь в имении, несмотря на советы Катона продавать их, легко можно получить цифру для сельских рабов в 2 миллиона. Но эта цифра не удержалась. Сельское хозяйство приходило в упадок, будучи всецело предоставлено людям менее опытным, и кроме того, оно сильно страдало от войн, которые Рим, победивший весь мир, перенес в свои недра. Вместе с уменьшением площади обработанной земли, размеры которой мы положили в основу наших исчислений, уменьшилось и число занятых обработкой рабов. Только одна группа рабов увеличилась за счет других — это пастухи, которые отныне свободно пасли стада на покинутых пахарями полях.

6

Как бы велико ни было число сельских рабов, оно все же было ограничено самым характером их обязанностей; оно не могло превысить того, которое было необходимым при данном состоянии хозяйства; а если их число все же увеличилось, то это потому, что уменьшилось число самостоятельных хозяев, и рабы были призваны стать на место свободного населения в деревне. Городские рабы, напротив, были как бы чуждым растением в недрах самого города; и видя те пышные побеги, которые ответвлялись от него во все

стороны, можно было бы подумать, что именно здесь сосредоточилась вся сила рабства.

Во главе городского дома хозяина, как и во главе поместья, стоял управляющий; ему были подчинены многочисленные надзиратели: хранители мебели, одежды, серебра и всей парадной утвари, сверкавшей золотом и драгоценными камнями.

Затем следовал целый ряд самых разнообразных служб.

Во-первых, служба в доме. Некогда довольствовались тем, что молоток, висевший у дверей, извещал хозяина о приближении чужого человека; затем у входа поместили собаку на цепи, которую вскоре заменили рабом, которого не задумались также посадить на цепь по обычаю предков. Затем шли надсмотрщики за атриумом — кастеляны, уборщики, докладчики, рабы,



Рабы, несущие блюда

приподнимавшие перед посетителями занавес у дверей, и целая толпа служителей по внутреннему обслуживанию дома.

Служба при банях, начиная с истопников и кончая банщиками, на обязанностях которых лежало обмывание и натирание тела ароматическими маслами и духами согласно обычаям южных стран.

Медицинское обслуживание. Римляне, некогда ограничивавшие искусство врачевания самыми грубыми приемами, пожелали иметь врачей, и поработенная Греция в угоду им была вынуждена культивировать эту науку, составлявшую прежде привилегию свободных людей. Только теперь это искусство стало рабским и было вынуждено подчиняться всем прихотям господина.

Прислуживание у стола. Пока римляне продолжали придерживаться прежней умеренности в еде, раб, приставленный к приготовлению пищи, занимал одно из последних мест среди рабов; позднее, когда в Рим проникло уже греческое влияние, в случае необходимости более торжественного приема шли на рынок и нанимали там повара, забирая там же и провизию. Этот обычай Плавт в одинаковой степени мог заимствовать как из практики современного ему Рима, так и на основании примеров, имевших место в Греции. Впоследствии этих рабов стали покупать, и в домах, организованных наподобие целых государств, все то, что было связано с обслуживанием стола, составляло как бы особое ведомство.

Сюда принадлежали: метрд'отель, экономеры, ключники, закупщики и весь штат, состоящий при кухне — главные повара, повара, помощники повара, слуги, поддерживавшие огонь, пекари и бесконечное множество кондитеров. Эти специальности, некогда не знакомые или презираемые, превратились в искусство, за которое платили, не спрашивая о цене. Начиная с эпохи Мария считали скупым человеком того, кто платил за

заведующего кухней меньше, чем за ученого секретаря, руководителя умственной жизни. Затем шли рабы, заведовавшие приглашениями, заведовавший пиршественным залом, оправлявшие ложа, накрывавшие стол, заведовавшие устройством пиров; тот, кто нарезал мясо, — лицо важное: кулинарная анатомия составляла целую науку, имевшую своих учителей; раздатчики хлеба и мяса; рабы, пробовавшие кушанья, прежде чем подавать их гостям; молодые рабы, сидящие у ног своего господина, чтобы исполнять его приказания или забавлять своей болтовней. Вся эта толпа, набранная среди молодых рабов, прекрасных своей юностью и тем блеском, где сочетается искусство и природа, покрытых до плеч волною кудрей, со спускающейся до колен легкой белой туникой, складки которой мягко ложились, придерживаемые свободно завязанным поясом, — все эти рабы, распределенные по группам, смотря по возрасту, фигуре и цвету кожи, разливали вино в чаши или лили на руки гостям снеговую воду, а на голову духи. В более раннюю эпоху слугителей этого рода не искали так далеко: мальчик



Раб у мельницы

из сельской местности, сын пастуха или волопаса, вследствие своей молодости еще мало пригодный для работы, следовал за своим господином в город и подавал вино во время собрания друзей; и еще Ювенал советовал вернуться к этим простым обычаям. Но впоследствии эти слуги должны были служить украшением пиршественной залы, и из всех частей света стали выписывать рабов наиболее редких: черного гетула; мавра, прирученного подобно львам Вакха; цветущую моло-

дежь из Ликии, Фригии и Греции, — несчастные дети, которые под гнетом этого золоченого ярма испытывали столько бедствий и оскорблений; для полноты празднества следует еще прибавить танцы и пение молодых девушек из Гадеса, так как сладострастная Андалузия заслужила себе славу, могущую соперничать с местностями, наиболее известными своим культом Афродиты. К этим «пажеским корпусам», столь заботливо подобранным и столь искусно организованным для утехи господина (развратники), к этому блестящему обществу, отшлифованному всевозможными способами и как бы покрытому лаком изящества, пресыщенный вкус империи добавил карликов, уродов, шутов, этих несчастных, которые вызывали больше шуток, чем шутили сами.

Затем следует штат слуг вне дома: это толпа рабов, составляющая свиту господина, идущая впереди и позади него, хотя бы выход и не являлся торжественным, или выходящая ему навстречу вечером и сопровождающая его с факелами («дадухи», «лихнухи»), а также рабы, служащие орудием подкупа и партийных интриг, которых господин держал при себе, направляясь на собрание, чтобы при их посредстве раздавать золото, а кроме денежных подарков еще и дружеские приветствия; ловкий слуга сообщал на ухо кандидату имена тех, кого он встречал. Впрочем, эту «толпу друзей» часто нанимали и поручали рабу составлять их список.

Женщина тоже имела своих рабов, не считая того «особого» раба, раба, полученного ею в приданое и столь же неприкосновенного, как это приданое, который часто пользовался с ее стороны значительно большим доверием, чем муж. Это был настоящий дом в доме: один ученый посвятил целый труд его описанию. В женских покоях были свои привратники, свои сторожа, были евнухи — сторожа весьма подозрительные («кто ж сторожить-то будет самих сторожей?»), «си-

ленциарии» (следящие за тем, чтобы вокруг царицы тишина), целый штат слуг, необходимых при рождении ребенка и для первого ухода за ним: повивальная бабка, сиделки, кормилица, заведующие колыбелью, носильщики, няньки и воспитатели. Вот во что вылился в этих новых гинекеях совет, данный философом Фавонием одной благородной матроне, — самой кормить и воспитывать своих детей. Затем следовали женщины, необходимые для выполнения всевозможных домашних работ; старик Плавта так определяет их обязанности:

Нам зачем нужна служанка? Ткать, молоть, колоть дрова,
Дом мести, урок свой делать, битой быть, на всю семью
Каждый день готовить пищу.

В женских покоях всегда находились рабыни, занятые пряжей, тканьем, шитьем, причем римские матроны все еще продолжали руководить этими работами, что подтверждает и Плавт в своих комедиях и Вергилий в своих поэтических сравнениях и в своих описаниях сельской жизни. Но теперь там царил новый дух, который направлял всю эту работу на удовлетворение порожденных им потребностей. Были женщины, обязанные гладить одежды под наблюдением надзирательницы за гардеробом. Другие женщины распределяли между собой различные обязанности, связанные с мельчайшими подробностями дамского туалета, как то: причесывание, окраска волос и обрызгивание их мельчайшим дождем духов. Они владели всеми тайнами этого тонкого искусства — «возвращать то, что унесли с собой былые годы», т. е. придавать лицу прежнюю свежесть и блеск, натурально подкрашивать брови, вставлять зубы (одна рабыня каждый вечер укладывала их в ларчик), надевать украшения и оказывать тысячу мелких ежеминутных услуг, как-то: обмахивать опахалом, держать открытым зонтик или

носить сандалии. Сохранилась надпись одной рабыни, которой был поручен уход за маленькой собачкой императрицы Ливии. Часто женщины поручали также воспитывать для себя и обучать группы молодых рабов. Пока они были детьми, ими любовались, когда они обнаженные играли вокруг стола своих господ, забавляя их во время еды своей болтовней. Когда же они подрастали, они должны были сопровождать свою госпожу, чтобы придать больше пышности ее выходу. Старик, выведенный Плавтом и цитированный уже несколько выше, подыскивал в качестве сопровождающей для госпожи — матери семейства — крепкую некрасивую девушку («здоровую девку»), происходившую из стран людей труда (Сирии, Египта), обычно занятую грубой работой; красота нередко бывала причиной скандалов, которых он хотел избежать. Но матроны совершенно не желали видеть в своей свите безобразных лиц. Среди женщин было уже сильно развито желание блистать в обществе, и это желание, вызвавшее с их стороны протест против закона Оппия, восторжествовало над суровым Катонем. То, что во времена Плавта было лишь пожеланием или слабой попыткой, превратилось в самый короткий срок в обычное явление, встречавшееся почти во всех знатных домах. Матроны пользовались своими выходами как наиболее удобным случаем похвастаться перед всем народом великолепием своего дома и утонченностью своего вкуса. Поэтому их свита состояла из самых отборных рабов: здесь были курьерши и лакеи женского пола, вестовые и посланцы для обмена любезностями, красивые молодые люди с завитыми и изящно причесанными волосами в качестве почетной стражи, множество возниц и носильщиков, приставленных к экипажам самого разнообразного вида: креслам, носилкам, колесницам, каретам с мулами и всякими иными упряжками. За колесницей полководца в день триумфа шли пленные побежденного народа; а в свите, окружавшей носилки матроны, были пред-

ставители всех наций. В качестве носильщиков фигурировали сильные каппадокийцы, сирийцы и даже мидийцы, впоследствии варвары с берегов Дуная и Рейна; рядом шли либурны, держа скамеечки; впереди — курьеры из племени нумидийцев и мазаков (каппадокийцев) с кожей цвета эбенового дерева, на черном матовом фоне которой особенно резко выделялись серебряные дощечки, подвешенные у них на груди, с выгравированными на них именем и гербами госпожи, собственностью которой они являлись. Иногда, чтобы поразить многочисленностью своей свиты, женщины заставляли следовать за собой весь домашний штат, целую армию, как говорит Ювенал, так как все должно было отступать на задний план перед их тщеславием; в дни своего могущества они не только просили, но даже требовали у снисходительного мужа всех его слуг, целые толпы рабов:

Всех его рабов, целиком все его мастерские.

Под влиянием богатства различные виды личных услуг расширились и увеличились до указанных размеров, а специальное влияние Греции породило новые прихоти и новые потребности. Появилось желание стать образованным, появились и свои секретари; в богатых домах возникали библиотеки, а вместе с ними и штат, необходимый для приведения в порядок хранения и изготовления книг: хранители, аннотаторы, писатели, переписчики и другие подручные: рабы наклеящики, отбойщики, полировщики, рабы, приготавливавшие папирус или пергамент. Этого мало: надо было научиться извлекать пользу из этого богатства. Простое, суровое домашнее воспитание заменили воспитанием иностранным; ребенком завладели всякого рода педагоги, преподаватели, учителя — учителя по названию, по положению настоящие рабы; и это очень ясно давали им чувствовать их ученики. Впрочем, если знания, по-

лученные в результате столь плохого преподавания, оказывались совершенно не удовлетворительными, то можно было купить готовую эрудицию; подобно тому как были собственные секретари, можно было иметь и собственных ученых. Богатый Сабин, не будучи даже в состоянии запомнить имена Ахилла, Одиссея и Приама и тем не менее претендовавший на ученость, вообразил, что может помочь делу, купив рабов, знания которых были его собственностью, как и все остальное их имущество («пекулиум»). Поэтому он купил по очень высокой цене нескольких рабов, из которых один знал Гомера, другой Гесиода, и девять остальных распределили между собой девять лириков. Он заплатил за них бешеную цену, и в этом нет ничего удивительного, так как их нельзя было встретить случайно, их надо было заказать. Обеспечивши себя таким образом, он заставлял их сидеть у своих ног за столом и подсказывать себе стихи, которые он поминутно цитировал в присутствии гостей, как можно предполагать, весьма некстати и чаще всего в искаженном виде. Один шутник советовал ему завести себе также ученых «аналектов». И так как он утверждал, что рабы стоили ему около миллиона, то другой говорил ему: «Почему ты не купил себе столько же ящиков для книг?». Но наш амфитрион был внутренне убежден, что он действительно обладает теми знаниями, которыми обладали лица, жившие в его доме.

Женщины тоже чванились этими дорогостоящими, но легко приобретаемыми знаниями. Они покупали или нанимали философа, как какую-нибудь говорящую книгу, которая избавляла их от необходимости читать, заставляли его иногда произносить нравоучительные рассуждения, не стесняясь подчас прерывать его с тем, чтобы ответить на любовное письмо, и часто брали этого философа-моралиста вместе с карликом и обезьянкой в свой экипаж, который доставлял их к месту назначенного свидания.

Та же участь постигла и искусство художников. Первые художники, похитившие тайну искусства у греков, имели огромный успех и вызвали восторг в Риме; среди них были имена наиболее известных фамилий, как, например, один из Фабиев, расписавший храм Спасения в 450 г. по основании города (304 г. до н. э.), за что и был прозван Пиктором. Но когда покоренная Греция отправила в рабство своих лучших мастеров, намного превосходивших мастеров Рима, то и их труд перестал пользоваться прежним уважением у общества. Искусство забросили, зато купили художника: архитектора — для постройки зданий, художника и скульптора — для того, чтобы они украсили их своими произведениями.

К этим рабам, несшим более или менее реальные, более или менее серьезные обязанности, следует причислить рабов, которыми пользовались как доверенными в делах: прокураторов, т. е. управляющих делами и агентов, носивших различные названия в зависимости от возложенного на них поручения (матроны точно так же имели своих поверенных, ведших дела от их имени и заменявших им иной раз мужа); счетоводов, производивших подсчеты (рациоцинатор, калькулятор); тех, которые давали деньги под заклад или под поручительство (аргентарий; закладчик или меняла), рабов, приставленных к той или другой торговле, продавцов быков, лошадей и т. д.; плотовщиков; разносчиков; продавцов в лавках. Кто мог бы сказать, как распределялись между рабами и свободными эти различные специальности и самые обыкновенные занятия, начиная с заморских производств, вывезенных из Греции вместе с ремесленниками, описание которых нам дал уже Плавт, вплоть до самых низменных работ, вроде работы того цирюльника, который из раба стал всадником по милости своей госпожи? Наконец, те рабы, талант или ловкость которых нанимали, по греческому обычаю, рабы ремесленники и художники и рабы рос-

коши; иногда также этот блестящий кортеж, который придавал тщеславной посредственности видимость богатства, этот штат слуг, требовавшийся в экстренных случаях во время пиров в третьесортных домах: повара, хоры музыкантов и танцовщиц. Прибавьте еще к этому объекты того позорного промысла, которым жил какой-нибудь консул вроде Мамерка Скавра: этих молодых девушек, которых впоследствии клеймили презрением; наконец, несколько видов рабов, занятых во время народных празднеств: актеров, пантомимов, возниц и, что особенно характерно для Рима, — гладиаторов.

7

Ни трагедия, ни комедия не носили в Риме национального характера, не имел его даже тот вид комедий, который черпал свой сюжет непосредственно из жизни народа и назывался *togata* — одетая в тогу. Они всегда являлись более или менее точными подражаниями греческому образцу, продуктом иностранного влияния. Поэтому вне рядов римских граждан они должны искать исполнителей этих представлений — за ними они обратились к миру рабов. С этой целью рабов подготавливали для выполнения главных ролей. Среди развалин древнего мира сохранилась гробница театрального комика, надпись на которой ничуть не скрывает его настоящего звания — сценический дурак. Имелись и хорошо подобранные труппы актеров (включая суфлера), которые продавались все вместе и которые также все вместе подлежали возврату, если к одному из них можно было применить право «принудительного возврата». Антрепренеры возили их из города в город, входя в соглашения с эдилами, магистратами или с кандидатами на магистратуру по поводу постановки спектакля. Для второстепенных ролей им всегда удавалось находить подходящих лиц в том же городе среди

сдававшихся в наем рабов. Итак, раб являлся истолкователем благородных вдохновений трагедии и свободных острот комедии: странное противоречие кажущегося и действительности, которое заставляла воспринимать сценическая фикция и в котором моралист узнавал слишком обычную картину реальной жизни. Сам поэт с некоторым злорадством приподнимал завесу со всех этих фигур в пышных одеяниях, показывал нам раба в образе высокомерного господина и публичную девку в образе целомудренной женщины; словом, под внешней оболочкой этих великолепных персонажей он показывал нам группу беспощадно эксплуатируемых (в колониальном смысле) людей.

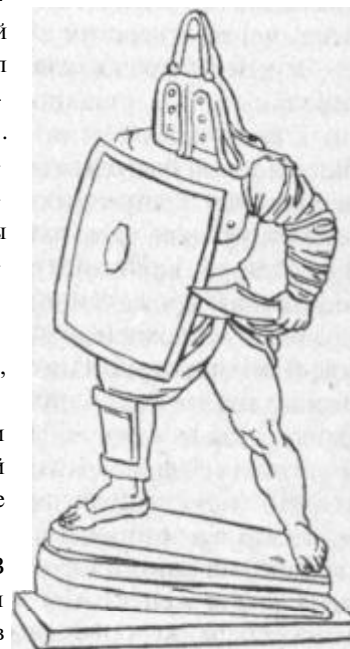
Они смеялись, и однако, если присмотреться к ним ближе, можно было бы заметить, что под этой дышащей комическим весельем массой они, по словам Лукиана, разыгрывали трагедию, полную печали и горя.

Трагедия, будучи слишком идеальной, всегда отступала на задний план в Риме перед носившими более народный характер сценами комедии. Но даже комедия не смогла надолго завоевать любовь римлянина. Ни остроты Плавта, ни изящество Теренция не могли конкурировать с тем новым искусством, чья немая и выразительная пантомима соблазнила глаз своей чувственной стороной. Известно, с каким непреодолимым энтузиазмом народ стремился на эти представления с самых первых времен Империи; и мы увидим, какая счастливая судьба досталась в удел Бафиллу и Пилладу в эпоху Августа. Благосклонность народа ни в чем не отказывала своим любимцам — ни в богатстве, ни в свободе, ни даже в почестях. Но не было ли у нее также и своих жертв? Мы знаем надпись в честь юного сына севера, который, имея 12 лет от роду, «появился на подмостках театра Антиба, танцевал два дня кряду и сумел понравиться». Какая злая судьба так рано по-

хитила и забросила его так далеко от его родной страны туда, где небо манило к жизни, соблазняя всеми чарами более мягкого климата? «Он танцевал два дня и сумел понравиться». Эти два прожитых дня заменили ему долгую жизнь; они обессмертили его славу, но и его несчастье.

В Риме игры в цирке предшествовали по времени театральным представлениям, и так как они изображали только военные действия, то вначале в них выступали исключительно воины. Это были римляне, сражавшиеся пешими, конными или на колесницах, оспаривая друг у друга награду за скорость бега, ловкость или силу, проявленные в борьбе или в кулачном бою. Но мало-помалу граждане исчезали, уступая место профессиональным атлетам. Вместо того чтобы самим бегать, стали заставлять бегать других, и раб, который прежде только прислуживал своему господину, стал главным действующим лицом. Имена возниц вольноотпущенников и рабов и их изображения были запечатлены на каменных плитах их гробниц.

Другим видом игр, несравненно более жестоким, кровавопролитным, пользовавшимся исключительным успехом у римлян, был бой гладиаторов. Эти кровавые зрелища были первоначально погребальными играми. В начале Пунических войн они были впервые введены в Риме Брутами при погребении их отца; природа, как



Гладиатор

говорили, возмутилась против этой профанации смерти: вспышку одной из эпидемий, столь обычных в Риме, приписали гневу богов, и народ посредством религиозных церемоний старался искупить это святотатство. Но после искупления этой вины игры опять возобновились: жажда крови вытеснила суеверие или, вернее, она преобразила его. Нетрудно было найти таких богов, которых можно было сделать покровителями этих народных игр и участниками в этих кровопролитиях. Это были Марс и Диана, два божества, всегда изображавшиеся вооруженными, подземный Юпитер, Меркурий, приводящий к нему тени умерших, и в особенности Сатурн. Бои гладиаторов устраивались преимущественно в праздники, посвященные этому богу, в праздники рабов; и он присутствовал сам на этих зрелищах; его открытый рот пил кровь, текущую по арене, через отверстия сточной трубы.

Эти игры продолжали существовать как игры погребальные, совершавшиеся или по воле умершего, или в знак благочестия семьи, или, наконец, в знак общественной благодарности. Вот потому-то мы и встречаем сцены гладиаторских боев, вырезанные на надгробных камнях, как, например, в Помпеях на памятнике Скавра; вот потому и на погребальных лампадах изображены сражающиеся гладиаторы. Это был своеобразный экономический способ устраивать гладиаторские бои в честь умерших. И как хорошо было бы, если бы никогда не было других! Они были введены и как общественные игры, и устройство их являлось одной из статей государственных расходов. Оно вошло в обязанность магистратов, ведавших внутренней полицией, — эдилов и приняло, таким образом, периодический и постоянный характер. Афиши, написанные на стенах, или программы, раздаваемые народу, объявляли о дне и об особенностях предстоящего сражения. Объявления подобного рода были найдены среди развалин Помпей. Вначале гладиаторов набирали из осуж-

денных на смерть преступников, но вскоре число их оказалось недостаточным для этой цели, и тогда пришлось прибегнуть к купленным варварам и рабам.

Но в течение года устраивались не только эти официальные игры, к которым очень скоро присоединили бои людей с дикими зверями. Их устраивали сами полководцы перед началом похода, для того чтобы совершить жертвоприношения в честь подземных богов и тем самым обратить их гнев против врагов или для того, чтобы закалить солдата видом ран и крови. Что касается частных лиц, то к мотивам личного благочестия присоединялись и мотивы честолюбия, способствуя распространению обычая. Лица, домогавшиеся общественных должностей, старались добиться расположения народа, используя с этой целью его страсть к подобным зрелищам. Поэтому число этих пос-



Гладиаторы, сражающиеся с дикими зверями

ледних постоянно возрастало, так же как увеличивалось и число рабов, сражавшихся во время каждого из этих праздников. Цезарь, будучи эдилом в начале своей политической карьеры, собирался выпустить такое большое количество гладиаторов, что сенат, испугавшись, воспротивился этому, и Цезарь был вынужден ограничиться 320 парами. Но когда во время его последнего триумфа ничто не могло уже его остановить, он не ограничился обычными боями; то, что происходило, давало полную иллюзию войны, навахи — морского боя; это была настоящая битва, где смешались люди, лошади и слоны.

Эти игры были заимствованы у Рима его соседями. Вначале они внушали отвращение, потом к ним привыкли, и привычка стала вскоре сопровождаться удовольствием. Особенно прочно утвердились они в провинциях: об этом свидетельствуют историки, надписи и самые памятники. Повсеместно возвышались амфиатраы, и их развалины до сих пор господствуют во всех частях римской Галлии, от Ним до Трев, среди памятников и воспоминаний о принесенной туда Римом цивилизации. Даже Греция, родина столь многочисленных блестящих игр, слава которых нашла свое отражение в самых прекрасных страницах ее истории, даже она допустила к себе гладиаторов. Но это не везде прошло без протеста. Однажды, когда афиняне обсуждали вопрос о допущении у себя гладиаторских игр по примеру Коринфа, Демонакс, явившись на собрание, заявил: «Афиняне, не приступайте к голосованию, прежде чем вы не разрушите алтарь Милосердия». Алтарь остался нетронутым, но это несколько не помешало введению гладиаторских игр. Итак, эти игры стали всеобщим обычаем, который повсеместно, как и в Риме, стал постоянным и регулярным. Юлиев закон о муниципиях содержит статью о пособиях на эти игры. Тем не менее в Риме, так же как и в провинциях, почувствовали необходимость поставить границы это-

му широкому кровопролитию не столько, конечно, из чувства гуманности, сколько вследствие вполне справедливого недоверия к той цели, которая при этом преследовалась. Этой именно мыслью руководился Цицерон при издании своего ограничительного закона. Август, подражавший экстравагантностям Цезаря в то время, когда он боролся за власть, казалось, стал доступен лучшим чувствам, когда эта власть оказалась у него в руках. Он ввел целый ряд ограничений при организации этих игр. Он запретил магистратам допускать каждый раз к участию в сражении более шестидесяти пар и устраивать их более двух раз в году; несколько позднее он разрешил три таких представления в год, но сам он не считал себя связанным этими оговорками. Анкирская надпись свидетельствует о том, что от своего имени или от имени своих детей он заставил выступить в качестве гладиаторов десять тысяч человек. Тиберий несколько не стремился снискать этим путем расположения толпы, но еще менее желал он, чтобы его домогались другие в ущерб ему. В отличие от Августа он лишь изредка устраивал эти бои и подобно ему ограничил число участвующих в публичных состязаниях гладиаторов.

Этому обычаю ставились также и некоторые другие препятствия, несмотря на пристрастие народа к этим играм. Закон, изданный в начале царствования Нерона, освободил квесторов от обязанности устраивать их перед своим вступлением в должность; другой закон запретил делать это наместникам при их прибытии в провинцию; эти увеселения, забавляя толпу, в то же самое время помогали прикрывать злоупотребления администрации; можно указать еще на некоторые аналогичные мероприятия Антонина Пия, Марка Аврелия. Но, как правило, эти постановления были бессильны. Большинство императоров не только не поддерживало эти стеснения, но, наоборот, действовало совершенно в противоположном духе. Калигула и

Клавдий, как бы соревнуясь, отменили все запрещения. Также и Нерон, вопреки двум указанным законам, которые, без сомнения, следует отнести за счет постороннего влияния, находил удовольствие в увеличении числа этих зрелищ; в этом отношении Флавии превзошли всех. Это они выстроили Колизей, — Веспасиан его начал, Тит открыл его праздником, который длился сто дней (80 г. н. э.). При императоре Домициане уже не хватало дня, сражались ночью при свете факелов. И в этих зрелищах находили удовольствие не только прославившиеся своей жестокостью императоры; выше мы назвали Тита, а Траян, чья память так дорога человечеству, бросил на арену в течение одного лишь праздника десять тысяч пленных.

Это была эпоха расцвета императорской власти. Народ охотно отрекался от своих старинных прав ради зрелищ, а императоры ничего не имели против такого обмена. Но заинтересованность в них частных лиц значительно упала; это движение, против которого напрасно боролись, когда оно грозило безопасности государства или императора, замирало само собой и, казалось, должно было совсем угаснуть в тот момент, когда в этом оказалась заинтересованная власть. Правда, теперь уже не было народа, расположения которого приходилось добиваться, теперь был только господин, желания которого надо было удовлетворять, и поэтому в расчеты императора не входила отмена этой формы повинности; он сохранил ее, сделав ее легальной. Кандидаты на должности все реже и реже стали устраивать подобные зрелища; тогда император распространил эту повинность, возложив ее на магистратуру, и тем самым привлек на сторону верховной власти благосклонность народа, которой этот последний платил за проявления частной щедрости. Некогда одни только эдилы были уполномочены устраивать эти игры; однако и другие магистраты, не менее заинтересованные в том, чтобы заручиться расположением народа

как для будущего, так и для настоящего момента, не пренебрегали этим способом достигнуть успеха. Примером этого служит Помпей во время своего консульства и Брут во время своей претуры. То, что раньше им только разрешалось, теперь было вменено им в обязанность. Должность претора, начиная с правления Августа, была связана с этой повинностью. При Клавдии она стала условием или, как говорит Тацит, ценой получения квестуры; вскоре эти слова можно было приложить ко всем политическим и религиозным должностям, особенно к тем, о которых мы упоминали выше и которые по самому своему характеру должны были быть недоступны для подкупа. Обязанность справлять эти игры была теперь так тесно связана с этими должностями, что в конце концов окончательно поглотила все остальные обязанности и дала им названия. Претор продолжал, как и прежде, председательствовать и во время судебных процессов и во время общественных игр, но он назывался теперь только «устроителем игр».

Двойное влияние — с одной стороны, честолюбия (в эпоху Республики), а с другой — власти (в эпоху Империи) и высокомерная алчность народа, который,



Фракийские гладиаторы



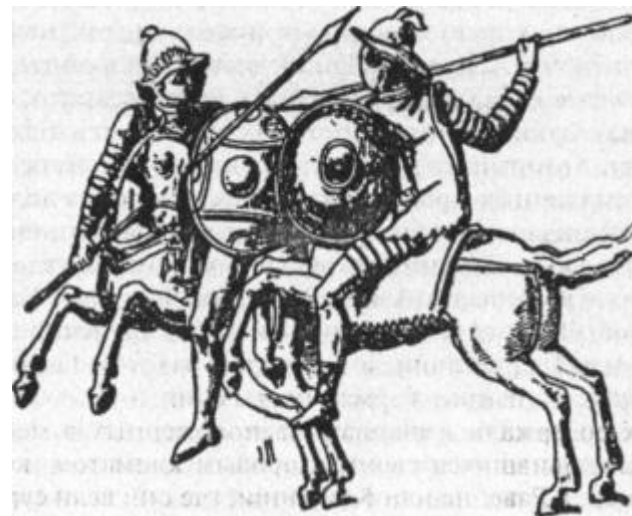
Гладиатор-самнит

независимо от того, был ли он господином или рабом, требовал, чтобы его забавляли устройством кровавых празднеств, содействовали тому, что гладиаторы были всегда многочисленны. Их выбирали среди самых сильных пленников или рабов, предназначенных к продаже, среди самых воинственных племен, поработанных или разбитых римлянами. Некоторые категории этих гладиаторов сохранили свои прежние племенные названия: «самниты» (это название относится еще к эпохе, когда этруски, будучи господами Кампании, ввели у себя этот обычай, — значительно раньше, чем он перешел в Рим), «галлы», «фракийцы» и многие другие народы со всех частей света по очереди пополняли их число, также и блеммии (одно из диких нубийских племен. — *Прим. перев.*), германцы, сарматы, исавры и другие. Одна из надписей посвящена некоему Луцию Дидию Марину, который сперва был прокуратором императора в различных провинциях, а затем получил должность интенданта, в обязанность которого несомненно входил также набор императорских гладиаторов; в первый раз набор был в Азии, Вифинии, Галатии, Каппадокии, Ликии, Памфилии, Киликии на Кипре, в Понте и в Пафлагонии, а во второй раз — в Галлии, Британии, Испании, Германии и Реции.

Их содержали в школах, расположенных в местностях, славившихся своим здоровым климатом, как, например, в Равенне или Кампании, где они вели суровый, но здоровый образ жизни. Там специальные учителя обучали их самым различным видам борьбы, так

как это искусство становилось все сложнее, чтобы как можно больше разнообразить народные удовольствия. Прежних «бустуариев», сражавшихся грудь с грудью вокруг погребального костра, заменили различные пары бойцов, воспроизводившие на арене все отдельные моменты войны.

Как и на войне, здесь были легковооруженные и тяжеловооруженные люди. Из числа первых выступали прежде всего велиты, начинавшие сражение, бросая друг в друга дротики; это было соревнование в ловкости, где ставкой была человеческая жизнь и нравившееся, как говорят, народу больше всех других видов боя. Затем следовали ретиарии, вооруженные для защиты сеткой, чтобы накрывать ею противника, трезубцем, чтобы повергнуть его на землю, и, наконец, кинжалом, чтобы прикончить его. На обнаженное тело они надевали тунику или набедренную повязку, концы которой соединялись несколькими складками или связывались над бедрами. Кроме того, они имели для



Конные гладиаторы

защиты пояс, в котором, вероятно, можно видеть тот нагрудник, панцырь, о котором упоминает Тертулиан; на левой руке — нарукавник, спускавшийся довольно низко, чтобы прикрывать руку, и наплечник, достаточно высокий, чтобы защищать шею и, в случае необходимости, — голову. Наконец, «лаквеарий» (арканщик), который пользовался петлей так же, как ретиарий сеткой, и подобно ему имел для защиты наплечник, а в качестве оружия — меч или загнутую палку.

Тяжеловооруженные гладиаторы были снабжены различного рода оружием, употреблявшимся на войне как для нападения, так и для защиты, с теми характерными различиями, которые их практика внесла как в оружие солдата, так и в оружие гладиатора; причем различия эти были не в пользу солдата, так как, обрекая гладиатора на смерть, в то же время хотели, чтобы он как можно дороже продал свою жизнь; это было в интересах хозяина школы гладиаторов и не в ущерб толпе, удовольствие которой благодаря этому длилось дольше. Наступательным оружием служило иногда копье, чаще прямой меч, кривой меч, а также меч, согнутый наподобие косы. Оборонительное оружие состояло из шлема, простого или с нашлемником украшенным иногда султаном и снабженным набородником, и забрала с пробитыми отверстиями или приспособлением из цельного куска, закрывавшим голову и не имевшим иных отверстий, кроме отверстий для глаз и рта; щита круглого, овального, чаще всего четырехугольного, выгнутого для лучшей защиты туловища, а иногда закругленного или с выемкой с нижней стороны; нарукавника на правую руку, поножей на левую ногу, иногда и на обе; нарукавники прикрывали предплечье или всю руку, а поножи — ногу до колен и выше заканчивались раструбами наподобие ботфортов. У некоторых икры, руки и все туловище были защищены металлическими бляхами или ремнями из кожи. Кожа неред-



Гоплит

ко заменяла железо или медь на шлемах, точно так же как и для защиты рук и ног.

Эти виды оружия, представлявшие более или менее законченное целое при всем своем многообразии и в различных комбинациях, служили отличительным признаком разного рода гладиаторов: гладиатора во всеоружии (гоплимаха), этого прежнего гоплита, «вооруженного всеми видами оружия», фракийца, заимствованного, вероятно, у отрядов тяжеловооруженных македонян, самнита, галла, которые чем-нибудь должны были напоминать вооружение своего народа, и «мирмиллона», гладиатора из племени галлов, обыч-

ного противника ретиария. Гладиаторы, выступавшие друг против друга в качестве противников, принадлежали иногда к одной категории, иногда к различным. Заставляли сражаться фракийца против фракийца, самнита против самнита или фракийца против самнита. Но главной и наиболее популярной борьбой, изображение которой мы чаще всего видим на барельефах, мозаиках, так же как и в грубых набросках, сделанных рукой какого-нибудь празднующего на стенах домов, как, например, в Помпеях, была борьба легковооруженного гладиатора против тяжеловооруженного, ретиария против мирмиллона. Эта борьба походила на охоту за морским чудовищем, во время которой ретиарий, с сеткой и трезубцем Нептуна в руках, начинал преследовать своего противника, называвшегося мирмиллоном, так как эта рыба была изображена на его шлеме. Он преследовал его, напевая: «Не тебя ловлю, рыбу ловлю; зачем бежишь ты от меня, галл?». И он бросал свою сеть точь-в-точь как закидывают сеть рыболовную. Но горе ему, если он промахнулся. Тогда он в свою очередь должен бежать от своего противника, называвшегося вследствие этого «секутором», преследователем; благодаря неравенству вооружений он неминуемо должен был погибнуть, если ему вовремя не удавалось подтянуть к себе сетку, чтобы снова бросить ее на противника. Итак, обычным противником ретиария был галл; но против него выступал также и самнит, а иногда мы видим сражающихся против него гладиаторов, которых, судя по их вооружению, можно принять за фракийцев.

Независимо от этих классических сражений, следует упомянуть различные виды гладиаторских игр, которые требовали не меньшего количества людей и не меньшего числа жертв. Действующими лицами в этих зрелищах были: «андабаты» — бродящие наощупь, шлем которых так низко спускался на глаза, что им приходилось двигаться почти наугад; гладиаторы, сра-



Борьба ретиария с мермиллоном, накрытым сетью

жавшиеся на лошадях, на колесницах, целыми отрядами. В этих кровопролитных схватках они представляли собой солдат, которых со времен Цезаря посылали на арену, чтобы дать народу реальное изображение настоящего сражения. Прибавьте к ним еще тех, кого держали в резерве, чтобы выпустить их против победителя; победивший один раз не мог быть спокоен за свою жизнь даже на этот день. Одного гладиатора, по имени Бато, Каракалла (правда, его упрекали за это, как за крайне жестокий акт) заставил сражаться три раза. Прибавьте еще «меридианов» — полудневников, выступавших около полудня почти обнаженными перед началом других сражений или после боя зверей, так как праздник считался неполным, если не было боя людей с животными, во-первых — боя с быками, тореадоры (их происхождение, как мы видим, очень древнее) назывались «тавроцентами», или «сукцессорами», если они приходили на смену другим, а иногда «сукцензорами», если метод их борьбы состоял в том, чтобы увернуться от натиска зверя и прыгнуть ему на спину; во-вторых — боя со львами, медведями и пантерами. Бестиарий выходил на арену, вооруженный

рогатиной или копьем, имея для защиты ремни на ногах и несколько металлических пластинок на плечах или груди. Некоторых (вероятно, приговоренных к смерти преступников) выпускали против зверей обнаженными. Это называли охотой. Но при таких условиях зверь реже становился жертвой охотника, чем охотник — жертвой зверя. Такое огромное количество рабов, которых держали только для того, чтобы они уничтожали друг друга, и которые в случае поражения погибали, а в случае победы нередко получали вольную от господина, требовало колоссальных расходов; и тем не менее многие владели ими на правах собственности. В правление Цезаря был издан закон, запрещающий иметь рабов больше определенного числа, закон, подтвержденный еще раз Тиберием. Менее состоятельные могли нанимать их у спекулянтов, избравших это своим ремеслом; их называли именем, означавшим «продавцы мяса». В более позднюю эпоху стало менее необходимым покупать или нанимать рабов для этой цели. Пыл сражения передался зрителям. На арену спустились свободные люди, всадники и императоры. Роковое увлечение, свидетельствующее о том, как низко пали общественные нравы.

8

Такова общая картина рабства в Риме, таково распределение рабов, предназначенных для обслуживания тех потребностей, которые любовь к роскоши породила во дворцах магнатов. Но эту картину, составленную из различных деталей, заимствованных и из дидактических книг, и у моралистов, и из поэзии — еще в большей степени, чем из истории, — можно ли эту картину считать реальным отображением действительности, чем-то вроде списков переписи? Не грозит ли в данном случае опасность принять простые наименования за живых людей и считать за отдельные категории

рабов то, что было только естественной классификацией их многочисленных функций? Без сомнения, это так, и потому мы спешим прибавить к нашему описанию следующее замечание, необходимое для того, чтобы исправить впечатление, которое оно может оставить, как это имеет, например, место при простом чтении трактатов Пиньори и Помпа. Подобно тому как в сельских работах пахарь, возделывающий землю, мог в нужный момент пропалывать посевы и убирать их или виноградарь подрезывать виноградники и участвовать в сборе винограда, так и в городской семье многочисленные обязанности, которые, казалось бы, должны были распределяться между различными лицами, на самом деле сосредоточивались в руках одного и того же раба. Корнелий Непот говорит, что слуги Аттика могли прекрасно выполнять обязанности чтецов и переписчиков. Здесь он имеет в виду только их способности, но часто их, вероятно, использовали если и не так именно, то как-нибудь иначе, если не для этих целей, то для каких-нибудь других работ или услуг. Раб, подносящий во время осады камни в корзинах, или раб, отгонявший мух, имели, вероятно, и какие-либо другие обязанности. В вилле Фавста, чей идеальный порядок и разумное ведение хозяйства вызывают похвалы Марциала, рабы, имевшие специальные функции, как, например, трактирщик, продававший напитки путешественникам, раб при гимнастическом зале, натиравший маслом своего господина, когда он упражнялся в борьбе, так и все остальные городские рабы употреблялись в свободное время для других работ; юноши с вьющимися волосами переходили из рук педагога под наблюдение управляющего, и даже евнух находил какую-нибудь работу, соответствующую его слабым силам.

Это соединение нескольких должностей в одном лице, столь естественное для менее значительных семей, кроме того подтверждается законами, регулиро-

вавшими выполнение завещания: «Если раб, — говорит Маркиан, — знает несколько ремесел и если одному наследнику завещают поваров, другому — ткачей, а третьему — носильщиков, то вышеупомянутый раб должен принадлежать тому, в чьей доле значатся рабы, ремесло которых он исполнял чаще всего». Но не менее верно и то, что и для «второстепенных» обязанностей существовали специальные должности. Слово *ad pedes* имеет для раба значение не случайной обязанности, а постоянного занятия. Это было его звание, сохранявшееся за ним даже тогда, когда он занимался чем-либо другим, и даже в надписях. Существовали специальные рабы для выполнения каждой отдельной мелочи внутреннего и внешнего обслуживания: один из них, на обязанности которого лежало идти впереди своего господина, жалуется в «Жребии» Плавта, что он стал привратником; Сенека считает несчастным того раба, вся жизнь которого посвящена делению на части всякой живности. Эти обязанности, не занимавшие сплошь всего времени прислуживающего, имели не только своего отдельного исполнителя, но они иногда могли насчитывать за собой целую группу таких слугителей, как это мы видели при выходах господина. Если господин имел несколько резиденций, то нередко случалось, что каждая сохраняла свой полный штат прислуги, как и инвентарь, которым она была снабжена. При завещании одного дома, имевшего полный штат прислуги, перечислялись привратники, садовники, рабы, прислуживающие за столом, и фонтанщики, так же как и ремесленники, прикрепленные исключительно к этому месту, и даже группа молодых рабов, которых господин мог бы здесь собрать, чтобы иметь их под рукой во время своих кратковременных посещений.

Подобного рода обычаи привели к тому, что число рабов, состоящих на службе у магнатов, было сильно преувеличено. Вначале были допущены преувели-

чения в описаниях жизни, а затем вскоре стали преувеличивать и число рабов. В этом духе Петроний или кто бы там ни был автором «Сатирикона», где описываются нравы в начальный период Империи, дает описание дворца Трималхиона, презренного раба, безмерно разбогатевшего, как и многие другие рабы этой эпохи. В этом роскошном дворце он насчитывает целые легионы слуг. Согласно обычаю, который мы уже отметили при организации сельских работ, рабы во дворце были распределены по десяткам; одно только обслуживание бань требовало нескольких декурий, сменявших друг друга; для обслуживания кухни их было сорок, и соответственно этому и число для всех остальных служб. Кажется, что автор хотел наглядно изобразить, и притом в самых широких рамках, домашнюю службу; она вполне совпадает с той картиной, которую мы пытались набросать. Что касается количества сельских рабов, то их число можно себе представить по числу новорожденных. Секретарь докладывал своему господину, согласно записям в домовых книгах (как будто по городским ведомостям), что в такой-то день в одном из его поместий родилось тридцать мальчиков и сорок девочек... подсчитайте, основываясь на этих цифрах, население этой «провинции». И Трималхион был не единственным; в том же произведении другой хвалится тем, что на его полях в Нумидии было достаточное количество рабов, чтобы осадить и взять Карфаген. Имея такие примеры, не прав ли был римлянин Ларензий в «Пире мудрых», когда он смеялся над Афинами, где самый богатый грек Никий собрал (скупил) тысячу рабов с тем, чтобы отдавать их в наем для работы в рудниках? Он также утверждал, что в Риме очень многие граждане держали по десяти и двадцати тысяч рабов, и не с целью спекуляции, как в Аттике, а лишь для того, чтобы рабы составляли их свиту.

Эти очевидные преувеличения, к которым многие относятся с полным доверием, считая их за правду,

должны были в силу естественной реакции вызвать ряд серьезных и справедливых сомнений относительно того огромного населения, которое тем самым уже предполагалось. Однако все же не следует заходить слишком далеко в своем скептицизме и наряду с общими или фиктивными оценками отвергать точные цифры, приводимые в качестве частных примеров. Мне кажется, что нельзя сомневаться в том, что некоторые лица имели очень значительное число рабов. Реальность зла вызывает, может быть, и чрезмерное увлечение моралиста; сатира всегда преувеличивает существующие крайности, но в этом преувеличении есть всегда доля правды. Почему бы Деметрий, этот вольноотпущенник Помпея, ставший богаче своего господина, не мог доставлять себе удовольствия ежедневной проверки списков своих рабов, как это делал полководец со своими солдатами? Почему Цецилий не мог оставить по завещанию 4116 рабов, как утверждает Плиний, если в это число включены рабы, жившие в его сельских поместьях, и если эти последние представляют из себя латифундии, занимавшие область целого народа древней Италии? Если он одновременно завещал 3600 пар быков и 257 тысяч голов мелкого скота, то эти цифры, исчисляя людей, необходимых для их обслуживания, на основании данных Варрона (данных, которые, по его же собственному признанию, несомненно следует ограничить в применении к крупным цифрам), дадут около 3 тысяч рабов для ухода за мелким скотом и по меньшей мере 360 для быков, считая по одному на каждые 10 упряжек.

Впрочем, существуют памятники, которые по своему назначению и по своим размерам свидетельствуют о широком распространении рабства в богатых римских домах: это колумбарии. Так назывались высокие и просторные похоронные залы, где в несколько этажей в маленьких отдельных нишах размещались погребальные урны рабов или вольноотпущенников дома. В на-

чале XVIII в. виноградари обнаружили под насыпным холмом колумбарий Ливии, жены Августа; и вот здесь, в этом храме смерти, благодаря надгробным надписям перед нами встает верная картина императорского дворца. Здесь были представлены рабы для всех главных видов службы: для службы в комнатах и в прихожей, для ухода за телом и за здоровьем, для воспитания детей, для наблюдения за гардеробом и для того, что римляне по примеру греков называют «миром женщин», — для хранения одежд и драгоценностей, прилаживания жемчугов с деликатным поручением выбирать среди всех украшений те, которые могли способствовать созданию наиболее совершенного образа и превратить госпожу в произведение искусства. Одна нескромная могила обнаружила перед нами даже гримировщика Ливии. Затем следовали бесконечные мелкие услуги интимного характера, состоявшие в том, чтобы читать или держать дощечки для писем, сопровождать или сидеть у ног госпожи, обязанность, в которой дебютировали группы детей скорее для забавы, чем с пользой, служба по дому, при выходах, в которой эти дети, ставши более взрослыми, играли первую роль; уход за священными предметами, портретами или статуями предков и богов и, наконец, общий надзор и управление делами.

Все же не все должности были представлены в этих нишах колумбария; мы здесь не видим низшего разряда рабов; из всего, в силу необходимости очень многочисленного, штата служащих при кухне упоминается только *pistor* (вероятно, какая-нибудь высокая специальность кондитерского искусства), перешедший от Лициния к Августу. Итак, это избранное общество: это любимцы, надзиратели над отдельными службами, старосты, декурионы, так как весь полный и фактический штат служащих-рабов, как мы это видим в вымышленной картине пира Трималхиона, делился на декурии рабов. Там были старосты, декурионы эскор-

та, декурионы привратников и лакеев, педагогов-дядек; декурионы, заведовавшие снабжением и секретариатом; декурионы чтецов и врачей и многие другие; этот титул давался даже и женщинам, стоявшим во главе других. Отсюда ясно, насколько значительно было общее число служащих. Этот колумбарий, воздвигнутый в два этажа, имел больше пятисот ниш с двумя урнами, т. е. более чем для 1000 рабов или вольноотпущенников; мертвых было больше, чем гробниц; нередко друзья и родственники выражали желание, чтобы их пепел был смешан в одной урне, дабы вместе покоиться вечным сном. Правда, несколько урн принадлежит к более поздним временам Империи, но, с другой стороны, для рабов дворца императрицы Ливии были воздвигнуты и другие гробницы: гробницы единоличные (надписи встречаются во многих сборниках) и гробницы общие. Вдоль той же самой Аппиевой дороги, как и на дорогах Кассиевой и Пренестинской было открыто несколько аналогичных памятников, надписи на которых позволяют отнести их к дому Августа. Некоторые из них упоминались уже в старинных сборниках, как, например, тот, который описывает Фабретти, имевший три ряда с отделениями для четырех урн в каждом. Другие были открыты сравнительно недавно: один из них, находящийся между Аппиевой и Латинской дорогами, по-видимому, был памятником рабов детей Друза Нерона. Другой памятник, воздвигнутый для рабов Марцелла, был открыт в 1847 г.

Дом Ливии — это дом самого императора. Однако по одной только этой причине не следует отказываться от этого примера. Август, старавшийся замаскировать свою власть формами республиканского правления, едва ли мог желать затмить древнюю аристократию необычной роскошью. Его дом, без сомнения, занимал первое место, но он не являлся чем-либо исключительным. Остальные следовали за ним на разных рас-

стояниях. Многие из них также имели свои мавзолеи для вольноотпущенников и рабов. Об этом свидетельствуют наряду с вышеприведенными примерами дома Мecenата, Лициния, Луция Аррунция, бывшего консулом при Августе и погибшего при Тиберии, Сильвана, Мунация, Сабина, Скрибония и, наконец, Статилия, колумбарий которого, открытый в 1875 г. в той же местности, что и остальные, один только имеет более 420 надписей. Рабы в этих домах также объединялись в декурии.

Восхваляли умеренность цензора Катона, Сципиона, Карбона, Марка Антония, Катона Утического, потому что они брали с собой в поход от трех до двенадцати рабов. Впрочем, на основании этого не следует делать поспешных заключений о числе их прислуги, так как это могло быть связано с привычками походной жизни. Цезарь, имевший огромное количество рабов, при переправе на остров Британию взял с собой только трех. Но в Риме нельзя было показываться в свете без пышной свиты. Лукиан во многих случаях рисует нам обычаи и потребности того общества, в котором он вращался, и поэты даже в том случае, если они не имеют в виду сатиры и не стремятся к преувеличению, приводят также очень высокие цифры. Если Плиний в своей диатрибе, направленной против современных ему нравов, преувеличивает, протестуя против легионов рабов, то Ювенал говорит по меньшей мере о когортах. Марциал намекает на толпу рабов, составлявшую свиту богачей, говоря о честолюбце низкого происхождения и об его единственном слуге:

По бедности один идет он перед ним, он — вся его толпа,

а Гораций, желая показать эксцентричность Тигеллина, изображает его окруженным свитой то в двести человек, то в десять.

Эти предельные цифры несколько не преувеличе-

ны. Есть даже основание предполагать, что они являются общими для зажиточных домов. И эти высказывания поэтов находят свое подтверждение в законах и в истории. Что касается законов, то я приведу только два из эпохи Августа: первый, запрещающий лицам, подвергшимся изгнанию, брать с собой более двадцати рабов, и второй — закон Фузия Каниния, имевший целью ограничить число отпусков на волю. Он сократил число отпускаемых по завещанию пропорционально числу рабов каждого данного хозяйства наполовину для самого незначительного, до одной трети, четвертой и пятой части для остальных; но даже и здесь он устанавливал максимальную норму и ни в коем случае не разрешал освобождать более ста рабов, что позволяет предположить, что число их нередко достигало пяти-сот. Что касается исторических фактов, то нам хорошо известно, что Веттий, римский всадник, запутавшийся в долгах, вооружил 400 своих слуг, чтобы принять участие в том восстании, которое явилось прелюдией ко второй рабской войне; что в начале Империи Лепид был осужден между прочим и за то, что толпы его рабов, плохо дисциплинированных, нарушали общественную безопасность в Калабрии, и, наконец, эти 400 рабов Педания Секунда, казненных за то, что они находились под одной крышей со своим убитым господином (они составляли, вероятно, лишь часть прислуги). В этом последнем случае мы можем сослаться на закон, как и на свидетельство истории. В самом деле, что представлял собой этот закон, как не одно из тех крайних мероприятий, подсказанных римской аристократией, как некогда правительству Спарты, мыслью о необходимости защитить незначительную кучку господ против массы их рабов? С этой именно целью, вместо того чтобы отменить древний обычай, его возобновили в правление Нерона, когда так сильно увеличилось число рабов. На том же основании Кассию во время прений удалось склонить на свою сторону се-

нат, когда, казалось, он хотел отступить перед ужасом этих казней.

Таково было численное отношение рабов к господам в высшем слое общества. Следует особенно подчеркнуть, что эти числа даны нам не как особые или исключительные случаи. Они даже не были сохранены древними писателями с той же самой мыслью, которая руководит нами при их собирании, как в примерах Плиния, так и в примерах Афиней. Эти числа случайно связаны с главными фактами, упоминаемыми историей. Для большинства лиц это было фантазией богатого человека, удовлетворением его тщеславия, так как большое число рабов, как и обширность его доменов, служило внешним признаком богатства, степенью которого измерялось уважение толпы:

Столько он кормит рабов, сколько югеров поля
Было во власти его...

Для некоторых это было делом честолюбия. Они находили способы подкупать народ или устройством зрелищ (как мы это видели на примере с гладиаторами), или различными услугами. Риф Эгнаций заслужил благосклонность толпы во время своего эдилитета тем, что употреблял своих собственных рабов для тушения пожаров. Для некоторых это было делом спекуляции. Так, Красс содержал пятьсот рабов не для тушения пожаров, а для использования их последствий. Он скупал опустошенные участки и с помощью рабов возводил новые дома, в результате чего, по словам Плутарха, большая часть Рима стала его собственностью. Но это был не единственный практиковавшийся им способ эксплуатации рабов. Кроме рудников и работавших в них рабов, кроме земель с жившими там колоннами, он имел много искусных рабов; и все остальное, добавляет автор, было ничто по сравнению с теми доходами, которые он извлекал из их числа и их

талантов. Они были чтецами, писателями, банкирами, управляющими делами, дворецкими, поварами; и Красс не только присутствовал во время преподавания, но и сам прилагал все усилия, чтобы образовать и обучить их; он был твердо убежден, что главной обязанностью господина было воспитание своих рабов в качестве живых орудий хозяйства. Примеру Красса в меньшем масштабе подражали многие другие владельцы рабов. Впрочем, и независимо от этого тщеславия, искательства и спекуляций всякого рода рабство было широко распространено. Не было такой низкой ступени общественной лестницы, на которой нельзя было бы найти господина. Солдат имел своего слугу в лице маркитана и погонщика, куртизанка — своих служителей в лице водоноса и сводника, даже у раба был иногда свой раб. После всего сказанного можно спросить: много ли бедных плебеев обслуживали себя сами? Это было признаком крайней нищеты, если «нет у него ни раба, ни сумки для денег»; и все же число их было велико. Мы считаем также невозможным установить хотя бы приблизительно верную цифру для этой второй категории рабов. Здесь ничто не может служить нам предельной нормой, как это имело место для сельских рабов. Здесь играли роль не те или другие вполне определенные потребности, а потребности надуманные, удовлетворение честолюбия. Одни владели целым населением, другие имели более или менее значительное число, не выходящее, однако, за пределы разумного, у третьих, наконец, их совсем не было. При наличии таких крайностей на какой средней величине можно остановиться? Можно утверждать лишь то, что со времен Катона Цензора до Катона Утического число домашних рабов, принадлежавших по крайней мере знати, увеличилось больше чем в четыре раза. Это подтверждает и Валерий Максим, который, сопоставив с тремя рабами первого двенадцать рабов, взятых с собой вторым при аналогичных обстоятельствах, добав-

ляет: «Числом это больше, чем раньше, но с точки зрения изменения нравов эпохи это меньше». Я думаю, что впечатления, полученные от приведенных выше свидетельств, позволяют сделать вывод, что пользование рабами было значительно более распространено в Риме, чем в Греции, среди зажиточного класса. Но в каком же численном отношении стояли друг к другу различные классы свободных в Риме и в Италии? Это также трудно установить с необходимой точностью, и потому ясно, что для общего исчисления всего домашнего населения нам недостает нескольких существенных моментов. Поэтому мы ограничимся этими частными замечаниями о различных категориях рабов и о том, как их использовали на различных ступенях общественной лестницы, не стараясь систематизировать их и не придавая общей сумме видимости той точности, которую она не может обладать.

9

С этими неопределенными данными об общественных и частных рабах в городе и лишь более или менее приблизительно данными о рабах сельских, вероятность которых постепенно убывает по мере приближения к эпохе Империи, не следует претендовать на достижение точных данных для общего числа рабов не только в Риме, но и в Италии. Метод, которым мы воспользовались по примеру Дюродела-Малля для подсчета общего числа населения страны в эпоху Пунических войн, нельзя так же просто применить к временам, близким к Империи. Италия является уже не единственной поставщицей хлеба. Ввоз, необходимость в котором, вероятно, стала чувствоваться со времени эпохи великих завоеваний и распространения роскоши, увеличился в правление Августа, согласно двум сопоставленным друг с другом текстам Иосифа и Аврелия Виктора, до 60 мил-

лионов модий в год (5202460 гектолитров). Это составляет шестую часть того, что производила Италия к югу от Рубикона, согласно нашим расчетам, в период своего наибольшего хозяйственного расцвета, и немного больше пятой части того, что оставалось для потребления, за вычетом семян. Не указывают ли эти цифры на большой прирост населения? Наоборот, они скорее свидетельствуют о быстром упадке земледелия. Все агрономы и все историки жалуются на этот упадок, и все в одинаковых выражениях говорят о гибели населения италийского племени. Оно уменьшилось среди прежних союзников, ставших гражданами, оно уменьшилось и среди остальных туземных племен, оставшихся чуждыми Риму, но подчиненных его законам. И если благодаря тому первенствующему значению, которого достигла Италия среди других стран, и всестороннему развитию суверенного города общая масса населения может рассматриваться как равная прежней, то только что отмеченные нами пустоты могли быть пополнены только за счет иностранцев, вольноотпущенников и рабов. Но вольноотпущенники обычно и довольно быстро получали права гражданства; поэтому они частично входили в число лиц, значащихся по переписи. Что касается рабов, то число сельских рабов должно было уменьшиться. Снижение, отмеченное в сельскохозяйственной продукции, предполагает соответствующее уменьшение числа лиц, занятых земледелием, которое не компенсируется увеличением числа пастухов. Итак, для восстановления равновесия оставались иностранцы, которых торговые интересы или жажда удовольствий в большом количестве привлекали в столицу римского мира, а также рабы, толпами собранные здесь благодаря возрастающему богатству и любви к роскоши для выполнения обязанностей городской прислуги.

Эти оценки слишком гипотетичны, чтобы им путем подсчета можно было придать обманчивый вид

точности. Но мне кажется, что, несмотря на все эти неопределенные данные, можно сделать следующие заключения, а именно: что уменьшение числа свободных людей, как правило, соответствовало увеличению числа рабов и что это последнее, менее значительное, чем число первых в начале второй Пунической войны, впоследствии по меньшей мере сравнялось с ним. Не отрицая вытекавшего отсюда зла, Плиний тем не менее считает большое количество рабов богатством Италии. Тацит, наоборот, противопоставляя росту числа рабов прогрессивное уменьшение числа людей италийского племени, считает это опасностью; Рим в правление Тиберия, по его словам, начинает страшиться этого явления, а по свидетельству Сенеки, эти опасения сильно беспокоили собрание знатных. Как-то в сенате предложили или, вернее, даже решили ввести для рабов особую одежду. «Это отклонили, — говорит он, — потому что сочли большей опасностью данную рабам возможность подсчитать наше число». Но не забудем, что при всех этих сопоставлениях параллель проводится, главным образом, между рабами и господами. Класс плебеев, которых при занимающих нас здесь исчислениях хватает лишь на то, чтобы поддерживать равновесие между этими двумя группами, представлял собой, как мы это увидим дальше, во время государственных кризисов непостоянную толпу, которую сознание своей бедности, ненависть к социальному неравенству и своего рода общность положения и даже происхождения скорее сближали с рабским классом, что являлось серьезной угрозой классу высшему.

Глава четвертая

ЦЕНА РАБОВ В РИМЕ

То, о чем я говорил в двух предшествующих главах о продаже и о занятиях рабов, требует дополнения; здесь я хочу сказать о их цене, материи весьма сухой, но известные исследования Дюро-де-ла-Малля позволят мне быть кратким.

1

Цена рабов менялась в зависимости от времени; она должна была меняться и в зависимости от их числа, их занятий, их заслуг и различных других вышеупомянутых мною обстоятельств. Подтверждения этого мы находим как в исторических фактах, так и в законах.

У нас нет документов, касающихся цены рабов в первый период римской истории до второй Пунической войны; начиная с этой эпохи их цена приближается к ценам, общепринятым в Греции, вследствие установившихся более регулярных сношений между этими двумя народами. Таким образом, проданные Ганнибалом в Ахайе 1200 пленных были выкуплены за 100 талантов (это, вероятно, та сумма, за которую они были куплены), т. е. по пяти мин за человека (около

160 рублей золотом) — цена, некогда довольно высокая для Греции, но ставшая обычной для рабов в эпоху преемников Александра. После битвы при Каннах Ганнибал, смягченный победой, а может быть, и стесненный своими пленными, предлагал им свободу на условиях еще более легких. За всадников было назначено 500 денариев с изображением колесницы, за легионера — 300 и за раба — 100. Эти цены, не исключая и цены за свободного человека, были ниже обычной стоимости рабов, так как Тит Ливий говорит, что сенат, пренебрегши этими пленными, купил 8 тысяч рабов, чтобы сделать из них солдат, и заплатил за них больше того, что стоили бы ему пленные.

Для последующих времен мы, прежде всего, имеем свидетельства Плутарха, гласящие, что Катон некогда не платил за рабов дороже 1500 драхм, при этом он имел в виду рабов здоровых, годных к работе, способных управлять волами и ходить за лошадьми. Но Плутарх, вероятно, заменил драхмой денарий, стоимость которого в современную ему эпоху приблизительно равнялась стоимости драхмы, но была ниже в период Республики. Можно даже предполагать, что цена этих рабов не достигала этого максимального предела. В самом деле, передают, что Катон в бытность свою цензором оценил рабов в десять раз выше их действительной стоимости, чтобы обложить налогом в 3 асса за тысячу тех рабов, которые были моложе двадцати лет и стоили выше 10 тысяч ассов (около 310 рублей золотом), что в переводе на греческие деньги составит немногим менее 900 драхм. Этим мероприятием Катон хотел ударить не по труду, а по роскоши. Весьма вероятно, что цены, установленные им в своем законе, превышали обычные цены на сельских рабов. Закон Катона в то же время свидетельствует и о том, что жажда роскоши значительно подняла цены на рабов, необходимых для удовлетворения порожденных ею потребностей. Комедии Плавта могли бы представить

этому доказательства. Тем не менее этими текстами следует пользоваться с известной осторожностью, и не потому именно, что Плавт подражает грекам, — ведь новая комедия появилась приблизительно за полвека до него, и рабы этой категории не могли стоить в Греции дороже, чем в Риме. Кроме того, Плавт очень свободен в своих подражаниях; он без всякого стеснения вводит римские нравы в чисто греческие сцены. Что же касается цифр, обозначающих цены рабов, то он не считал необходимым придерживаться рыночных цен, существовавших в то время в Риме или в ином каком-нибудь месте. Об этом можно судить по тому разнообразию, которое они представляют. В комедии «Пленники» похищенный ребенок был продан за 6 мин; в другом месте две маленькие девочки — одна четырех, другая пяти лет — были отданы вместе с их кормилицей за 18 мин, но без гарантии. Молодая девушка куплена за 20 мин; за другую заплатили 20 мин и перепродали за 30 мин; такова же и цена любовницы Филомаха в «Привидении». Еще другая, за которую просили то 30 мин, то один талант, была уступлена по первой цене с надбавкой в 10 мин за ее платья и украшения. Во время комического торга между отцом и сыном из-за рабыни, которой и тот и другой добивались, не смея в том признаться друг другу, цена ее с 30 мин поднялась до 50, причем отец уверял, что не откажется от нее, даже если цена ей будет 100 мин (около 3500 рублей золотом). Одна пленница куплена за 40 мин, арфистка — за 50 (следует добавить, что ее купил ее любовник). Наконец, молодая девушка, выдаваемая за пленницу и отличавшаяся грацией и умом, была куплена за 60 мин содержателем публичного дома, считавшим, что он таким путем обеспечил свое состояние. Это разнообразие цен и их повышение могли, без сомнения, встречаться и в действительной жизни, подобно тому как мы видим это на сцене для рабов этой категории. Но есть и другие примеры, позволя-

ющие нам уличить поэта в явном преувеличении. Филократ, пленный раб, уезжая для выполнения возложенного на него поручения, должен оставить залог в 20 мин; слуга Демона получает свободу за 30 мин, причитавшиеся ему за открытие шкатулки, в «Канате». Наконец, два повара в «Кладе» оценивают себя не меньше чем в один талант за обоих; повар, как нам известно из греческих комедий, был преимущественно фанфароном (хвастуном). Иногда эта сумма называлась с известным оттенком презрения: «За талант я не куплю ведь милетского Фалеса!». Одна заслуженная куртизанка не хочет отдавать свою дочь меньше чем за два таланта, или за 20 мин в год. Правда, за эту цену она предлагает в виде гарантии сделать всех рабов в доме евнухами:

Не желаешь ли, я в доме всех рабов кастрирую?

Но в скором времени самые высокие цены Плавта были превзойдены. Желали иметь не только красивых рабов, желали иметь рабов, происходивших от народа, известного своей приветливостью и веселым нравом, — из Греции и Александрии. Правда, с тех пор как эти страны были превращены в провинции, стало труднее получать рабов оттуда, но жажда роскоши, более сильная, чем все направленные против нее законы, овладела всей знатью. Ее причудливые фантазии, ставшие более требовательными и многочисленными, подняли, само собой разумеется, цены на подобного рода рабов. Уже Катон негодовал на то, что за красивого слугу платили дороже, чем за участок земли. Марциал упоминает о целых наследствах, истраченных на покупку женщин и подростков, за которых платили по 100 тысяч сестерций. Плиний приводит очень характерный пример такой продажи, называя имена продавца и покупателя.

Римлян толкала на эту расточительность не только

погоня за чувственными удовольствиями, но и умственные запросы, интерес к литературе и искусству: это были благородные плоды цивилизации, свободно созревавшие под солнцем Эллады, но в Риме пока еще требовалось постоянное руководство иностранцев для занятия ими. Впрочем, знатные лица иногда считали ниже своего достоинства заниматься этими искусствами лично, полагая, что имеют полное право заставить их служить себе за деньги. Торговцы всячески старались удовлетворить эти потребности: с этой целью они поручали воспитывать для себя литераторов и художников. В числе их было много и никуда негодных певцов и грамматиков, такой «шушеры», как певец, проданный вместе с Эзопом за тысячу оболов, и тот грамматик, за которого заплатили 3 тысячи оболов, или пять мин. Но не всегда можно было найти таких рабов, каких хотели, а обучение их стоило очень дорого. Это подтверждается примером Сабина, о котором нам только что рассказывал Сенека и который, чтобы иметь своего раба «Гомера», своего раба «Гесиода» и своего раба «Пиндара», должен был заплатить по 100 тысяч сестерций за каждого. Еще дороже платили за то, чтобы владеть рабом, получившим уже известность. Квинт Лутаций Катул купил Дафниса за 700 или 800 тысяч сестерций — доказательство уважения и богатства. Он оставил за собой только право патроната и право передать ему свое имя — Лутаций Дафнис.

Итак, в этой сфере мы не можем установить никаких предельных норм, а следовательно, и средних данных. Однако же в других случаях встречаются оценки более умеренные, и потому они могут казаться более обычными; но они тем более опасны; поэтому именно здесь критика должна принять во внимание все обстоятельства, чтобы не заблудиться в лабиринте ложной индукции. Так, оценивая раба-рыбака в 6 тысяч сестерций, ссылаются на Ювенала: это стоимость рыбы палтуса (тюрбо), которую автор сделал столь прослав-

ленной. Правда, он прибавляет: «...Может быть, было б дешевле купить рыбака самого, чем эту самую рыбу». Но, в самом деле, можно ли считать эту оценку в 6 тысяч сестерций общей для всех рыбаков? Конечно, нет, так же как нельзя приписывать Плинию подобную же оценку прежнего раба-оруженосца лишь потому, что он утверждает, что в его время соловьи стоят дороже, прибавляя при этом, что за одного из них было заплачено 6 тысяч сестерций. Эти тексты сами по себе не имеют такого значения. И во всех этих случаях следует остерегаться делать слишком поспешные заключения от частного к общему. Кому придет в голову определять обычную цену гладиаторов на основании свидетельства Светония, что однажды за Сатурнином оставили 30 гладиаторов за 9 миллионов сестерций? Так как добрый претор заснул во время продажи рабов, то Калигула ради забавы принимал покачивание его головы за изъявление согласия на надбавку. Оценивая хорошего раба-виноградяра в 8 тысяч сестерций, ссылаются на более серьезное свидетельство Колумеллы. Он начинает с утверждения, что, как правило, виноградярей выбирают среди самых дешевых рабов, но что он, напротив, относит их к самым ценным; что он не считает цену слишком высокой, если он заплатит за хорошего виноградяря 8 тысяч сестерций, — столько же, сколько за 7 югеров виноградника. Это, если можно так выразиться, скорее цена произвольная, чем настоящая оценка; она не дает никаких указаний для нужных вычислений.

Но имеется целый ряд других оценок, не вызывающих подобных сомнений. Марциал, рассказывая о продаже одной женщины, говорит, что если бы торговец не допустил некоторой оплошности, то за нее могли бы дать 600 денариев; в другом месте речь идет о рабе, купленном за 1300 денариев. Один отрывок Петрония, приводимый, как и предыдущий, Дюро-де-ла-Маллем, имеет, как мне кажется, более общее значение и бо-

лее широкое применение. Тысяча денариев обещается тому, кто приведет или укажет местопребывание беглого раба. Это, конечно, простое вознаграждение, а не цена раба, а Дюро-де-ла-Малль предполагает, что вознаграждение должно быть ниже цены раба, чтобы его хозяин был заинтересован в возвращении своего неверного слуги. Но не следует забывать, что он мог быть вдвойне заинтересован. Беглый раб представлял для него свою личную стоимость, а кроме того вознаграждение, которое можно было требовать с того, кто его приютил: вспомним остроумный комментарий Летрона к александрийскому объявлению, касающемуся бегавшего раба. Рим во все эпохи налагал на укрывателей подобного рода штрафы: закон Константина присуждает их к уплате двойной стоимости раба, поэтому господин вполне мог обещать эквивалент настоящей стоимости тому, кто донесет. Я знаю, что в данном случае не делается различия между обратным приводом и доносом: это простой случай иска о взыскании убытков. Но, с другой стороны, заметим, что речь идет о рабе для роскоши, о молодом красивом рабе. Чтобы получить его обратно, господин не останется перед уплатой полной стоимости; а в том случае, если бы он стоил больше, то сумма, предложенная тому, кто его вернет, могла быть не меньше стоимости более простых рабов. Оценка, данная Горацием в вышеприведенном отрывке, относится к рабу той же категории. Он молод, красив, образован, скром и, несмотря на это, склонен к побегам; но недостаток, объявленный без предоставления гарантии, так ловко маскируется похвалами, что покупатель думает, что он совершил выгодную сделку, купив его за 8 тысяч сестерций. Цена более высокая, чем в предыдущем случае, но это не должно никого удивлять, так как для этой группы слуг приходится допустить повышение средней стоимости.

Эти цены и цены, близкие им, встречаются также

в некоторых надписях. Обычай освобождать рабов под видом продажи их божеству продолжался в Греции вплоть до эпохи римского владычества. Не говоря уже о ценах, которые на основании одного лишь постепенного повышения можно отнести к данной эпохе (10, 15 и 20 мин), есть и другие показатели, которые определяют эпоху той валютой, в которой они выражены, и тем видом монет, в которых они обозначены. Так, в Тифорее мы находим рабу, оцененную в тысячу денариев, а в другой надписи — двух женщин, выкупленных вместе за 3 тысячи денариев. Этот выкуп, как мы видели, данный при посредничестве бога, представлял собой стоимость раба; и цена должна была быть более или менее одинаковой в Риме и в Греции для одной и той же эпохи.

2

Помимо поэтов, прозаиков и надписей, у нас есть еще один последний источник; этот источник — право, источник более богатый в эпоху Империи. Казалось бы, что в вопросах, подлежащих рассмотрению юристов или разрешенных согласно закону, чаще должны встречаться средние цены. И действительно, там имеется несколько оценок рабов. Так, можно предположить, что это «викарии» (рабы рабов), оцениваемые в 5 золотых, в 8 и 10 золотых, что это раб, ничего не умеющий, купленный за 10 золотых и перепроданный за 20 по окончании обучения. Но все это гипотезы.

Так же, без сомнения, обстоит дело со следующим примером Сцеволы: «Если ты должен 10 тысяч сестерций, или человека»; или с другим примером — юриста Павла: «Если ты купил раба за 10 тысяч сестерций, который стоит только 5 тысяч», и еще с другими, где раб оценен в 10 и 20 (тысяч сестерций? или «золотых»?). Взятые ли эти цифры из реальной жизни? Нет, это, конечно, необязательно: Яволен упоминает о рабе,

стоившем 2 золотых; но тем не менее нет ничего невозможного в том, что обычно дело обстояло именно так. Дюро-де-ла-Малль берет пример Сцеволы, опускающая или отвергая остальные. Их всех с одинаковым правом можно принять или отвергнуть; что касается нас, то мы не отказываемся признать эти примеры, но не как указывающие на средние цены, а, наоборот, как содержащие цифры, произвольно взятые, по высшей и низшей шкале. В первом случае — с чрезвычайно низкими ценами — речь идет о рабах, принадлежащих к самым низшим слоям рабства, о рабах рабов или ремесленниках без квалификации.

Но существуют и другие тексты, имеющие совершенно иной характер: это уже не просто примеры, произвольно выбранные юристами, это предписания законов. Многие законодательства императоров предусматривали случаи, когда рабы, отпущенные на волю благодаря неразумной щедрости или не имеющему силы акту, по прошествии некоторого времени оказывались в неприятном положении. В этом случае им оставляли свободу за 20 золотых, которые они должны были заплатить заинтересованному лицу. Являлось ли это их реальной стоимостью? Известно, как заботливо охранялось в Риме право собственности. Тем не менее положение этих вольноотпущенников требовало к себе особого внимания. Вот почему, вероятно, император не поручал подобных дел судьям, приговор которых мог вызвать некоторые опасения, и сам назначал в качестве возмещения убытков сумму, основанную, без сомнения, на реальной стоимости рабов, причем средняя стоимость бралась из числа самых низких. Эта сумма в 20 золотых («солидов») приводится как эквивалент раба в такую эпоху, когда стоимость золотого («солида») несколько упала, а именно в вышеприведенном законе Константина, законе, который мы, как и предшествующие, заимствуем у Дюро-де-ла-Малля, не соглашаясь, однако, с его комментарием. Речь идет

о двойном возмещении, возложенном на укрывателя беглого раба. Но не всегда легко найти точно такого же раба, в результате чего могут возникнуть всякого рода недоразумения. Законодатель устраняет их, определяя сумму вознаграждения исходя также из средней низших цен. Стоимость беглого раба была незначительна. Другой текст, не касающийся рабов, тем не менее дает, мне кажется, нормальную среднюю их стоимость и среднюю повышенную. Речь идет об убытке, понесенном вследствие падения цен. Для каждой представляющей известную ценность вещи эдикт претора определяет двойное возмещение. Для человека свободного он устанавливает сумму в 50 золотых. Речь идет о свободном человеке; но человек свободный не может быть оценен ниже раба, и так как в силу закона убытки должны возмещаться в двойном размере, то средняя стоимость раба едва ли превысит 25 золотых.

Эта средняя цена носила еще довольно общий характер. И лишь в последний период римского права, лишь в эпоху Юстиниана, мы встречаемся с целой шкалой цен, касающихся различных категорий рабов. Цифры, выраженные в общепринятых деньгах, остались те же, однако солид со времен Константина подвергся сильной девальвации. Рабы мужского и женского пола моложе 10 лет стоили 10 золотых (солидов), старше 10 лет — 20 солидов, если они не имели никакой профессии; если они имели какую-нибудь специальность, их цена могла достигнуть 30 золотых; больше того, рабы, умеющие писать, оценивались в 50 солидов, а врачи и повивальные бабки — в 60 солидов. Для евнухов существовал особый тариф: до 10 лет они стоили 30 золотых, выше 10 лет — 50, а если они знали какое-нибудь искусство, то 70 золотых.

Этот закон, регулирующий цены, касается раздела имущества: он присуждает денежное вознаграждение тем из сонаследников, которые по жребию не получили права выбирать рабов, и Дюро-де-ла-Малль,

цитирующий этот закон, видит в этом обстоятельстве причину столь низких цен. Но даже при семейных счетах должно быть равенство, и трудно себе представить, что законодатель под предлогом родства предлагает одной части наследников иллюзорное вознаграждение. Другое объяснение, несмотря на то, что автор приводит его, не соглашаясь с ним, кажется нам более вероятным. Христианское учение, поощрявшее освобождение рабов, делало обладание ими менее надежным; можно еще добавить, что, возвращая труду прежнее уважение, оно делало его и менее необходимым и что многие другие причины содействовали уменьшению применения рабского труда и понижению его стоимости. Возможно, однако, что на рынке цены не упали так низко; но объяснения тех норм, на которых остановился законодатель, следует искать в аналогичных причинах. Другой закон, в котором повторяются те же цены, яснее раскрывает его мысль. Речь идет об освобождении одного раба, принадлежавшего нескольким господам. В прежнее время отказ одного из владельцев увеличивал долю других. Согласно закону Юстиниана, желания одного было достаточно, чтобы отпустить раба на волю, а другие были вынуждены принять уплату за свою долю собственности, согласно вышеприведенному тарифу. Что могло склонить Юстиниана на мероприятие, столь противное духу римского законодательства о правах собственности, о всемогуществе главы семьи? В этом сказалось благодетельное влияние свободы. Этот принцип, который в эпоху Империи юристы начали понемногу вводить в правовой кодекс, Юстиниан провозгласил открыто и всегда его придерживался: это печать, которую христианство наложило на новые институты; благодаря учению христианства, которое поддерживало свободу, Юстиниан принудил совладельцев согласиться на вознаграждение. Благодаря этому же влиянию он, вопреки обычной практике, имевшей место при вынужденном вознаграждении, понизил

стоимость раба ниже стоимости рыночной, удерживая, насколько возможно, от обладания такой собственностью, которую личному интересу господина мог быть нанесен столь сильный ущерб, и пробуждая благодаря этой самой дешевизне рабов сознание того, что стоимость свободы не поддается никакой оценке.

Глава пятая

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОВ

На первый взгляд римский закон содержит странные противоречия, касающиеся положения рабов. Будучи исключены из кодекса обычного права, рабы наполняют собой кодекс права гражданского; причисленные к категории вещей, они фигурируют среди людей вместе с гражданами в качестве договаривающихся сторон во всех отношениях общественной жизни, почти во всех законодательных актах. Может быть, законодательство отказалось от своих принципов? Может быть, оно извлекло раба из его прежнего ничтожества и беспомощности? Нисколько, даже наоборот: оно расширило и укрепило власть господина. В самом деле, только его интересы открывают рабам доступ в это святая святых законодательства, где все должно им казаться чуждым, лишь воля господина прикрывает их прирожденную неправопособность; и эти видимые противоречия вполне гармонируют с принципами, положенными в основу гражданского права.

1

Каковы же были в действительности основные принципы древнего «квиритского» права? Равенство

граждан в республике и абсолютная власть отдельного гражданина над всем, что принадлежало ему. В объединение первых «отцов» Рима каждый входил на равных правах. Жертвуя общине той долей независимости, отказа от которой она требовала, он сохранял всю полноту своей власти над членами дома. Такова двойная основа этого общества, признанная законом XII таблиц. Равные между собой граждане в Риме взаимно ограничиваются, и граница, останавливающая их, в то же время защищает их от притязаний других. Наряду с ними за этим наблюдает и закон, и если возгорается борьба, то он вмешивается, чтобы определить условия и формы ее, чтобы разобрать причины и санкционировать результаты. Но у себя дома — они полные хозяева, и закон останавливается у порога этого домашнего суверенитета, чтобы охранять его права, не контролируя их применения. Итак, абсолютная власть главы семьи над своими детьми и над детьми своих сыновей; в одной семье есть только один отец, он может распоряжаться всеми, кто ее составляет, он властен даже над их жизнью; он может выкинуть их после рождения, а позднее судить их и умертвить по своему произволу. Абсолютная власть над рабами: когда впоследствии закон, признав в сыновьях дома сынов государства, потребовал права участия в этом семейном трибунале, где решалась их судьба, он продолжал закрывать глаза на другую часть этой семьи, где он ни на что не претендовал и где он не считал нужным что-либо регулировать. Необходимо было коренное изменение духа этих римских институций, чтобы нанести первый удар этому столь суровому праву.

Что же в действительности представлял собой раб перед лицом закона? То же самое, что он представлял собой в семье: имущество, природу которого ничто не могло изменить, кроме воли господина. И вот здесь-то проявляются во всех своих противоположностях отмеченные нами с самого начала различия между рабом и

сыном. С первого взгляда кажется, что власть главы семьи над сыном сильнее его власти над рабом. Раб, проданный и отпущенный на волю, остается свободным; сын же, проданный и отпущенный на волю, до трех раз возвращается под власть отца. За отцом остается естественное право рождения, которое восстанавливает его отцовские гражданские права на сына каждый раз, когда новый господин отказывается от своих прав на него. Власть отца над сыном во всяком случае более прочна, но зато значительно менее широка. Сын, даже находясь под властью отца, представлял собой личность, он подлежал наименьшей степени лишения гражданских прав, когда он в силу усыновления переходил в чужую семью. Положение же раба несколько не менялось от того, что он менял дом или господина. Он не мог быть лишен каких бы то ни было прав, так как раб — так гласит закон — не имеет никаких прав («головы»), т. е. он не является личностью. При жизни отца сын мог приобретать имущество; отец имел право пользования его имуществом, но закон сохранял за сыном право собственности. Раб ничего не мог приобрести, что бы всецело и навсегда не становилось собственностью господина. После смерти главы семьи сын в силу законного права в свою очередь становится главой семьи; раб, напротив, остается рабом, рабом по праву наследства, ожидая лишь того, что он сделается рабом наследника: законы о наследовании скорее отнимут у него его жизнь и личность, чем оставят в нем неопределенным, хоть на один момент, характер собственности.

Итак, закон утверждал за ним этот особый характер, и отсюда проистекали все последствия. Раб был вещью, одной из тех вещей, на которые римлянин сохранил за собой право наиболее полной собственности, *res mancipi*; некоторые полагают, что в силу того, что раб преимущественно являлся «квиритской собственностью», ему и дали название *mancipium*. Это

право было столь абсолютным, что раб, попавший в руки врага и бежавший из плена, в случае возвращения на римскую территорию снова возвращался в прежнее состояние рабства, как если бы он никогда из него не выходил. К рабам, в интересах господина, применяли эту фикцию закона о восстановлении прежнего правового положения, прилагавшуюся прежде в интересах свободы. Это право было настолько неограниченно, что если один из двух господ общего им раба отказывался от своей доли собственности, то последняя переходила к другому владельцу, который и становился его единственным господином. Оно было настолько священно, что ни расположение народа, ни власть императора не могли законным путем посягнуть на него. Тиберий считал себя обязанным спросить согласия владельца, чтобы дать свободу актеру, освобождения которого требовала толпа.

Итак, раб в силу закона мог быть объектом всякого рода сделок. Он мог быть отдан даром, для пользования или в собственность, под залог или в обмен, мог быть отдан внаймы, завещан, продан, приобретен по праву давности или, по заявлению перед председателем юридической коллегии, схвачен за долги; словом, к нему были непосредственно применены все формы, по которым видоизменяется право собственности, формы естественного или обычного права, формы права гражданского или исключительного. Чем больше он был связан с правом вещественным, тем меньше была его доля участия в правах личных. И в самом деле, он был лишен всякого права личности: у него не было гражданского состояния, права брака. Связь между мужчиной и женщиной в рабском состоянии допускалась, но она никогда не имела законного характера, даже в том случае, если женщине давали название жены; это — простое сожитительство, начинающееся и кончающееся в зависимости от каприза раба или интереса господина. Следовательно, нет никаких обяза-

тельств, никаких законных последствий. Нет и прелюбодеяния. Папиний признает, что Юлиев закон, касающийся этого преступления, относится только к лицам свободным. Нет отцовства:

Отца, который сам-то раб.

И если рабам позволяют употреблять слова «отец» и «сын», то это акт милости, не имеющий никакого значения: отцовство у рабов, говорит юрист Павел, не имеет никакого отношения к законам. Это естественное родство, вытекающее из их взаимоотношений, приобретает для них правовой характер только вне рабского состояния. Нет собственности. У греков не было слова для обозначения той части имущества, которую оставляли в распоряжение рабов. Рим имеет такое слово: это — пекулий, но он существует лишь для того, чтобы точнее определить и ограничить этот вид собственности. «Пекулий, — гласит закон, — это то, что господин сам отделил от своего имущества, ведя отдельно счет своего раба». Даже выданная рабу одежда не входит в пекулий, если она не предоставлена ему навсегда. Это не столько доход раба и плод его трудов, сколько спутник его жизни, со всеми ее удачами и неудачами, подлинный спутник, похожий на нее своим непостоянством («законники», считавшие раба только за вещь, были склонны видеть в этом пекулии, который родится, растет и умирает, отображение судьбы человека). Это спутник раба и в некотором роде похожий на него, но безусловно связанный с его судьбами, как плохими, так и хорошими. Это было как бы временным товариществом в интересах господина. Пекулий не сопровождал раба за пределы дома; ни продажа, ни завешание, отдающее раба другому, не влекли за собой уступки и его пекулия, если это не было специально предусмотрено. Пользуясь образным выражением Папирия Фронтоня, пекулий рождался и уми-

рал по воле одного только господина, и если последний не всегда мог воспрепятствовать его гибели вследствие неловкости раба, то его согласие было во всяком случае необходимо для того, чтобы труд и искусство раба способствовали его накоплению.

Итак, пекулий принадлежит господину, как и сам раб; а этот последний в такой степени является его собственностью, что господин не может брать на себя каких-либо имеющих законную силу обязательств по отношению к рабу (ведь нельзя «обязываться» по отношению к самому себе); точно так же нельзя и обвинить раба в воровстве, так как то, что раб присваивает себе в силу того, что он сам является частью его имущества, не перестает быть имуществом господина. То, что квалифицируется как кража рабом у своего господина, не есть похищение, а только перемещение собственности. Потребуется специальный иск на того раба, который, будучи отпущен на волю по завещанию, похитил что-либо из наследства, прежде чем оно перешло к наследнику. Его нельзя было преследовать за воровство, так как он был рабом того, у кого он совершил кражу; но его нельзя было наказывать как раба, так как в тот момент, когда наследник получает право наказывать его, он ускользает из его рук вследствие полученной свободы.

Если раб был лишен имущественных и семейных прав, то с тем большим основанием он должен был быть устранен от всех прав и привилегий, предоставленных одним римлянам. Мы имеем в виду не только военную службу и общественные должности (это считалось узурпацией, искупить которую могла только смерть), но и всякие дела и сделки, имевшие место в том обществе, в котором он жил. Поэтому за рабом не признается никаких прав состояния («прав у раба никаких») не могло быть и никаких обязательств по отношению к его личности («на личность раба не падает никаких обязательств»). И пусть эти два слова — *capit*

(гражданские права) и *persona* (личность) — не вводят никого в заблуждение, так как закон, как нам уже известно, гласит в другом месте, что у раба нет «головы», т. е. гражданских прав («не имеет никаких гражданских прав»), а если он все же личность, то личность мертвая («рабство уподобляется смерти»), что на законном основании аннулирует завещание, объектом которого он являлся бы, если бы он был свободным или живым. Он также не имеет права выступать перед судом. Он не может вызывать свидетелей:

Вишь ты, звать в свидетели раба!

Как правило, он и сам не может быть свидетелем, что не исключает, однако, возможности его допроса в случае необходимости. Его свидетельство, не имеющее само по себе никакой силы, получает нечто вроде законного признания благодаря применению пытки. Несмотря на то, что римляне, по-видимому, в меньшей степени, чем греки, злоупотребляли этой формой допроса, однако были случаи, когда обращение к ней все же рекомендовалось. Август, советуя прибегать к ней лишь с осторожностью, тем не менее признает, что в делах уголовных и в случаях тяжелых преступлений она все же является одним из наиболее верных средств расследования; в таких случаях он не только восхваляет ее действенность, но и предписывает ее применение. Впрочем, господин мог предложить для допроса своих рабов, чтобы оправдать себя. В этой «милости» им никогда не отказывали, за исключением определенных эпох деспотизма. С этой целью можно было требовать для допроса и чужих рабов, но в этих случаях закон охранял интересы и безопасность господина. Его интересы были обеспечены: он получал вознаграждение за все убытки; а если раб умирал, то ему выплачивали его стоимость. Следовательно, он ничего не терял, а иногда даже выигрывал. Раб, подвергнутый пытке не как

свидетель, а как обвиняемый в преступлении, а затем оправданный, требовал вознаграждения, которое выплачивалось тому, чьей собственностью он был. Если он умирал, то хозяину выплачивали его двойную стоимость. Так же хорошо охранял закон и безопасность господина. От раба нельзя было требовать показаний против своего господина, потому что считалось недопустимым, чтобы гражданин мог быть вынужден обвинять самого себя, а его раб — это он сам. Но этот закон, столь тесно связанный с природой отношений, установившихся между господином и рабом, перестал выполняться, когда опасность стала угрожать общественной свободе. Какие законы могли устоять в смутный период последних времен Республики? Могли ли быть столь шепетильны авторы проскрипций? Когда порядок восстановился, Юлий Цезарь решительно запретил принимать доносы раба против своего господина, призывая проклятия на свою собственную голову, если он когда-либо будет использовать подобные доносы. Самые эти проклятия указывали на зарождение новой опасности. Мотивы общественного интереса, которые во времена Республики побуждали граждан отстранить от себя постоянно грозившую им опасность, не касались больше императора, возвышавшегося над другими и заинтересованного в том, чтобы проникнуть в семейные тайны, уловить самые зародыши заговора. Из уважения к букве закона Август (7 в. до н. э.) требовал, чтобы раб был перед тем продан: уловка, достойная императора, сумевшего превратить республиканские учреждения в основу империи. Тиберий в этом отношении последовал примеру Августа: раб, перешедший в силу продажи в руки постороннего, мог обвинять своего прежнего господина, как это сделал бы всякий чужой раб под пыткой. Для деспотизма была открыта еще другая лазейка. Закон, запрещавший эти доносы рабов, не имел абсолютного характера. Он допускал некоторые исключения для преступлений, на-

рушавших святость религии и храмов или домашнего очага, доказательство чего можно было часто получить только в недрах семьи, как, например, в случае прелюбодеяния, распутства (тут разумелась профанация и осквернение священных предметов). Оставалось только расширить эту систему. Так и сделали; ее распространили на государственные преступления, оскорбление величества, на государственную измену. Это было единственным, что могло серьезно угрожать безопасности императора. Мы не имеем указания на то, что эдикт Клавдия, запрещающий доносы рабов, уничтожил эти гнусные исключения.

2

Отсутствие семьи, отсутствие собственности, отсутствие какой-либо правомочности для выступлений перед судебными трибуналами, где разрешались вопросы права, — таково было положение раба перед лицом закона, вытекавшее прежде всего из его реальной природы. Но все же он не был простой вещью; он был орудием одушевленным и активным, орудием, обладавшим даром речи и разумом, это был человек, хотя и низшего порядка. Господин с выгодой для себя умел использовать все эти преимущества. Он воспользуется его речью, когда она понадобится ему для выполнения некоторых актов, как, например, при составлении договора, в том случае если он сам не может это сделать вследствие отсутствия, малолетства или немoty. Он воспользуется его знаниями, как более общим средством, для обогащения не только в той естественной области, где они повышают стоимость труда, но и в области правовой, где благодаря им, при высказанном или молчаливом согласии господина, возникают первичные обязательства. Он воспользуется и тем зародышем человеческого достоинства, которое, хотя и подавленное, все же есть у раба. Его воля, которая ак-

том освобождения может открыть рабу доступ к гражданской жизни, сможет также развить его гражданскую деятельность в той именно мере, которая соответствует его господским интересам. Таким образом, рабы послужат ему не только для увеличения его могущества, но и для расширения его, так сказать, личного участия в гражданской жизни и его деятельности. Они входят в правовую жизнь, принимают участие во всех волнениях, делах, спорах, борьбе — все это под покровом господина, присваивающего себе все плоды их деятельности, подобно тому как полководец, стоящий во главе войска, присваивает себе всю славу и получает триумф за победы, одержанные его помощниками.

На таких основаниях раб фигурирует в гражданском праве; нет закона, где бы он не занимал места, равного со свободным, так как в нем олицетворяется личность господина. Но власть господина, который создал это право в своих интересах, не могла согнуть природу раба в угоду им.

В этом человеке, из которого она рассчитывала создать себе послушное орудие, есть воля, которая остается свободной, несмотря на постороннюю волю, которой хотят ее подчинить. Что бы там ни делали, единомыслие никогда не будет обеспечено; и что же будет тогда с этой «легальной фикцией», если это согласие нарушится? Оно обратится против той цели, которую имели в виду, и вместо того чтобы подчинить раба, поставить его на службу своего господина, оно привяжет господина к воле своего раба... Равным образом то или другое действие раба не повлечет за собой никакого обязательства. Сначала это факт, факт, который сам по себе лишен еще характера законности: «Раб ничего не должен, и нет долга по отношению к рабу, — говорит юрисконсульт, — это слово всякий раз, когда мы его употребляем в не совсем точном значении, скорее указывает на факт, чем на обязательство, основанное на гражданском праве». Это, однако, уже нача-

ло законных обязательств, своего рода обязательство естественное, так как если не закон, то юриспруденция безусловно не отрицала за рабом правомочности с точки зрения естественного права составлять и участвовать в обязательствах; и это был основной принцип для всех хозяйственных сделок, в которых хотели, чтобы он принимал участие: тот, кто был абсолютным нулем по своему существу, никогда не мог в силу простого разрешения получить какое-либо значение в глазах закона. Но для того чтобы это обязательство естественного права стало обязательством права гражданского, чтобы оно с раба перешло на господина, чтобы оно возвысилось от простого факта до понятия права, делалась оговорка, которая ограждала интересы господина от только что указанной опасности. Раб мог заключать обязательства за счет или к выгоде хозяина; он мог заключить обязательство к выгоде господина на законном основании, даже без его ведома, даже против его воли; но он не может заключить такое обязательство сам по себе в ущерб его интересам, если он не имеет для этого определено, формально выраженного разрешения. Полное право приобретать (для господина); никакого права отчуждать или продавать, если нет противоположного распоряжения, а в смешанных случаях раб может обязаться в пользу господина не выше чем до суммы своего пекулия или той выгоды, которую он ему доставляет.

Таким образом, он приобретет для хозяина обязательство, дарение, наследство или что-либо другое, что переходит к нему даром. Заключает ли он сделку для господина, для самого себя или для другого раба, пусть даже он заключает эту сделку без обозначения лица, власть хозяина, как некая скрытая сила, тотчас же все это захватывает себе. Пусть хозяин раба взят в плен — его власть, хотя и приостановленная на некоторое время, тем не менее продолжает обладать скрытой силой благодаря законодательной фикции о вос-

становлении прав; пусть он умер и не имеет еще наследника — его власть переживет его в дальнейшем наследовании, чтобы приобретать опять-таки через посредство раба; и во всех отдельных случаях его право собственности на вещь будет точно соответствовать праву, которое он имеет на этого раба.

В том же положении, как вопрос о собственности, находится и вопрос о владении. Раб в силу завладения дает своему хозяину право, которое может с течением времени обратиться в право подлинной собственности, точно так же как в данный момент он приобретает для него право на договоренную, данную или унаследованную вещь. В вопросах о наследовании дело обстоит уже несколько иначе: ведь завещание приносит не только выгоды, оно может заключать в себе и известные обязанности, и господин не мог бы получать одни выгоды, не приняв на себя и обязанностей, — право наследования неделимо. Необходимо, чтобы он принял обязательства одновременно с выгодами, необходимо, чтобы он на них согласился. Это согласие давало рабу ту гражданскую правоспособность, которой ему недоставало; и тогда раб законно получал звание наследника, а господин — наследство.

Во всех других случаях, где согласия господина не требовалось для заключения какого-либо дела, раб мог все приобретать для своего господина, но он никогда не мог подвергать его опасности потерь выше тех пределов, которые были предуказаны его волей; и закон наблюдал только за тем, чтобы он не мог отказаться от того, на что его воля молчаливо дала свое согласие вперед. Таким образом, раб, имеющий поручение, мог переступить его границы и обеспечить хозяину дополнительные выгоды, но он не мог втянуть его в убытки за пределы поставленных им норм: заключающая договор сторона должна была знать, что на этой почве она действует на свой страх и риск; и судебный процесс «о взыскании всей суммы», который она могла

вчинить против господина, точно ограничивается теми нормами, которые указаны в поручении. Раб, поставленный им для управления во главе грузового судна, может заключать договоры от его имени по всем делам в сфере своего управления, но не больше (процесс «по промыслу»). Тот, кто поставлен во главе коммерческого предприятия или производства, заключает договор от его имени по всем делам и в особенности по делам, связанным с его торговой деятельностью (процесс «факторства»). Если раб с ведома господина торгует сам на свой пекулий, то весь этот пекулий, являясь базой его операций, служит гарантией для его доверителей, и хозяин, которому он что-либо должен, может быть только участником вместе с другими в претензии на этот пекулий (процесс «о разделе»). Если раб поступил так без его ведома, то предъявляется иск об этом самом пекулии, так как пекулий является частью имущества господина, которую он пожелал дать рабу на его личное управление. Но согласно обычаю предварительно вычтут то, что он должен господину, остаток же и составляет, собственно, его пекулий; и хозяин может быть привлечен к ответственности по своему имуществу только с точки зрения его приумножения, которое он мог получить от его (торговых) действий (процесс «об обращении взыскания»).

Итак, господин на самом деле заинтересован лишь в той степени, в какой он сам этого хотел; впрочем, совсем не обязательно, чтобы его воля была официально выражена, она может подразумеваться, вытекая из его действий. Тот, кто дозволил своему рабу открыто расположиться в лавке, напрасно будет стараться сложить с себя ответственность за его торговые операции, необходимо, чтобы он отрекся от него или, по крайней мере, чтобы он объявил, в каких пределах берет он на себя ответственность за него. Это объявление должно было висеть на видном месте и постоянно около самой лавки в форме, доступной для чтения и понят-

ной для жителей этой страны. Даже более: один уже факт открытия лавки заключал в себе молчаливое одобрение хозяина, значение которого судья мог вполне признать и оценить. Если после этого следовало заявление: «Я запрещаю иметь дело с моим рабом Януарием», то этим хозяин уже снимал с себя ответственность за его действия и к нему был уже неприменим иск «по факторству», но этим не исключались другие иски, например, иск «о пекулии»; ясно, что такой терпимостью как бы санкционировалась его торговля, по крайней мере в пределах его пекулия.

Отсюда можно сделать вывод, что раб мог приобретать сам от себя и без позволения господина и даже против всякого его разрешения, увеличивать капитал хозяина; он не мог сам по себе ни передавать другому лицу, ни даже уменьшать без специального разрешения сумму тех обязательств, раз он их уже заключил. Таким образом, уполномоченный получать и давать расписки, он мог, превышая свою доверенность, без посредства хозяина получить закладную; но он не мог даже в этом случае без разрешения снять запрещение, если только он не получил полной суммы.

3

Тот же самый принцип регулировал обязательства, которые вытекали из преступлений. Если господин приказывал рабу преступное деяние или если он знал о нем и не помешал ему, хотя и мог, он был ответственен в полной сумме убытка; если он его не уполномочил и не давал ему разрешения, возмещение тем не менее должно было иметь место и иск о возмещении, или жалоба на причиненный убыток, необходимым образом возникал, адресуясь по отношению к господину: он подавался в случаях воровства, убытка, оскорбления или насилия. В силу этого господин чувствовал себя замешанным во все эти дела против своей

воли. Но по крайней мере эти предъявляемые к нему претензии были не безграничны, и эту границу установил уже закон XII таблиц: это цена самого раба, «так как несправедливо, — гласит закон, — чтобы его вредность стоила его господину больше, чем стоит его тело». Как пекулий в случае обязательства, на которое не было дано полномочия, так и тело раба, в этом новом виде обязательства, может быть предоставлено в уплату и должно служить достаточным возмещением: это тот же закон «о причинении вреда четвероногим животным» в приложении к рабу, как следствие столь обычного уподобления раба животному; и это уподобление устанавливается еще более точно в последней серии обязательств, которые нам предстоит бегло просмотреть.

Подобно тому как раб делал ответственным своего хозяина за те преступления, в которых он сам является виновным, так он давал ему известные права, вытекающие из тех преступлений, объектом которых являлся он сам. Господин вчинял иск как глава и хозяин своего раба в случаях воровства, обид, ранений или смерти. Возмещение за похищение раба подчинялось установленным правилам. Насилие по отношению к молодой девушке оценивалось с точки зрения обесценивания ее на рынке. Развращение возмещалось вдвойне, и его старались найти во всяком влиянии, которое, толкая раба на зло, на бегство, на обиды, на безумные траты или создавая у раба привычки к удовольствиям, к бродяжничеству, к расточительности, могло тем самым уменьшить его стоимость. Что касается оскорблений, то под этим словом подразумевалось не одно и то же по отношению к рабам и по отношению к свободным людям. По древнему закону нанести обиду рабу было нельзя; иск в этой плоскости мог быть предъявлен только тогда, когда в его лице был оскорблен хозяин. Но бранное слово или простой удар кулаком не могли вызвать такого последствия; нужно

было очень тяжкое оскорбление, чтобы оно отразилось и на хозяине, акт насилия столь вопиющий, чтобы его почувствовал и сам хозяин. При такой постановке дела вопрос в известных случаях мог быть затруднительным: если, например, раб принадлежит сразу нескольким господам? если он дан в пользование? В последнем случае оскорбление опять-таки падало на владельца, а в предшествующем — пропорционально на всех хозяев не по их заинтересованности в стоимости раба, а по их личному достоинству. За ранение взыскивалось возмещение убытков в зависимости от вреда, причиненного рабу. Что же касается убийства, то тут было место специальному иску на основании закона Аквилія, закона, направленного против тех, которые без основания убьют чьего-либо раба или животное, так как законодатель объединяет их в своей формуле так же, как и юрист в своем комментарии: «отсюда ясно, что он приравнивает к нашим рабам тех четвероногих, которые считаются домашним скотом».

Впрочем, была существенная разница между исками «о возмещении убытка», который всей тяжестью ложился на господина в силу проступка его раба, и различными исками, которые он мог вчинить на основании того убытка, который он потерпел в лице раба. Иск «о возмещении убытков», который возникал вследствие проступка раба, оставался связанным с его телом; он следовал за ним неотступно, он следовал за ним даже за пределы его рабского состояния. Другие иски, напротив, были связаны с личностью господина; он получал право на удовлетворение с того самого момента, когда ему был нанесен ущерб; умер ли раб, был ли он отпущен на волю или продан, — иск тем не менее должен быть полностью удовлетворен.

Во всех вышеприведенных случаях мы видели, что раб рассматривается как вещь, как собственность. Поэтому, что он вещь и не принадлежит самому себе, он не может иметь ни жены, ни детей, ни имущества или

может их иметь с разрешения и в зависимости от доброй воли хозяина; потому, что он орудие в руках господина, он будет от его имени заключать всевозможные сделки с теми различиями и в той мере, как было отмечено выше, и, наконец, как орудие и как собственность, он дает повод к вытекающим из преступлений обязательствам в пользу или во вред господину. Но в этом последнем случае раб иногда оценивался несколько выше, чем простая вещь или простое орудие: кроме частнопроводного иска отсюда мог возникнуть и процесс на основе права государственного. Это понимание дела и сознательность поступков, которые признавали за ним, утверждая его сделки в пользу хозяина, — этих качеств требовали от него в его отношениях к обществу; и согласие господина никогда не давало ему права на преступление. Если он его совершал без ведома хозяина, то хозяин всегда мог (что касалось его лично) оправдаться, выдавши виновного; но раб тем не менее подпадал под суровое действие закона; перед лицом этого закона он был приравнен к свободному, но без всех тех гарантий, которые гражданин находил в уставах Рима. Он не мог прибегнуть к помощи трибуна перед приговором; в качестве судей нередко фигурируют магистраты, на которых была возложена забота о выполнении приговоров по уголовным делам; никакого права апелляции после вынесенного приговора: если хозяин или кто-либо другой, сжалившись, не возьмет его на поруки, он подвергается казни без нового расследования. Карательные меры, принимаемые против него, точно так же носят более суровый характер. Если свободному человеку полагаются в виде наказания палки, то раба бьют бичом; если свободный человек присужден еще сверх всего прочего к работам в рудниках, то раб будет передан хозяину на условии, чтобы он служил, закованный в цепи. Раб и свободный почти уравниваются друг с другом приговором к пожизненным каторжным работам, которые од-

ного отнимают у господина, а у другого похищают свободу, чтобы сделать обоих одинаково рабами наказания: присуждение к общественным работам в шахтах, в каменоломнях, к выступлениям в цирке. Но если они должны будут подвергнуться казни, то различие их неодинакового происхождения вновь восстановится: меч — для свободного человека, топор — для раба; сбрасывание со скалы — для свободного, для раба — виселица и крест.

Несмотря на эти различия, которые присущее римлянам чувство гордости установило в пользу гражданина, даже виновного, закон уже тем самым, что он делал раба ответственным за его поступки, признавал его за человека. Если он был виновен, закон поражал его как личность; он должен был вообще покровительствовать ему в его отношениях с иностранцами; и даже если закон еще не оказывал рабу покровительства и не обращал внимания на простые обиды, то все же он заботился о его жизни. Корнелиев закон не делал никакого различия между лицами — он одинаково применялся ко всем убийствам. Но он применялся не ко всем убийцам: он не касался хозяев, что вытекало из общей системы законодательства о их взаимоотношениях со своими рабами. Раб — полная собственность господина: господин имел над ним все те права, которые римский закон предоставлял ему вообще над всей собственностью, — право употребления и злоупотребления. Он имел абсолютное право на его труд и на все его существо, право жизни и смерти; и это право, казалось, опиралось не только на исконный обычай предков, оно было присуще почти всем народам: и юрист еще ссылается на это право, в то время как оно было уже отменено.

Итак, в продолжение очень долгого времени закон касался прав хозяев только с целью их санкционировать и укрепить; он воздерживался от вмешательства в семейную жизнь, где он признавал верховную

власть другого закона. Какова была эта верховная власть господина и какое употребление делал он из этой власти, которая была ему предоставлена? Ввиду вынужденного молчания законов с этим вопросом надо обратиться к истории и ко всем тем описаниям, которые остались у нас для внутренней, домашней жизни гражданина.

Глава шестая

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОВ В СЕМЬЕ

Плохое обращение с рабом никогда не носило систематического характера, разве только у народов, укрепившихся благодаря своей победе и считавших себя достаточно сильными, чтобы не считаться с ненавистью порабощенных и удерживать их в покорности посредством страха. Рим не последовал примеру Спарты, и хотя он был не менее воинственным и не менее уверенным в твердости своих устоев, он все же не пошел по пути этой политики. Раб в Риме уже не был общественным врагом, он был собственностью гражданина. Поэтому к нему обыкновенно относились бережно, так же, как относятся к вещи. Таковы в действительности были принципы, характеризовавшие отношение господина к рабу на всех ступенях рабства. Их же положили в основу при составлении руководства по управлению имениями агрономы для той обширной области, которая была предоставлена благодаря молчанию закона произволу господина.

1

Каковы были интересы господина? Было желательно, чтобы он как можно лучше воспользовался своим

имуществом — как людьми, так и землями; чтобы он возможно рациональнее наделил своих рабов всем необходимым, равно и работой: работой — в границах возможного, заботой — в границах необходимого. Раб должен был иметь все необходимое для существования: пищу, одежду, жилище. Он должен был иметь все это в той пропорции, которая отвечала бы принципам разумной экономии, т. е. выгоде господина и хорошему состоянию его рабов, что опять-таки было в его интересах. Продукты выдавались на месяц управляющему, надсмотрщикам, пастухам, т. е. рабам, руководившим работами, или тем, которые по роду своих занятий в течение долгого времени находились вне пределов имения. Фермеру, фермерше и надсмотрщикам выдавали, как мы уже говорили раньше, по четыре четверика зерна (34 литра) в течение зимы и по четыре с половиной (38 литров) в течение лета; молодому пастуху — 3 четверика (25 литров). Что касается рабов, занятых в поле, пользовавшихся меньшим доверием и не имевших времени для приготовления пищи, то им выдавали продукты ежедневно и в приготовленном виде. Мы уже упоминали о той норме хлеба, которую Катон установил в размере 4 (фунтов?) зимой и пяти начиная с того времени, когда приступали к работам на виноградниках, и до сбора фиг, после чего опять возвращались к четырем. Катон регулировал также норму вина по различным месяцам года в возрастающей пропорции, начиная с одной гемины до трех в день (от 0,27 литра до 0,80 литра). Вино всем без исключения разливалось по порциям. Месячное его количество высчитывалось только с целью определения его годового потребления: это составляло восемь квадрантал, или амфор, в год на человека (2,08 гектолитра) и только одну амфору (0,26 гектолитра) для закованных в цепи рабов. Но что это было за вино? Прочтите его рецепт у Катона: «Вино для слуг в течение зимы. Влейте в бочку десять амфор сладкого вина, 2 амфоры крепкого уксу-

са и столько же вина, вываренного на две трети, с пятьюдесятью амфорами пресной воды. Мешайте все это палкой три раза в день в течение пяти дней. После этого прибавьте туда шестьдесят четыре бутылки (по 1/2 литра) старой отстоявшейся морской воды».

Не будем же жалеть закованного в цепи раба за то, что ему так скупно отмеряли это так называемое вино.

К хлебу и вину давали некоторый приварок, которому французский перевод Катона придает несколько наивное название: «хороший стол для слуг»: «Сохраните возможно больше упавших с дерева оливок, а также и тех, которые, будучи сорваны вовремя, не обещают вам большого количества масла; давайте им эти маслины, но с таким расчетом чтобы их запас продержался возможно дольше. Когда он истощится, давайте им рассол с уксусом. На каждого пойдет в месяц одна бутылка масла (0,54 литра); соли же должно хватить на каждого в год по одному четверику (8,67 литра)».

Вот из этой-то порции уксуса и соли и состоял «хороший стол» того раба из «Каната», богатое воображение которого позволяло ему мечтать о царстве:

Уксус с солью на завтрак получит богач
И без доброй покушает каши.

Та же экономия в одежде: «Давайте им каждые два года тунику без рукавов в три с половиной фута длиной из грубой шерсти. Давая им ту и другую одежду, не забудьте взять у них старую, чтобы употребить ее на заплаты. Следует также давать им каждые два года крепкую обувь на железных гвоздях».

Вопросу о жилище Катон уделяет очень мало внимания. В одном месте, где он говорит о постройке новой фермы, он наряду с зимними яслями и летними решетками для быков упоминает и о каморках для рабов; никаких других указаний нет. Варрона и Колумеллу этот вопрос занимает несколько больше в интере-

сах порядка и наблюдения, но также и с точки зрения благосостояния рабов. Варрон понимает, что, благодаря выбору места, рабов можно избавить от излишней жары или излишнего холода и без всяких затрат обеспечить им отдых, восстанавливающий их силы, необходимые для работы. Наметив местоположение жилищ обыкновенных рабов, Колумелла переходит к помещением рабов, закованных в цепи. Он не находит для них ничего более здорового, чем подземелье, освещенное большим количеством маленьких узких окошек, расположенных на такой высоте, чтобы до них нельзя было достать рукой. Таков был образец для рабских помещений!

Но господа не считались даже с самыми необходимыми требованиями; иногда они доставляли своим рабам некоторые облегчения, которые им или ничего не стоили или, наоборот, приносили даже выгоду. Господину ничего не стоило обращаться с хорошими рабами с известной фамильярностью, беседовать с ними об их занятиях, спрашивать совета у наиболее способных, чтобы заставить их еще больше стараться и развивать свои способности, или, наконец, облегчать хорошими словами бремя их вечного труда. Так поступал и советовал другим поступать Колумелла. Но следует сказать, что испанец Колумелла во всем, что касалось рабов, придерживался школы Ксенофонта, Варрон же — школы Аристотеля. Настоящий римлянин — это Катон. Правда, Катон в начале своей карьеры разделял грубую пищу своих рабов, как он разделял и их труд: это был обычай древних римлян; он иногда заставлял свою жену кормить грудью их детей, чтобы они вместе с молоком всосали и любовь к семье. Но ему чужда была обходительность обращения, так же как и ласковость речей. Что касается поблажек, то он признавал только такие, которые, улучшая реальное благосостояние рабов, в то же время обещали не меньшие выго-

ды и прибыли господину. Я имею в виду брак и пекулий.

Брак, за которым закон, как мы уже видели, не признавал ни законной силы, ни прав, разрешался рабам только как милость, и, однако, принимая во внимание простые условия деревенской жизни, это не могло быть тяжелой жертвой со стороны господина Катон, Варрон и Колумелла особенно рекомендовали вступление в брак фермеру. Катон запрещал другим вступать в брак лишь для того, чтобы извлечь позорную выгоду из тех временных связей, которые он допускал за известную плату. Колумелла полагал, что дети раба являлись достаточным вознаграждением. И он советовал поощрять плодовитость матерей предоставлением им свободного времени и даже свободы. Эти связи и их плоды представляли еще и другие выгоды, уже отмеченные Аристотелем. Благодаря им между господином и рабом возникали многочисленные узы, появлялась гарантия хорошего поведения и залог верности. На этом-то основании и Варрон, особенно рекомендуя вступление в брак для некоторых разрядов рабов считает его допустимым, по-видимому, и в более широких масштабах, по примеру рабов в Эпире. Поэтому то, несмотря на непризнание их законом, с родственными связями рабов обычно считались. Им разрешали самовольно называться именами, которые применялись для лиц свободного состояния и на которые по закону они не имели права претендовать; им давали эти имена на сцене, их признавали и на юридическом языке, но только их имена, а не вытекавшие из них последствия; их с почтением обозначали на священных надгробных надписях, взывая к манам. Следы всего этого сохранились на камнях тех памятников, которые, пользуясь снисходительностью своих господ, они воздвигали друг другу после смерти.

То же самое наблюдается и по отношению к пекулию, который мы, согласно закону, определили как

часть имущества господина, предоставленную в специальное пользование раба. Это было одним из средств поощрения способностей и старательности раба: ловкости охотника, бдительности пастуха. Первому давали небольшое вознаграждение за каждую штуку принесенной им домой дичи, второму — несколько овец из его стада. На это намекает в двух местах Плавт, и Варрон в свою очередь советует разрешить лучшим рабам пасти на господских угодьях несколько голов скота, составляющих их пекулий. Но нередко пекулий был исключительно плодом сбережений самого раба, сбережений за счет единственной, казалось бы, принадлежащей ему вещи: я имею в виду его пищу, его паек. Это то, что он откладывал грош за грошом, то, что он крал, так сказать, у самого себя, заглушая свой голод; это, наконец, то, что он отнимал от своего отдыха благодаря чрезмерной работе, превозмогая усталость. Итак, пекулий составлялся как бы из незначительного излишка. Его собирали в надежде утаить его, так сказать, изъять из совокупности всего имущества господина. Казалось бы, что это можно было сделать без всякого вреда и ущерба для господина. Однако дело обстояло не так. Пекулий, хотя бы он был составлен из пота и крови самого раба, все же принадлежал господину, и если первый и сохранял за собой право пользования, то второй имел на него право собственности, собственности абсолютной. Несмотря на то, что обычно пользование пекулием милостиво предоставлялось рабу, господин во всякое время мог всецело располагать им. Поэтому он не упускал случая поощрять его накопление рассчитанно бережным к нему отношением. Пекулий в глазах господина являлся как бы мерилем нравственного достоинства самого раба. Обладание им считалось почти добродетелью, и у римлян существовало название для того, кто обладал этим драгоценным качеством:

Рабу, который делен и зажиточен.

Тот, кто не имел пекулия, считался в буквальном смысле бездельником. Одним этим словом передается смысл стихов, где хозяин из комедии «Жребий» говорит о другом:

Оловянного гроша нет за душой у подлого.

Таким образом, рабы приобрели для себя основы уважения, укрепившиеся благодаря заинтересованности господ. В самом деле, пекулий, даже в том случае если господин обещал принять его по заранее условленной таксе как плату за свободу, имел для него большую ценность. Это был как бы новый капитал, связанный с личностью раба, но отличный от его природы и тем самым отделимый. Раб оставлял в руках господина как бы залог своей верности. Он от своего имени как бы страховал в его пользу свою жизнь от всяких случайностей, ожидавших его каждый день, не считая все те взыскания, которые в интересах господина отодвигали срок, назначенный для выкупа раба, не принимая также во внимание отсутствие договора. Ведь господин, как мы уже говорили, не мог брать на себя никаких законных обязательств по отношению к рабу. Это было делом совести, и прошло много времени, прежде чем закон стал считаться с ними при судебных разбирательствах.

Но в этом, однако, заключается вся хорошая сторона рабского положения. Взамен свободы они находили под крышей господина все необходимое для существования: хлеб, одежду, жилище и кое-что из того, что услаждает жизнь и делает ее более приятной, — видимость брака и собственности, а после смерти рабам, равно как и вольноотпущенникам, иногда отводили место в семейных гробницах или в колумбарии-

ях, если только они с согласия господина не были причислены к какому-нибудь погребальному братству. Но не следует ли это отчасти объяснить тем тщеславием, которое любило выставлять их напоказ, как живых, так и мертвых? Что же касается этой двойной милости, разрешавшей им иметь пекулий и вступать в брак, то не забудем, что им было предоставлено только право пользования, всегда зависящее от произвола и потому могущее быть всегда отмененным. Жены и пекулий могли быть у них отобраны так же легко, как и даны; дети им не принадлежали. Что же касается самого необходимого, то могли ли они быть уверены в том, что всегда будут обеспечены им, лишь потому что Катон и другие авторы давали такие советы? Сколько было и таких, которые считали возможным превзойти советы самого Катона, чтобы тем глубже проникнуться его духом и усовершенствовать его хозяйственную систему, еще больше сократив свои расходы, не говоря уже о скрягах, не считавших за несправедливость питать рабов так, как они питались сами.

За эти преимущества, каковы бы они ни были, раб должен был всецело жертвовать собой ради блага господина, и те же предначертания, которые в столь скромных размерах отмеривали ему эти милости, налагали на него работу, тяжесть и продолжительность которой едва были ему под силу. «Какое бремя несешь ты?» — спрашивала госпожа свою старую служанку. «Восемьдесят восемь лет, — отвечала она, — прибавьте к этому рабство, пот, жажду и потом вот эту ношу, под которой я сгибаюсь». Раб — это пожизненный капитал, который, прежде чем приносить проценты, требует известных затрат. Для амортизации этого капитала и для покрытия расходов по содержанию необходимо, чтобы он приносил большой доход, чтобы он давал все, что мог производить. Этой высшей цели старались достигнуть при помощи рационально поставленного

управления имением и искусно рассчитанного распределения работ и наблюдения.

Поэтому в своих описаниях деревни охотно переносятся в золотой век, а если поэты касаются железного века, то они и туда переносят нечто из добрых старых времен Сатурна:

Дай, управляющий, отдых земле, посев совершивши,
Дай отдохнуть и мужам, землю вспахавшим тебе.

Но агрономы имеют в виду современную им эпоху. Там нет ни потери времени, ни бродяжничества под предлогом выполнения поручений, ни свободных дней, которые не являлись бы вынужденными. Были праздники, и постановления жрецов предписывали, чтобы в эти дни давали отдых быкам. Но праздника не было ни для мулов, ни для лошадей, ни для ослов, не было их и для рабов. Посмотрите, что Катон приберег для них на эти дни: «В праздничные дни, — говорит он, — они могли чистить старые каналы, мостить большую дорогу, подрезать терновник, перекапывать сад, выпалывать сорные травы на лугах, выдергивать колючки, толочь зерно, чистить бассейны...» — все, что можно было делать, пока отдыхали быки. Нужна была вся сила древней традиции и, несомненно, все могущество суеверия, чтобы людей, привыкших и заинтересованных в рабском труде, заставить допустить отдых в дни сатурналий: жертвовали несколькими рабочими днями, подобно тому как на войне обрекали смерти несколько человек, чтобы спасти остальных, отвращая таким способом гнев и зависть богов.

2

Со времени Катона положение рабов значительно ухудшилось по целому ряду причин и прежде всего благодаря расширению земельных владений, что, в

свою очередь, повлекло за собой увеличение числа рабов в этих имениях:

Руками колонов, неведомых прежде, большие
Земли возделывать стали, свои расширяя именья.

Вполне понятно, что эти рабы, менее известные своему господину, могли скорее вызвать его недоверие; и так как наблюдение за ними становилось все труднее, то пришлось прибегнуть к иным предохранительным мерам: все чаще стали прибегать к цепям. Эта мера, конечно, не могла быть общей; ее нельзя было применять к некоторым категориям рабов, работа которых по своему характеру ускользала от зоркого глаза господина, как, например, работа пастухов. Поэтому по отношению к ним придерживались совершенно иной политики. Их выбирали из числа наиболее испытанных рабов и их старались удержать такими средствами, которые укрепляли естественные узы жизни, — посредством семьи, заинтересованности и некоторой свободы действий. Но если эти вольности являлись необходимым условием пастушеской жизни, то иго рабства тем сильнее тяготело на рабах, занятых полевыми работами. На эти работы посылали самых презренных рабов, но так как и их собственный характер и тяжесть труда — все склоняло их к бегству, а обширные земли и виноградники, среди которых они были рассеяны, представляли им много удобных случаев, то их заковывали в цепи. Эти оковы, удерживавшие их ночью в эргастуле, сковывали их и во время работы и никогда не покидали их, так что в конце концов они стали чем-то нераздельным от их природы и превратили их в особую породу «рабов в железах», кандалников. Катон говорит о них как о самой обыкновенной вещи; Варрон и Колумелла, не находя ничего, что можно было бы предложить взамен, не находили в этом ничего предосудительного, а Плиний плакался не

столько в интересах рабов, сколько страдая за честь земледельческого труда, предоставленного людям, у которых ноги были закованы в цепи, руки присуждены к наказанию, лбы отмечены клеймом. Во имя воспоминаний прошлого, а также имея в виду современный ему упадок, он в другом месте протестует против этого гибельного обычая: «Обработка полей рабами из эргастула отвратительна, как отвратительно все то, что исторгнуто у людей, полных отчаяния».

Одним из следствий расширения земельных владений и увеличения числа рабов в поместьях было введение должности посредника между господином и рабом, — я имею в виду управляющего имением, «виллика». Эта перемена должна была оказать непосредственное влияние на их положение. В самом деле, виллик был тем орудием, посредством которого передавалась воля господина всем служащим имения; нередко он бывал также и носителем его авторитета. Господин по занимаемой им должности и все же раб по своему социальному положению, он должен был распределить между сотоварищами по рабству как все необходимое им для жизни, так и те работы, которые соответствовали их силам. Таким образом, в жизни этого одного раба мы встретим черты, характеризующие положение, общее всем рабам. Поэтому необходимо ближе познакомиться с этой личностью; он занимает первое место во всех сельскохозяйственных трактатах. Все они дают нам описание тех качеств, которыми он должен обладать, и тех обязанностей, которые он должен исполнять, с теми необходимыми оттенками, в которых отражались различия тех или других эпох.

Катон почти не останавливается на качествах, желательных для лиц, занимающих эту должность; он сразу переходит к обязанностям, где эти качества могут проявиться. Управляющий, несмотря на видимость власти, должен быть послушным господину, и не только ему, но и его друзьям. Это послушание должно быть

разумным, он должен был работать, в точности исполняя его приказание и даже больше — как бы предупреждая его намерения. Он должен уважать собственность других и беречь свою; должен умеренно давать займы и столь же умеренно занимать, так как заем всегда носит взаимный характер. От него требуется хорошее поведение, трезвость, не должно быть никаких пиров вне дома, никаких паразитов в доме, никаких жертвоприношений вне установленных сроков, никаких гаданий, никаких гаруспаций. Ему вменяется в обязанность всегда находиться среди рабов, чтобы разрешать их споры, судить их проступки, удерживать их от преступлений своевременным удовлетворением их законных нужд, а также своим примером, держать их всегда занятыми, наказывая за нерадение, ободряя и вознаграждая за прилежание. Руководя работами, он тем не менее и сам должен иногда принимать в них участие, чтобы лучше узнать людей и позволить им узнать себя. «К тому же, — добавляет Катон, — благодаря такому образу жизни он будет менее склонен к бегству, будет лучше себя чувствовать и лучше спать». Впрочем, часы сна отмерены ему довольно скупно: он первым должен вставать, последним ложиться, так как он должен регулировать как отдых, так и труд рабов.

Управляющему, виллику, как в помощь ему, так и для того, чтобы сделать службу более приятной, давали подругу жизни — экономку. В ее обязанности входило смотреть за фермой и поддерживать порядок в ней, наблюдать за домашним хозяйством, заведовать ежедневным питанием рабов и заготовкой продуктов на год. Ей в особенности господин запрещает ходить в гости и принимать их у себя, не разрешается ей и посещение соседок и всякие сплетни с кумушками, пиры, участие в прогулках за пределами имения, жертвоприношения и всякого рода иные суеверия. Ее бог — это бог очага, бог Лар, и пусть она просит у него изобилия, плетет в определенные дни венки, но что касается жертвопри-

ношений, то пусть она помнит, что один только господин может приносить их за весь дом и семью.

Варрон, Колумелла и Плиний повторяют, с некоторыми вариантами, эти советы. Варрон требует, чтобы управляющий фермой превосходил своих подчиненных образованием, возрастом, добрыми нравами, ловкостью, для того чтобы он мог учить их как собственным примером, так и словами, и чтобы это руководство поддерживалось авторитетом опыта и знания. Колумелла придает большое значение выбору виллика. Его следует выбирать не среди той группы рабов, прелести которых очаровали господина в городе, а среди того населения, которым ему придется управлять. Автор хотел бы, чтобы их с этой целью намечали с самого детства, знакомили со всеми работами, готовили под руководством учителя, для того чтобы он с тем большим успехом мог сам руководить впоследствии людьми труда. Он должен быть средних лет, ловким, опытным или, по крайней мере, способным стать таковым. Знание грамоты для него необязательно, если его память удовлетворяет требованиям его административной деятельности. «Такие рабы, — говорит Цельс, — приносят своим господам меньше счетов, но больше денег». Добродетель требуется от него только постольку, поскольку она необходима для поддержания его авторитета на линии средней между жесткостью и слабостью. Чтобы удержать его дома, Колумелла рекомендует то же средство, что и Катон, — т. е. дать ему хозяйку, виллику. Он требует, чтобы она была молода, но не слишком, не красива, но и не дурна, отличалась трезвостью, целомудренностью и прилежанием. В ее обязанности входит посылать в поле тех рабов, которых призывает туда их труд, оставлять других для внутреннего обслуживания и наблюдать за тем, чтобы дни не проходили в безделье. Еще многие главы посвящены тому, что им рекомендуется делать и что запрещается.

На основании обязанностей виллика и виллики, о которых не перестают твердить, мы можем составить себе представление о желательных качествах рабов как стоящих во главе, так и простых работников. Запреты, налагаемые на них, дают нам представление о том, каким иногда бывало это положение рабов, но для того, чтобы получить вполне реальную картину, следует принять во внимание все их хорошие и дурные стороны. В самом деле, управляющий не был просто рабом в строгом смысле этого слова, и в делах управления он пользовался некоторой свободой действия. Об этом говорит Колумелла: «Да будет угодно богам, — восклицает он с оттенком сожаления, — чтобы воскресли эти древние обычаи лучших времен, ныне оставленные, и чтобы раб не позволял себе употреблять раба в качестве своего слуги, если только этого не требуют интересы господина, чтобы он всегда принимал пищу вместе со всеми рабами и не наживался за их счет». Подобного рода вещи практиковались в большинстве поместий в первом веке Империи. Но это имело место и раньше. Эти обычаи, о которых он так сожалеет, были очень древни, а эти золотые времена очень далеки. Доказательством могут служить виллики комедий Плавта, как, например, Олимпион в «Жребии». Его ферма — это его префектура, его провинция. И сам проконсул не управлял с большим произволом людьми и делами своего округа.

Что же требовалось для того, чтобы ограничить этот произвол? Присутствие господина, так как, являясь господином для рабов, виллик сам был рабом перед лицом господина. Поэтому-то агрономы настоятельно советуют хозяину время от времени посещать поместье, чтобы напомнить этому зазнавшемуся начальнику его истинное положение, ревизовать все его действия, натянуть бразды правления, если они ослаблены, и, наоборот, отпустить их, если это требуется, чтобы никто не думал, что око хозяйское дремлет. Это не толь-

ко право, но и обязанность господина, каким нам изображает его с самого начала своего произведения суровый Катон.

В своем описании Катон как бы имеет в виду такое время, когда положение виллика больше напоминало положение раба, а Варрон и Колумелла пишут в такую эпоху, когда попустительство господина в ущерб другим способствовало усилению произвола и укреплению насильственно узурпированной им власти. Варрон хотел бы, чтобы его научили управлять не столько при помощи ударов и насилия, сколько при помощи слов убеждения. Колумелла, всячески стараясь поддержать дисциплину, в то же время особенно настаивает на том, чтобы в этом отношении не переходили границ. «После общей ревизии всего управления, — говорит он, — одной из важнейших задач господина следует считать осмотр рабов эргастула. Необходимо проверить, прочны ли их оковы, достаточно ли надежно место их заключения и соответствует ли охрана своему назначению, не заковал ли фермер или, наоборот, не освободил ли он кого-либо из рабов по своему усмотрению. Прежде всего следует придерживаться того правила, чтобы ни один раб, приговоренный самим господином, не был освобожден без его разрешения и чтобы раб, закованный в цепи вилликом, не был выпущен без его же ведома. Господин должен особенно внимательно относиться к этой категории рабов и не допускать возможности обмана, касающегося их одежды и питания, тем более что большое количество лиц, которым они подчинены, как-то: управляющие, руководители работ, сторожа эргастула, нередко подвергает их большим несправедливостям и притеснениям; из-за их скупости и жестокости эти рабы становятся гораздо опаснее. Поэтому рачительный хозяин должен расспросить или самих рабов, или тех из закованных рабов, которые пользуются большим доверием, получают ли они в точности все то, что предписано в его

регламенте; он должен попробовать их хлеб и вино, чтобы оценить их качество, должен осмотреть их одежды, плащи и обувь; он должен разрешить им принести жалобы на жестокое обращение или обман, жертвой которого они стали». Так поступал Колумелла. Он установил для своих рабов систему наказаний и наград, создавшую некоторое подобие правосудия и утешавшую их отчасти в том, что они были исключены из общего гражданского права.

Разумная политика, гуманное обращение с рабами являлись единственно хорошим и надежным методом ведения сельского хозяйства. Благодаря ему вольноотпущенник, о котором говорит Плиний, получал со своего клочка земли большой урожай, чем давали обширные соседние поместья. Но полученный результат уже не казался естественным, и, чтобы опровергнуть возведенное на него обвинение в колдовстве, он должен был перед лицом суда представить весь инвентарь его сельскохозяйственной эксплуатации, «крепких, здоровых рабов, хорошо откормленных и одетых, все свои железные орудия в полном порядке, тяжелые плуги и сошники, откормленных быков». Но все эти средства были давно забыты. Напрасно доказывали владельцу необходимость хозяйского глаза, напрасно приглашали его если не постоянно жить, то по крайней мере посещать свое имение в память предков и ради своего собственного интереса. Он приезжал только сопровождаемый шумной городской толпой, окруженный всей суетой городской жизни, а матрона, некогда верная помощница в его работах и надзоре, теперь считала недостойным и унижительным для себя пребывание там хотя бы в течение нескольких дней. Итак, виллик пользовался абсолютной властью, так как, по словам Помпония, «быть управляющим имения, куда господин заглядывает лишь изредка, это значит быть не управляющим, а хозяином», а мы уже видели, что власть, перешед-

шая в такие руки, приобретает ярко выраженный деспотический характер.

Итак, расширение владений, повлекшее за собой увеличение числа рабов на одном и том же участке, ухудшило их положение. Рабы принимали уже меньше участия в жизни господина, досуга стало меньше, работы больше, к работникам, менее известным господину и потому внушавшим больше подозрения, применялись более строгие меры предосторожности и более суровый режим. Но отъезд господина из своего поместья еще более ухудшил условия их жизни, так как власть господина над ними сосредоточилась теперь в лице виллика, и это бесконтрольное господство, в то же время ничем не сдерживаемое, не знало границ; ему ведь не было нужды беречь господское добро, его людей и его вещи, и тот мотив, который удерживал не знавшего жалости хозяина и заставлял его беречь своих рабов, у него отсутствовал, а именно — мотив заинтересованности и выгоды.

3

Это общее условие деревенской жизни влияло как на настроение и склонности рабов, так и на их положение. В прежнее время раб в деревне был помощником господина, теперь он был только рабом раба, рабом виллика. Он жаждал пойти по стопам господина и переменить образ жизни, перейдя из разряда сельских рабов в разряд городских: на деревню он стал смотреть как на место ссылки и наказания; она была для городского раба вечной угрозой. Тысяча указаний на это рассеяно в сатирах, в праве и в истории. И даже должность самого управляющего, которой нередко завидовал второстепенный раб из городской челяди среди неприятностей своей службы, даже эта административная власть, которой ему иногда удавалось добиться в виде милости у господина, несмотря на свою полную нео-

сведомленность в делах сельского хозяйства, даже к ней он впоследствии относился с пренебрежением и помнил только прелести городской жизни:

В Риме, рабом, ты просил о деревне и тайно молился;
Старостой стал — и мечты о городе, зрелищах, банях.

Впрочем, не следует думать, что, в противоположность деревенской жизни, жизнь в городе была полна досуга и наслаждений. Город не позволял рабам принимать участие в своих развлечениях; и здесь существовали для них и тюрьмы, и каторжный труд. Рабы, употреблявшиеся предпринимателем для какого-нибудь производства, как, например, в кузнице, в пекарнях, в каких-нибудь мастерских, были ли они счастливее, чем рабы сельские? Виноградари, землепашцы, влачившие на ногах во время полевых работ тюремные цепи, могли по крайней мере дышать свежим воздухом и пользоваться солнечным светом. Но для городских рабов тюрьма не расширялась: в стенах эргастула труд был особенно тяжел. В этом тесном помещении надзор был более тщательный, а так как пример был более заразителен, то и репрессивные меры были более суровы. Осел из «Превращения» Апулея не мог похвалиться тем, что покинул мельницу для пекарни. Что же представилось его глазам в этом ужасном убежище? «Какие отбросы человечества! Вся кожа покрыта багровыми полосами от бича, избитая спина, скорее затененная, чем прикрытая лоскутами плаща; у некоторых был только узкий пояс, но у всех сквозь лохмотья просвечивало обнаженное тело; лоб заклеял, голова наполовину бритая, на ногах железные кольца; отвратительные вследствие покрывающей их бледности, с веками, изъеденными дымом и темными испарениями, они почти потеряли способность видеть». В этой картине ужаса не хватает еще одного штриха. Было изобретено приспособление, имевшее форму

колеса, о котором Поллукс мимоходом упоминает среди других орудий этого производства и употребление которого он объясняет в другом месте. Его надевали на шею рабов, чтобы лишить их возможности подносить руку ко рту и «для пробы» есть во время работы муку. А ведь еще закон Моисея гласил: «Не надевай намордника на вола, молотящего зерно на твоём гумне».

Но положение этих рабов было не самым худшим. Власть господина над своим рабом была безгранична; он мог ради наживы предать его позору, пыткам, даже смерти. Сенека-отец в своих «Контroversиях» изображает нищего, обвиняемого в изуродовании самыми различными способами подобранных им детей, чтобы, выставляя напоказ их несчастье, собирать при их помощи более щедрую милостыню. Он цитирует целый ряд риториков и юристов, избравших эту тему для своих ораторских упражнений, а также и те аргументы, которые они приводили в защиту этих лиц. Следует сознаться, что эти аргументы не были лишены известной доли справедливости, когда они, оставляя в стороне разбираемый факт, приводили в пример другие факты, вошедшие как бы в обычай и оставшиеся безнаказанными. Они указывали на богачей и на юных детей, изуродованных для удовлетворения их сладострастия, на сводников и на девушек, насильно отданных ими на поругание, на ланиста и его гладиаторов, откормленных на убой. Известно, какую страшную клятву они давали своему господину и как они ее выполняли. Если бой не удовлетворял данному обещанию, то на помощь являлись Меркурий и Плутон. Меркурий приближался к распростертому на арене телу и посредством раскаленных прутьев удостоверился, действительно ли он мертв, а Плутон отволакивал труп; если последний подавал признаки жизни, то он добивал его своим тяжелым молотом.

Но и помимо этих отвратительных спекуляций не всякая служба даже в больших, знатных домах была

лучше, чем служба в поместьях, и не все роли были завидны, начиная хотя бы с роли привратника, заменившего собой собаку, цепь которой ему была оставлена из опасения, что он убежит ночью со своего поста (ночью собаку часто отвязывают). Для того чтобы почувствовать жалость к его участи, потребовалась вся чувствительность замерзшего в напрасном ожидании (на улице) любовника. Дверь, по верному энергичному выражению поэта, была его товарищем по рабству, и если когда-нибудь просьба более счастливого исполнилась и если он благодаря этому переставал пить из горькой чаши рабства, если цепи вдруг спадали с него, то он с большим правом, чем Овидий, мог обратиться к ней со следующим прощальным приветствием:

Двери, прощайте, мои жесткие доски раба.

Переступите через порог. Внутри вы тоже не всегда найдете большее довольство, если спуститесь по всем ступеням рабства, начиная от управляющего и приближенных рабов господина до руководителей работ и простых служителей, до этой толпы рабов без имени, рабов кое-каких, по выражению юристов, до этих «викариев» (рабы рабов), несших двойное бремя рабства, будучи рабами рабов под властью общего господина. Что касается этой толпы рабов, то содержание их регулировалось теми же принципами и нормами, как и в деревне: ежедневная выдача продуктов («с рабами глодать паек городской»), тесное помещение, ложе на низких полотах, вероятно более редкое разрешение браков (по отношению к ним отсутствуют какие-либо советы) и незначительно больший пекулий. В лице управляющего домом перед ним стоял тот же виллик, а пренебрежение хотя и жившего здесь же господина могло иметь те же последствия, как и беспечность, державшая такого хозяина вдали от своего поместья. Взгляните, каким заносчивым и жестоким стал

раб Леонид, взяв на себя роль управляющего, по отношению к Либану, своему собрату. Как он сердится за его опоздания, как он глух ко всем его оправданиям! Если бы сам великий Юпитер явился бы, чтобы ходатайствовать за него, он и его не стал бы слушать. Он знает только палки и розги... и он его заранее об этом предупредил: «Если я тебе в подражание Саврею дам в зубы, ты не вздумай сердиться».

В городе, как и в деревне, некоторые категории рабов не испытывали на себе всей тяжести этого вечного ига. Подобно пастуху, который гонял по горам и лужайкам порученное ему стадо, не влача на ногах тяжелых цепей, и рабы, стоявшие во главе лавки или судна, заведующие мастерской или приказчики в каком-нибудь другом торговом предприятии могли бы считать себя свободными, если бы брак, которым им разрешали наслаждаться, если бы собственность, которой они управляли, — все те акты, благодаря которым они принимали участие в гражданской жизни, не являлись пустыми фикциями, существовавшими реально только на основе терпимости, только в силу соизволения господина. Тем не менее они пользовались некоторой долей свободы благодаря исполнению таких обязанностей, которые отдаляли их от господина. Другие, наоборот, пользовались известными привилегиями благодаря услугам, приближавшим их к нему. Эта постоянная близость позволяла им оказывать некоторое влияние на его образ мыслей, и в таких случаях именно перед ними заискивали знатные честолюбцы, домогавшиеся его избирательного голоса, и им приносились маленькие подарки бедными клиентами, просившими его о поддержке. Один раб Адриана прогуливался по площади, сопровождаемый двумя сенаторами. Но даже на самых высших ступенях рабства уже нельзя искать той фамильярной близости, которая некогда могла существовать в уединении деревенской жизни. Господин в городе жил среди равных, и это

ко замаскировать форму. Римский народ ничего не имел против того, что над ним немного подсмеивались, но только люди должны были быть в греческих костюмах, и он не сердился, если приподнимали уголок плаща, перед тем как занавес закрывал сцену.

4

Это вольное обращение, которое позволяли себе рабы по отношению к некоторым господам, разрешалось всем рабам и всеми господами в известных случаях, как, например, во время тех праздников, когда находили удовольствие в том, чтобы забыть их положение, и которыми народный обычай разнообразил через редкие промежутки времени течение рабской жизни. Первые подобные примеры мы уже отметили в Греции, но наиболее известное применение этого обычая мы встречаем в Риме во время праздника Сатурна, который вернул в Лациум золотой век, и праздника в честь Сервия Туллия, вернувшего в Рим священные дни Сатурна: царя-раба по своему происхождению или во всяком случае по своему имени. Праздник Сервия справлялся в мартовские иды, в день его рождения, и в иды августа, в день освящения храма Дианы, убежища оленей. Ученые (если не хозяева) метафорически распространяли это имя и на беглых рабов. Сатурналии приурочивались к последним дням декабря. В эти дни хозяева допускали рабов к своему столу и даже прислуживали им, подобно тому как это делали матроны в иды марта. Рабы надевали остроконечную шапку вольноотпущенников и принимали внешность свободных людей; они делили между собой магистратуры, они решали судебные дела на основании того права, из которого сами были исключены. Эти праздники, столь мало гармонирующие со строгой степенностью отца семьи, по-видимому, временно отменялись. Их перестали справлять еще до битвы при Регильском озере,

затем они снова были преданы забвению после кратковременного восстановления. Им вернули прежний почет во время превратностей второй Пунической войны, когда дурные предсказания предвещали еще более кровавые события после битв при Тичино и при Требии во время консульства Фламиния и Сервилия, имена которых были благоприятны для рабов. Нет сомнения, что они снова прекратились бы, если бы имели интерес только для рабов. Философия господ пришла бы на помощь чувству гражданского достоинства, чтобы рассеять это тщеславное народное суеверие, будто бы «сами боги заботились о рабах». С тех пор они продолжали существовать, отличаясь еще большей распушенностью, оттого что обычный гнет значительно усилился; им не грозила уже больше возможность повторных перерывов, потому что они пустили корни в сердце римского народа. Этот народ, вышедший из класса рабов, сделал сатурналии своим излюбленным праздником; и новые правители, которых он сам себе дал, были принуждены увеличить число праздничных дней. Цезарь довел их до трех дней, Август, вероятно, до четырех, Калигула — до пяти; под конец они продолжались уже семь дней, объединившись с «праздником кукол», с которым они слились благодаря все большей своей длительности. Пропорционально этому увеличилось и количество всевозможных эксцессов, и привычка к ним стала столь общей, что Тертуллиану приходилось стыдить христиан за то, что они принимали участие в этих нечестивых беспутствах.

5

Народ мог предаваться им без всякого удержу; но рабы даже среди увлечений должны были быть очень осмотрительны, потому что господин не всегда был склонен смеяться над их дерзостями. Его гнев быстро вспыхивал, и возбуждение при всех обстоятельствах

было очень неприятно. Сатурналии, хотя бы они продолжались и семь дней, имели свое завтра. Что касается повседневной жизни, то эти вольности рабов, каковы бы ни были их мотивы, всегда сдерживались страхом перед жестокостью наказания со стороны господина. Мы видели это уже в Греции, но эти возмездия были, без сомнения, в Риме более обычным явлением, чем где бы то ни было. Если Плавт подражает иногда греческой комедии в сценах фамильярности, то содержание для этих сцен расправы ему не приходилось искать за пределами Рима. Он весь полон вдохновением оригинальности (на сцене оригинальность — правдивое подражание действительности) в описаниях тех наказаний, которыми господа грозят своим рабам и которыми рабы охотно бравируют. Это изобилие выражений, разнообразие форм, богатство фантазии нигде не проявляется с большей силой. Новизной оборотов речи и смелыми сочетаниями слов он в некотором роде оживляет орудия пытки. Они — радость и отчаяние розог, они заставят их умереть на своей спине или сами обратятся в вяз, так сильно должно быть пропитано ими все их существо. Но как можно, не владея языком Плавта, передать всю силу этих картин, всю мощную отчеканенность его мысли?

Можно было бы написать целый трактат о всевозможных видах наказаний, употреблявшихся в Риме, на основании тех намеков, которые поэт бросает то здесь, то там в виде угроз или шуток. Прежде всего розги, палка, стекло, плеть и пр. Таков был обычный приход раба. «Ты, должно быть, ждешь обильного урожая розог и пожать желаешь жатву славного сечения». Для господина это было основой домашней дисциплины, дисциплины, превращающей человека в осла из-за этого одуряющего метода воспитания при помощи плети. Напоминая ослов своей выносливостью к ударам, рабы могли быть причислены к породе коз или пантер благодаря тем полосам, которыми они испещ-

рены. Только очень немногие среди них не имеют этих следов. Трахалион в «Канате», считая себя меньшим плутом, чем кто-либо другой, предлагает судить об этом на основании осмотра спины; он с полной гарантией предоставил бы свою кожу скорняку для работ, свойственных его ремеслу. Затем всевозможного рода путы: цепи на руках, оковы на ногах, рогатины на шее, цепи на бедрах; кроме того — усталость, жестокий голод и холод; все эти аксессуары тюрьмы входили в качестве необходимого элемента в систему наказаний; там, где опять-таки не последнюю роль играл интерес хозяина, он оказывал влияние даже на наказание раба, уменьшая его паек и удваивая работу. Наиболее легкой степенью наказания считалась ссылка раба в деревню, где он должен был обрабатывать землю с киркой в руках и с цепями на ногах. Но, как мы уже видели, и в городе и в деревне существовали наказания значительно более тяжелые, как, например, мельница, или толчея, чаще всего фигурировавшая в угрозах господина, так как это было самым обычным местом наказания во всех странах, затем каменоломни и рудники, причем у Плавта чаще всего встречаются рудники.

«Отведите его, — говорит Гегион в «Пленниках», — пусть его закуют в тяжелые, толстые цепи, а затем ты отправишься в каменоломни, и в то время как другие обтачивают восемь камней в день, ты должен сделать в полтора раза больше, если не хочешь прослыть человеком, получившим тысячу ударов».

И освобождение молодого пленника дает ему возможность охарактеризовать одним словом это место пыток; это — ад для рабов:

«Я часто видел на картинах многочисленные наказания в подземном царстве, где течет Ахеронт; но нет такого Ахеронта, который можно было бы сравнить с тем местом, откуда я только что вышел. Здесь труд изнуряет человеческое тело до последних пределов усталости».

Эти изображения поэтов вполне подтверждаются историческими фактами. Диодор в своем описании Египта упоминает о каменоломнях, находившихся на границе Эфиопии, и о способе их эксплуатации, практиковавшемся еще в его время. Эти приемы едва ли чем отличались от тех, которые применялись несколько лет спустя, во времена римского владычества. К рабам в этих каменоломнях осуждали провинившихся рабов, но спекуляция трудом рабов насчитывала там не меньше жертв, чем наказание. Были там и пленные, посылавшиеся и в одиночку, и целыми семьями. Там хватало работы на все возрасты: дети должны были проникать в пустоты горы, мужчины — дробить извлеченный из подземных галлерей камень, женщины и старики — вертеть мельничный жернов, чтобы превратить его в порошок и таким образом добыть из него золото. Закованные в цепи, проводя время в непрерывном труде под наблюдением солдат, которых старались сделать глухими к их мольбам, выписывая их из чужих стран, эти люди все же должны были возбуждать в своей страже сострадание печальным зрелищем своей наготы и страданий. «Пощады не было ни для кого, — продолжает историк, — не дают передышки ни больным, ни увечным, ни женщинам ввиду слабости их пола. Всех без исключения заставляют работать ударами кнута до тех пор, пока они, окончательно изнуренные усталостью, не погибают».

Итак, положение рабов было очень тяжелое. Можно ли было избежать его хотя бы бегством? Это было, по словам поэта, равносильно накоплению бедствий. Бегство — это естественное право каждого угнетенного, право, которое Плавт осмелился провозгласить с подмостков римского театра параллельно с правом господ, — считалось в Риме, как и везде, где существовало рабство, самым тяжким преступлением раба. Мы уже говорили о том, с каким хитроумием юристы находили состав преступления в малейших попытках к

бегству. И как бы незначительны ни были следы их, они для раба оставались неизгладимыми в виде клейма, которое выжигали на его лбу раскаленным железом. Да и куда бежать? К какому-нибудь частному лицу? Но ведь закон присуждал всякого, принявшего беглого раба, к уплате двойной его стоимости: В храмы? Но республика не признавала за ними этого права убежища, освященного в Греции. Она не признавала иной защиты, кроме защиты закона и магистратур; убежищем для гражданина служил трибунал, раб же, лишенный этого права по меньшей мере во времена Республики, не мог искать защиты у него. Никто не мог за него заступиться, кроме друзей господина. Этот последний, не признававший принуждения со стороны высшей власти, мог позволить смягчить себя просьбами и мольбами. И законы разрешали рабу идти просить заступничества у этого друга, не рискуя быть обвиненным в бегстве. Но пусть он будет осторожен, чтобы в этом его поступке не усмотрели покушения к бегству. Даже в том случае, если он изменит свое решение, его первоначальное намерение заклеит его как беглого, и его последующее решение не сотрет первого. С этого момента у него нет уж больше никакого прибежища; его не дают ему и статуи императоров, ставшие местом убежища в городе, который отказал в этой привилегии статуям богов. Он может быть подвергнут любому наказанию, и господин не всегда удовлетворяется некоторым усилением обычных наказаний, как-то: увеличением числа ударов, более тяжелыми оковами или работой, присуждением к ручным или ножным кандалам или к железному ошейнику. Он может присудить его к кровавой казни на арене амфитеатра, к растерзанию хищными животными, к битве гладиаторов. Подтверждением этого служит пресловутый Андрокл. Будучи беглым рабом, он в течение трех лет жил в обществе льва, рану которого он излечил; будучи затем пойман, он был послан на арену, где он встретил-

ся с тем же львом, который в свою очередь спас ему жизнь.

В одном только случае беглый раб подлежал возвращению с арены, а именно: если он добровольно искал там убежища; чтобы вернуть его господину, его отнимали у зверей, от когтей которых он предпочитал погибнуть. Если господин, как правило, считал для себя более выгодным наказывать раба, осуждая его на вечную работу, сопровождавшуюся всем, что только могло усугубить ее тяжесть, то бывали все же случаи, когда чувство злости могло заставить забыть эти принципы домашней экономии, служившие единственной преградой, спасавшей раба от смертной казни. В таких случаях его бросали в колодец, в печь или, если хотели насладиться его мучениями или показать пример строгости, его сажали на вилы, или распинали на кресте, который он должен был тащить на себе до места казни, находившегося за пределами городской черты. Иногда его сжигали в одежде, пропитанной смолой, как это делал Нерон.

Наказания, о которых говорит Плавт в своих комедиях, не являются плодом его воображения, но фактами, подтверждаемыми историей. История констатирует жестокое обращение, которому подвергались рабы, так как власть господина не имела границ. Так, Минуций Базил в наказание самым гнусным образом уродовал своих рабов. Раб был его вещью, и он мог распоряжаться ею по своему усмотрению. Однако интерес государства мог пострадать от абсолютной свободы господ. И как бы священна она ни была в их глазах, древний закон все же ограничил ее в одном пункте. Товарищем гражданина при его земледельческих трудах, столь близких сердцу древнего Рима, был вол. Убить его считалось государственным преступлением. Это утверждение Варрона и Колумеллы подтверждается Плинием, который приводит в пример гражданина, приговоренного народом к ссылке за то, что он зарезал

одного из своих волов, чтобы удовлетворить обжорство молодого кутилы. Что же касается раба, то закон не изменил своего отношения к нему. Человек, стоявший вне гражданской общины, имел в его глазах гораздо меньше цены. Фламиний, снисходя к жестокой, но несколько другого рода, фантазии какого-то развратника, велел отрубить голову одному пленнику (по свидетельству других, даже перебежчику), чтобы вознаградить своего друга за то, что ему не пришлось насладиться боем гладиаторов. В числе суровых взысканий, которые позволил себе наложить Катон во время своей цензуры, упоминается и это его решение, в силу которого Фламиний был лишен звания сенатора. Но вскоре господам Рима пришлось устраивать подобные зрелища в угоду развращенной толпе. Чтобы наряду с гладиаторскими боями поддержать интерес к театру и наполнить трагедию сильными ощущениями, стали на сцене изображать во всей реальности несчастья юного Атиса, Геркулеса на костре и Прометея, прикованного к скале. В последнем случае инсценировка несколько видоизменила содержание мифа. Коршуна, которого не так легко было заставить исполнять свою роль, заменили медведем.

Правда, это были все осужденные, преступники; но ведь господин имел право осудить своего раба. Приговор не подлежал никакому контролю, а приведение его в исполнение не встречало никаких преград. Во времена Августа эти казни совершались публично и не вызывали его неодобрения. Правда, в подобных условиях наказание налагал не суд, а право силы, а следовательно, часто гнев и каприз. Разбогатевший вольноотпущенник Ведий Поллион приказывал бросать виновных в чем-либо рабов на съедение хищным рыбам — муренам, чтобы насладиться видом того, как эти рыбы целиком пожирали их. Часто рабы были виноваты в незначительном проступке или просто в не ловкости. Всем известна история раба, присужденного

к этого рода казни за то, что он уронил хрустальную вазу во время пира, на котором присутствовал Август. Раб бросился к ногам императора, умоляя его лишь о том, чтобы он позволил ему в виде милости «не быть съеденным». Возмущенный Август велел перебить весь хрусталь Вегия, а раба простил. Но осудил ли он господина и принял ли он какие-либо меры, чтобы предупредить возможность повторения подобных злоупотреблений? И по какому праву проявил он такую строгость? Разве сам он не велел распять на мачте своего судна своего управляющего Эроса за то, что тому вздумалось изжарить и съесть перепелку, знаменитую своими победами в перепелиных боях, к которым римляне питали такое пристрастие? Почему же нельзя считать верным изображением действительности нарисованные сатирой картины нравов первого века Империи? Эти неистовства, эти побои по поводу самых незначительных провинностей, это жестокосердие ланистов и даже женщин, проявлявших еще больше своеволия в назначении и выборе наказаний; эти палачи, состоявшие на годовом жалованье; матрона, присутствовавшая при наказаниях, не перестававшая в то же время румяниться, слушать речи любовников, любоваться золотой каймой, придававшей большой блеск ее одежде, утомлявшаяся менее быстро, чем палачи, и распределявшая смертные приговоры с такой же легкостью, как и удары, — те и другие без достаточного основания:

Ты мне раба распни! — Какою виной заслужил раб
Казнь? Кто свидетелем тут? Кто донес? Ты выслушай
только
Где человеку смерть, никакое медленье не долго —
О ты, глупец! Разве раб человек? Пусть он невиновен, —
Я так хочу, так велю, пусть доводом тут моя воля!

Мы бы исказили мысль автора и переоценили бы историческое значение сатиры, если бы представили

себе все общество наподобие тех личностей, которых она клеймит. Но что благодаря безнаказанности произвола и молчанию закона многие рабовладельцы до крайних пределов злоупотребляли своей властью над жизнью и смертью своих рабов, что их жестокость, например, доходила до того, что они обеспечивали себе их молчание, вырезая им язык, что суеверные господа осмеливались искать гнусных предзнаменований во внутренностях детей рабов, — кто решится отрицать все это, вопреки простому утверждению сатиры, когда, по рассказам Плиния, люди пили кровь гладиаторов, павших на арене, чтобы в этом питье, где билась еще жизнь, искать исцеления от припадков падучей. Это такое зрелище, добавляет автор, от которого с отвращением отворачиваешься, когда то же самое продельывают на арене хищные звери. Но эти люди думают, что нет ничего более целительного, чем вкушать от еще теплой и дымящейся крови у самого ее источника и вдохнуть в себя как бы дыхание самой души, выходящее из раны!

При наличии подобных нравов, поскольку все позволено, все и возможно, к свидетельству Плиния, придающему характер вероятности этим чудовищным поступкам, упоминаемым и в сатирах, можно добавить в качестве доказательства более обычных злоупотреблений правом смерти, предоставленным господину, авторитет отменившего его закона. Подобные эксцессы продолжались еще в эпоху Адриана и принудили его отменить самый принцип.

Какое же представление о реальном положении рабов в Риме дают все вышеизложенные факты? То, которое вытекает из определения, даваемого им законом, из присвоенного им народным языком, т. е. обычным правом, прозвища — собственность. Конечно, раб не просто вещь, как все другие, он имеет свои индивидуальные качества и определенное положение (в ряду вещей). Это — орудие, но орудие одушевленное, обла-

дающее даром речи, и закон считается с этим; это даже человек, и закон признает его за такового в качестве ли преступника или даже жертвы, если случай настолько важный, что он может представлять серьезный интерес для общественного порядка. Но на общественной лестнице он всегда занимает низшие ступени, а по отношению к своему господину, в частности, он только вещь, вещь, как все другие. И можно ли думать, что этот принцип, от которого закон никогда не отступал в своих отношениях к семье, мог не оказать влияния на отношения семьи к рабу? Это значило бы отводить законам очень небольшую долю участия в умственном движении и совершенствовании нравов. Но дело обстоит не так. Дурной принцип, вошедший в законодательство еще в варварскую эпоху, продолжает жить в нравах, в особенности если он потворствует дурным наклонностям нашей природы; и он удерживает их силой привычки и «святостью» писанного права на уровне более низком, чем тот, на который их возвел бы естественный прогресс цивилизации. Поэтому, когда философия диктовала Цицерону его прекрасный «Трактат об обязанностях», а Вергилия вдохновляла столь благочестивая муза, закон продолжал утверждать, что раб есть собственность господина, и только; господин же, со своей стороны, не считал себя обязанным видеть в нем нечто большее, чем видел в нем закон. Это мебель, это часть его сельскохозяйственного инвентаря, и притом не самая ценная и не наиболее оберегаемая. В поместье был помощник, пользовавшийся большим вниманием, чем раб: это вол. Почему с волопасом обращались лучше, чем с другими рабами? Ради вола, с которым он, в свою очередь, обращался тоже лучше. Волы, как мы видели, имели свои дни отдыха, которых не было у рабов. «Некогда убийство вола считалось таким же уголовным преступлением, как и убийство гражданина». Что касается раба, то господин может пользоваться им и злоупотреблять им по своему ус-

мотрению, как, впрочем, и всем остальным своим имуществом. Его власть была суверенна и безгранична, так как принцип, лежащий в основе закона, носил абсолютный характер, а молчание, которое он хранил, не указывало ему никаких иных норм, которые он должен был бы уважать.

Не следует ли при таком положении дел отказаться от мысли определить общее положение рабов? Конечно, нет, так как, оставив в стороне крайности жестокого и плохого обращения, чрезмерные милости и из ряда вон выходящие жестокости, приходится признать, что положение рабов подчинялось общему закону, которым руководится большинство людей при пользовании своей собственностью, — закону выгоды. А затем оно, конечно, испытывало на себе самые различные влияния. Все социальные противоречия были присущи рабскому сословию, все мельчайшие оттенки жизни граждан отражались на их рабах, и в одной семье можно было иногда встретить все ступени государственной иерархической лестницы. Ясное представление дает нам об этом штат прислуги зажиточной семьи даже в том случае, если там не было легиона рабов и дом этот не был похож на государство в миниатюре. Там был свой класс привилегированных в лице управляющих и приближенных рабов, средний класс в лице начальников служб (декурионов) и руководителей работ и, наконец, рабочий класс в лице рабов, занятых городским и сельскохозяйственным трудом, вплоть до рабов, до тех «викариев», которых давали в качестве пекулия рабам высшего ранга как бы для того, чтобы замаскировать сознание их рабского положения внешней видимостью власти.

Как работа, так и благосклонность господина распределялась неравномерно среди различных разрядов рабов и очень часто совсем не соответствовала услугам, оказанным рабами. Поэтому вполне возможно, что на высших ступенях рабства благодаря привычке

пользоваться неограниченной свободой иногда исчезало чувство рабской зависимости. Но истинный характер рабства следует определять исходя из положения масс, а это положение в общем управлялось принципами, от которых оно зависело по самой своей природе, а именно: права собственности в качестве основного принципа и полезности — в качестве руководящего.

И во власть вот этого-то слепого права закон всецело отдал рабов, во власть этого столь сурового режима, который он и не считал нужным смягчать! Какую защиту мог раб найти в нем против своего господина? Всякий деспотизм легко переходит в насилие. Господин, имевший право пользования, был, конечно, склонен к злоупотреблению. При выполнении домашних работ он старался сократить расходы, увеличить валовой доход и получить благодаря такой политике большую выгоду. Чувство корысти не только не удерживало его, наоборот, еще более подстрекало его идти по этому пути вплоть до тех пределов, перешагнуть которые не позволяли силы рабов. А сколько в этих границах было непосильной работы и горя! То же самое мы видим и при наложении наказания. Господин останавливался только тогда, когда чувство заинтересованности подсказывало ему, что ценность раба (так как рабы оценивались только на деньги) может или совсем потеряться или по крайней мере сильно пострадать. Но до этого момента оно не перестает его побуждать в силу самых разнообразных причин; а до этого момента какой широкий простор для наказаний!

Итак, заинтересованность позволяет заходить очень далеко и сама ведет очень далеко. Она не всегда сможет удержать господина в пределах, установленных ею, как при повседневном обращении с рабами, так и при применении наказания, а иногда может даже заставить его нарушить их. Так, она не может принудить господина быть умеренным в наказании, если он на-

ходится во власти гнева или каприза; она заставит его даже отбросить всякие ограничения, если покажется, что высшую степень наказания можно с успехом применить в качестве устрашающего средства; она не остановит его и в том случае, если ему на практике придется выбирать между потерей раба или более ценной вещи. Эта мораль практической выгоды имела в древнем мире своих «казуистов». «Шестая книга «Об обязанностях», Гекатона, — говорит Цицерон, — полна этого рода вопросами: «Имеет ли честный человек право не кормить своих рабов во время большого голода?». Он обсуждает и разбирает этот вопрос с той и с другой стороны, однако он полагает, что по точному смыслу решающее значение должен иметь момент полезности, а не гуманности. Затем он спрашивает, не следует ли скорее пожертвовать призовой лошастью, чем ничего не стоящим рабом, в том случае если приходится бросить в море часть груза? Чувство гуманности отвечает — да, а чувство интереса — нет...». Сам автор не решает этого вопроса. Но подобное сомнение, высказанное на страницах «Трактата об обязанностях», — не является ли оно достаточным оправданием для того, чтобы на практике пожертвовать чувством гуманности мотиву заинтересованности? История не сочла нужным записывать примеры столь обыденных случаев. Что же касается первого случая, то до нас дошел один очень яркий пример. Когда во время осады Перузы стал ощущаться недостаток в продовольствии, Л. Антоний запретил кормить рабов. В то же время, боясь, что они распространят известие об этом бедствии в неприятельском лагере, он приказал не выпускать их из города. Несчастные бродили по улицам и поедали траву. После их смерти он велел их трупы похоронить в яме из страха, что пламя костров будет замечено неприятелем. О Калигуле передают только один характерный факт, рисующий его расчетливость. Так как для кормления хищных зверей в цирке мясо показалось ему

слишком дорогим, то он велел давать им мясо преступников, приговоренных к казни.

Расчетливость заставит переступить границы, охраняющие жизнь раба, и при обстоятельствах не столь крайних, в случаях повседневной жизни, если некогда рекомендованное бережное отношение к рабам приносит господину убыток, если, например, раб или заболел, если его содержание становится невыгодным или если его болезнь влечет за собой расходы без надежды на их восстановление. Чувству гуманности предоставлялась здесь широкая возможность проявить свое сострадание, но расчетливость подсказывала, что этим следует пренебречь, и римлянин слишком часто повиновался этому голосу, не знавшему жалости. «Пусть продает, — говорит Катон, — старых волов (он не уважает теперь даже вола), больной скот, больных овец, шерсть, кожи, старые повозки, старые железные орудия, старых рабов и рабов больных и все то, что является лишним; пусть продает; глава семьи должен продавать, а не покупать». А кто же будет покупать? Старый вол и старое железо еще могут найти покупателя, но кому нужен старый и безнадежно больной раб? Не имея возможности его продать, он бросит его на произвол судьбы, так как этого требуют его интересы. Итак, он его покинет. Но кто же подберет и приютит его? В силу той же самой причины, заставившей господина отказываться от содержания раба, и другие не подадут ему руки помощи, и жестокосердие римлян сумеет в случае необходимости прикрыться маской гуманности. Подобно скупости, олицетворенной в старике из «Трехмонетного», оно скажет: «Мы оказываем плохую услугу нищему, давая ему возможность есть и пить, так как мы, во-первых, теряем то, что даем, а во-вторых, способствуем продлению его жалкого существования». Оно наденет на себя еще более гнусную маску, маску религиозную, маску лицемерия. В середине реки Тибра находился остров, который держался на рабском труде.

Основанием его послужила жатва, собранная с принадлежавшего Тарквиниям Марсова поля и брошенная восставшим народом после их изгнания в реку. Ил, отлагавшийся вокруг него благодаря последовательным наносам, поднял его над уровнем реки. Здесь нашла убежище змея Эскулапа, живой символ божества, изображение которого было привезено в Рим во время одной эпидемии чумы. Здесь возвышался посвященный ему храм. Сюда же посылали благочестивые хозяева больных рабов, поручая их покровительству бога здоровья. Клавдий, желая несколько облегчить их положение, даровал брошенным здесь рабам свободу... на самом же деле свободу умирать! А он думал помочь им изданием этого закона! Еще более грустно то, что он думал это не без основания, так как корыстолюбие хозяина сторожило больного на берегах этого острова, и если он выздоравливал, то хозяин вновь завладевал им.

Подведем итоги. Обычай римлян вполне соответствовали духу самого закона, предоставлявшего раба в собственность господина, с тем чтобы он пользовался им как вещью; а римский закон того времени в точности отражал в себе принципы народного права, на котором основывалась организация рабства. Рабство не сохраняет людей, оно их эксплуатирует. И если когда-либо чувство милосердия спасло на поле битвы жизнь побежденного, то чувство корыстолюбия обратило его в раба. Поэтому не приходится удивляться тому, что чувство гуманности лишь редко распространялось на этот класс. Здесь царствует закон заинтересованности, и горе тому, кто находится во власти этого неумолимого закона:

Горе тебе! — От богини рабства вот тебе наследие.

Глава седьмая

ВЛИЯНИЕ РАБСТВА НА РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ РАБОВ

1

Раб в течение всей своей жизни испытывал на себе двойного рода влияние: во-первых, общее влияние своего положения: раб — только вещь в руках того, кто ею обладает, и, во-вторых, специальное влияние своего господина: господин для него все, его слова — закон, а его приказания — долг для раба. Первое из этих положений лишало его всякой основы человеческой морали, второе накладывало на него обязанности своего рода лакейской морали. У раба нет своих собственных норм поведения, их устанавливает для него господин.

Какова же была эта мораль господ и из каких принципов исходили они при определении тех обязанностей, которые они налагали на своих рабов?

Все сводилось к закону, в своем роде как бы регулировавшему условия их жизни в его имении, к закону заинтересованности.

Интерес господина мог предписывать рабу известные добродетели; в самом деле, господин требовал от раба не только обладания физическими качествами,

как-то: здоровьем и силой; он требовал от него и известных моральных качеств как гарантии полезного применения первых. Что пользы господину от здорового раба, если он ленив? К чему господину его силы, даже регулярно применяемые в работе, если он расстачает плоды работы? Катон в одинаковой степени исключал из своего расчета как раба, так и доходную землю, доходы с которых поглощались расходами по их содержанию. Потому-то этому обстоятельству придавали особенно важное значение. Если хозяева для сохранения в хорошем состоянии здоровья своих рабов соглашались, хотя и неохотно, на бережное отношение к ним даже в том случае, если оно обходилось довольно дорого, то по крайней мере не следовало скупиться на столь легкие и дешевые увещания и советы, чтобы развить в их душе те качества, без которых первые теряли всякое значение. Это полностью учли Катон, Варрон и Колумелла при описании обязанностей рабов и особенно управляющего, виллика, власть которого, заменявшая собой власть господина, непосредственно сказывалась на всем хозяйстве. Он не только должен был выполнять целый ряд функций, но и обладать известными добродетелями: покорностью, бдительностью, прилежанием, расчетливостью. Те же наставления повторялись и со сцены всем рабам вообще. «Он меня купил, — говорил один из них, — с тем, чтобы я повиновался ему, а не приказывал». «Раб, — говорит другой, — должен научиться все знать и ничего не говорить». «Раб должен обуздывать свои глаза, свои руки и свой язык».

«Образцовым рабом считается тот, кто принимает близко к сердцу интересы господина, за всем присматривает, все устраивает и беспокоится за него, хранит его добро с большей заботой и осторожностью, чем сам господин, если бы он тут присутствовал».

Эти правила, которые вкладывались в уста хороших рабов как бы для того, чтобы укрепить их автори-

тет, исполнялись ими и на практике. Таким изображен бдительный Грип в «Канате», таков и Тиндарей в «Пленниках». Взятый в плен и проданный вместе со своим господином, он меняется с ним ролями, чтобы облегчить ему возможность освобождения; хитрость эта удается, угрожая большой опасностью верному слуге, так как покупатель, взбешенный тем, что его обманули, хочет отомстить, подвергнув слугу жестоким пыткам. Но эти угрозы только укрепляют его преданность: «Если я умру, — говорит он, — и если он не вернется, как обещал, я по крайней мере по ту сторону могилы буду служить блестящим примером того, что я вырвал своего господина из рук врагов и избавил его от рабства, чтобы вернуть его родине, и что я предпочел навлечь на свою голову гибель, которая угрожала ему». Нет сомнения, что истории знакомы примеры такой преданности рабов; об этом мы скажем несколько слов ниже. Но господин по существу ясно чувствовал, что не имеет никакого права рассчитывать на это; закон же, вмнявший это в обязанность рабу под страхом смерти, ясно свидетельствует о том, что в нем не предполагали таких возвышенных чувств. Сам Плавт, приписывая своему действующему лицу такое величие души и такое истинное благородство, не отступает от общепринятого мнения о рабах, так как выведенное им лицо — человек свободный, только что обращенный в раба. Подобно тому как в молодых девушках, оторванных с самого раннего детства от своей семьи и воспитанных гнусными развратниками, сохраняется как бы инстинкт лучшего происхождения, облагораживающий благодаря своего рода прирожденному достоинству то униженное положение, в которое они попали волей судьбы, так и в свободной натуре этого раба, еще не знающего, кто он такой, есть сила чувства, которая вскрывает его природу перед глазами зрителей сквозь оболочку рабства. Им не нужна развязка, чтобы признать равного себе в том, кто перед смертью

воскликает: «Пожертвовать своей жизнью долгу — это не значит погибнуть!».

Преданный раб, изображенный Плавтом, это, следовательно, не Тиндарей; это Палестрион в «Хвастливом воине», это прежде всего Стасим в «Трехмонетном». Палестрион, оказывающий услуги своему первому господину с тем большим рвением, что эти услуги направлены против его нового господина, этого хвастливого воина; Стасим, который, оплакивая расточительность своего господина, берет от нее свою часть и отговаривает его, насколько может, от решения, исхода которого он опасается, так как если его господин будет вынужден сделаться воином, то что ожидает его самого? — должность обозного служителя.

2

Забота об интересах господина, преданность, послушание — таковы важнейшие качества, требуемые от раба. Но не было ли иногда послушание равнозначнее исполнению дурных поступков, а преданность — соучастию в преступлении? А если господин подстрекал к воровству, если он покровительствовал обману, если он призывал к разврату? Ведь существовали не только рабы-рабочие, но и рабы для удовольствия, рабы, привычной обязанностью которых было удовлетворять прихоти и чувственность господина или даже для добывания ему денег идти в места позора, или искать среди оргий случая к распутству или растлению. Это обыкновенное, всем известное, признанное законом явление. Гатерий в одной из своих заключительных речей утверждал, что распутство считалось преступлением для свободнорожденных, обязанностью для вольноотпущенников и необходимостью для раба. Квинтилиан, или автор «Декламаций», изданных под его именем, желая доказать, что похититель одной молодой девушки уже одним фактом похищения доказал,

что ему было известно, что она свободнорожденная, говорит, временно ставя себя на место защитника: «Если она прельстила твои взгляды, зачем же было прибегать к насилию? Разве ты не мог склонить ее подарком? А если она упорствовала, то разве ты не мог попросить ее вежливо, с твоей обычной обходительностью, у ее господина?». Итак, надо было повиноваться, если этого хотел господин; это был закон и долг. Нет никаких моральных принципов вне воли господина. Страх перед господином был основой мудрости, и хороший раб должен был предугадывать все его приказания, сообразуясь с малейшими проявлениями его внутренних настроений.

Вполне ясно, куда могли привести такие принципы. Господину легко удалось развратить человеческую природу раба и заставить его слушаться себя, когда он толкал его на путь неправды; значительно труднее было исправить его и направить на путь добра. Его лишили всякой моральной узды и не сумели заменить ее никакой другой, способной сдерживать в его душе чувственные порывы. Он усвоил себе эту эгоистическую мораль больше, чем это казалось желательным. Он прямо подошел к принципам, оставив без внимания их практическое применение, и, нисколько не заботясь о формах, всецело проникся их духом. Каковы же были результаты? Как раз противоположные тем, к которым стремились, так как интересы раба, совпадавшие с интересами господина в их отношениях к внешнему миру, были диаметрально противоположны в отношениях внутренней жизни. Раб тоже стремился к жизненным благам и брал их везде, где находил, — в безделье, в удовольствиях ли, хитростью, обманом, всевозможными увертками, ложью, воровством. Такова была конечная цель его жизни и таковы средства к ее достижению. Мы пришли к этому выводу при изучении рабства в Греции, и это столь же верно и по отношению к Риму, так как сущность и организация рабства ничем

не отличались у этих двух народов, а человеческая природа, всегда одинаковая, будучи помещена в одинаковые условия и подчинена одному и тому же влиянию, дает везде одинаковые плоды. Итак, мы могли бы повторить все то, что было нами изложено раньше. Прежде всего мы могли бы взять из этой первой картины все то, что мы заимствовали у римского театра, чтобы воспользоваться теми сценами, в которых он подражал греческому образцу, оригинал которого погиб. Это право дает нам в особенности Плавт благодаря живому остроумию и оригинальности столь красочно изображаемых им сцен. Вот почему все те пьесы, в которых сам автор не указывает, что они являются подражанием греческим произведениям, — а это заставляет нас видеть в подобного рода пьесах хотя бы в общих чертах картину греческих нравов, — мы считаем чисто римскими. Из этого вовсе не следует, что он описывал всегда только римские нравы современной ему эпохи. Среди граждан все еще продолжали жить старые привычки, о которых позволяет судить Катон, современник Плавта, приподнимая немного завесу в своем «Трактате о земледелии». Кроме того, все общество было захвачено хлынувшим потоком заморских обычаев. Они утвердились в верхних слоях государства и благодаря авторитету наиболее знатных фамилий, их широким связям и силе примера грозили повсеместным распространением. Вот на них-то и обрушивается Плавт в своих литературных произведениях с не меньшей силой, но со значительно большим искусством, чем поэт Невий. Если он, как было уже сказано, обращался к народу, наполнявшему глубину театра, то он, конечно, рассказывал им кое-что о сенаторах и о всадниках, сидевших в первых рядах; таким образом, он, воспроизводя греческие сцены, на самом деле был созвучен своей эпохе и своей стране, приноравливал их к условиям римской, современной ему жизни. Мне даже кажется, что в тех сценах, где он допускает некоторый

шарж, он ближе подходит к Риму, чем к Греции. Пленный грек в Риме проявлял, конечно, не менее ловкости, чем азиат и варвар в Греции, в стремлении создать себе более или менее сносную жизнь даже в условиях рабства. А эта хорошая жизнь заключалась в том, чтобы вкусно есть, развлекаться и наслаждаться. Заключенный в этот заколдованный круг, он сумел использовать для достижения цели все свое лукавство и все имеющиеся в его распоряжении средства. Вот эти-то нравы и изображает по преимуществу Плавт. Что за безграничное чревоугодие, что за изворотливость и тонкие приемы воровства! Как умеет он притвориться честным перед не доверяющим ему господином, и каким презрением платит он обманутому простаку! Если он питает пристрастие к вину и любви, то не вздумайте говорить ему о той морали, которую его господа создали для него. У него своя священная мораль. Противостоять любви! Разве он Титан, чтобы бороться с богами? В случае необходимости этот ханжа призовет их всех! Память его хранит имена всех богов обоих его отечеств, чтобы придать больше силы его клятвам:

Да разрази меня Юпитер, Марс,
Сатурн, Юнона, Геркулес с Меркурием,
С Минервою, с Венерою, с Церерою,
С Латоною! Надежда, Доблесть, Счастье,
Сумман, Кастор и Поллукс, Солнце — боги все,
Все правда, все, что я сказал...

и тем не менее все это была ложь. Но что значат для него ложные клятвы? Это дело его языка, его доброго покровителя.

Нетрудно узнать грека по тому легкомыслию, с которым он издевается над тем, что есть самого святого в римском культе и в римском праве. В этих оскорбительных речах, которые он позволяет себе в отсутствие господина, сказываются привычки афинской

распушенности. А рабы, настоящие римские, которых мы встречаем еще в деревне, особо подчеркивают это, обращаясь к подобным гулякам: «Пейте же день и ночь, поступайте как греки». Итак, они греки! Но их господин может быть настоящим римлянином. Римляне, желавшие приобщиться к эллинской культуре, особенно легко поддавались влиянию своих рабов-греков. Вполне справедливо изречение Горация, понятое в самом прямом смысле. Сурового победителя соблазнила покоренная Греция не только своей литературой и искусством, — нет, он подпал также под власть раба-грека со всеми его достоинствами и пороками. И когда ему, воспринявшему из нравов этой страны то, что в них было развратного и лживого, понадобилась, чтобы выпутаться, ловкость своего раба, то как должен был торжествовать последний! Тогда роли переменялись, так как в этой сфере господином был раб. Он хочет, чтобы его упрашивали, чтобы ему угождали. Он, конечно, уступит и притворится преданным. Но в действительности эта преданность ему ничего не стоит, так как всякое зло его привлекает; кроме того, в этом обращении молодого хозяина он чувствует как бы некоторое преклонение перед его превосходством. Это превосходство Плавт блестящим образом закрепляет за ним богатством изображения руководимых им интриг и остроумной инсценировкой. Допуская, что вся серия интриг в «Ослах» и в «Бакхидах», составляющая как бы ткань оригинальной пьесы, является подражанием греческим образцам, следует признать выросшими на римской почве, привившимися здесь всех этих столь выразительных персонажей — Либанов, Леонидов, Хризалов — с их тонким умением завязать интригу, смелостью выполнения, находчивостью, умением вновь соединить все хитросплетения после неудачи, с тем чтобы довести дело до победы. Сколько у них презрения к мелким интригам, сколько честолюбия при сложных! Это целая поэма военных хитростей. Так,

Хризал с самодовольством вспоминает осаду Трои, когда, подобно Одиссею и его спутникам, он отдается во власть врагов, чтобы потом тем легче завладеть ими. В тех комедиях, которые не отнесены непосредственно к Греции, хотя многие их черты указывают на заимствование, можно с тем большим правом причислить к городским рабам всех этих Мильфионов («Пэнул»), Транионов («Привидение»), Эпидиков и Псевдолов — всех тех рабов, которые, невзирая на препятствия, благодаря бесконечной изворотливости ума победоносно доводят интригу до развязки. Не только склонность к злу, не только жажда превосходства и удовлетворения самолюбия заставляли раба вмешиваться в те козни, которые отец и сын подстраивали друг другу; он втайне чувствовал удовольствие, рассчитывая, что в отношениях к нему они перестанут видеть в нем только «орудие» или просто «вещь». Он получал, кроме того, двойное удовольствие от того, что одного оставлял в дураках, а другого делал своим сообщником, союзником, а иногда даже и рабом. Если для Греции характерна эта привычная фамильярность между слугой и господином, который ему ничем не обязан, то столь же характерным является для Рима тон равного или даже тон превосходства, который раб принимает по отношению к господину, связанному с ним узами порока. Эту черту характера Плавт постарался особенно ярко подчеркнуть остроумными выходками и удачными приемами. С каким презрением принимает раб похвалу от того, чьей собственностью он является! С какой небрежностью и бесцеремонностью отвечает он на его любезности! Как резко прерывает он его вопросы: «Ах, твоя болтовня мне надоедает, ты мне досаждаешь!». Сколько удовольствия доставляет ему возбуждать его нетерпение, обманывать его любопытство! И как он издевается над его отчаянием! Таковы были развлечения рабов; и это справедливо, что господа, прихоти которых они удовлетворяли, в свою очередь служили им развлечением.

Вот что в комедиях Плавта является или общим для Греции и Рима, или характерным только для одной из этих стран. Это греческие нравы, но уже перенесенные в Италию и внедрившиеся в обычный образ жизни наиболее знатных фамилий, подобно тому как театр Плавта — это греческий театр, оживленный римским гением. Театр действия пока еще ограничен. Если мы вынуждены признать, что массе рабов в Риме, как и во всякой другой стране, были свойственны нравы и обычаи, вытекавшие из основных принципов рабства, то не следует им всем приписывать в широком масштабе эти более тонкие оттенки характера, в особенности это проворство, эту любовь к интриге, благодаря которым они присвоили себе главную роль в семье и своего рода руководство всеми мелочами частной жизни, как мы это видим на подмостках театра. Такие типы составляют исключение. Но число исключений постепенно увеличивается, поле действия расширяется, и вскоре эти образы, созданные комиком, сделаются почти общим явлением. Поэтому, если мы будем рассматривать рабство не только в том виде, в каком мы застаем его в эпоху, современную Плавту, а в более широких рамках, то, за исключением вышеуказанных незначительных оговорок, мы найдем в его комедиях верное изображение класса рабов. Разве Овидий, говоря о пьесах Менандра, не высказал не потерявшую еще до сих пор значения истину о своей эпохе и своей стране:

*Джив пока раб и грозен отец, пока ласкова дева,
Сводня подла, между нас будешь, Менандр, ты живым.*

В самом деле, Рим, заимствовав у Греции и в свою очередь широко развернув весь этот штат городских рабов, должен был принять его со всеми его пороками. Эта многочисленная челядь отличалась той же склонностью к лени, обжорству, пьянству, воровству, тем

же любопытством по отношению к семейной жизни, той же нескромной болтливостью вне дома, той же испорченностью. «Если я совру, — говорит Сосий, — то я сделаю только то, к чему привык». Меркурий, принимая его образ, хорошо знает, что для большего сходства он должен прикинуться плутом, хитрецом, наглецом и трусом. Взгляните на эту только что привезенную в город личность, которой вскоре суждено занять столь важное место, — на этого повара. Он прибыл сюда таким, каким его сделали утонченности пресыщения, цивилизации, чрезмерно преувеличившей его ценность, — пошлым и кичливым болтуном; это уже тип повара-бахвала. Повар отрицал свою принадлежность к классу рабов, пороки которых он полностью усвоил, и вел свою родословную от Кадма, похитившего из Сидонского дворца прекрасную Гармонию. Он охотно приписал бы кулинарии все чудеса искусства Орфея и честь распространения первых зачатков культуры в Греции. Кулинарное искусство способствовало тому, что люди от людоедства перешли к более пристойной пище. Это великое искусство играло первенствующую роль во время всех пиров и жертвоприношений и среди своих клиентов считало величайшего царя греков, Агамемнона, и высшего магистрата Рима, цензора. Разве цензор, поражавший жертвенных животных топором, не был помощником повара? Эти большие претензии, однако, нисколько не мешают его хищническим наклонностям. «Где найти такого повара, у которого не было бы когтей орла или ястреба?» Не только один скряга, выведенный Плавтом, приходил в отчаяние от того, что допустил в свой дом, в непосредственную близость к своей дорогой кубышке (кубышка, в которой он прятал свое сокровище) «этих хищников, этих людей, имеющих шесть рук, настоящее отродье Гериона, которые обманут человека, всего покрытого глазами Аргуса!» Все жалуются на их склонность к воровству, на самом же деле она составляла

отличительную черту всего рабского класса. Слово «fur», обозначавшее впоследствии вора, вначале было название раба. Вергилий продолжает давать ему эту кличку в силу анахронизма, впрочем, хорошо гармонирующего с его эклогами, вкладывая ее в уста пастухов, которых давно уже не было:

Как поступать господам, когда раб на такое решился?

Но давно уже это слово перестало обозначать самих рабов, оно означало только свойственные им качества. В этом смысле Плавт предлагает называть так специально поваров. Он хотел бы, чтобы рынок, где их нанимали, поварской форум, называли «воровским форумом». Изменилось не название места, а значение этого названия*.

Флейтистка, куртизанка и другие участники пиров на греческий лад — все это лица, взятые из тех же источников. Мы могли в предшествующем томе с целью вернуть их на родную почву заимствовать некоторые черты у Плавта, но эти, хотя и чужеземные, образы не были, однако, незнакомы Риму. Мы встречаем их там со всеми типичными чертами их характера, с их пристрастием к нарядам, хорошей еде и вину. Мы встречаем там и куртизанок высшего света, полных такого презрения к этой грязной толпе проституток из низов полусвета, что они с трудом находят достаточно сильные слова для его выражения на обоих языках:

Потаскуха двугрошовая рабов измазанных.

Эти женщины, как служанки, так и содержанки, в одинаковой степени отвратительные, когда они дают советы или приказания, внушали им эту безжалостную тактику, прикрывавшуюся маской любви, особен-

* У Валлона здесь непередаваемая игра слов латинского *coquinus* — поварской и французского *coquin* — плут, мошенник. В старинной Москве это приблизительно соответствовало словам «хитрец» и «хитрованец» — звуки слов одинаковы, а значение разное. — *Прим. перев.*

но по отношению к римской молодежи, еще мало искусственной в их хитрых проделках. В самом деле, образы Плавта, списанные с греческого образца, можно сравнить с теми, которые нам изображают много лет спустя и элегии и сатира, Овидий и Пропорций, Ювенал и Лукан. Взгляните на находящуюся рядом с ними фигуру ребенка, на котором уже видна печать ранней развращенности! Послушайте эти неуважительные и бесстыдные речи, в каждом слове которых чувствуется раннее посвящение во все тайны распутства. Эта маленькая фигурка, без сомнения, принадлежит Греции: она родилась там, чтобы кружить головы старым куртизанкам и приводить в ярость сводников. Но вот он прибыл в Рим: здесь это молодой иноземец, купленный за свою резвость и болтовню и обученный под руководством специального учителя искусству бросать дерзкие остроты, в которых он мог на свободе изощряться. Больше того, он так же близко связан с Римом; это ребенок, воспитанный в семье, с его непристойными шалостями и уже испорченной грацией; это тип, олицетворявший собой насмешливость и наглость, который оживляет, а еще чаще оскверняет страницы сатиры и легкой поэзии, начиная с Катуллы и Горация и вплоть до Марциала и позже.

3

Мы перечислили все добродетели, которыми должен был обладать раб, и все пороки, в которые он был вовлечен частью благодаря потворству господина, а иногда и против его воли, но всегда под влиянием своего положения. В самом деле, мораль, созданная специально для рабов, неправильная по своим принципам, была лишена, кроме того, достаточной санкции. Она искала основу долга в интересах хозяина, а гарантию исполнения думала найти в интересах рабов, предлагая им в качестве высшего сдерживающего начала страх перед наказанием.

Известно, с каким самодовольством развивают эту тему честные рабы Плавта. Так, Мессенион в комедии Плавта «Близнецы» говорит:

Спина, а не глотка, бока, а не брюхо
Важнее тому, кто умерен душой;
Кто негоден, пусть припомнит, чем хозяин им
Воздаст — бесчестным, вялым, леностным рабам.
Изнурение, голод и холод, побои, оковы и жернов —
Цена такая лени: зла злей боюсь я этого.
И вот решил я лучше быть хорошим, чем плохим, рабом.
Ведь легче мне словесные побои, чем помои.
Питать готовым хлебом плоть приятней, чем зерно молоть.
Вот и служу хозяину послушно и покорно,
И мне оно на пользу.
Пусть другие для выгоды делают —
Я поведу себя так, как обязан.
Я питать буду страх, воздержусь от вины,
Всюду буду готовым к услугам,
А рабы, что боятся, не зная вины
За собой, те полезны хозяину;
Кто же страха не знает, тот чувствует страх,
Лишь когда он побои заслужит.
Мне бояться чего? Ближе время, когда
За заслуги хозяин меня наградит!
С тем расчетом служу, чтоб спина была цела.

Наказание — таково последнее слово этой морали. Оно витало над головами всех рабов, и они должны были помнить о нем.

«Раб, который не знает за собой вины и тем не менее боится наказания, — это единственный раб, хорошо служащий своему господину. Те же, которые не знают страха, раз заслужив наказание, прибегают к вздорным средствам. Они убегают; но когда их ловят и возвращают домой, то их ожидает целый «пекулий» (куча, сумма) несчастий, их, не сумевших скопить много пекулия путем своей бережливости. Мало-помалу пекулий растет и составляет уже целое сокровище.

Но я, обладающий здравым смыслом, предпочитаю избегать зла и не подвергать свою спину ударам. Моя кожа до сих пор чиста, и ее следует и впредь охранять от ударов. Поскольку я сумею владеть собой, ей не будут грозить побои, которые сыплются на других, не задевая меня. В самом деле, ведь хозяин таков, каким его хотят видеть рабы: добрый с хорошими рабами, жестокий с дурными. Посмотрите на наших рабов. Это почти все негодные рабы, расточающие свое достояние, вечно битые. Когда их зовешь, чтобы идти к хозяину в город, они отвечают: «Не хочу, ты мне надоел; я знаю, куда ты спешишь; тебе не терпится совершить прогулку в одно место. Клянусь Геркулесом! ты можешь идти, добрый мул, на кормежку». Вот что я получил за свое усердие, и с этим я ушел. И теперь я один из всей толпы рабов иду за хозяином. Завтра, когда он узнает о том, что произошло, он их с самого утра накажет ремнями. Впрочем, мне моя спина дороже, чем их. И они познакомятся раньше с ремнем, чем я с веревкою».

Итак, весь их нравственный кодекс был не чем иным, как политикой и расчетом. Наиболее мудрые взвешивали все неудобства и из многих зол выбирали меньшее; а хозяину не оставалось другого выхода, как все более усиливать наказание, чтобы противопоставить его смелости бунтарей. Но как бы жестоко оно ни было, оно не всегда достигало цели и не всегда могло подавить силу инстинкта, побуждавшего их освободиться от оков рабства. Это влечение к злу, бывшее сильнее всех препятствий, являлось чертой характера, наиболее резко подчеркнутой в комедиях Плавта; здесь ему не нужно было заимствовать что-либо у Греции или в римских подражаниях Греции. Он мог черпать свое вдохновение из самых глубин римских обычаев. Именно в Риме суровость нравов должна была привести к ожесточению рабов. Там скорее чем где бы то ни было они могли проявить это презрение к опасности, примером которого им служили воинственные привыч-

ки их хозяев, применив его в своей обстановке по отношению к единственной угрожавшей им опасности, — к наказанию. Там они могли выставить напоказ свой направленный в сторону зла героизм и насмешливый дух, который, издеваясь над наказанием, тем самым ослаблял его силу и уничтожал страх перед ним. Удары палок — это как бы монеты, которые они охотно учитывают при малейшем проступке. Разве они не составляют достояния плохого раба? Но палочные удары — это только мелочи. Кому доставляет удовольствие вести им учет? Они составляют свой послушной список в стенах различных домашних исправительных заведений. Повторные ссылки на мельницы — это для них то же, что славные походы, а исполняемые ими там обязанности — это их чины: прикомандированный к министерству мельниц, трибун розог. По примеру своих хозяев, гордых тем, что им удавалось присоединить к своему имени новое, данное им по случаю какой-либо победы, рабы присваивают себе свои заслуженные чины в зависимости от понесенного ими наказания. И порой кажется, что в этих прозвищах, которыми они любят приветствовать друг друга, как, например, в этой встрече Либана и Леонида в «Ослах», больше чести, чем позора: «Школа для плетей, привет! — Как дела, тюремный страж? — Хранитель цепей! — Наслаждение для розог!».

И сколько гордости в их торжестве, если их смелость одерживала победу! Как охотно рисуют они в своих благодарственных молитвах картину всех тех опасностей, через которые они прошли! С каким удовольствием напоминают они друг другу свои старые подвиги: «Злоупотребление доверием, неверность господину, сознательное нарушение святости клятв, подкопы под стены, явные кражи и много красноречивых речей, произнесенных в свою защиту в то время, когда ты был подвешен между восемью ловкими, чтобы полосовать тебя, смелыми и сильными ликторами».

«Ты говоришь правду... Сколько раз платил ты за добро неверностью, сколько ложных клятв, сколько святотатственных краж ты совершил, сколько убытка, неприятностей и скандалов причинил ты своим господам! Сколько раз ты отрекался от своих долгов и от доверенных тебе денег! Сколько раз доводил ты до изнеможения своим упорством восьмерых здоровых гайдуков, вооруженных гибкою лозой! Хорошо ли я отблагодарил тебя? Как расхвалил я своего сотоварища! — О да, вполне достойно тебя, меня и наших способностей».

Но они хвалятся не только своими прошлыми деяниями, они смеются и над грозящим им наказанием.

«Где тот человек, — говорит Транион в «Привидениях», — который пожелал бы заработать немного денег, согласившись пойти на истязания вместо меня? Где эти смельчаки, привыкшие к цепи? Я дам целый талант тому, кто первый бросится к кресту, но с условием, чтобы ему пригвоздили и руки и ноги».

Итак, смерть им больше не страшна; они не боятся ее, хотя и кажется, что они хотят ее избежать. Но с каким равнодушием они ждут ее!

«Я знаю, что крест будет моим последним жилищем. Там покоятся мои предки, мой отец, мой дед, прадед, прапрадед».

Без сомнения, известную долю этих шуток следует отнести за счет поэта и театральных приемов. Комедии легко глумиться над наказаниями и заставлять смеяться зрителей — это ее закон. Но нельзя не признать, что подобные нравы существовали также и в действительности и были естественным результатом дурного обращения. В самом деле, разве можно было с успехом вести раба по пути добродетели, если к нему применяли прямо-таки зверский режим, заставлявший его терять всякий человеческий образ? И каким образом на границе этой животной жизни, где единственная его радость состояла в удовлетворении своей чувственности, страх перед физической болью мог удержать

его испорченные инстинкты? Чем больше его прижимали, ставя на один уровень с животным, тем глубже он погрязал в пороке. Это не могли не признавать даже на подмостках театра. «Бить раба — это значит себе вредить; они ведь уже так созданы, это бичи розог, и такова их система. Как только им представляется случай, они тащат, хватают, грабят, пьют, едят и бегут. Вот это — их дело». «Цепи, розги, мельницы, жестокость наказания — это делает раба еще хуже». И для этого зла не существовало никакого лекарства, так как в нем сказывалось самое настоящее и естественное влияние рабства. Сколько же времени было необходимо для того, чтобы оно принесло свои плоды? Всего лишь один год. Год службы; такой короткий промежуток считался достаточным, чтобы испортить человеческую природу. К концу года раб становился уже ветераном, и к тому, кто продал его за новичка, можно было применить закон о возврате. Как можно говорить еще о каком-то воспитательном значении рабства, имея перед собой текст этого закона!

Но дурное обращение не только закалило раба; оно не только не умертвило в нем чувство, наоборот, оно обострило его, сделав для него иго рабства невыносимым и в числе всех дурных страстей вызвав самую страшную — ненависть и жажду мести.

Причины этих проявлений коренятся в том влиянии, которое рабство оказывало на класс рабов, а плоды их — в том воздействии, которое оно могло иметь на класс свободных. Краткое изложение этих явлений послужит естественным переходом от одной темы к другой.

Глава восьмая

ВОССТАНИЕ РАБОВ - РАБСКИЕ ВОЙНЫ И ВОЙНЫ ГРАЖДАНСКИЕ

1

«Не только лица, облеченные политической властью, должны мягко обращаться с теми, кто зависит от них. Но также и в частной жизни осторожность предписывает нам гуманное обращение с прислугой, так как если в государстве высокомерие и крайняя строгость порождают междоусобия среди граждан, то и в домах частных лиц подобные дурные привычки служат причиной заговоров рабов против своих хозяев и часто вызывают страшные восстания, угрожающие спокойствию городов. Чем больше жестокости и несправедливости проявляют хозяева, тем чаще люди, зависящие от них, переходят от чувства досады к чувству дикой, неукротимой ненависти. Тот, кого судьба поставила ниже других, может согласиться уступить тому, кто поставлен над ним, все почести и славу; но если его лишают того человеческого отношения, на которое он может с полным правом претендовать, то возмущенный раб начинает видеть в своих хозяевах врагов».

Таково суждение Диодора Сицилийского, которое он на основании исторических фактов высказывает о

рабском режиме, таковы гарантии, которые он требует для рабов, те опасности, на которые он указывает хозяевам, грозящие им в том случае, если они будут продолжать упорствовать в своих жестоких привычках, полных презрения к рабам. И тем не менее с этими правами, которые природа человека сохранила за рабами, наложив на них свою священную печать, никогда не считались, и хозяева, требуя от них исполнения всех своих прихотей, предписывали им покорность, молчание и послушание. От них требовали, чтобы они страдали, чтобы они подчинялись даже жестокости несправедливого приказания:

Достойным недостойное считать должны,
Когда хозяин это делает.

И Федру, вольноотпущеннику, принадлежала басня, в которой были высказаны те же заключения. Один раб жалуется Эзопу: «На меня сыплются бесчисленные удары, и кнут всегда наготове; меня посылают в деревню прислуживать сельским рабам. Если хозяин желает ужинать вне дома, то я несу ему факел во время пути; я заслужил свободу, а между тем поседел в рабстве». И он хочет бежать. «Погоди, — говорит ему Эзоп, — не сделав ничего плохого, ты испытываешь все эти неприятности; что же ожидает тебя, если ты провинишься, какие бедствия будут грозить тебе в этом случае?» Это размышление заставило его отказаться от бегства.

Так дело обстоит в басне, но в действительности оно едва ли кончалось так. Об этом свидетельствует целый ряд мероприятий, с помощью которых стремились предупредить или обречь на неудачу все подобного рода попытки со стороны рабов, как, например, кольца, которыми сковывали их ноги, ошейник, который они носили на шее, клеймо на лбу, объявления через глашатаев и афиши, присяжные сыщики, награ-

ды, обещанные тем, кто приведет беглых, и наказания, угрожавшие приютившим их. Ни неудача, ни ужасные наказания, следовавшие за ней, не оказывали того действия, которое приписывается совету Эзопа. Не всегда имело силу даже мягкое обращение, если можно верить утешениям Сенеки, обращенным к его другу Луцилию, умеренность и милосердие которого он хвалил в другом месте. В общем раб оставался равнодушным, если ему приходилось менять хозяина, как ослу в басне: «Если я должен нести вьючное седло».

Но раб был не только ненадежным владением, но и опасной собственностью. Были, несомненно, и среди рабов примеры привязанности и искренней преданности. Не все хозяева были жестоки, и их гуманность могла наперекор влиянию института рабства пробудить самые благородные человеческие чувства в этих нередко низко павших душах. Называют рабов Грументы, которые вывели ее из взятого приступом города, сделав вид, что ведут ее на казнь; указывают на раба Веттия, взятого в плен, убившего сперва своего господина, чтобы освободить его, а затем и себя. Подобные примеры были особенно многочисленны в самые тяжелые дни гражданских войн. Были рабы, которые не только противостояли всяким соблазнам и скрывали местонахождение своих обреченных на смерть хозяев, как, например, рабы Варрона, но и такие, которые сами охраняли и защищали их. Мы видим, как некоторые из них соглашались принимать участие в их хитрых планах и выдавали себя за телохранителей какого-нибудь Апулея или Арунция, когда последние, чтобы лучше обставить свой побег, переоделись в одежду центуриона и сделали вид, что преследуют изменников; или как они сопровождали в качестве ликторов Помпония, который со знаками преторского звания осмелился проехать по Риму, выехать через ворота города на государственной колеснице, пересечь всю Италию и перебраться в Сицилию, в лагерь Помпея на

судне, принадлежащем триумвирам. В других случаях их преданность не ограничивалась простым содействием: рабы сами придумывали разные хитрости. Так, во время избиения, устроенного Марием, рабы Корнута бросили в пламя костра труп неизвестного, который они выдали солдатам за труп своего господина. Во время проскрипций второго триумvirата раб Реасция сделал больше. Испытав на себе поочередно и милости и гнев этого римлянина, заклеившего его за некоторые преступления, он сопровождал его во время его бегства и не только не выдал его, но, наоборот, укрыл его в пещере. Затем, так как этому убежищу грозила опасность быть открытым, он набросился на первого прохожего, убил его и выдал его палачам за своего господина, призывая в свидетели своей мести знаки клейма, запечатленные на его лбу. Иногда рабы жертвовали собой и спасали своих хозяев ценой своей собственной жизни, обмениваясь с ними одеждой и ожидая смерти. Аппиан приводит еще несколько других примеров из времен гражданских войн, а Сенека, приводящий много таких случаев, берет их из эпохи более поздней, но не менее страшной, — эпохи доносов при Тиберии. Но все эти примеры — лишь частные случаи, которым можно противопоставить другие. Жажда мести со стороны рабов не всегда удерживал страх перед еще более жестокой казнью: как же могла она устоять перед безнаказанностью? Как могли они не поддаться призывам проскрипций, которые обращались к самым низменным страстям их рабской природы и возбуждали их против господ, соблазняя их возможностью мести, золотом и свободой? Как часто раб сам становился палачом того, кто мог располагать его собственной жизнью! Как часто матери в слезах напрасно простирали руки к своим жестоким служанкам! Аппиан приводит наряду с вышеупомянутыми примерами преданности подобные же примеры измен со стороны вольноотпущенников и рабов. Но нередко обществен-

ное чувство возмущалось этим и старалось их обуздать. Один раб, принесший Крассу письменные доказательства против Карбона, был отослан к нему назад в цепях; другой, предавший своего хозяина во время борьбы Мария и Суллы, был отпущен на волю в награду за донос, а затем казнен как предатель. Во время второго триумvirата один негодный раб, купивший свою свободу ценой такой измены, дошел в своей наглости до того, что в качестве получившего с торгов право на имущество приговоренного к смерти выступил против его разоренной семьи, но народ заставил триумvirов вернуть его этой семье как раба; другой донес о благородной хитрости своего товарища, одевшегося в платье своего хозяина, чтобы спасти его ценой своей жизни, но народ не успокоился до тех пор, пока не принудил магистратов распять на кресте предателя и дать свободу верному слуге.

Итак, эти анекдоты как бы уравнивают друг друга, и одна их часть может быть многочисленнее другой, в зависимости от той точки зрения, которой моралист придерживается в этом вопросе, т. е. рассматривает ли он его с точки зрения мягкости или жестокости хозяев. Но какие же факты носили наиболее общий характер? Историк установил их в следующем своем суждении о проскрипциях: «Наиболее частые примеры верности встречаются среди женщин, затем среди вольноотпущенников и реже всего — среди рабов». То же можно отметить и в эпоху доносов времен Империи. Когда закон, оберегавший интересы семьи и запрещавший принимать свидетельства рабов против своих хозяев, изданный Тиберием, был открыто отменен Гаем (Калигулой), полился целый поток обвинений. Об этом можно судить по размерам и продолжительности тех кровавых репрессий, которые применял Клавдий на их основании. Но зло на этом не прекратилось. Тацит, клеймивший всю эту эпоху деспотизма, точно так же как и Плиний, сравнивавший Траяна с его пред-

шественниками,— оба свидетельствуют об этой готовности рабов идти навстречу обращенным к ним призывам. Сенека имел в виду не только воспоминания об этих более поздних временах, но и всю историческую традицию, когда он говорил: «Вспомните примеры погибших в расставленных им дома сетях, благодаря открытому ли нападению или благодаря обману, и вы убедитесь в том, что не меньшее число их погибло от мстительности рабов, чем стало жертвами тиранов». В самом деле, раб был врагом, допущенным в самые недра семьи: «Сколько рабов, столько врагов» — гласила пословица. Их обычным оружием были: измена в смутные времена, доносы в эпоху деспотизма, а в спокойные времена — яд и тайные козни. Один вольноотпущенник, заведующий делами Коммода, приветствовал смерть, так как таким образом он избавлялся наконец от неволи, в которой держали его его же собственные рабы, и он завещал, чтобы это выражение радости было написано на его надгробном камне.

Императоры, больше всего поощрявшие доносы, из которых они извлекали пользу, решили принять строгие меры против этой домашней опасности, грозившей только со стороны рабов. Мысль о мести не могла зародиться в душе одного раба; всегда можно предположить, что она является общей для всех его товарищей, поэтому все рабы считались как бы соучастниками в преступлении: они казались подозрительными в том случае, если они не догадались о нем, виноватыми, если не предупредили его. И если хозяин погибал жертвой насилия, то к смерти приговаривали всех рабов. Таков был обычай, торжественно подтвержденный сенатским постановлением, внесенным Силаном во времена Нерона: «...так как, — гласил закон, — семейная безопасность находилась бы под сильной угрозой, если бы рабы не были вынуждены под страхом смерти защищать своих хозяев против своих же слуг и чужих людей». Господином считался не толь-

ко отец, но и сыновья, даже вышедшие из-под его власти (совершеннолетние), а к рабам причисляли вольноотпущенных в силу завещания, вольноотпущенных на известных условиях. Исключались дети, слепые, сумасшедшие, глухие, немые, если их инвалидность послужила им препятствием (оказать эту помощь), больные, но только в том случае, если болезнь была настолько тяжелая, что приковывала их к постели, рабы, сидящие в заключении, если их цепи были так крепки, что они не могли их разбить. Таков был закон. Случай применить его представился в правление Нерона по поводу смерти Педания, о котором мы упоминали в главе о «Числе рабов». Речь шла о том, чтобы предать казни 400 человек, виновных лишь в том, что они находились под одной крышей с их убитым господином. Толпа, тронутая жалостью при виде стольких невинных жертв, волновалась, грозя восстанием. В сенате мнения тоже разошлись, но тогда Гай Кассий выступил с защитой следующих принципов: «Предкам нашим душевные свойства рабов внушали недоверие даже в том случае, если эти последние родились на одних с ними полях или в одних и тех же домах и тотчас же вместе с жизнью воспринимали любовь к своим господам. Но с тех пор, как мы ввели в число наших рабов целые племена с их отличными от наших обычаями, их чуждыми для нас суевериями, их неверием, то такой сброд людей можно обуздать не иначе, как страхом». И это страшное избиение привели в исполнение совершенно хладнокровно, несмотря на народное возмущение; народ, неимущий и сам раб по происхождению, не имел оснований бояться этих заговоров.

2

Рабство грозило опасностью не только семье, но, как мы это видели в другом месте, и государству.

Рим в противоположность Спарте не принимал против своих рабов никаких репрессивных мер, но и не оказывал им снисхождений, характеризовавших политику Афин. Он оставлял их на произвол господ и нисколько не интересовался ими, принимая, хотя намеренно и не вызывая против них, все последствия домашнего деспотизма, так как считал себя достаточно сильным, чтобы подавлять их. Но в первые века Республики глубокая вражда, разделявшая два класса, и полное подчинение плебеев патрициям не раз оказывали поддержку рабам и во всяком случае всегда сильно обнадеживали их. Хотя рабы были тогда менее многочисленны и не так сильно эксплуатировались, быть может, благодаря простоте нравов той эпохи, они тем не менее никогда не переставали составлять заговоры, что нередко угрожало государству большими опасностями. Их «навязчивой идеей» было поджечь город и захватить Капитолий. Такова была цель первого заговора в 501 г. до н. э.; он был раскрыт, а виновные распяты; но в следующем же году был составлен новый заговор, с участием плебеев, начинавших понимать, что изгнание царей еще не означает уничтожения тирании. Главари опять-таки были казнены. Несколько позднее, во время войны с вольсками, к рабам присоединились изгнанники, и заговор начался успешно. Гердоний вместе с 4500 заговорщиков занял укрепление и убил одного из консулов, но и он в свою очередь погиб под натиском патрициев, и снова были воздвигнуты кресты для побежденных. В 419 г. — новый заговор, который, по-видимому, имел широкое разветвление и в сельских местностях. Их все так же воодушевляла мысль сжечь город и занять Капитолий с целью вызвать смятение. Кроме того, заговорщики хотели убить своих хозяев, стать на их место, забрав себе их жен и их имущество. Это удалось осуществить менее жестоким способом и вначале довольно успешно рабам из вольсиниев, которые, захватив власть, возы-

мели довольно дикую мысль придать своей попытке легальную форму, завладев имуществом в силу завещаний, продиктованных ими господам, и разрешая приказами все фантазии их грубых страстей по отношению к женщинам.

Начало Пунических войн и затем победы Ганнибала в Италии вновь оживили надежды рабов и вызвали целый ряд заговоров. Но победа Рима, казалось, должна была бы их обескуражить, а объединение обоих классов давало с тех пор республике более сильные гарантии против этих внутренних брожений. Тем не менее рост числа рабов и все вытекавшие отсюда последствия, указанные нами выше, давали больше поводов для подобного рода попыток. Война рабов готова была вспыхнуть в 198 г. у самых ворот Рима: пленный Карфаген едва не застал врасплох своего гордого победителя. Заложники, данные Карфагеном в силу договора 201 г., содержались в Сетии. Они происходили из наиболее знатных фамилий и держали для своих услуг большое количество служителей. Было много рабов и у жителей, так как только что кончалась вторая Пуническая война. Эти рабы почти все принадлежали к тому же племени и были куплены при продаже военной добычи. Они составили заговор и сообщили свой план городским рабам и рабам соседних городов, Норбы и Цирцей. Все было готово. Ждали только начала назначенных в Сетии игр, чтобы напасть на жителей во время самого представления. Захватив их врасплох и перебив во время возникшего беспорядка, они затем рассчитывали занять Норбу и Цирцеи. Но заговор опять-таки был раскрыт; два раба явились рано утром к претору Лентулу и выдали ему план заговорщиков. Он созывает сенат, получает полномочия и отправляется с пятью легатами; что касается солдат, то он собирал их по пути, заставляя приносить военную присягу всех, кого он заставал на полях. С этим импровизированным отрядом приблизительно в 2 тысячи человек он вне-

запно появился в Сетии. Главари заговора были арестованы, рабы разбежались. Их преследовали на полях, их окружали повсюду; но все-таки римлянам не удалось захватить всех виновных, так же как не удалось и запугать их. Они решили направиться в Пренесту, но Лентул опередил их. 500 участников заговора были казнены. Город тем не менее был охвачен ужасом перед тем, что заложники, пленники из Карфагена, осмелились составить подобный заговор! Во всех кварталах была поставлена стража, низшие магистраты получили приказ делать обходы, триумвиры тюрем — удвоить бдительность, союзникам в Лациуме сообщили, чтобы заложников держали совсем отдельно, чтобы на пленных наложили оковы не менее 10 фунтов весом и чтобы их держали только в общественных тюрьмах.

Едва была устранена эта опасность в Лациуме, как вспыхнула новая в Этрурии (в 196 г.). Восстание рабов навело на всех ужас, и, чтобы подавить его, потребовался целый легион под начальством претора. Одни были рассеяны и убиты, другие захвачены. Главари наказаны розгами, а затем распяты на крестах, остальные возвращены хозяевам. Затем пришла очередь Апулии (в 185 г.). Отряды восставших пастухов свирепствовали по большим дорогам и опустошали общественные земли. Претор, получивший в качестве провинции Таррент, был вынужден прибегнуть к мерам крайней строгости: 7 тысяч были приговорены к смерти. Многим удалось бежать, остальные же были казнены.

В этих заговорах уже не было речи о взятии Рима и о том, чтобы самим занять его место. Силы республики значительно увеличились, она расширила свое господство и свое влияние; рабский же класс, также сильно увеличившийся, все же был слаб, так как его разбросанность и разобщенность не позволяли ему в равной мере использовать имеющиеся у него средства. Это были смелые попытки, но всегда частичные и в силу необходимости уступавшие тем средствам, которые Рим

черпал в своей организации для их подавления. Все же в этой борьбе было нечто тревожное для государства, так как эти восстания, как бы ограничены они ни были, звучали призывом ко всему классу рабов. Угроза Риму не могла ограничиться одним только пунктом, не вовлекая и всю остальную массу рабов, в республике же была одна такая область, где изолированность положения, менее бдительный надзор, более значительное число рабов и более жестокое обращение с ними могли вызывать более частые случаи восстаний и способствовать их шансам на успех: этой областью была Сицилия. Именно здесь должна была вспыхнуть вся злоба, скопившаяся в классе рабов вследствие злоупотреблений хозяев своей властью. Но Сицилия была только тем, чем сделала ее Италия, поэтому в Италии следует искать причины того огромного пожара, очагом которого сделалась Сицилия.

3

Сицилия была житницей Рима; именно она поставляла Италии то зерно, производством которого сама Италия стала пренебрегать. Римские всадники поделили между собой земли, захваченные благодаря завоеванию, и сицилийцы соревновались с ними в способе обработки, не имевшем себе конкурентов за пределами этой области: этот способ состоял в эксплуатации рабского труда. Все войны, которые вел Рим, поставляли им рабов, и они их сконцентрировали на этом острове, не принимая никаких особых мер предосторожности; они только накладывали на них клейма, как это было принято делать со скотом, и заставляли их непрерывно работать. Ослепленные требованиями безмерной алчности, они стремились увеличить свой доход не только сверхурочной работой, но и уменьшением обычных норм раздачи одежды и пищи. Таким образом, для того чтобы обеспечить себя самым необ-

ходимым, рабы толпами бродили по стране и занимались убийствами и грабежами, совершенно так же как и в Италии, Там поля превратились в пастбища, на которых хозяйничали пастухи, занимаясь разбоем, так как хозяева не предоставляли своим рабам иных средств к существованию, кроме свободы добывать их как они захотят и как смогут. В Сицилии, как в стране завоеванной, безнаказанность была еще более обеспечена. Воровство здесь было не только дозволено, но даже поощрялось, и знатные лица страны, связанные с всадниками по своему богатству, не только не уступали, но часто даже превосходили их чрезмерной наглостью, больно отражавшейся на слабых. Однажды рабы пришли почти совсем голые к своему хозяину, Дамофилу, уроженцу Энны, и стали жаловаться на свою нужду. Дамофил, раздраженный их жалобами, спросил, почему они бродят в таком виде по стране, когда они легко могли бы добыть себе силой одежду и снабдить ею тех, кто также в ней нуждался. Затем он велел их привязать к столбам и наказать плетью, после чего он их, окровавленных, безжалостно отправил обратно.

Эти привычки к грабежу, не только терпимые, но и вменяемые в обязанность людям, не имевшим никаких нравственных устоев, принуждаемых к тому нуждой и обладавших к тому же физической силой, необходимой для поддержания смелости, в самое короткое время увеличили до бесконечности число преступлений. «Они начали с того, что стали убивать по дорогам одиночных путешественников, затем они перешли к нападениям целыми бандами ночью на фермы и дома, владельцы которых были недостаточно сильны, чтобы защищаться; они занимали их силой, грабя и убивая тех, кто осмеливался сопротивляться. Наглость их все росла и дошла до того, что ни один путешественник в Сицилии не решался отправляться в путь, когда начинало смеркаться, а люди, жившие обычно в деревне, не могли себя считать в безопасности. Насилие и раз-

бой царствовали повсюду, и везде совершались бесчисленные убийства. Пастухи, привыкшие спать под открытым небом и носить оружие, отличались, благодаря привычке к такой жизни, смелостью и дерзостью. Вооруженные дубинами, пиками и крепкими посохами, одетые в волчьи шкуры и шкуры диких кабанов, они имели страшный вид и мало чем отличались от воинов. Стая сильных собак, следовавшая за ними, обеспечивала им безопасное существование, а обильная молочная и мясная пища, в которой эти дикари не ощущали недостатка, укрепляла их силы, поддерживая в них одновременно их дикие природные наклонности». Сицилия превратилась в страну Циклопов. Можно было подумать, что живешь во времена Полифема!

«Итак, наглость рабов, заручившись, так сказать, покровительством хозяев, привела к тому, что вся страна была наводнена этими злодеями, делившимися на отряды для нападений. Наместники провинций не раз хотели обуздать наглость рабов, но не решались их наказывать, удерживаемые влиянием и весом, которым пользовались хозяева этих рабов, и были вынуждены предоставить эту страну во власть организованному разбою, так как большинство землевладельцев Сицилии были римскими всадниками и судьями в тех процессах, которые нередко поднимались против наместников провинций, и потому они боялись выступать против тех, кто мог их осудить».

Наместники на все смотрели сквозь пальцы, поскольку за поступками рабов скрывалась рука хозяина, и страдали от них только крестьяне. Но рабы не могли остановиться на этом. Хозяева вооружили рабов и в то же время продолжали осыпать их побоями и издевательствами. А что, если бы они воспользовались этим оружием для дела мести!

Они уже давно помышляли об этом. Свободное время, предоставлявшееся им для разбоя, рабы упо-

требляли также на то, чтобы обдумывать план мести. Они собирались и сговаривались, так как по отношению к ним не были приняты те меры предосторожности, которые советовали еще Платон и Аристотель. Почти все рабы происходили из Азии и большинство из Сирии, славившейся своими сильными пахарями. Напрасно в этом случае было бы прибегать к политике осторожного Катона, всегда поддерживавшего несогласия среди своих рабов, относясь к ним с недоверием и больше всего опасаясь их единодушия: общим врагом для всех был хозяин. Один и тот же язык, одна и та же кровь объединяли рабов в чувстве ненависти к этому гнету и в жажде положить ему конец.

При таких настроениях они были крайне восприимчивы ко всякого рода внушениям, находившим в них отклик. В образе такого наставника явился сириец Евн, сумевший получить над ними какую-то сверхъестественную власть. Сперва он выдавал себя за прорицателя, уверяя, что он во сне получает предсказания о будущем. Затем, когда его авторитет укрепился благодаря первым удачным предсказаниям, искусство оракула перестало его удовлетворять, и он стал утверждать, что находится в непосредственном общении с богами, являющимися ему в видимых образах. И чтобы в глазах толпы уже не спускаться больше из этой сферы сверхъестественного, он стал давать ответы вопрошающим не иначе, как изрыгая искры и пламя: для этого чуда требовалось только немного огнива и скорлупы от ореха. Хозяин Евна не предпринимал ничего для борьбы с этим влиянием и для дискредитирования его странной репутации среди рабов. Возможно, что он извлекал из этого пользу: во всяком случае, он забавлялся тем, что приводил его на свои пиры, чтобы развлекать своих собутыльников серьезностью, с которой тот давал свои предсказания. Раб заявлял, что он будет царем, а участники пира, смеясь, спрашивали его, как он воспользуется своей суверенной влас-

тью. Некоторые брали со стола куски мяса и предлагали ему с просьбой вспомнить об этом, когда он будет царствовать.

Но эти предсказания, являвшиеся для хозяев лишь предметом забавы, питали надежды рабов. Достаточно было какого-нибудь случая, достаточно было одного слова Евна, чтобы вспыхнуло восстание рабов. И такой случай представился.

Дамофил, о жестокости и надменности которого мы упоминали выше, занимал первое место среди богатых людей Сицилии. Являясь соперником италийцев, водворившихся в его родной стране, он также претендовал на обширные поместья, на латифундии. Он собрал там большое количество рабов, рабов труда и рабов роскоши, и гордился тем, что возил их со своей свитой по всей стране, вооруженных, как солдаты, или наряженных в пышные одежды. Но под этим великолепием скрывались все та же скупость и та же жестокость. Рабы, безразлично, были ли они свободными по своему происхождению или нет, поступая к нему, клеймились, а иногда и заковывались в цепи. Что же касается тех, кого он назначал на самые тяжелые работы, то мы уже говорили о том, что их ожидало, если они осмеливались приходить к нему с просьбой о хлебе и одежде. «Не проходило дня, — продолжает Диодор, — чтобы этот самый Дамофил не подвергал несправедливым пыткам кого-нибудь из рабов; а его жена Мегаллида, находившая удовольствие в этом жестоком обращении, первая требовала наказания провинившегося, будь то мужчина или женщина. Доведенные до отчаяния жестоким обращением со стороны обоих супругов, рабы, не ожидая в будущем более ужасных наказаний, которых следовало бы бояться больше тех, которые они испытывали теперь, приняли наконец решение восстать против своих хозяев».

Они обратились к Евну и спросили, разрешают ли боги привести в исполнение их заговор. Евн, подкреп-

ляя свои речи обычными знаменьями, ответил им, что они не только разрешают, но даже приказывают сделать это, не теряя ни одной минуты. Он сам стал во главе их, и под его предводительством 400 наспех собранных рабов завладели Энной, ворвались в дома, повсюду внося бесчестье и смерть и проявляя при избиениях и издевательствах неслыханную утонченность. Все городские рабы откликнулись на этот призыв и, убив своих хозяев, обратились против остальных граждан. Но все без исключения хотели обогатить свои руки в крови Дамофила и его жены. Их арестовали в загородном доме и поволокли в город, связав и осыпая тысячами оскорблений. Затем ввели в театр, куда собрались все рабы, чтобы придать своей мести больше торжественности. Там Дамофил, все еще пытавшийся избежать предстоящей ему участи, был задушен двумя рабами, а Мегаллида, выданная женщинам, после продолжительных мучений была сброшена с одной из башен. Пощадили только их дочь, настолько же скромную в своих привычках и добрую по характеру, насколько ее родители были чванными и жестокими. Рабы нередко были свидетелями, как она старалась утешить рабов, приговоренных к наказанию розгами, и доставляла пищу тем, кого заковывали в цепи. Поэтому она с первого же момента восстания сделалась предметом их особой заботливости, и раб, нанесший смертельный удар ее отцу, сам взялся следить за тем, чтобы она, окруженная заботой и вниманием, благополучно добралась до Катаны, где находились ее родные. «Этот пример, — говорит Диодор, — доказывает, что все эксцессы, допущенные рабами, происходят не из врожденной жестокости характера, а являются лишь актом мести за дурное обращение, жертвой которого они были» (133 г. до н. э.).

Евн был провозглашен царем. Он принял имя Антиоха для себя, а своему новому народу дал имя сирийцев; открылось общее собрание рабов, чтобы ре-

шить судьбу свободных людей; все были приговорены к смерти, исключая тех, кто знал оружейное мастерство. Эти последние были закованы в цепи и должны были изготавливать оружие для своих новых господ. В ожидании этого совет, составленный Евном из наиболее ловких своих товарищей, готовил все для предстоящей войны. Один из них, Ахей, энергично осуждавший избиения, проявил себя как наиболее умный и храбрый воин во время сражений. В три дня он вооружил 6 тысяч человек и, увлекши за собой толпу, вооружившуюся чем попало — топорами, серпами, косами и вертелами, пращами и простыми палками, обожженными в огне, — всюду вносил опустошение, выдерживал натиски и восторжествовал над посланным против него войском. На его стороне было уже 10 тысяч сражающихся. Около Агригента собралась новая толпа приблизительно в 5 тысяч человек под начальством киликийца Клеона, и римляне надеялись, что они перережут друг друга. Но Клеон встал под начало Евна. Их было уже 20 тысяч, когда Луций Гипсей прибыл из Рима, чтобы подавить восстание. Но вскоре число рабов достигло 200 тысяч вооруженных, и эти люди, говорит Флор, которые должны были бы быть приведены к хозяевам охотниками за беглыми, сами обращали в бегство славные войска римских преторов.

Эти успехи пробудили роковые отголоски в Риме. 150 рабов осмелились составить заговор в Риме, 450 — в Пренесте, 4 тысячи — в Синуессе; за пределами Италии, в Македонии, в Аттике, где количество рабов было еще очень значительно, на Делосе, главном рынке рабов, — везде собирались отряды рабов и угрожали всеобщим восстанием. Его предупредили немедленным подавлением этих пока одиночных попыток. Но в Сицилии мятежники еще не встретили победителя. Они брали города, разбивали высланные против них войска, осыпая их оскорблениями во время атаки и проявляя невероятную жестокость после победы; несколько

не думая о том, чтобы в свою очередь обратить их в рабство, они отрубали своим пленникам руку или кисти рук. Но это не все: вся масса населения Сицилии, более близкая к их условиям жизни благодаря своей бедности, чем к богатым, с которыми у них была общей только свобода, рукоплескала этим переменам судьбы и даже помогала им. Было отмечено, что в то время, как мятежники щадили жилища крестьян, плоды, приносимые землей, и даже свободных людей, занятых земледельческим трудом, городская толпа под предлогом выступления против них рассеивалась по полям, поджигая и грабя там, где первые воздержались от этого.

Пора было положить конец этим беспорядкам. Если Карфаген, Коринф и Нуманция признали власть Рима, то ему не приличествовало отступать перед своими собственными рабами. И тем не менее у Рима не было достаточно сил, чтобы победить их; если уж обычные средства их военного искусства оказались бессильными перед грозными позициями Тавромении и Энны, то тем более бессильны были они против людей, привыкших ко всевозможным лишениям, которые под давлением голода скорее были готовы есть мясо своих жен, детей и друг друга, чем уступить. Римляне должны были прибегнуть к измене, благодаря которой Рупилий проник в Тавромению. Все оставшиеся в городе рабы, подвергнутые сначала пытке, были сброшены с башни. Та же измена открыла римлянам ворота в Энну после смерти храброго Клеона. Его брат Кома, захваченный живым, лишил себя жизни. Сам Евн вместе со своими приближенными бежал в горы, расположенные в центре острова, где он мог найти надежное убежище благодаря их извилинам и крутизне. Его телохранители, видя, что его преследуют и что для них нет спасения, перебили друг друга. Его самого нашли укрывшимся в глубокой долине с четырьмя своими слугами: поваром, пекарем, банщиком и шутком, за-

бавлявшим его во время его трапез, — смешные и жалкие остатки царского достоинства, сохраненные им во время бегства. Убить такого царя сочли ниже своего достоинства: его бросили в тюрьму, где он погиб медленной смертью, сгнив заживо.

Рупилий дезорганизовал мятеж. Он лишил восставших их гавани Тавромения и их опорного пункта Энны. Всякое сопротивление стало невозможным, и достаточно было одного отборного отряда, чтобы обойти все тайные убежища в горах и окружить беглецов. Он покинул усмиренную Сицилию и вернулся в Рим, получив там «овацию», а не триумф: боялись унижить высокое достоинство триумфа именем «рабского». Кроме того, триумф был неполный, так как само рабство не было уничтожено. Поскольку в Сицилии продолжали существовать рабы, там был и враг, всегда готовый поднять восстание.

4

Прежде чем представился новый случай к общему восстанию, несколько отдельных попыток имело место в самой Италии; восстания 30 рабов в Нуцерии и 200 в Капуе были подавлены, едва успев зародиться. Затем вспыхнуло более значительное движение, во главе которого стал римский всадник по имени Веттий. Влюбившись в молодую рабыню, он купил ее у господина за 7 аттических талантов, на каковую сумму и дал обязательство. Но по истечении срока платежа и всякого рода отсрочек, не будучи все же в состоянии уплатить свой долг, он не нашел другого средства избавиться от своих кредиторов и сохранить свою прекрасную рабыню, как сделаться царем. Он купил доспехи, вооружил ими 400 человек из своих слуг и легкостью склонил их принять участие в своем предприятии. Там, где их господин мечтал о царском достоинстве и почестях, им мерещилась свобода. Он на-

чал с того, что велел наказывать розгами и обезглавить своих кредиторов. Затем во главе 700 человек он расположился лагерем, приглашая к себе всех окрестных рабов, число которых достигло 4 тысяч. В первой же стычке он разбил Луция Лукулла, выступившего из Рима с 600 отборных воинов и набравшего еще 4 тысячи человек в Кампании. Но побежденный нашел изменника в лице одного из главных офицеров Веттия. Веттий сам покончил с собой, а все остальные были преданы смерти, за исключением предателя.

Это событие, само по себе весьма незначительное, вызвало известную сенсацию в городе. В тот самый момент, когда северные варвары, кимвры и тевтоны, подошли к границам республики и остановились там, временно прекратив свое победоносное шествие, будучи как бы уверены в том, что всегда смогут двинуться на Рим, чтобы потребовать там выкупа, этот самый Рим был свидетелем того, как в самом его центре бунтовало другое варварское, порабощенное население, столь нетерпеливое, что самой вздорной затее было достаточно, чтобы собрать 4 тысячи человек, готовых бросить ему вызов у самых ворот города. Но этот мятеж, по словам Диодора, был только прелюдией. Настоящим местом восстаний была Сицилия. Зло приняло там такие огромные размеры, что сам Рим дал повод к вспышке, желая проявить свою справедливость и в то же время не будучи в состоянии проявить ее до конца.

Чтобы выступить против Югурты, Марий допустил в легионы неимущих; чтобы бороться с кимврами, сенат разрешил ему набирать вспомогательные войска даже в странах, расположенных не на берегах Средиземного моря, странах, еще не покоренных и варварских. Он просил их у Никомеда, царя Вифинии, и всем известен полученный им ответ: у царя не было подданных, так как большая часть за неплатеж была уведена откупщиками налогов и продана в разные стра-

ны в качестве рабов. Это заявление вскрыло язву, общую всем подданным и союзным народам республики: это был, как мы уже говорили, тот новый источник, откуда по окончании великих войн преимущественно набирали рабов. Сенат не решался открыто перед всем светом признать законность этого явления. Один из декретов запрещал обращать в рабство свободнорожденного человека, принадлежащего к союзным народам, и предписывал наместникам провинций возвращать свободу тем, кто был несправедливо лишен ее. Когда этот декрет был опубликован в Сицилии, то 800 рабов в течение нескольких дней заставили признать свое право свободнорожденных; и со всех сторон к трибуналу претора продолжали прибывать все новые толпы. Рабы заволновались, но в свою очередь заволновались и хозяева. Если бы пришлось расследовать происхождение каждого отдельного случая порабощения, то ни один хозяин не мог быть уверен в своей собственности. Выполнение декрета было почти равносильно отмене рабства. Хозяева обратились к наместнику, и он, в результате ли подкупа или своей слабости, а может быть, и из-за страха перед этой новой опасностью, закрыл свой трибунал и на все новые заявления рабов отвечал отказом, отсылая их к их хозяевам.

Эти свободные люди, которых хотели вернуть в рабство, не вернулись туда; они нашли убежище в священной роще Паликов и там под эгидой древних богов Сицилии составили план открытого восстания.

Их смелый призыв был услышан. На территории Анциллы 30 рабов, принадлежавших двум очень богатым братьям, задушили их ночью и под начальством раба по имени Вария стали обходить жилище, склоняя рабов к восстанию. Их было всего 200 человек, но они занимали довольно сильную позицию в тот момент, когда против них выступил претор Лициний Нерва. Он, как и его предшественники, прибег к измене. Он обра-

тился к одному разбойнику, который уже в течение двух лет сам по себе вел нечто вроде войны рабов, убивая всех свободных и шадя только рабов, и который на основании этого должен был быть принят ими как настоящий предтеча. Они его действительно приняли в свою среду, поставили во главе, а он их предал. Но ни один раб не дался живым в руки победителя: одни были убиты во время сражения, другие бросились с вершин скал в пропасть.

Претор, предполагая, что благодаря этой расправе он окончательно ликвидировал восстание, выпустил свои войска, как вдруг до него дошли слухи, что один римский всадник убит своими рабами и что последние, в числе 80, распространяют вокруг себя волнение. Он собрал тех солдат, которых ему удалось задержать, но не посмел начать решительных действий. Его нерешительность придала смелость рабам, Число которых достигло вскоре 2 тысяч. Изменник, предавший и атаковавший их на этот раз в открытом бою, позволил разбить себя, а рабы благодаря этой победе получили оружие и приобрели уверенность, что они воспользуются им не без успеха. Когда число их дошло до 6 тысяч, они провозгласили царем флейтиста по имени Сальвия, пленившего их умы своими экстравагантностями и предсказаниями. Но на этот раз мнимый одержимый был человеком и сердечным и талантливым. Он держал своих солдат вдали от городов во избежание разложения и возможных бесчинств, разделив их на три отряда, и благодаря умелому руководству собрал огромную добычу. Вскоре у него было достаточно лошадей для того, чтобы образовать отряд всадников более чем в 2 тысячи человек. С этим отрядом и 20 тысячами пехотинцев он напал на Моргантину. К несчастью, в пылу битвы он забыл о необходимости обороняться и был свидетелем того, что римский полководец занял его лагерь. Но он настиг его на обратном пути, рассеял его войска и пожал самые доро-

гие плоды этой победы благодаря тому, что дал приказ шадить всех бросающих оружие; вместе с оружием он получал и солдат. Число его приверженцев росло с каждым днем, а римляне еще более способствовали этому своими ошибками. Таким образом, Сальвий, возобновив осаду Моргантины, обещал свободу городским рабам, если они примкнут к нему; хозяева обещали им то же, если они сохранят верность, и рабы, находясь еще в их власти, сражались на их стороне. Но после снятия осады претор отказался дать согласие на выполнение обязательства, и тогда почти все рабы перешли к Сальвию.

Восстание ширилось с каждым днем, и, как и в первой войне, городская чернь, враждебно настроенная против власть имущих, содействовала ему, разоряя окрестности. Всюду царил беспорядок, и власть, казалось, была бессильна подавить мятеж. Магистраты, не будучи в состоянии помочь злу, отказались даже от ставших ненужными юридических форм. И ничто среди этой анархии не нарушало уверенности преступления в своей безнаказанности.

Удивительная вещь: это были опять-таки рабы, начавшие первыми проповедовать и показывать пример порядка и умеренности. Киликийский раб Афенион, как некогда Клеон, организовал другой отряд в Лилибее. Будучи управляющим делами у двух славившихся своим богатством братьев, он был известен рабам своей храбростью и астрологическими познаниями, обаяние которых оказывало, как видно, на них всегда исключительное влияние. Он вооружил 200 человек, служивших под его начальством, объединил всех единомышленников из окрестности и, провозглашенный своими сторонниками царем, намеревался даровать государственное устройство и законы своему народу, допуская в войска только самых храбрых, заставляя других продолжать свои домашние работы и категорически воспрещая всякий грабеж, как будто это

была земля, данная ему самими богами. Несмотря на все эти ограничения, его армия насчитывала более чем 10 тысяч человек. Попытка захватить Лилибей, хотя и неудачная, укрепила доверие к нему его сторонников благодаря той пользе, которую он сумел извлечь из нее. Итак, Афенион и Сальвий организовали на двух противоположных пунктах Сицилии как бы двойной центр объединения мятежников. Был момент, как и во время первой войны, когда можно было рассчитывать, что соперничество двух главарей, толкнув их друг против друга, позволит римлянам быть только зрителями их взаимного уничтожения. Афенион был провозглашен царем с самого начала, а Сальвий, одержав ряд побед, позволил закрепить за собой этот титул после торжественного жертвоприношения в храме богов Паликов, первых свидетелей и покровителей восстания. Но и на этот раз надежды Рима не сбылись. Трифон (имя, которое раб — царь Сальвий — заимствовал у преемников Александра) предложил Афениону присоединиться к нему для осады Триокалы; и Афенион явился на зов и не задумался занять второе место рядом с тем, кто предупредил его в организации восстания. Город был взят, и Трифон, пожелавший устроить там свою резиденцию, не упустил ничего, что могло способствовать укреплению или украшению новой столицы. Там находился его дворец и форум для народных собраний, так как он собирался дать своим подданным законную конституцию. Он учредил совет, заседавший вместе с ним во время аудиенции, сам же он, в результате странного смещения республиканских обычаев Рима и деспотических форм Азии, показывался народу не иначе, как предшествуемый ликторами, одетый в претексту, обрамленную пурпурной каймой, латиклаву и со всеми обычными эмблемами царского достоинства.

Пора было и Риму подумать о восстановлении своего авторитета в Сицилии. Кимвры и тевтоны возвра-

щались из Испании к границам Италии. И что ожидало ее, если, приблизившись к Альпам, несмотря на сопротивление Мария, они могли бы указать рабам Италии на этот пример торжества восставших рабов у них в тылу? Луций Лукулл, победитель Веттия в Италии, был послан с 17-тысячным войском против мятежников Сицилии. Недоразумение, возникшее между двумя царями, вызванное неосторожными мерами строгости Сальвия против Афениона, вернуло римлянам на короткое время надежду на разрыв между сторонниками обеих царей. Но при приближении опасности они помирились. Разногласия касались теперь только плана действия. Афенион предлагал выйти за стены города, и его мнение восторжествовало: он рассчитывал на численность своих войск, достигавшую 40 тысяч человек, и на свою собственную храбрость. Он почти обеспечил победу своим, как вдруг, пораженный тремя ударами и выбитый из строя, Афенион был вынужден предоставить своих воинов самим себе. 20 тысяч погибло во время бегства; он сам остался на поле битвы и спасся, только прикинувшись мертвым. В силу необходимости пришлось вернуться к плану Сальвия. Рабы заперлись в Триокале, и все усилия Лукулла оказывались тщетными. Его преемник Сервилий не оказался ни более смелым, ни более счастливым. Тем временем Афенион, сделавшись единственным царем после смерти Сальвия, бродил по всей Сицилии, без всякой помехи грабя города и сельские местности, жестоко расправляясь как со свободными, так и с рабами, так как он во всех, кто не следовал за ним, видел изменников. Эти успехи были не только унижительны для римлян, но и представляли серьезную опасность. Рим разбил тевтонов, но кимвры перешли через Альпы, презирая все препятствия и уверенные в своей победе. Оставляя Мария, избранного в пятый раз консулом, во главе войск, действовавших против них, для подавления рабов послали его товарища Аквиллия. Аквиллий в конце

концов победил их благодаря своей храбрости и энергии. При первом же сражении он рассеял врага, во втором он собственноручно убил Афениона и сам был ранен в голову. Едва поправившись от своей раны, он снова атаковал остатки мятежников. Все пали, за исключением тысячи человек, которые во главе с Сатиром были еще способны к сопротивлению. Аквиллий обезоружил их, склонив к капитуляции обещанием сохранить им жизнь. И действительно, он отвел их как рабов в Рим... как рабов, предназначенных сражаться с дикими зверями для увеселения римлян. Эти храбрые воины сознавали, что своей жизнью воинов они заслужили иную смерть. Они отказались от этого позорящего их боя и взаимно перебили друг друга на алтарях, воздвигнутых на арене. Их предводитель Сатир до конца присутствовал при этом кровавом жертвоприношении и велел себя убить последнему рабу, который затем умертвил сам себя; смерть, достойная героя, и в этом славном имени история ему не отказала.

Мятеж был подавлен, но не разбой, который в течение последующих лет, называемых годами мира, представлял собой непрерывное продолжение рабских войн. Для подавления его преторы прибегали к самым суровым мерам. Домиций запретил рабам под страхом смерти пользоваться оружием. Один из них, избавивший страну от громадного вепря, был распят на кресте за то, что он убил его копьем: гнусная, недостойная жестокость, которую Цицерон не смеет порицать, а Валерий Максим одобряет. Но эти законы поражали рабов беззащитных, нисколько не затрагивая тех, которые, взявшись за оружие с целью поднять восстание, умели пользоваться им для своей защиты. Глухие брожения не прекращались, проявляясь время от времени в заговорах и частичных восстаниях. Цицерон высказывал сильное сомнение в том, удалось ли Верресу подавить их в течение трех лет своей претуры; он упоминает о заговоре рабов Леонида в Триокале; и один

из упреков оратора против Верреса состоял в том, что он не велел распять их на кресте.

В это самое время Сицилия, восстания в которой пробудили столь грозные отклики в Италии, едва не была вовлечена в более общее движение рабов благодаря восстанию, театром действия которого стала теперь в свою очередь Италия, — восстанию гладиаторов.

5

Среди всех категорий рабов не было, без сомнения, более жалких, но в то же время и более страшных. Это были люди, отобранные из числа самых сильных и обученных искусству владеть оружием, чтобы увеселять народ зрелищем своих битв. Привыкшие к крови и ранам, видя постоянно перед глазами смерть, они не знали ни опасностей, ни страха. Но эти привычки, эти нравы, эта привычная смелость, разве не могли они обратиться в другую сторону, неся с собой ужас? Вынужденные посвятить свою жизнь удовольствию своих господ, разве не могли они рискнуть ею, чтобы отомстить им за все свои собственные обиды? Эта мысль занимала все умы, и рано или поздно она должна была вырваться наружу под влиянием человека, более закаленного. Роль такого человека выпала на долю Спартака.

Спартак, фракиец по национальности, номад по происхождению, соединял огромную физическую силу с такими душевными качествами, которые очаровывают и покоряют людей. Это прирожденное обаяние его характера усиливалось еще благодаря очарованию таинственности. Рассказывали, что в первый раз, когда его привели в Рим для продажи, видели вечером, как вокруг его головы обвилась змея, не нарушая спокойствия его сна; его жена, искусная в толковании таинственных откровений судьбы, увидела в этом зна-

мение того, что он достигнет великого могущества, увенчанного счастливым концом. Заключенный вместе с 200 других фракийцев и галлов в «бойне» (так назывались эти «фабрики смерти»), принадлежащей некоему Лентулу Батиату, отдававшему их в наем в Капуе, он сообщил своим товарищам свой план и доверился им во всем. Несмотря на то, что заговор был открыт, 78 гладиаторам удалось разбить свои оковы. Наспех вооружившись тем, что они нашли на кухне у повара, они у городских ворот встретили повозки, нагруженные оружием для амфитеатра, и захватили его. Этого было достаточно, чтобы разбить войска, посланные из Капуи для их преследования. Они отобрали у них оружие, гордясь тем, что им удалось сменить последние знаки своего рабского состояния на это оружие, отличный признак воина. Однако вскоре римлянам едва не удалось захватить их. Претор Клодий, посланный против них из Рима, окружил их на горе Везувий, где они укрепились. С этой горы вела одна только узкая тропинка, и здесь он сконцентрировал всех своих солдат. Но гладиаторы, спустившись по отвесным стенам скал при помощи лестниц, сплетенных из виноградных лоз, врасплох напали на отряд Клодия и рассеяли его. Этот первый успех привлек к ним соседних пастухов, людей крепких и ловких; гладиаторы распределили между ними роли в своей маленькой армии; это дало им возможность без особых усилий разбить помощника нового военачальника Варина, его товарища Коссиния и самого Варина. Его лошадь и сопровождавшие его ликторы попали в руки Спартака, и чуть не попал к ним в руки и сам полководец.

Каждая победа доставляла Спартаку новых солдат; под его начальством собралось уже 70 тысяч рабов. Казалось, что с такой армией можно было отважиться на все. Однако все его усилия имели в виду только одну цель: открыть себе дорогу к родине; только там он хотел пользоваться своей свободой. Но не таковы были

намерения его сотоварищей. Посвященные благодаря своему положению рабов во все соблазны роскоши, но не испытавшие их лично, они захотели, поскольку теперь на их стороне была сила, сами воспользоваться наслаждениями; они предпочли северным лесам прекрасный климат Италии с его удовольствиями и опасностями. Оставаясь победителем, Спартак был вынужден остановиться для того, чтобы грабить Великую Грецию (юг Италии), а когда он начал приводить в исполнение свой план возвращения на родину, то рабы германского племени откололись от него во главе с Криксом, и это отделение стало для них роковым. После нескольких побед они были окончательно разбиты Геллием недалеко от горы Гаргана. Спартак сгладил впечатление, оставленное их поражением, победив одного за другим обоих консулов, намеревавшихся отрезать ему путь на север. Он принес в жертву манам Крикса (его мертвой тени) 300 пленных и победоносно продолжал свой путь. Но так как разлив реки По воспрепятствовал его дальнейшему движению, он уступил требованиям своих товарищей. Вынужденный сражаться в Италии, Спартак решил двинуться к Риму; чтобы ускорить свой поход, он сжег свою добычу, задушил пленников и вьючных животных. Со стороны римлян ему не было оказано никакого сопротивления: оба консула снова были разбиты; но он сам остановился, чувствуя, что его войско не было ни достаточно надежным, ни достаточно обученным, чтобы рискнуть на то, чего не решился сделать Ганнибал. Как и он, Спартак направился на юг Италии. Центром своих военных действий он сделал Туриум и привлек туда даже купцов с тем условием, чтобы они снабжали его войско всем, что могло способствовать его укреплению, а не ослаблению. Он пополнял свои запасы, обучал и дисциплинировал свои отряды постоянными упражнениями или небольшими набегами, которые, не развращая их, могли принести им известную выучку.

В Риме царили ужас и смятение. В то же самое время, когда на противоположных окраинах римского мира приходилось подавлять, с одной стороны, энергичное сопротивление Сертория в Испании, а с другой — возобновившееся движение Митрадата, в самом центре Италии расширялась и как бы укоренялась война рабов, и притом каких рабов! Историк Флор со своей обычной напыщенностью делает вид, что жалеет их. «Можно еще, — говорит он, — вынести позор рабских войн, так как рабы, самой судьбой поставленные в зависимость от всего, составляют как бы низшую ступень человечества, но все же приобщены к благодеяниям нашей свободы. Что касается войны со Спартаком, то я не могу подыскать для нее названия. Когда рабы стали воинами, а гладиаторы — начальниками, то низкое происхождение одних и унижительное звание других присоединили к постигнутому нас бедствию еще издевательство и позор». Он покраснел бы от стыда, если бы назвал их врагами («стыдно назвать их врагами»). Но в Риме не краснели; там боялись сражаться с ними. Во время комиций для избрания преторов никто не решался домогаться должности, сопряженной со столькими опасностями. В течение двух лет рабы торжествовали. Наконец выступил Лициний Красс и был назначен: ему скорее, чем кому бы то ни было другому, следовало подвергнуться случайностям этой войны с рабами, ему, чье колоссальное богатство было, главным образом, основано на труде этих рабов-рабочих. Ему дали шесть новых легионов. Этих смелых людей, которые всегда играли со смертью, он мог победить только дисциплиной. Чтобы укрепить ее, он не отступал ни перед какими средствами. В первом сражении войска, порученные его помощнику Муммию, бежали; он велел казнить каждого десятого, по обычаю предков. Но в то время как Красс закалял в крови своих легионов дисциплину древнего Рима, в армии Спартака начались несогласия. Галлы и германцы сно-

ва отделились и были разбиты в Лукании. Спартак, видя это, составил следующий план: он решил переправиться в Сицилию, эту классическую страну рабских восстаний, при которых было проявлено так много единодушия и дисциплины. «Двух тысяч было бы достаточно, — говорит Плутарх, — чтобы там снова загорелась затихшая война рабов, достаточно было одной искры, чтобы она снова вспыхнула». Он подошел к проливу и вступил в переговоры с пиратами, этой второй силой, господствовавшей над целой частью римского мира. Побоялись ли они потерять Сицилию, где они пользовались большой свободой во время управления Верреса? Как бы то ни было, была ли их измена обдуманна или нет (во всяком случае она была неполитична), они обманули Спартака, взяли его подарки и бросили его на берегу. Спартак попытался переправиться на остров на плотках, но на этот раз буря преградила путь его смелости. Пришлось покориться необходимости и остаться в Италии, не удаляясь, однако, от Сицилии. Он разбил свой лагерь около перешейка Региума. Красс решил окружить его здесь; он приказал вырыть от одного моря до другого ров шириной в 15 футов, длиной в 65 километров, укрепленный высокой и солидной стеной. Спартак не мешал ему. И чтобы доказать свою уверенность в победе и публично выставить напоказ то, что Красса ожидает в случае поражения, он велел распять на кресте римского пленника на виду у обоих лагерей. Спартак питался вначале тем, что давал ему полуостров, затем, когда этот источник иссяк, он в одну бурную, снежную ночь засыпал ров и перешел через него с третьей частью своего войска. Одно время Красс опасался, что Спартак прямо направится к Риму.

Это движение вызвало у Красса большое беспокойство. Спартак ускользал у него из рук, когда он, казалось, крепко держал его, когда он уже предвидел столь нетерпеливо ожидаемый им конец войны, когда

малейшее промедление грозило вырвать у него выгоды победы, так как перед тем, в момент отчаяния и страха, потеряв всякую надежду, он написал сенату, что необходимо отозвать Лукулла из Азии и Помпея из Испании. Он как бы отрекся от победы, и честь ее должна была достаться тому из двух полководцев, кто первый придет, чтобы пожать ее плоды. Во время первой атаки, направленной Крассом против отделившегося отряда гладиаторов, победу вырвал из его рук подоспевший Спартак. И во второй, руководимой легатом проконсула, победа осталась бы за Спартаком, если бы в свою очередь на помощь не подошел Красс. Поражение, понесенное вождем гладиаторов, было значительно: он потерял 12 тысяч солдат, причем все были ранены в грудь. В ответ на это он разбил преследовавших его легата Красса и квестора Скорфа. Он уже приближался к горам Петилии, таким образом снова вступая после трех лет войны на тот путь, который он хотел проложить себе своими победами, на путь, ведущий к северу, во Фракию. Но его последний успех вновь воскресил мечты и сопротивление его солдат. Они хотели вновь испытать военное счастье и заставили Спартака вести их против римлян. Это значило идти навстречу всем желаниям Красса. Уже шел слух — и он подтверждался — о возвращении Помпея, которому предстояло бы встретиться с ними на своем пути и одержать победу. Красс вновь принялся окружать Спартака рвом, но Спартак не думал больше о бегстве. Он выстроил всю свою армию, и когда ему привели его коня, он вынул свой меч и убил его со словами. «Если я буду победителем, я найду другого; если же буду побежден, то он мне больше не понадобится». Затем, очищая себе путь среди сражающихся отрядов, пробираясь по нагроможденным друг на друга трупам и оружию, он стал искать Красса. Не найдя его, он убил двух преследовавших его центурионов; тем временем все его соратники были рассеяны. Оставшись один,

окруженный неприятелем, он долго сопротивлялся как герой, но наконец пал, подавленный численностью врагов. Итак, победил Красс, но в это время подошел Помпей. Он наткнулся на отряд в 5 тысяч гладиаторов, бежавших с поля битвы, которых он уничтожил без всякого труда. Он донес сенату, что Красс разбил Спартака, но что именно он, Помпей, вырвал последние корни этой войны, «и это римляне охотно слушали и повторяли за ним», — говорит Плутарх. Не помогло Крассу и то, что он воздвиг по дороге из Капуи в Рим 6 тысяч крестов с распятыми на них гладиаторами.

6

Если бы все эти репрессивные меры и могли устранили рабов, то римляне сами позаботились бы о том, чтобы снова дать им возможность с оружием в руках вступать в бои. Оружие, владеть которым в мирное время им запрещалось под страхом смерти и которое время от времени давалось им вместе со свободой в дни, когда Риму угрожала опасность, стало раздаваться им все чаще и чаще во время внутренних междоусобий. Как сообщники заговоров или как солдаты в гражданских войнах, они принимали участие во всех революциях, потрясавших республику, и на их долю выпало печальное утешение в том, что и они со своей стороны содействовали уничтожению вольностей. Уже Сатурнин — это орудие Мария — в подготовляемом им движении в самом центре Рима показывал им в качестве знамени, чтобы заставить их взяться за оружие в его пользу, шапочку вольноотпущенника. Сам Марий обратился к ним с более непосредственным призывом, когда Сулла овладел городом, а этот последний в свою очередь, после одержанной победы, ввел в римские трибы 10 тысяч отпущенных им на волю рабов. Катилина, замешанный у прежних рабских восстаний их тактику разорения и поджогов, при их выполнении рассчи-

тывал главным образом на городских рабов; чтобы увеличить свои силы, он рассчитывал также «на рабов в остальной Италии, и сенату доносили, что восстание среди них готово вспыхнуть повсеместно, в Капуе и в Апулии. Не хватало солдат, чтобы следить за ними; гладиаторов было слишком много, — их поэтому рассылали по разным муниципиям, чтобы их изолировать и сдерживать. Это, однако, не помешало Катилине найти больше рабов, чем было ему желательно, когда он начал войну. Он был даже вынужден отказываться им из опасения придать своему предприятию характер войны рабов, боясь, что не сумеет удержать их в нужных границах и во всяком случае восстановит против себя всех свободных.

Эта осторожность, продиктованная ему интересами самого заговора, не встречается больше в тех смутах, которые продолжались в Риме после Катилины. Цицерон, указывая на освобождение преступников и восстания рабов, как на одну из причин своего падения и изгнания, ставит в большую заслугу Милону то, что он подавил все усилия и бесчинства Клодия, купив гладиаторов в интересах защиты государства, «которое все зависело от моего спасения», как самодовольно говорил Цицерон. Во время гражданских войн едва ли больше стеснялись прибегать к подобным средствам. И с той и с другой стороны не только принимали, но и старались привлечь к себе подобных помощников и почти всегда оспаривали друг у друга гладиаторов и пастухов, этих старых солдат Спартака, и не раз еще разбивали цепи закованных рабов. Их можно встретить в лагере Лабиена после поражения Помпея, в двух африканских армиях, также и в испанской. После убийства Цезаря заговорщики, отправившись занимать Капитолий во имя свободы, шли под конвоем гладиаторов.

Вторая гражданская война, начатая при подобных же обстоятельствах, пошла по тому же пути. Побег-

денный Антоний искал себе поддержку даже в тюрьмах рабов, и затем, позднее, когда он был разбит уже не заговорщиками, а Октавием, наибольшую верность сохранили ему гладиаторы, собранные им самим в Кизике для празднования триумфа, надеждой на который он так себя ласкал. Не будучи в состоянии дойти до него, они все же спешили присоединиться к нему и согласились сложить оружие только тогда, когда поверили в его смерть. Октавий набрал из того же источника до 20 тысяч человек для службы во флоте. Секст Помпей всячески ухаживал за своими вольноотпущенниками и слугами, чтобы удержать их при себе, и, владея Сицилией, он значительно увеличил свою армию на вербованными там рабами. Верный данному слову, Секст в договоре с триумвирами потребовал свободы для всех, кто сражался под его начальством. Но после победы Октавий разослал во все армии письма, которые должны были быть вскрыты в один и тот же день и немедленно приведены в исполнение. Речь шла о рабах. Все были приведены в Рим, возвращены своим старым хозяевам или же их наследникам из уважения к праву собственности. Те же, которых не требовали обратно, были казнены недалеко от того города, откуда они бежали.

Эти нарушения данного обещания привели к тому, что рабы ясно поняли, чьи интересы они должны защищать во время этих смут. Поэтому параллельно с гражданскими войнами, где они нередко сражались за других, мы видим также продолжение рабских войн в «разбоях»; это было официальное название их восстаний против притеснявшего их общества. Они выступили более решительно как в Италии, так и в Сицилии после этого исключительного акта вероломства со стороны Октавия: собираясь группами, они грабили окрестности Рима и были скорее похожи на фуражиров, чем на простых разбойников. Понадобились самые энергичные меры, чтобы их усмирить. К этим мерам при-

ходило повторно прибегать в правление того же императора. При Тиберии новое волнение рабов по призыву старого преторианца готово было потрясти всю южную Италию, если бы оно не было подавлено в самом зародыше, благодаря счастливому стечению обстоятельств. Чтобы успокоить это волнение, пришлось привести в Рим вождя и главных зачинщиков. Римляне, по словам Тацита, с ужасом видели, что число рабов в частных домах увеличивается до бесконечности, тогда как число свободнорожденных жителей с каждым днем все убавляется. После смерти Калигулы гладиаторы хотели всех перебить. В правление Нерона — новое движение гладиаторов в Пренесте, и народ невольно вспоминал Спартака и все прежние несчастья. Но к чему все эти попытки? Разве рабы не занимали во время войн вполне определенное место рядом со свободными в армиях, независимо от того, приходилось ли защищать империю с Отгоном против Вителлия, с Вителием против Веспасиана или нападать на нее с Сакровиром? «Недостойная и отвратительная поддержка, — говорит Тацит с презрением, которого уже больше не разделяли, — недостойная поддержка, которой, однако, домогаются самые щепетильные и суровые полководцы в результате гражданских войн». А свободные люди в свою очередь — разве не были они счастливы тем, что среди всех превратностей судьбы, сопровождавших каждую революцию, они могли найти среди них убежище и избежать смерти под покровом рабства?

Итак, отношение рабов к своим хозяевам соответствовало отношению к ним этих последних: благодарность — за добро, злоба и месть — за злоупотребление властью. Исходя из этого, нам кажется, что взаимоотношения хозяев и рабов следует рассматривать с двух противоположных точек зрения. История, во всяком случае, представляет доказательства защитникам и того и другого взгляда. Нельзя только подсчитывать факты,

их надо взвесить каждый в отдельности, исследовать лежащие в их основе принципы и посмотреть, что является правилом и что исключением. Исключения могут быть очень многочисленны, по крайней мере с точки зрения истории, если моралисту вздумалось поместить в сохранившиеся для нас сборники преимущественно подобные анекдоты. Тем не менее факты, вытекающие из определенного принципа, сохраняют за собой общее значение, и отсюда следует исходить в своих суждениях. Итак, в основе отношения к рабам в Риме лежал принцип жестокости, породивший, в свою очередь, ненависть и жажду мести, — и вся история подтверждает этот логический вывод. Несмотря на опасности, сопровождавшие заговоры, несмотря на вполне обоснованный страх, который должна была внушать рассеянным повсюду рабам сильная и могущественная организация государства, рабы все же составляли заговоры, они все же восставали. И эти волнения, более или менее обдуманные, более или менее распространённые, оставили длинный след на протяжении всех веков, которые мы окинули беглым взором, и являлись энергичным протестом против угнетавшего их ига.

Ничего другого и нельзя было ожидать от тех чувств, которые развились в рабском сословии под влиянием всех ужасов их положения, и Риму пришлось испытать не только одно это отрицательное действие, так как институт рабства оказывал двойное влияние и на класс порабощённых и на класс свободных. Мы доказали это по отношению к Греции, нам остаётся установить это и по отношению к Риму, опираясь на столь же решающие факты.

Глава девятая

ВЛИЯНИЕ РАБСТВА НА СВОБОДНЫХ

Опасности, грозившие со стороны рабства хозяевам и государствам, являлись первым следствием, вытекавшим из того противозастенного положения, в которое человек был поставлен насильно. Однако если и не всегда удавалось предотвратить эти опасности, то Рим все же всегда подавлял их, так как он был еще достаточно могуществен, чтобы противостоять им в открытой борьбе. Но были иного рода влияния, тем более страшные, что их меньше опасались и даже мирились с ними. Внедрившись в нравы, они мало-помалу превратились в привычки частной жизни, стали общественными обычаями. Они подчиняли себе все то общество, которое намеревалось заставить класс рабов служить себе. Как и в Греции, это привело к разложению семьи и к гибели государства.

1

Влияние рабства сказывается на жизни свободных людей так же, как и на жизни рабов; и сцены Плавта, показавшие нам его влияние на последних, в той же степени относятся и к первым. Те и другие вполне гармонируют друг с другом по своему характеру. Это —

поистине рабство во всех его проявлениях и общество, в котором господствуют рабы. Если в эпоху Плавта созданные им сцены имеют еще ограниченное применение, то вскоре, как мы уже говорили раньше, успех новых, занесенных из Греции нравов поднял весь Рим до уровня этого первоначально заимствованного театра.

Какова главная пружина, действующая во всех этих комедиях? Это — как и в современном театре — любовь, но любовь раба, любовь куртизанки. И весь ход действия обрисовывает эти персонажи: речь идет уже не о чувстве, а о деньгах; все нравы приспособляются к их жизненным привычкам. Около них группируются и хозяйский сын, вся энергия которого обращена на мошенничество, и сам отец, все достоинство которого состоит в том, чтобы не дать себя одурачить; наконец, те, кто эксплуатирует первого в ущерб второму, — «бандырь», содержащий куртизанку, ростовщик, дающий на это средства (обе эти роли иногда сливаются в одном действующем лице), и рабы, ловкость которых помогает купить ее по более дешевой цене, так как рабство, так часто дающее пьесе объект интриги в лице куртизанки, поставляет ей и главного агента из среды тех же многочисленных рабов, готовых помочь молодому господину достигнуть намеченной им цели, жертвуя чувством своего долга и своим достоинством.

Таковы нравы на сцене, таковы нравы и самого общества, где мы встречаем те же мотивы и те же средства выполнения. Во все моменты жизни раб появляется рядом со свободным человеком, обязанный ему служить, но очень часто подчиняя его своей власти. Закон, вытекающий из самого характера отношений, невзирая на социальные различия, не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить случаи, благодаря которым слабохарактерность, свойственная юности, неизбежно отдавала класс свободных в руки рабов.

Раб завладевал римским гражданином с самого

раннего его детства; он влиял на его юность в силу своего образования. Под властным требованием новых веяний, стремившихся приобщить республику к идеям и обычаям Греции, к ней обратились за учителями и нашли их среди рабов. Их взяли, совершенно не считаясь с тем, что один лишь факт принадлежности этих наставников к классу рабов лишал их руководство всякого морального авторитета. Лучшие из них имели право давать советы, но не имели силы придать им обязательный характер. Это бессилие Плавт выразил в жалобах честного раба в «Бакхидах»: «Ныне не достигший еще семилетнего возраста ребенок бьет своего наставника доской по голове, если он хоть чуть дотронется до него рукой, а если пойдешь жаловаться родителям, они говорят: «О негодный старик, если ты тронешь этого ребенка, который ведет себя так храбро...» — и наставник уходит с головой, лоснящейся как фонарь», т. е. побитый (текст сильно попорчен).

Подобное вознаграждение за добродетель едва ли содействовало тому, чтобы люди упорно продолжали придерживаться ее. Многие учителя оказывались более сговорчивыми и становились соучастниками тех беспутств, которые они должны были бы обуздывать. Та минимальная заботливость, с которой их выбирали, только облегчала им эту снисходительность и делала соучастие самым обычным явлением. В самом деле, что требовали от раба, которому поручали воспитание ребенка? Знание языка и литературы, так как хороший тон требовал, чтобы дети обучались этим наукам. Казалось, что раба слишком презирали, чтобы требовать от него других гарантий. Так как детей следовало знакомить с памятниками предков и великими примерами из их жизни и преданности родине, то считали, что они без вреда для себя могут соприкасаться с рабскими нравами, полагая, что будто бы инстинкт национального достоинства и чувство гордости, присущие римлянину, могли предохранить их от этого

влияния. Но злое начало, живущее в человеческой природе, не знает различий, установленных народным правом. Оно воспринимает всякое влияние, содействующее его развитию, не спрашивая о происхождении, и нередко раб прививал порученным ему юным душам свои собственные пороки. Каких только последствий не приходилось ожидать при такой системе воспитания, опирающейся на развращенные нравы, описанные авторами Империи!

«В настоящее время, — говорит Плутарх, — хозяева, имеющие нескольких хороших рабов, заставляют одних из них обрабатывать свои поля, других назначают начальниками судов, комиссионерами или сборщиками, третьих — банкирами для управления и денежных операций, если же найдется какой-нибудь раб-пьяница, обжора, негодный ни на какую иную службу, то именно ему они поручают своих детей». Тацит бичует этот вредный обычай со всей авторитетностью, присущей его словам: «В настоящее время ребенка с самого момента рождения отдают на попечение какой-нибудь греческой рабыне, к которой в придачу дается один или двое рабов, взятых из общей толпы; и часто они оказываются самыми дурными и непригодными для этого дела». Таково было воспитание и в последний период Республики, таково оно было и в эпоху Империи. Императоры не думали бороться с этими тенденциями, так как, без сомнения, рабское воспитание, приучающее их к низкопоклонству, много содействовало тому измельчанию и унижению характера, которое склонило и держало под их игом Рим.

Раб-наставник не ограничивался только обучением своего молодого господина; он наблюдал и сопровождал его и вне учебного времени. Этому руководителю приходилось много терпеть, если он думал сохранить за собой право контроля над его поведением. «Ты мне раб, или я тебе?» — отвечал Пистоклер на все увещания своего педагога Лида. Но если он решил уступить

всем его прихотям, потворствовать его страстям, то он удерживал свое порочное влияние тем, что еще больше совращал своего питомца. Каких только возможностей падения не скрывал в себе этот институт рабства под покровом языческих нравов, обожествивших самые постыдные страсти! В этом отношении Рим не отличается от Греции, разве только своим более стремительным развитием чувственности и всяких позорных удовольствий. Рабы без всяких усилий соглашались на требуемое от них соучастие: рабство ведь освобождало от необходимости быть честным. Рабам все было позволено: закон не находил нужным порицать их, а отрицательное общественное мнение к ним от этого не усиливалось. В отношении общества к молодой рабыне, сохранившейся чистой среди своего труда, и к той, которую господин обрек на проституцию, не было, так сказать, никакой разницы: и та и другая исполняли лишь обязанности, связанные с их положением. Что касается последней, то весь позор падал на те преступные, подлые создания, которые, потеряв добродетель, торговали своей красотой. Если религия все это терпела и все было разрешено самой природой рабов, то на что же могла опираться нравственность, как не на интересы семьи, которые осудили эти любовные связи за их обычные последствия — расточительность и разорение семьи. Но сами отцы семейства изображаются Плавтом весьма снисходительными к этим грехам молодости, которые они сами разделяли в дни своей юности, а многие разделяли, будучи уже мужьями, как, например, этот презренный Деменет в «Ослах».

Это влияние, во власть которого была отдана молодежь, продолжало сказываться и в зрелые годы. В «Близнецах» другой отец удивляется, слыша, как его дочь упрекает своего мужа в том, что он имеет любовницу. Среди таких забав мужа охотно забывали неприятности, связанные с женами, получившими богатое приданое. Впрочем, следует сказать, что эти

«гордячки с приданым», которые, нередко купив себе мужей за наличные деньги, будучи уже в пожилых годах, не всегда были расположены делить свои права с другими. Чтобы заставить уважать их, они не нуждались в этом сомнительном посредничестве отца. Старый Демон в «Канате» не решается принять у себя в доме молодых, потерпевших кораблекрушение девушек, просящих у него приюта, из страха перед хозяйкой дома. «Идите к алтарю, пусть он лучше вам служит убежищем, чем мне». Тех же принципов придерживались и старые люди, и, как мы только что показали это на примерах, они исповедовали их даже в том случае, если на практике и не применяли их.

Эта развращенность семейной жизни проявлялась везде, при всех обстоятельствах, где только она протекала на виду у всех, — во время пиров, переходивших в оргии, которые описываются моралистами и теми, кто ими не был, как, например, Петронием; в банях, где женщины мылись вместе с мужчинами, вплоть до издания эдиктов Траяна, Адриана и Марка Аврелия, боровшихся против этого обычая, не подчинявшегося их декретам. Куртизанки, т. е. женщины-рабыни, первые осмелились перешагнуть преграды стыдливости, через которые после них так часто переступали матроны времен Империи, завидуя цинизму их проституции. Тот же дух, сопровождаемый большим соблазном и большей торжественностью, царил в театрах, где весь народ, мужчины и женщины (весталки занимали первые места), участвовал в качестве зрителей этих живых картин разврата, изображавшихся рабами: отвратительные сцены, на чудовищную наготу которых указала нам сатира под более или менее прозрачным покровом.

Эта испорченность нравов зависела, без сомнения, от более общих причин, но тем не менее нельзя не признать, что рабство сильно способствовало ее распространению. Для того чтобы эта общественная порча

могла достигнуть таких размеров, в недрах самого общества должно было находиться существо, подобное человеку и лишенное, по общему мнению, каких бы то ни было моральных обязанностей, провозглашаемых человеческой совестью, существо, которое можно было направить как на путь порока, так и на путь добродетели, не оскорбляя его природы, все эксцессы которой считались дозволенными, если они были следствием приказаний. Таким существом был раб, и с тех пор не считали предосудительным пользоваться в качестве законного орудия этим инстинктом зла, так тщательно выращенным в его душе. Благодаря этому соучастию более спокойно, с высоко поднятой головой ступили на путь порока. Открыто признали существующий разврат, не остановились и перед тем, чтобы выставить его напоказ и сделать из порока, лежащего в его основе, высший закон нравов с согласия общества, разучившегося краснеть.

Институт рабства в Риме дал нам новое доказательство своего влияния на порчу нравов, но еще в значительно большей степени он содействовал их огрубению! Выводы напрашиваются сами собой на основании той картины, в которой мы обрисовали положение рабов. Одна фраза резюмирует все. Рим был городом гладиаторов. Ни одно зрелище в эпоху Республики не имело такой притягательной силы, как эти кровавые битвы, где люди, обучавшиеся вместе и евшие из одной чашки, должны были прерывать начатый ими разговор, чтобы идти хладнокровно избивать друг друга для удовольствия толпы; это были сцены не кровопролития, но смерти, так как народ не желал терпеть, чтобы благодаря заранее условленному бережному отношению друг к другу жертва ускользнула из его рук. Он подумал бы, что его одурачили, если конец сражения не показал бы ему, что оно было серьезным. Оно было вполне серьезно, и когда сам победитель останавливался перед своим поверженным

противником, народ приказывал ему довести до конца свою победу. Женщина, робкая девушка подавали большим пальцем легкий знак, который погружал нож в рану побежденного.

Эти сцены убийства стали благодаря существованию рабства одним из факторов воспитания римлян. Цицерон, не отрицая их жестокого характера, допускает их в качестве воспитательного приема. Он признает, что можно говорить на языке, более приемлемом для слуха, но что из всех наглядных средств это — самое сильное для того, чтобы отучить от страха, страданий и смерти. То, что он считал заслуживающим одобрения, вскоре было признано необходимым. Чтобы вырвать молодежь из-под развращающего влияния представлений мимов, в эпоху Империи не нашли ничего более действительного, чем бои гладиаторов, и Плиний ставит это в заслугу Траяну. Можно ли удивляться результатам подобных уроков? Привычки, усвоенные во время публичных игр, были перенесены в частную жизнь, появились комнатные гладиаторы, пиршественные залы были превращены в амфитеатры, кровь смешивалась с вином во время этих преступных оргий; это был настоящий возврат к обычаям Кампании и Тосканы, отличавшимся в дни своего упадка самой низменной жестокостью, к обычаям, в существование которых отказались бы верить, если бы Империя не восстановила их. Но всем этим достигли только того, что воспитали жестокость, не привив чувства смелости этим испорченным душам. Впрочем, какой смелости? Из них хотели, говорят, воспитать солдат, а сделали гладиаторов. Свободные люди приходили заниматься к ланистам (содержателям гладиаторских школ) и произносили освященную обычаями формулу клятвы этой новой военной службы. Закон их клеймил, но среди общего упадка всех видов наемного труда, не пользовавшегося уважением общества, это ремесло было ничем не хуже других, одним из способов

зарабатывать деньги, ставя на карту свою жизнь. Многие устремились туда не по необходимости- или ради жадности наживы, а по склонности. Когда после кровавых злоупотреблений свободой Рим склонился уже под властью цезарей, многие граждане стали стремиться к этому рода деятельности, которая, несмотря на свой унижительный характер, являла собой как бы образ древних добродетелей: презрение к смерти, храбрость и своего рода славу даже в бесчестии. Цезарь поручал всадникам и сенаторам обучать своих рабов правилам борьбы для боя; всадники и сенаторы в свою очередь стали добиваться возможности сражаться с ними. Одним это разрешали, другим запрещали, но в конце концов позволили всем. Их примеру последовали сами императоры. Что помешало Калигуле быть предшественником Коммода на арене? Лишь недостаток мужества. Туда спускались даже женщины знатного происхождения. Ни негодование Тацита, ни сатира Ювенала не имели достаточно силы, чтобы искоренить злоупотребления, поддерживаемые общественным мнением даже против постановлений закона.

Таким образом, в этой своего рода общности привычек и образа жизни стирались различия между рабами и свободными людьми. Эти последние не оставались уже больше простыми зрителями распутства или вынужденных убийств со стороны рабов на сцене. Они стали разделять с ними их кровавые игры, спускаясь для борьбы на арену; они стали разделять и их распутство среди оргий, устраиваемых во дворцах, наподобие тех, которые история не побоялась вскрыть перед нашими глазами при дворе Нерона. Это слияние постепенно происходило в области нравов, слияние весьма прискорбное, так как вместо того, чтобы поднять раба, оно принижало свободного человека до его уровня. А этот уровень как общественное мнение, так и закон помещали значительно ниже той точки, где зарождается чувство стыдливости и уважение к самому себе,

которое развивается из внутреннего чувства личного достоинства.

Итак, институт рабства развратил семью и частную жизнь вплоть до того, что она перестала стыдиться выставлять напоказ всю свою гнусность. Он развратил также и жизнь общественную, разрушил конституцию Рима, так же как разрушил конституции Спарты и Афин, и этот новый пример лишь подтверждает то, что, как бы велик ни был колосс, он не может избежать разрушительного действия этого презираемого червя.

2

Афины признали все виды труда: земледелие, промышленность, торговлю; Спарта отклонила их все. Рим, поставленный в совершенно иные условия, не последовал ни за первыми, ни за второй в своем образе жизни. Предоставив промышленность и торговлю, не выходящие за пределы ремесла и мелкой торговли, самому низшему разряду плебеев, городским трибам, он признал земледелие занятием, наиболее достойным гражданина, лучшей школой для воина. Лишь благодаря работе на земле Рим, превосходивший Спарту своим здоровым политическим смыслом, смог создать этот крепкий народ, подчинивший Италию и сделавший ее орудием покорения мира.

Говоря о труде в этот первый период истории Рима, мы уже указывали на ту глубоко разумную политику, которую он вначале применял к побежденным народам. Рим начал с того, что стал присоединять людей и земли к самой городской общине; потом, когда он стал более скупой давать свои привилегии людям, он все же продолжал присоединять часть их земли к римской территории. При каждом новом расширении своего господства часть земли в покоренной области он оставлял прежним ее жителям, которые на различных правах

входили в число его союзников; другая же часть по праву завоевания становилась собственностью государства. Ее по примеру древней римской территории и в таком же количестве распределяли между определенным числом колонов. Что же касается земель, негодных к обработке, и тех, которые не подлежали немедленному распределению, то их отдавали желающим их взять во временное пользование и за определенный оброк, составлявший обычно десятую часть с урожая полей, пятую часть с урожая деревьев и соответствующую долю со скота, крупного и мелкого. Таким путем Рим обеспечивал жизнь, благосостояние и прирост своих граждан. Рядом с ними и под их наблюдением он поддерживал и защищал, согласно условиям союзного договора, свободное население Италии. Он питал и увеличивал двойной источник своей военной силы — вспомогательные войска и легионы.

Но эта политика, так основательно задуманная высшей мудростью, управлявшей государством, уже в раннюю эпоху встретила противодействие со стороны алчности частных лиц. Знать захватила благодаря хищническим процентам наследственные наделы граждан; она захватила благодаря надбавкам в цене и общественные земли. Будучи полновластным хозяином частной земельной собственности и арендатором общественных земель, она угрожала подобной же узурпацией и собственности государства. Вскоре в самом деле в силу постоянного возобновления или пожизненности арендного договора, прекращения арендной платы, перемещения межевых столбов, а в особенности благодаря потворству консулов и цензоров общественные земли смешались с их частными владениями. Время, прикрывая обман, освящало это слияние, и эти новые земельные владения, переходя из рук в руки, при каждой передаче как бы получали новое подтверждение со стороны официальной власти.

Земли частные и общественные, распределенные

и сохранявшиеся в резерве — все они в конце концов были поглощены и исчезли в единственной форме земельного владения, в огромных поместьях, в латифундиях. Один этот факт и простая замена мелкого хозяйства крупным нанесли уже серьезный удар конституции Рима и угрожали безопасности государства. С первого взгляда это утверждение может показаться странным, так как крупное хозяйство дает более значительную чистую прибыль, а этот доход составляет главную основу национального богатства. Но какой ценой достигнута эта производительность? Если мелкое хозяйство с экономической точки зрения уступает крупному, если при таком хозяйстве можно располагать меньшей частью валового дохода, то это прежде всего потому, что оно выше оплачивает работу земледельца и занимает большее количество рук. Крупное хозяйство имеет меньше расходов и потому дает больше прибыли; мелкое хозяйство больше потребляет и в стране, не имеющей промышленности, обеспечивает для трудящихся больший спрос на рабочие руки. К чему же могла стремиться Италия? К богатству? Благодаря завоеваниям в ее руках было богатство всего мира. Для того чтобы поддержать это могущество, ей нужно было многочисленное население свободных людей. Итак, ее сила была бесспорно связана с сохранением мелкого хозяйства; поэтому те, которые хотели заложить вечные основы Рима, так скупно отмеряли землю, необходимую для питания гражданина. Латифундии же, коренным образом изменяя характер сельского хозяйства, уменьшали число свободных лиц. Когда 100 мелких владений слились в одно, то на место 100 хозяев стал один, а остальные не могли уже оставаться на своих отчужденных землях даже в качестве наемных пахарей. Но это зло само по себе не было бы так велико, если бы не существовало рабства, которое в значительной степени усилило его. Изгнанный со своего наследственного

участка как владелец, изгнанный с государственных земель как арендатор, плебей сверх того оказался почти совсем устраненным от возможности заниматься сельскохозяйственным трудом. Его сохранили лишь в качестве оброчного, или колона, обязанного отдавать помещику часть урожая, в тех отдаленных поместьях, где управляющий — раб находился бы вне всякого контроля, его удержали там на таких условиях, при которых прямо-таки непонятно, как он мог существовать. Эта аренда, называемая нами «исполу» и оставляющая арендатору половину урожая, должна была, согласно правилам Катона, оставлять ему девятую и самое большее пятую часть. Свободного человека брали также в качестве рабочего в таких нездоровых местностях, где жизни рабов, этому ценному имуществу, грозила постоянная опасность, а также для срочных сезонных работ, требующих повышенной активности и бодрости, например, на жнитво или уборку винограда. Его приглашали и в качестве поденщика для таких работ, которые в домашнем хозяйстве носят лишь случайный характер. При всяких других обстоятельствах предпочитали рабов, так как они представляли собой такую рабочую силу, которую сосед не мог сманить обещанием более высокой платы, которую сам консул не мог неожиданно забрать для службы в легионе. Итак, общественный интерес отступал на задний план перед интересом частным. Это сельское население, которое сенат хотел иметь свободным, а следовательно, и военнообязанным, гражданин заменял рабами, чтобы освободить их от военной службы, посягая, таким образом, не только на собственность, но и на силу и могущество государства.

Беглый взгляд, брошенный на совокупность внутренних революций в Риме, позволит нам проследить развитие этого рокового явления даже в обзоре тех усилий, к которым тщетно прибегали, чтобы помочь злу.

Зло это было давнишнее. На него указывает изданный уже в самый начальный период Республики закон, в котором нашел выражение единственно возможный проект реформы — это аграрный закон Спурия Кассия (486 г. до н. э.). Он хотел отобрать у богатых, с тем чтобы распределить среди бедных, те земли, которые они благодаря постоянному пользованию начали понемногу превращать в свою собственность. Но его закон, справедливый по отношению к народу, был не менее справедлив и по отношению к побежденному племени герников, допущенных к участию в разделе в силу другого предложения, касающегося их территории. Сенат воспользовался этим, чтобы его провалить, и закон стал бессильным орудием в руках трибунов вплоть до Лициния Столона (367 г.).

Закон Лициния сократил право граждан владеть общественными землями свыше 500 югеров, а избыток распределил между бедными участками по 7 югеров, согласно древнему обычаю. Он уделял мелкой собственности определенное место рядом с крупной, он уделял также место свободному труду даже в крупных владениях, требуя, чтобы труд свободного человека применялся в известной пропорции наряду с рабским. Он, наконец, ограничил число голов скота, так же как и земельные владения (100 голов крупного рогатого скота и 500 мелкого). Все злоупотребления, которых Рим имел основания бояться, были, таким образом, подавлены и предупреждены.

Если бы даже Лициний оставил в неприкосновенности то, что было закреплено в силу давности, то его закон мог бы стать спасением для Рима, если бы он вошел в силу для будущего и мог бы действовать без нарушений. Территория республики была еще очень незначительной. Рим только что пережил галльское нашествие и находился накануне Самнитской войны:

предстояло завоевать еще почти целиком всю Этрурию и весь Лациум. Но победы развратили общественные нравы: сенат, менее беспокоящийся теперь за исход внешней борьбы, менее ревностно наблюдал за справедливым распределением земель Италии, а патриции, не сдерживаемые больше властью трибунов, с тех пор как народные вожди были допущены в их ряды благодаря дарованию им права участия в более высоких должностях, эти патриции щадили союзников ничуть не больше, чем некогда плебеев. Поместья увеличивались, как и прежде, но в значительно большей степени благодаря законному поглощению частных владений и захвату государственных земель; латифундии распространились по всей Италии, а идущий за ними следом раб вытеснял повсюду в сельском хозяйстве свободное население. Но на этом не остановились: раб, заменивший свободного человека во всем, что касалось хозяйства, как в управлении, так и в работах, заставил отказаться от этой формы эксплуатации земли, так как его бесчестность и нерадение уменьшали возможные доходы. Крупному хозяйству, значительно сократившему число рабочих рук, предпочли другой способ, позволивший еще больше сократить их, меньше наблюдать за ними, требовавший меньшего капитального вложения, сопровождавшийся меньшим риском, который, одним словом, давал более высокую и более верную чистую прибыль. Этот способ состоял в замене пахотной земли пастбищами. Эти пастбища вытеснили все остальные культуры, и латифундии превратились в пустыни, где свободно бродил пастух со своими стадами.

Так шло постепенное разрушение сельского хозяйства Рима. Большие поместья значительно сократили число владельцев; рабский труд в той же степени сократил число свободных людей, а система пастбищ в свою очередь сократила труд в том и другом виде, как свободный, так и рабский. Источники дохода бедного

люда уменьшались, а хлеб дорожал, богатые же люди, менее занятые своими полями, могли всецело посвятить себя иным способам обогащения, возникшим в результате завоевания мира: поставкам в армию, откупу налогов, прежнему ростовщичеству, сильно распространенному в провинциях, в этом мире, поставленном как бы вне закона. И если Италия перестала производить необходимое для прокормления своего населения количество хлеба, то какое дело было до всего этого гордой аристократии? Разве мир не был рабом Рима и разве он не мог удовлетворить всех его потребностей!

Каждый новый шаг, делаемый по этому роковому пути, ознаменовывался усилением алчности господ. Катон, этот тип древнего римлянина, как бы наметил этот путь в своих книгах и своим примером. Уже в самом начале своего «Трактата о земледелии» он ставит вопрос, не следует ли отказаться от земледелия в пользу таких способов, которые дают возможность более выгодно употреблять и свои деньги, и свое время. И если он остается при своем первоначальном намерении, то это не только потому, что этот сельский труд освящен авторитетом предков, что он способствует рождению более здоровых людей и что он дает более честный доход; это прежде всего потому, что он в конце концов обеспечивает более верную прибыль; и он пишет свой трактат для того, чтобы, если это возможно, показать, как ее увеличить. У свободного труда нет более сильного врага, чем Катон; если же приходится иногда к нему прибегать, то он настойчиво рекомендует не удерживать колона или наемного рабочего сверх установленного срока, точно он опасается какого-либо права давности, могущего нанести ущерб власти господина в его собственных владениях. Но такое хозяйство, в котором он хотел бы видеть только труд домохозяев, вскоре уже не будет удовлетворять его. Он отказывается от него, заменяя его пастбищами, фор-

мой эксплуатации, в меньшей степени зависящей от людей и погоды, «которая может не обращать внимания на Юпитера»; он возводит свой метод в безусловную систему. «Чем должен быть, — спрашивали у него, — глава семьи, чтобы наилучшим образом обеспечить свои имущественные интересы?» — «Хорошим скотоводом». — «А затем?» — «Посредственным скотоводом». — «А в-третьих?» — «Плохим скотоводом». Земледелие стоит только на четвертом месте, уступая даже плохо организованному скотоводческому хозяйству. Но скоро он заставит его спуститься еще ниже, так как пастбища перестанут быть в его глазах наилучшим средством извлечения доходов из поместья. Ведь скот может погибнуть! Теперь его интересует только прибыль, получаемая с капитала, и, несмотря на свои первоначальные проклятия, он кончает тем, что признает ростовщичество, и притом в самых позорных формах; к этому остается только прибавить еще одно последнее ремесло — презренное ремесло воспитателя и торговца рабами!

Итак, два принципа, существовавшие, без сомнения, еще до Катона, но впервые им высказанные и освященные его авторитетом, объясняют двойную революцию, происшедшую в деревне. Первый из них гласит: «Купленного работника следует предпочитать наемному», в результате чего раб заменил свободного человека почти во всех сельских работах. Второй: «Пастбищное хозяйство следует предпочитать земледелию» — и вот сам раб, отстранивший свободного человека от земледелия, в свою очередь был оттуда вытеснен. Мы указали причины этого явления; посмотрим же, каковы были последствия.

Раб, переставший быть необходимым для сельскохозяйственных работ, тем не менее продолжал жить в поместье хозяина. И в ожидании того момента, когда вновь установится равновесие между спросом на труд и количеством рабочих рук, он в качестве бесполезно-

го инвентаря подвергался бесконечным лишениям и жил исключительно воровством. Рабская жизнь была наполнена либо всеми ужасами эргастула, либо разбоями, характерными для пастушеской жизни. Отсюда вытекала ненависть к гнету, при наличии больших возможностей его свергнуть; это те войны рабов, о которых мы уже говорили. Гражданин, доведенный до такого же состояния, по-своему тоже принимал участие в грабежах во время тех далеких экспедиций, куда его вербовали для защиты интересов, ставших ему чуждыми. Если же он питал отвращение к этим трудам, нередко приносящим выгоду, но чаще всего смертельным, то его и в городе ожидали муки эргастула. Туда ежедневно стекались семьи, изгнанные с земли, и что же они там встречали? Рабов, занимающихся ремеслом в пользу богатых и продолжавших состоять у них на службе.

Сила, свобода, даже самая жизнь республики были в опасности в момент появления Гракхов. Их эпоха имеет решающее значение для свободного труда и для рабства: именно тогда был поставлен и разрешен этот вопрос; поэтому мы считаем нужным остановиться на этом периоде несколько подробнее.

4

Братья Гракхи, происходившие со стороны отца из известного плебейского рода, а со стороны матери — от признанного всеми главы патрициев Сципиона Африканского, занимали в силу этого двойного права видное место среди римской аристократии; они предпочли занять его во главе народа. Должность трибуна не была для них переходной ступенью к высшим должностям, а самоцелью. Имея в виду вернуть ей прежние права и силу, Тиберий, старший из двух братьев, позволил выбрать себя трибуном в 133 г. до н.э.

Это решение хотели объяснить его чувством враж-

ды к сенату, который, чтобы снять с себя обязательство выполнения условий договора с Нуманцией, хотел выдать его вместе с консулом врагам, тем вновь повторяя комедию Кавдинского ущелья. Говорили также, что он подпал под влияние ратора Диофана, философа Блоссия и своей матери. Весьма возможно, что философия Зенона, которой так твердо придерживались ее сторонники в Италии, способствовала укреплению его воли и что благородная душа Корнелии была заодно с ним. Но его толкало на этот путь, главным образом, сознание народной нищеты и чувство опасности, грозившей государству. Он был поражен громадным и печальным противоречием между Римом и Италией: заброшенными землями в Италии и большим числом безработных в Риме, причем в этой бесплодной разобщенности одинаково гибли и земли, и народ. Что было необходимо, чтобы вернуть им силу вместе с жизнью? Приблизить их друг к другу и соединить их, вернуть заброшенным землям этих безработных людей. Такова была мысль Тиберия. Он обсудил ее с наиболее мудрыми патрициями, наиболее известными юристами Рима — Крассом, Муцием Сцеволой, Аппием Клавдием. Будучи избран трибуном, он предложил свой аграрный закон, который по существу повторял закон Лициния, ограничивая долю каждого пользователя в государственных землях 500 югерами. Но Тиберий добавил к своему проекту несколько смягчавших его оговорок: отец семьи мог, кроме причитавшихся ему 500 югеров, удержать для каждого из своих несовершеннолетних сыновей еще по 250 югеров. Что же касается излишка, то его не отбирали, а выкупали за приличное вознаграждение для раздачи народу. Это количество государственных земель, оставленное богатым, отдавалось им в полную собственность с правом пользоваться им как своей полной собственностью. Участки же, назначенные для распределения

бедным, объявлялись неотчуждаемыми как государственные земли.

Закон был вполне справедлив. Государственные земли являлись неотъемлемой собственностью государства. Эти земли, первоначально отданные в аренду, несмотря на то, что они впоследствии слились благодаря всяким уловкам с собственностью гражданина, независимо от того, каким путем они достались последнему владельцу, все же оставались государственными владениями и могли быть просто и целиком отобраны государством. Закон был справедлив, так как далекий от применения во всей строгости точного смысла лежащего в его основе права, он предоставлял в собственность то, чего он не отбирал, и платил за то, что должен был отобрать, идя, таким образом, навстречу не только общественным нуждам, но и интересам крупного землевладения и считаясь с совершившимися фактами. Он был, наконец, я не говорю своевременным, а неотложным. В нем было спасение Рима и Италии. Свободное население, вытесненное оттуда рабами, покинуло земли. А каких только опасностей не приходилось ждать, если бы эти рабы вздумали воспользоваться этими землями на иных условиях, а не в качестве рабов-рабочих: ведь они попытались же это сделать в Сицилии. Столь недавний пример должен был поразить умы. Тиберий, сопоставляя с гибелью свободного населения рост класса рабов, черпал свои главные аргументы из воспоминаний об этой опасности. Но прежде всего следовало убедить богатых, и, чтобы склонить их, Тиберий пускал в ход все, что могло их тронуть: «У диких зверей, которые живут в Италии, — говорил он, — есть свои норы и логовища, куда они могут спрятаться, а у этих людей, которые сражаются и умирают, защищая Италию, нет ничего, кроме воздуха и света. Лишенные крова, не имея пристанища, где бы они могли преклонить голову, они бродят с своими женами и детьми. Их полководцы говорят не-

правду, когда во время сражений они убеждают их биться за могилы предков и за «домашние алтари». Среди стольких римлян не найдется ни одного, кто имел бы отчий алтарь или могилы предков. Они сражаются и умирают, чтобы доставить роскошь и богатство другим. И их называют властителями вселенной, тогда как у них нет ни одного клочка собственной земли». Он взывал к их чувству жалости и справедливости. Он обращался также к их честолюбию, указывая им на то, что совершило в прошлом и что обещает в будущем сильное и многочисленное свободное население. Много провинций уже покорено, много царств остается еще покорить! А завоевание сулило им самые разнообразные выгоды. Здесь речь идет о том, добавлял он, «захватим ли мы то, что осталось, или потеряем то, что имеем». Это ясное понимание интересов своей родины тщетно боролось с холодным эгоизмом богачей; эти страхи, эти надежды исчезали перед чувством непосредственной опасности, которая грозила их имуществу со стороны закона. Разве справедливо было отнимать у них наследие их отцов, приданое их жен, плоды их трудов? Ведь многие приобрели эти поместья на тяжелых условиях, многие удвоили их стоимость новыми насаждениями, постройками, всевозможными улучшениями. Даже в том случае, если им за все это платили, разве могло полученное вознаграждение возместить им ту ценность, которую они представляли для них в силу привычки и воспоминания? Поэтому закон не казался им ни правым, ни справедливым. Если они отказывались видеть в нем то, что требовало государственное право и те смягчающие пункты, внесенные Тиберием, которые его несколько ограничивали, то как могли они признать этот закон своевременным, как могли согласиться и открытыми глазами смотреть на те неотложные нужды, на которые указывал трибун, становясь выше интересов настоящего момента!

Богачи, которых сначала привело в замешатель-

ство общественное положение Тиберия и сторонников его закона и также вид этой полной надежд толпы, быстро пришли в себя, сознавая свою силу, и нашли в самом трибунате средство, чтобы парализовать деятельность трибуна. Они склонили на свою сторону Октавия, который наложил свое «вето» на предложение Тиберия. Последний, говорят, взял его обратно, но лишь с тем, чтобы внести другое, носившее характер более жестокой и суровой законности. Это был тот же закон, но без смягчающих его оговорок. Все те, чьи владения превышали законную норму, должны были немедленно в этом отношении подвергнуться ограничению и вернуть все излишки. Эта суровая мера, о которой упоминает один только Плутарх, была лишь одной угрозой, так как Тиберий находился в гораздо более выигрышном положении по сравнению со своим товарищем, поддерживая против него всю совокупность своих столь умеренных предложений. Напрасно пытался он апеллировать к его обязанностям трибуна; напрасно предлагал он ему призвать народ в качестве судьи, чтобы путем голосования решить, кого из двух отстранить от должности трибуна. Так как Октавий отказался от этого, то народ голосовал только о его устранении. Он был лишен звания трибуна, и закон был принят, но чтобы провести его, пришлось пожертвовать неприкосновенностью самого трибуна, тем авторитетом, который был ему необходим, чтобы придать силу закону и защищать его. Должность трибуна потеряла свою основную сущность, свое основное значение — неприкосновенность.

Враги Тиберия не упустили случая воспользоваться этим. Обезоружив самого себя, он дал оружие в руки своих противников. Они изменническим образом воспользовались им, чтобы лишить его народной любви, прежде чем нанести ему последний удар. Они спрашивали, стоило ли так радоваться, если закон куплен ценой этой исключительно народной магистратуры. Ни

оскорбления, которым подвергался Тиберий, ни ненависть, поражавшая вокруг него намеченные жертвы, ни вид этих юных детей, которых трибун, облекшийся в траур, поручал народному попечению, не ограждали умы от таких опасных инсинуаций. Дело дошло уже до того, что он был вынужден оправдываться. «Что такое должность трибуна, — говорил он, — и откуда эта связанная с ней неприкосновенность? Разве она не была создана для того, чтобы действовать в интересах народа, и разве трибун может еще пользоваться неприкосновенностью, если он идет против того дела, ради которого он был облечен этим священным званием?» Что же это за неприкосновенность, которая может быть подвергнута сомнению и отвергнута? Был ли прав Тиберий, нарушив ее? Трудно высказаться по этому вопросу за и против. Утверждать это не решаются. Без сомнения, этот аграрный закон стоил трибуната, жалкого подобия прежней должности, которую вожди народа, перейдя в ряды патрициев, оставили за собой как бы для того, чтобы прикрыть ее ничтожество обманчивой видимостью покровительства народу. Но это подобие все же было дорого сердцу плебеев, и не без основания: Тиберий, пожелавший вернуть ему прежнюю силу, не мог без угрозы для будущего нарушить его освященные веками формы. Именно это и погубило его. И если народ не поддавался разжигаемому в нем чувству мести, то он во всяком случае стал равнодушен к Тиберию. Во время выборов трибунов, когда Тиберию было особенно важно присутствие всех его сторонников, чтобы быть снова выбранным на эту должность и обеспечить проведение начатого им дела, сельские трибы не явились. Городские трибы могли прийти ему на помощь только вооруженной силой, и трибун лично просил их об этом, чтобы по крайней мере защитить его от врагов. Но Рим тогда еще не привык к гражданским войнам. Вид верховного жреца и членов сената, следовавших за ним, смутил и рассеял эту ко-

леблущую толпу. Тиберий подвергнулся нападению на Капитолии и пал у пьедестала статуи царей.

Трибуна не стало, но закон остался, и сенат был как будто бы склонен поддержать его. Радуюсь смерти Тиберия, он отстранил убийцу, и, как бы для того чтобы дать народу лишнее доказательство своей искренности, он оставил в руках сторонников бывшего трибуна дело проведения закона в жизнь. Это была с его стороны очень умная и ловкая политика, так как, поскольку предложение закона было просто и популярно, постольку же осуществление его должно было встретить много препятствий и вызвать чувство ненависти. Было только справедливо, чтобы партия, выставившая самый принцип, взяла на себя его последствия. Сенат не сомневался в том, что стараясь отменить закон, он только еще более укрепит его и что, наоборот, он сам собой аннулируется благодаря трудностям, которые неминуемо возникнут при его применении.

Эти трудности служат неопровержимым доказательством его истинного характера. Если бы речь шла о сокращении всякого рода землевладения до указанных норм, то это было бы, конечно, весьма несправедливо, но зато весьма просто; это было бы делом межевания. Но если вопрос касался исключительно государственных земель, то такая постановка, будучи вполне справедливой, вызывала целый ряд затруднений. Прежде чем отмерять, следовало разобраться в характере владений, а в этом разделении земель на государственные и частновладельческие и скрывалась вся трудность вопроса. Приходилось устанавливать происхождение этих владений, требовать документы и проверять их, прежде чем признать их действительными; приходилось рассматривать, каким образом государственная земля, сданная в аренду первому колону, переходила ко второму и третьему владельцу, который нередко приобретал ее за наличный расчет и всегда на законном Основании. Но само собой разумеется, что дав-

ность владения не отменяет законных оснований. Эти государственные земли, данные первому колону во временное пользование, не могли быть легальным путем переданы им под именем собственности. Право государства сохраняет свою силу, несмотря на все эти передачи, способствующие уничтожению всяких следов. Однако же, если благодаря его попустительству по отношению к таким фактам не только допускались, но и разрешались подобные злоупотребления, то становится почти невозможным сообразовать точный смысл закона с требованиями справедливости, и потому это высшее право становится высшей несправедливостью. Многочисленные граждане, которые приобрели небольшую часть захваченных государственных земель на тяжелых для себя условиях, полили ее своим потом, видоизменили ее своим трудом, покрыли виноградниками, насаждениями из маслин и постройками, так что сама земля стала чем-то второстепенным, если рассматривать как главное то, что имело большую ценность, — такие граждане были теперь лишены всего этого, не будучи даже уверенными в том, что государство имело право отобрать данные клочки среди глубокого мрака, окружавшего иногда происхождение этих земель, как государство, так и частные лица не всегда могли доказать свои права. А раз возникали сомнения, то разве нельзя было протестовать? И жалобы сыпались со всех сторон. Недовольные выбрали своим орудием Сципиона Эмилиана, который, опираясь на свою славу, не побоялся пойти против народной массы, открыто одобряя эту политику убийств, жертвой которой пал Тиберий. Сенат, прикрываясь инициативой Сципиона, стал в некотором роде популярным, когда он лишил триумвиров их полномочий, передав их консулу Тудитану. Последний под предлогом войны с иллирийцами постарался уклониться от выполнения этой обязанности, и дело заглохло. Эта отсрочка, прекратившая поступление жалоб, вновь

вызвала сожаление о законе. Вся злоба плебеев обратилась против Сципиона и, может быть, способствовала его внезапной смерти, во всяком случае она сопровождала его до самой могилы.

Но сенат торжествовал: он удалил Папирия Карбона, одного из триумвиров, соблазнив его триумфом; он удалил Гая Гракха, назначенного квестором, и держал его вдали в силу долга; он внушил страх выразившим недовольство италийцам, разрушив Фрегеллы. Он торжествовал и не видел никого, кто мог бы оспаривать его торжество, когда вернулся Гай.

5

Некоторые утверждали, что вначале Гай хотел уклониться от этих опасных почестей, которыми сопровождалась популярность. После смерти своего брата он как-то подчеркнуто домогался неизвестности и осуждал себя на бездействие. Но если бы он даже решил навсегда удалиться от дел, то любовь массы заставила бы его от этого отказаться. Однажды, когда он выступал в суде в защиту одного из своих друзей, весь народ сбежался, чтобы послушать его, и в своем восторге дошел до иступления. Если бы даже у него самого было достаточно сил, чтобы остаться непреклонным, то воспоминание о брате толкнуло бы его на борьбу. Тень брата, по словам Цицерона, явилась ему однажды ночью, укоряя его в медлительности и напоминая ему о его назначении. «Одинаковая жизнь, — сказала она ему, — одинаковая смерть; мы отмечены судьбой; интересы народа этого требуют!»

Итак, он вернулся в Рим против желания сената, оправдался в своем возвращении и был избран трибуном.

Приняв на себя дело своего брата, Гай проявил то же бескорыстие, ту же убежденность, но более пламенное дарование и силу красноречия, которая укреп-

лялась мыслью о жертве брата и о том, что ему предстояло то же самое. Первые законы, предложенные молодым трибуном, были как бы всенародным актом, чтобы умиловить тень убитого Тиберия. Затем он приступил к делу, которому посвятил себя Тиберий: он взялся за аграрный закон. И чтобы не ставить облегчение бедственного положения народа в зависимость от медленного распределения занятых земель, он основывал колонии, раздавал бедным оставшиеся свободные государственные земли, ввел для городской бедноты ежемесячную продажу хлеба по ценам более низким, чем рыночные.

Но все эти меры оказались недостаточными. Чтобы обеспечить возможность существования свободному населению и создать ему почетное и достойное его существование, необходимо было вернуть его на землю в более широком масштабе и связать его с ней более крепкими узами. Необходимо было провести аграрный закон не только в список юридических постановлений, где он со времени смерти Тиберия стал мертвой буквой, но и в действительную жизнь, в практику. Надо было обеспечить индифферентное отношение, а в случае необходимости даже купить поддержку богатых собственников Рима в Италии. Тиберию, по видимому, уже приходила в голову мысль о такой комбинации, которая, увеличивая сферу его действий, оказала бы более сильную поддержку его закону.

По словам Плутарха, он собирался допустить всадников к участию в судах наряду с сенаторами, а по словам Веллея, он обещал гражданские права италийцам. Это последнее утверждение может, пожалуй, найти подкрепление в том, что после его смерти его сторонники считали эту меру лучшим средством для устранения всех препятствий, мешающих проведению закона, и в том, что один из триумвиров, Фульвий, думал провести ее властью консула, которой он был облечен. Как бы там ни обстояло дело в прошлом, но

Гай принял эти проекты. Выбранный на второй год трибуном, он предложил и провел оба закона, дававшие всадникам право суда, а италийцам — права гражданства или по меньшей мере звание гражданина с правом голоса. Даже провинции не были забыты в проектах его реформ. Ничего не изменяя в их правовом положении, он сделал его более терпимым, защищая их от произвола. Зерно, которое Фабий незаконно потребовал от жителей Испании, было, по его предложению, продано, а вырученные деньги отданы городам, поставившим это зерно, со строгим выговором претору, виновнику этого вымогательства.

Популярность Гая, казалось, не знала больше границ. Простой трибун, он как бы объединял в своем лице все должности, совмещая обязанности цензоров и эдилов, руководя огромными работами, заставляя строить государственные зернохранилища и прокладывать дороги, которые он проводил по прямой линии через частновладельческие земли как бы для того, чтобы измерить силу оппозиции, которую частная собственность окажет требованиям жертв в интересах государства. И тем не менее он не пошел дальше: он чувствовал другую силу, которая, несмотря на уступки, все же сохраняла все свое могущество, — сенат. В своих реформах Гай не забыл никого. Чтобы обеспечить народу все преимущества, вытекавшие из аграрного закона, он предоставил всадникам право суда, а италийцам — права гражданства. Одни только сенаторы теряли благодаря каждой из этих мер, не получая никакой компенсации, но они не потеряли надежды. И чтобы уничтожить все растущее влияние трибуна, сенат решил подорвать его в самом корне, поколебав его популярность. Он противопоставил ему его товарища Ливия Друза. Гай предложил вывести две колонии из наиболее уважаемых граждан. Друз предложил вывести двенадцать, набрав их из числа наиболее бедных. Гай предоставлял государству ежегодный оброк с

участков, распределенных между избранными колонатами. Друз уничтожил всякие обязательства и в каждой своей речи не забывал упомянуть, что он действует с согласия и при содействии сената. Народ начинал склоняться на сторону Друза. Он думал, что этот агент сенаторов более бескорыстен, так как, весьма мало беспокоясь о судьбе своих проектов, он отказывался принимать участие в их осуществлении и оставался в стороне от заведования теми фондами, которые требовались для их выполнения. Гай же, в то время когда против него тайно настраивали народ, покинул Рим, он, трибун, для одного из самых непопулярных предприятий: устройства колоний в Карфагене. Этой двойной ошибкой умело воспользовались его противники. Законы Гая имели для каждого заинтересованного свои положительные и отрицательные стороны. Всадники и богатые италийцы, воспользовавшиеся уже всеми выгодами его предложений, тем легче замечали затруднения, которые им еще предстояло испытать. Сам народ волновался, поддаваясь распространявшимся слухам о восстании в Италии, и на Гая падали подозрения, преследовавшие его мятежного друга Фульвия. Когда он вернулся, то оказалось слишком поздно — знатные были настроены к нему враждебно, а всадники были индифферентны; оставался только класс бедных. Среди них он и решил поселиться; их расположения решил он домогаться; с этой целью вечером накануне общественных игр, желая доставить им возможность присутствовать на них со всеми удобствами и бесплатно, он велел снести помосты, воздвигнутые его товарищами со спекулятивными целями, рискуя вызвать их неудовольствие. Эта мера сильно повредила ему, когда он в третий раз выставил свою кандидатуру в трибуны: полагают, что он не был избран, так как другие трибуны неправильно подсчитали поданные голоса. Итак, он потерпел неудачу, и на его глазах народ выбрал консулом Опимия, разрушителя Фрегелл,

который начал с того, что отменил некоторые его законы и искал случая отменить все остальные. Гай решил отстаивать их, и для этого он не побоялся вступить на нелегальный путь. Будучи простым частным лицом, он обратился с призывом к сопротивлению государственной власти. Это как нельзя лучше отвечало ожиданиям его врагов, всячески раздражавших его, чтобы толкнуть на путь насилия и получить возможность обвинить его. В день, назначенный Опимием, когда присутствовали сторонники обеих партий, был убит ликтор консула, оскорбивший друзей Гракха. Его тело, положенное на погребальные носилки, было встречено сенатом выражениями глубокой скорби, но народ был возмущен возданием таких почестей наемнику, вспоминая о том бесчестии, которому подверглись останки Тиберия, его трибуна. Борьба была отсрочена, но лишь для того, чтобы принять более решительный характер. Сенат облек Опимия диктаторской властью формулой, объявлявшей республику в опасности. Приходилось думать о защите самой партии, а не только законов. Фульвий сновал повсюду, подстрекая толпу. Один только Гай оставался спокойным среди этого шума; на нем лежала печать глубокой скорби. Покидая Форум, он остановился перед статуей своего отца, долго смотрел на нее, не проронив ни одного слова, заплакал и потом продолжал свой путь. Взволнованная толпа провожала его домой. В то время как Фульвий проводил ночь в оргиях, стараясь вместе со своими товарищами забыть предстоящие ему на следующий день заботы, народ охранял дверь дома, где жил Гай, в глубокой тишине и сосредоточенности, как бы перед приближением великих общественных бедствий. Гай тоже провел ночь в размышлениях; но борьба была неизбежной. Фульвий, придя в себя после разгульной ночи, роздал своим друзьям оружие, которое он хранил как трофеи после своей победы над галлами, и с большим шумом направился занимать Авен-

тинский холм. Брат Тиберия не мог допустить, чтобы его сторонники погибли без него. Он вышел, не взяв никакого оружия, кроме простого кинжала, как если бы он шел не на бой, а на жертвоприношение. Его жена остановила его у порога, как бы угадывая его мысли, но она не смогла удержать его ни своими мольбами, ни слезами. Он осторожно освободился из ее объятий и молча пошел, чтобы присоединиться к своим. Он все еще пытался, если возможно, избежать кровопролития. Сын Фульвия, совсем еще мальчик, изумительной красоты, был отправлен к консулу с предложением мира. Его отослали обратно с угрозами. Гай сам хотел отправиться в сенат; друзья удержали его и снова отправили молодого Фульвия, которого там и задержали. Опимий спешил положить этому конец. Пехота и критские стрелки без труда рассеяли этот плохо организованный отряд. Фульвий был задушен в общественной бане вместе со своим старшим сыном. Что касается Гая, то никто не видел его ни сражающимся, ни хватающимся за свой кинжал. Когда последняя надежда была потеряна, он вошел в храм Дианы и хотел пронзить себя кинжалом, который он взял с собой. Два друга обезоружили его, уговорили спасаться бегством и позволили убить себя при переходе через «Свайный» мост, чтобы этим задержать его преследователей. Толпа, видевшая угрожавшую ему опасность, не сумела оказать ему нужной поддержки, ограничиваясь словами и бессильными пожеланиями! Чаша терпения Гая переполнилась. Прежде чем покинуть храм Дианы, он обратился с мольбой к богине, чтобы она наказала эту неблагодарную толпу, которая добровольно отдавалась в рабство. Как бы для того, чтобы закрепить свое проклятие, он вошел в рошу Фурий и приказал своему рабу убить его; исполнив его приказание, раб затем покончил с собой над его трупом. Во время этого восстания было убито и сброшено в Тибр более 3 тысяч человек. Ребенок, посланный с

мирными предложениями и задержанный там перед битвой, был также хладнокровно задушен после одержанной победы: жертва, достойная тех алтарей, которые Опимий воздвиг в честь богини Согласия.

6

Проклятие Гая было услышано, и у народа, допустившего его гибель, были, правда, еще честолюбивые демагоги, но не было ни одного искренне преданного ему защитника; исключение составлял только Ливий Друз, который, как бы для того, чтобы искупить вину своего отца, снова взялся за дело Гая, но пал жертвой тех надежд, которые он воскресил, не имея силы их осуществить. С этого момента судьба свободного класса была решена. Чтобы поддержать его перед лицом рабов, захвативших все без исключения виды труда, чтобы сделать его таким, каким он был нужен римскому государству, — сильным и честным, братья Гракхи хотели ему дать землю, т. е. работу и хлеб. Ему отказали в земле, у него отняли трудовой хлеб, оставив ему его как общественную милостыню. Эта мера, к которой Гай прибегнул лишь временно, в ожидании осуществления другой, была единственной, не только пережившей его без изменений, но и принявшей после некоторых перемен более широкие масштабы. Но можно ли было подобными средствами воскресить древний италийский народ? Перенесемся мысленно к концу республики и посмотрим, каковы оказались результаты.

Старые принципы Катона восторжествовали в деревне. Опыт показал всю их опасность для государства, но, казалось, доказывал их выгоду для хозяев. И так, злоупотребления все усиливались. Писатели этого периода изображают нам мелкого собственника, изгнанного с участка своих отцов, большие поместья, охватившие области, занятые прежде целыми народами, и

там, где некогда Цинциннаты посвящали труду свои не раз одерживавшие победы руки, — они рисуют закованные в цепи ноги, преступные руки, клейменные лбы; землю, переданную самым негодным рабам, подобно тому как преступника передают в руки палача, и, наконец, отданную скоту, — это было, как мы видели, последним словом системы латифундий. Что оставалось на долю свободного человека в этих условиях? То, что оказывалось непригодным ни для рабов, ни для скота: нездоровые местности, тяжелый труд, вызывающие отвращение работы. Варрон и Колумелла, оплакивая запущенность имений, брошенных хозяевами, спокойно описывают их эгоистические тенденции, проявляющиеся именно в этой форме, и как бы освящают их своим авторитетом, подобно тому как Аристотель, формулируя принципы тирании, как будто несколько не заботился о свободе. Кого же можно было встретить на этих тяжелых работах? Несчастных колонов, которых нищета прикрепляла вместе с их семьями к земле, или целые народности, находящиеся на краю рабства благодаря долговым обязательствам, отдававшим их во власть кредиторов. Эта земля уже означала для них рабство, и нетрудно решить, была ли она им в тягость. «Наследники, — восклицает Марциал, — не предавайте земле несчастного колона, так как земля, как бы мало ее ни было, тяжело давит на него».

Раз зло приняло такие огромные размеры, то можно судить и о его последствиях. Но те же авторы избавили нас от труда прибегать к догадкам, дав нам точную картину этих мрачных явлений. «Мы сдаем на откуп, — говорит Варрон, — поставку нехватящего нам зерна. Мы питаемся хлебом, который дает нам Африка и Сицилия, а наш флот идет в Кос и Хиос за сбором винограда. Италия, эта земля Сатурна, эта мать, изобилующая жатвами, по словам Вергилия, — это о ней говорит Колумелла в тех же выражениях, жалуясь

на то, что она живет данью, собираемой со всего мира. Тиберий писал сенату, что жизнь римлян отныне зависит от воли волн и ветра, а Плиний вспоминает о причине зла, указывая на заброшенные земли и на справедливое возмездие: «Земля плодородна при обработке... А мы удивляемся, что при работных домах нет с нее той же урожайности, как было во времена славных полководцев» (Плиний, XVIII, 4—5). Но пострадала не только производительность этой прекрасной земли, пострадало и ее население. Эта тягостная картина преследует Тита Ливия даже среди описаний прошедших времен. Встречаясь в истории с маленькими племенами, соседними с Римом, видя их энергичную борьбу и непрекращающиеся восстания, он удивляется, что едва находит следы их в таких странах, которые, не будь в них рабов, превратились бы в пустыню. Это беспристрастное свидетельство истории подтверждается признаниями Цицерона в одной из его речей, где он, выступая против Рулла, должен был в интересах процесса опровергать подобные утверждения как неотложную причину введения аграрных законов. Он безусловно признает все усиливающееся обезлюдение Италии, делая одну лишь оговорку. И это исключение служит блестящим доказательством истинных причин данного зла. Одна страна избежала общей участи (это может показаться очень странным) благодаря суровым мерам, жертвой которых она сделалась: это была Капуя. После поражения в войне с Ганнибалом в Капуе, лишенной всех своих прав и всех своих владений, уже не существовало ни патрициев, ни землевладельцев, а следовательно, не было и большого количества рабов. В ней жило земледельческое население, обрабатывавшее землю в пользу римлян, и сама она уцелела лишь как убежище сельских жителей, как центр снабжения и труда. Там не было ни внутренних захватов, ни грабежей извне, так как римский народ оберегал свое добро, а римский сенат — свои прерога-

тивы, которым, по его мнению, угрожала бы опасность, если бы какой-нибудь гражданин завладел этой плодородной областью — Капуей. Таким образом, она продолжала держаться, несмотря на роковое влияние, которое имело на соседние области обезлюдение в привилегированных землях, и оставалась при всем своем политическом беспорядке страной, наиболее богатой по доходам и по поставке наибольшего числа солдат.

Сельские жители, изгнанные со своих участков, устремлялись в города и особенно в Рим, куда соблазн общественных раздач привлекал всех праздных и всех нуждающихся со всей Италии. Но ни эти вспомоществования, какой бы тяжестью они ни ложились на государственную казну, ни тем более то нищенское содержание, которым оплачивались услуги клиентов, — всего этого было недостаточно, чтобы прокормить все эти разорившиеся семьи. Что оставалось на их долю? Может быть, ручной труд? Промышленность, ремесла, без сомнения, не были окончательно изгнаны из среды свободных людей, и мы в другом месте рассмотрим, какие элементы свободного населения с самого начального периода Империи могли войти в новую организацию труда. Но число рабов продолжало увеличиваться в Риме ничуть не меньше, чем и число плебеев, и рабский труд получил там не менее сильную организацию под руководством богатых фамилий, которые одновременно пользовались ими и для личных услуг и в целях спекуляции. Итак, простой народ сталкивался и в промысловых занятиях с конкуренцией рабов и встречал там то презрение, которым общественное мнение клеймило этого рода профессию. Плавт уже показывал нам, какую ступень в общественном уважении занимали эти наемные люди из тосканского квартала, эти маленькие люди городских триб, направлявшиеся либо к «Тройным воротам», либо в Веллабру, чтобы там заниматься своим скудным промыслом; и это презрительное отношение нисколько не осла-

бевало по мере роста нищеты. Гораций повторял обидные слова, сказанные древним поэтом об этой толпе, которую можно было всегда встретить на одних и тех же местах. Цицерон причислял к низшему грязному классу всех этих мелочных торговцев, наемных лиц, ремесленников. Сенека, говоря о некоторых изобретениях и усовершенствованиях в области промышленности, сделанных философами, спешит добавить, что они их сделали не как философы, а как простые люди. Однако Цицерон признавал за низшим классом право заниматься теми видами искусства, в которых требовалось знание, как-то: медициной, архитектурой, даже преподаванием (это касалось только очень немногих); он допускал в торговле всякого рода крупные спекуляции (это было дело всадников); он признавал земледелие одним из видов труда и, по примеру древних, считал его самым обильным источником богатства, самым благородным и самым достойным свободного человека; но народ был лишен земли! Из всех этих разнообразных видов деятельности, которые ему расхваливали, но к которым его не допускали или которые ему предлагали, но в обществе рабов и под гнетом того же презрения, народ не остановил своего выбора ни на одном. Не допущенный к первым, он не спешил протянуть руки ко вторым; он стал искать иных источников и нашел их в своем звании гражданина. Недалеко уже было то время, когда он будет продаваться, чтобы иметь возможность жить и спекулировать своим голосом. Голос его имеет цену, и горе тому, кто осмелится оспаривать у него под предлогом борьбы с искательством и подкупом этот последний источник существования. Если, однако, его голоса недостаточно, он продаст свои руки в тех же интересах («содействие за плату»); вскоре и ремесленные цехи последовали за остальными коллегиями, этими очагами волнений и мятежей, которые то закрывались, то восстанавливались и даже расширялись,

в зависимости от того, были ли такие волнения желательны или нет.

Таков народ. Где же те люди, которые поддержат республику среди этих бурь? «Их несметное количество, — говорит Цицерон, — а доказательством этого служит то, что республика держится», — аргумент, который исчез вместе с ней. По его определению, это прежде всего люди честные и хорошие советники, хорошо знающие свое дело, но консул Филипп (104 г. до н. э.) сказал, что в Риме нет и 2 тысяч имущих людей. Это олигархия богачей. И если нужно их охарактеризовать с точки зрения их отношения к законам, о которых идет речь, то это они противились хлебным законам, потому что, по их мнению, эти законы порождали среди народа привычки к праздности; это богачи отклоняли аграрные законы, думая, что отобрание у них их древних владений равносильно лишению республики ее защитников. Правда, чтобы обеспечить Рим защитниками, необходимы были земли, но государству были нужны не эти защитники, выступавшие с трибуны или в сенате. Ведь недостаточно было топнуть ногой по этой захваченной честолюбием земле, чтобы из нее выросли легионы.

Вот что представляли собой люди, называвшие себя почтенными и благонамеренными гражданами. Их противниками были братья Гракхи, а их жертвой — Оппий, убийца Гая; судите же об их преданности благу государства. Впрочем, они действительно радеют о нем, так как они отождествили его благо со своим, и общественные интересы перестали отличаться чем-либо от их собственных. Но пусть они тем не менее остерегаются. Согласие с трудом удерживается на такой почве. Гай, законы которого они хотели отменить, бросил среди них семя раздора: это закон о судах. Это разделение, существовавшее в древнем Риме между патрициями и плебеями, вновь появилось в их аристократической республике, в этом государстве оптиматов

(«которую ты назвал нацией»). Вновь появилось два сословия: сословие сенаторов и сословие всадников. И они не всегда останутся довольны таким распределением, в силу которого после войны на долю одних выпало управление государством, а на долю других — финансовая эксплуатация провинций. Цицерон, связанный по своему положению и по своему происхождению и с той и с другой партией и искренне радеющий о пользе государства, будет тщетно стараться примирить их даже ценой взаимной снисходительности к наиболее вопиющим злоупотреблениям. Разрыв все же произойдет, и борьба между ними примет куда более грозный характер, чем в древнем Риме: ведь среди их вождей есть всегда честолюбцы, жаждущие власти, а под ними — толпа, готовая оказать поддержку всякой попытке восстания. Эта толпа, некогда бессильная перед лицом богачей, отныне является первенствующей, так как ее голос будет решающим из-за существующей между ними розни.

Эта толпа — продукт рабства. Рабство само по себе не могло бы восторжествовать над Римом, но, прогнав с земли свободного гражданина, оспаривая у него даже в городе право на труд, который мог бы еще сохранить его честным, хотя и потерявшим прежнее уважение, оно создало в недрах римского народа эту толпу — продажную, а потому и раболепствующую. Это сила, стоящая выше рабской массы благодаря предоставленному ей праву вредить правильному ходу государственной жизни и учреждений, но равная ей и отныне почти слившаяся с ней, когда речь идет о ниспровержении государственного строя. Цицерон оправдывается в том, что он не оказал вооруженного сопротивления декрету, осуждавшему его на изгнание, тем, что поражение его сторонников отдало бы республику в руки рабов. Класс бедных, приравненный к рабам благодаря презрению к ним со стороны имущих, ничем не отличался от них и в глазах честолюб-

цев, строивших на нем свои надежды. Они рассчитывали на него и на рабов в своих заговорах, которые, как и прежде, имели целью ниспровержение государственного строя, а средством, ведущим к этому, считали поджог города. Из его среды, так же как и из среды рабов, будут набираться солдаты гражданских войн. Вот это те войны, которые могли еще интересовать его, так как после победы военная добыча доставалась Риму, а завоеванные земли находились в Италии.

7

Несмотря на то что Цезарь поддерживал заговоры и возбуждал гражданские войны, он предчувствовал свое более высокое назначение и с момента вступления на должность консула решил попытаться перевоспитать эту толпу. Такова была цель его аграрного закона. Он не заимствовал целиком всей системы братьев Гракхов, которые, нанося удар всем большим поместьям, распространяли на всю Италию благодеяния своих законов; он не восстановил также и более нового проекта Рулла, который путем продажи всех иноземных владений Рима обещал выкупить для неимущей массы Италию. Это был бы очень удачный обмен, если бы только он мог быть осуществлен и если бы деньги, вырученные за завоеванные земли, пройдя через руки Рулла и других децемвиров, действительно достигли бы намеченной цели. Проект Цезаря, более ограниченный, имел то достоинство, что возбуждал меньше опасений и был более осуществим. Он оставлял неприкосновенными государственные земли, захваченные как до Гракхов, так и после них. Он воспользовался мыслью Рулла в том ограниченном ее виде, как она выражена в одном пункте более позднего предложения Флавия, орудия в руках Помпея. Он удовлетворялся пустующими и свободными казенными землями (при этом он первоначально исключил область Капуи)

и предлагал на обычные средства государства выкупить у желающих продать, согласно оценке цензоров, некоторые удаленные земли Италии, куда бы Рим мог выселить часть своего праздного и безработного населения. Этот закон, отвергнутый вследствие подозрительности сената, был принят народом, и 20 тысяч семейств были извлечены из этой городской тины и возвращены земле, труду и достойной их жизни. Итак, Цезарь нанес удар тому двойному злу, которое подрывало силы Рима и Италии. Но это было лишь началом реформы, а уже все находившиеся в распоряжении государства земельные фонды были исчерпаны. Пришлось бы затронуть и большие государственные поместья. Когда победа сделала его господином Рима, ему пришлось бы навсегда отказаться от надежды примирить со своей властью аристократию, если бы он к потере ими свободы прибавил бы еще и эту обиду. Он отказался от аграрного закона и должен был принять хлебный закон, так как последний был неизбежным дополнением первого. Рим во что бы то ни стало должен был принять один из двух семпрониевых законов. Он принял его, но несколько видоизменил. Эта нестройная толпа, переполнявшая благодаря предшествующим смутам Рим и претендовавшая на общественные раздачи, была переписана: приблизительно половина (150 тысяч на 320 тысяч) была вычеркнута из списков, и, кроме того, были приняты меры, чтобы более регулярно заполнять в будущем освобождающиеся места. Средства, в которых Цезарь отказывал праздности, он решил предоставить труду. Он раздал земли в провинциях, выселив из Рима в разные заморские колонии 80 тысяч человек. За недостатком земли он предоставлял им работу в Италии, потребовав, чтобы при стадах, которые паслись на государственных пастбищах, третья часть пастухов была из людей свободных. Он заселял сельские местности и разгружал города. Он призывал и удерживал там лиц, кото-

рые своим присутствием не только не были в тягость, а, наоборот, могли оказывать ему полезное содействие; он запрещал сыновьям сенаторов какие бы то ни было путешествия и более чем трехлетнее пребывание вне Италии всем гражданам, достаточно богатым, чтобы отправиться путешествовать, и достаточно молодым, чтобы активно участвовать в общественной жизни (от 20 до 40 лет).

Эти начинания, прерванные второй гражданской войной, были продолжены Августом. Его пугала общественная развращенность; это был неиссякаемый источник революций, и его нельзя было уничтожить, закрывая или отменяя комиции. Если бы у этой праздной черни не было бы голоса, который она могла продавать, она, пожалуй, стала бы торговать собой. Причиной же этой праздности он считал те мероприятия, при помощи которых думал и помочь ей. Он решил отменить общественные раздачи. Но этот обычай был не столько причиной, сколько следствием, и чтобы уничтожить его, надо было сперва разрушить самую основу, Несмотря на всякого рода вспомоществования, бедность уже давно превратилась в нищету. Надо было вернуть народу возможность содержать себя трудом. Август попытался ослабить отвращение к труду и устранить те преграды, которые закрывали доступ к нему. Он в одинаковой степени покровительствовал земледелию и торговле, как и занятиям в городе; он предоставлял некоторые льготы ремесленникам; он выдавал семьям пособия для воспитания детей; он создавал колонии и стремился привлечь туда поселенцев, наделяя их более широкими гражданскими правами. Но всего этого было недостаточно, чтобы отменить общественные раздачи. Он несколько преобразовал их, подобно Цезарю исключив из списков всех посторонних, но он сохранил их и снискал себе этим даже право на расположение толпы. После него все императоры придерживались той же политики. Наиболее мудрые

старались, следуя его примеру, как мы это увидим в дальнейшем, вернуть граждан к труду как сельскому, так и городскому. Это был единственный способ борьбы против все прогрессирующего падения, так же как и единственный способ обеспечить государство укреплением его двойной основы — военной и финансовой. Но помимо этого, все они стремились щедростью снисказать народное расположение. И некоторые из них, отказавшись от мысли перевоспитать народ, еще более развращали его, как бы для того, чтобы в этом падении он окончательно потерял всякое чувство свободы. Раздачи хлеба стали производиться в более широком масштабе, число ежегодно устраиваемых зрелищ значительно увеличилось, и все, что можно было сказать о римском народе времен Империи, заключалось в двух словах: хлеба и зрелищ.

Настоящий римский народ, это свободное племя плебеев, положившее основу величию Рима, уже давно перестал существовать, в этом следует признаться. И институт рабства не только численно уменьшил его и развратил, он его в некотором роде и видоизменил. Когда Сципион Эмилиан, оставаясь непреклонным среди ропота толпы, говорил ей: «Вы не заставите меня бояться вас раскованных, которых я привел в Рим в цепях», — он мог у многих вызвать чувство злобы, но не мог быть уличен во лжи. Итак, уже в эпоху Гракхов речь шла не столько о сохранении, сколько о перерождении свободного населения. Зло завершилось в Риме, захватило Италию и начало распространяться в провинциях: «латифундии погубили Италию и скоро погубят провинции». Обширные государственные имения! Именно в эту форму облеклось разрушительное действие, но основой зла было рабство. Это оно, захватив поля, гнало свободное население в города, это оно оспаривало у него и там право на труд. Таким образом, лишенное возможности честного существования, свободное население погибало в разврате и ос-

тавляло свободными те места в городе, которые опять-таки заняли рабы, отпущенные на свободу.

Но этот рабский режим, принесший столько зла Риму, не заключал ли он в себе и исцеления благодаря обычаю отпускать рабов на волю?

Среди всех фактов, вытекающих из рабства, без сомнения, нет ни одного более полезного, более заслуживающего одобрения, чем этот обычай отпускать рабов на волю. Но последствия вольноотпущенничества, носят ли они такой характер, чтобы для их сохранения следовало параллельно сохранять и институт рабства? Это равносильно вопросу, является ли рабство в этом новом порядке явлений для народов источником гибели или жизни, и является ли отпуск на волю благом в силу того, что он здесь черпает, или в силу того, что он здесь разрушает. Итак, сделаем эту последнюю проверку. Рассмотрим вопрос об вольноотпущенничестве в Риме, расследуем, чем оно было по своему принципу, по своей форме, по своим последствиям, и мы тогда увидим, каково действительное, фактическое участие рабства в этом деле свободы.

Глава десятая

ОТПУСК НА ВОЛЮ

1

Власть главы семейства, столь ярко проявлявшаяся по отношению к рабам, выступала, может быть, еще сильнее при их освобождении. Своей властью он мог перевести раба из членов семьи в члены государства, не только освободить его, но и сделать его гражданином, распоряжаясь от своего собственного имени, как простой член государства, наделением такой привилегией, которая, казалось бы, должна была являться исключительной прерогативой народного суверенитета.

Состояние рабства, завися всецело от власти господина, могло прекратиться по одному простому его желанию. Но для того, чтобы этот акт его воли получил силу и вне пределов его семьи, было необходимо, чтобы он был облечен в ту или иную форму; отсюда два вида освобождения: освобождение законное и освобождение незаконное. Мы опишем эти формы и их следствия, и здесь же для лучшего ознакомления с древним правом, не смешивая его, однако, с правом более поздним, мы приведем заимствованные из судебной практики времен Империи тексты, которые,

очевидно, только еще более утверждают это право дальнейшим развитием, и оставим для следующего периода такие тексты, которые своим толкованием начинают изменять самый дух законов.

Законное освобождение ограничивалось выполнением некоторых торжественных формальностей. Оно происходило путем усыновления, по завещанию или принимало две более специальные формы, где воля господина требовала санкции магистрата: это отпущение на волю под видом процесса о свободе и занесения в список граждан.

Нельзя сомневаться в том, что усыновление должно относиться к законным формам освобождения, так как оно требовало санкции закона и вместе со званием сына давало все семейные права. Эта форма, правда, весьма редкая, упоминается с самых первых времен Республики. Освобождение по завещанию, освященное законами XII таблиц, было более обычной формой. Этим актом последней воли, формы которого закон точно устанавливал и вперед утверждал вытекавшие отсюда следствия, господин по своему усмотрению определял положение рабов и или непосредственно дарил им свободу, или завещал своему наследнику отпустить их на волю. В первом случае требовалось только одно условие, а именно чтобы раб был его собственностью в те два момента, которые имели решающее значение для признания законности завещания: в день, когда оно было составлено, и в тот день, когда оно получало окончательную санкцию в силу смерти его составителя; в третий момент, т. е. в тот день, когда наследник вступал во владение наследством, раб становился свободным; или если свобода давалась ему через определенный срок и на определенных условиях, то он считался на положении свободного в ожидании того, что он станет им как фактически, так и юридически с наступлением назначенного срока или в силу выполнения поставленных условий.

Ко второму способу, не столь непосредственному, прибегали преимущественно в тех случаях, когда раб не принадлежал завещателю. Это было делом наследника — освободить его, если он был его собственностью, или позаботиться о его освобождении согласно высказанной воле покойного.

Наследник, отпускавший раба на волю в силу завещания, должен был избрать один из двух вышеуказанных торжественных способов отпущения на волю: при помощи занесения в список граждан или процесса о свободе («при помощи удара жезлом»).

Освобождение посредством занесения в список граждан имело место только в эпохи переписей; оно было явлением исключительным и продержалось только до времен Веспасиана. Господин приводил своего раба к цензору, заявляя, что желает отпустить его на волю, и цензор зачислял его в римские трибы. Освобождение при помощи удара жезлом было формой наиболее древней, наиболее обычной и также наиболее долговременной. Господин приводил своего раба к претору или любому другому магистрату, имевшему «право юрисдикции и авторитет». Перед его лицом он произносил слова, дающие свободу: «да будет он свободен», — слова торжественные, исполненные священного значения. Глухонемые, лишенные возможности произносить их, были в течение долгого времени лишены права отпустить на волю этим способом. В то же самое время он поворачивал его как бы для того, чтобы выпустить его из рук, а магистрат (или от его имени ликтор), ударяя его жезлом, эмблемой власти, закреплял этот акт господина. Эта формальность не требовала никакой торжественной обстановки ни в смысле времени, ни места. Можно было в любой момент и в любом месте — на улице, в банях, в деревне — представить раба магистрату и отпустить его на волю. Необходимо было только, чтобы магистрат занимал по своему положению более высокое место, чем господин, чтобы сообщить

этому акту действительно высшую санкцию. Так, императоры, по примеру Августа, освобождали одним произнесением установленной формулы, желая, без сомнения, сохранить за своим словом характер высшей власти. Но отпущение на волю под видом процесса о свободе тем не менее оставалось главным видом публичного права для отпуска на волю. Таким же образом некогда даровали свободу рабу Виндицию, открывшему заговор сторонников Тарквиния и давшему, согласно традиции или, вернее, неправильному словопроизводству, свое имя этому способу дарования свободы. Таким же способом продолжали отпускать на волю за известные заслуги перед императором или государством.

Не считая исключительных случаев, вольноотпущенник должен был казне двадцатую часть своей стоимости как раба.

Отпущение на волю «помимо закона» не требовало никаких особых формальностей. Раб становился свободным по воле своего господина, выраженной или в письме, или на словах в присутствии друзей, или во время пира, иногда в театре посредством передачи шапочки как эмблемы свободы или каким-либо другим способом, перешедшим затем в обычай. Воля господина, выраженная в данном случае явно, иногда подразумевалась с теми же последствиями для раба: так, раб, назначенный опекуном детей господина, становился свободным. В силу такого же подразумеваемого акта своей воли раб мог отпустить на волю раба второго разряда, составляющего часть его пекулия. То же самое имело место в том случае, если он был продан с известными условиями, с которыми покупатель не желал считаться; так, например, женщина, изнасилованная этим последним, несмотря на оговорку, отказывавшую ему в этом праве, становилась свободной и в силу, так сказать, скрытой воли первого господина считалась его вольноотпущенницей.

Эти два способа могли дать повод к подобным же проявлениям со стороны рабов: они могли обрезать волосы, как моряки, спасшиеся от кораблекрушения; или, как бы призывая в свидетели божество, отправиться в храм богини Феронии, чтобы надеть там шапочку вольноотпущенника. Но этот способ отпущения на волю отличался как по своей форме, так и по своим последствиям. Все эти разновидности «внезаконного» отпущения на волю носили неполный и ненадежный характер; вольноотпущенный был скорее избавлен от тягостных условий рабства, чем действительно свободен. Продолжая зависеть от произвола господина, за исключением редких случаев заступничества претора, он в течение всей своей жизни работал на господина и после своей смерти оставлял ему все свое имущество. Он был свободен, но не мог пользоваться плодами этой свободы; в сущности, он оставался и умирал рабом, все его имущество было все тем же пекулием, которым он мог временно пользоваться, но не располагать им. Закон Юния Норбана (19 г. до н. э.) внес некоторую определенность в положение этих вольноотпущенников, приравняв их к членам латинских колоний: отсюда их название «Юниевы латиняне». Но предоставляя им несколько больше гарантий при жизни, этот закон не внес никаких изменений в то положение, в котором они умирали, и Траян даже повелел, чтобы тот, кто милостью императора был из рабского состояния возведен в звание гражданина, считался после смерти рабом. Лишь законное отпущение на волю влекло за собой полные и прочные права. Оно ставило свободу под защиту гражданских прав, и она могла быть отменена лишь в случаях тяжелых проступков, суждение о которых подлежало магистрату, а не господину. Мы считаем лишним указывать на то, что господин всегда мог добавить к этим «внезаконным» отпущениям на волю то, чего там не хватало, путем второго отпущения, согласного с требованиями закона.

Впрочем, положение получившего полное отпущение на волю во многом отличалось от положения человека, пользовавшегося полной свободой, и вольноотпущенник, навсегда избавляясь от рабства, мог занять весьма различное положение как по отношению к той семье, из которой он вышел, так и по отношению к государству, членом которого он становился. Сначала мы рассмотрим его частно-правовое положение.

2

Если раб был освобожден в силу закона, он пользовался покровительством этого самого закона, у него не оставалось никаких обязательств ни по отношению к своему прежнему господину, ни по отношению к его представителям. Если же в противоположность этому раб отпускался на волю по инициативе своего господина, то этот последний сохранял за ним право патронатства. Государство, города, храмы, коллегии, так же как и частные лица, сохраняли это право по отношению к своим вольноотпущенникам, и граждане передавали это право своим детям. Впрочем, при наиболее употребительном частными лицами способе отпущения на волю по завещанию один и тот же принцип мог в зависимости от обстоятельств в каждом отдельном случае иметь различные последствия. Если сам господин отпускал на волю раба, то он становился его патроном, и так как это звание, так же как и завещанная свобода вступали в силу только с момента выполнения завещания, т. е. с момента смерти завещателя, то он уносил его с собой в могилу, и вольноотпущенник считался «вольноотпущенником мертвеца». Если он завещал своему наследнику отпустить раба на волю, то он передавал ему вместе с правом господина и свое право на патронат. Но наследник не мог передать его другому вместе со своим новым завещанием. Ведь в

завещании был указан именно он, и рабу не всегда было безразлично иметь другого господина, например, молодого человека, права которого могли легко продлиться до самой смерти его нового клиента, вместо старика, близкая кончина которого должна была в самом непродолжительном времени разорвать эти последние узы зависимости, так как самым счастливым вольноотпущенником считался тот, чей патрон находился в царстве мертвых.

Эти признания юристов лучше всего свидетельствуют об истинной природе этого нового положения и о том, каким образом распределялись между патроном и вольноотпущенником права и обязанности.

Патрон был естественным защитником своих вольноотпущенников: он давал им свое родовое имя, чтобы оно было в том свободном обществе, в которое они вступали, знаком его могущества. Он должен был защищать их перед судом как своих клиентов; он должен был даже защищать их и помимо судов, против всякого злоупотребления властей, а злоупотребления были очень многочисленны, особенно в провинциях, где единственной их защитой была их собственная свобода или покровительство богов. В случае их несовершеннолетия он становился их опекуном, и это опекунство по отношению к женщинам прекращалось только с их замужеством. В случае нужды он должен был доставлять им пропитание, после их смерти он давал им место в своей фамильной гробнице. Этот последний обычай был сильно распространен, несмотря на то, что патрон имел полную возможность нарушить его. Что касается других обычаев, то некоторые из них были обязательны, грозя в случае невыполнения потерей прав, связанных с его званием. Но эти права были настолько значительны, что стоили некоторых жертв. Некоторые из обязательств патрона, как, например, опека, были только законным следствием тех выгод, которые были с ней связаны.

Что касается обязанностей вольноотпущенников, то некоторые из них были обязательны для всех, будучи связаны с самым актом отпущения на волю, другие — специально выговорены в условиях: при отпуске на волю господином в личных интересах.

Всякий вольноотпущенник должен был относиться к своему патрону с уважением и оказывать ему всевозможные услуги. Уважение, которое предписывалось рабу по отношению к своему патрону, не позволяло ему учинять против него позорящего его иска, — он должен был стерпеть оскорбление, он даже должен был насколько возможно воздерживаться от подачи иска об удовлетворении фактических убытков. И если все же приходилось обращаться к законным властям, то делать это с крайней осторожностью. Добровольные услуги, оказываемые ему вольноотпущенниками, едва ли чем отличались от услуг клиентов. Они должны были сопровождать патрона, помогать ему деньгами, если он выдавал замуж свою дочь и если приходилось выкупать его самого, если на него был наложен какой-нибудь штраф или если он разорялся вследствие постигшего его несчастья. Эти услуги носили не добровольный характер, а являлись обязательными. Тот, кто уклонялся от них, подвергался наказанию, сперва легкому. Оно усиливалось, если он от простого нерадения переходил к более серьезным проступкам: оскорбление или бесчестие каралось временным изгнанием; акты насилия — ссылкой на рудники, так же как и клевета, непослушание и пр. По постановлению Клавдия вольноотпущенник был снова возвращен в состояние рабства за то, что он поднял против своего господина обвинение в государственном преступлении; и более позднее законодательство, после некоторых колебаний, вернулось к системе самых суровых репрессий, к лишению свободы в наиболее серьезных случаях.

К этим обязанностям, вытекавшим из самого факта

отпущения на волю, господин мог добавить и некоторые специальные условия. Одни из них должны были предшествовать, другие следовать за освобождением. Так, рабу давали иногда свободу за уплату определенной суммы денег. Этот способ получения свободы («да заплатят деньги за свою голову») был древним и очень распространенным. Раб или сам давал, или поручал кому-нибудь передать господину назначенную сумму. Таким образом раб или сохранял с ним связь как вольноотпущенник, или же одновременно освобождался и от патронатства господина. В первом случае он мог, если не было (со стороны хозяина) противоположного распоряжения, заплатить своим пекулием, во втором — он мог сделать это только с ведома и разрешения своего господина. Вместо денег можно было требовать выполнения определенных работ: от архитектора — постройки здания, от скульптора — изваяния статуи, от живописца — росписи стен и пр. Если эти оговорки содержались в завещании, то они, как и всякое другое поставленное условие, делали раба свободным по положению с момента ввода в наследство, но откладывали его фактическую свободу до тех пор, пока не будет закончена работа. Таким образом, они устанавливали состояние, являющееся как бы переходом к тому, которое было связано со свободой.

Эти условия, видоизменявшие положение вольноотпущенников, в течение долгого времени зависели только от произвола господина. Отпуская раба на волю, он оставлял за собой право разорвать или так или иначе сохранить те узы, которые держали раба в зависимости от него. Иногда господин давал рабу не только свободу: он оставлял ему весь его пекулий, он освобождал его от всех повинностей и отказывался от своих прав на патронатство. Иногда он давал ему право жить даже не работая, на попечении наследника. Но обычное право значительно чаще изменялось в противоположном направлении. Если господин должен был

предоставить вольноотпущеннику свободу и все то, что необходимо из нее вытекало, т. е. свободу личности и все связанные с ней права, то он мог оставить за собой все остальное: его время, его труд, произведения его труда как слуги и как ремесленника. Иногда раба отпускали на волю только для того, чтобы он с большим достоинством мог служить у домашних алтарей или с большей важностью исполнял свои обычные обязанности при своем господине: положение, которого при известных условиях могли добиваться как милости. Плавт показывает нам это в одной из сцен «Близнецов», и в истории встречается немало замечательных примеров. Кто не знает Тирона и тех уз, которые связывали его с Цицероном, с его прежним господином, уз, возникших на основе рабства, но смягченных истинной дружбой? Также во многих надписях времен Империи вольноотпущенники сохраняют имена, указывающие на их обязанности во времена рабства, которые они, без сомнения, продолжали выполнять и в своем новом положении. Колумбарий императрицы Ливии показывает нам, что вольноотпущенники смешивались с рабами как на службе во дворце, так и в вечном покое этого убежища смерти.

В иных случаях, не оставляя за вольноотпущенником никаких обязанностей, но и не предоставляя ему возможности пользоваться преимуществами, связанными с постоянным пребыванием в доме, от него требовали службы своими талантами и своим искусством. Так, пантомимы или врачи должны были служить своим искусством не только патрону, но и друзьям патрона. В этом отношении шли еще дальше: человек небогатый, патрон пантомима, врач, обучивший рабов своему искусству, мог рациональным образом использовать свои права, лишь эксплуатируя их труд вне дома. Трималхион, этот бывший раб, на примере которого Петроний хотел показать происхождение, природу и приложение самых больших капиталов времен Клав-

дия и Нерона, этот самый Трималхион продолжал пускать деньги в оборот через посредство своих вольноотпущенников даже после того, как сам удалился от дел. Наконец, бывало и так, что при отпущении на волю господин выговаривал себе определенный денежный оброк или определенное число трудовых дней (таков был настоящий смысл слова «орега»). К этому могли принудить всякого вольноотпущенника, и клятву, которой он связывал себя после отпущения, должны были давать как взрослые, так и несовершеннолетние, так как были и такие службы, которые соответствовали их возрасту. Впрочем, род этих работ не был точно обозначен: это были те работы, которыми занимался вольноотпущенник до того дня, когда их могли от него потребовать, и, по букве закона, он должен был выполнять их на свой собственный счет.

Итак, мы видим, что некогда абсолютная власть господина, превратившись в право патронатства, тяжело давила на свободу вольноотпущенника. И злоупотребления приняли такие большие размеры, что уже в эпоху Республики потребовалось вмешательство закона. Один претор, известный своей честностью, тот самый Рутилий, который своей прямоотой возбудил против себя всех всадников и был наказан за это ссылкой, опубликовал эдикт, имевший целью удержать в разумных границах эти противозаконные требования, поддерживавшие и после отпущения на волю жестокий режим рабства под предлогом взимания платы за чрезмерные благодеяния дарованной свободы. Но многое еще всецело зависело от произвола; дальше мы увидим, что законодательство времен Империи своими разъяснениями сделало значительные добавления к часто совершенно бессильным постановлениям преторского эдикта.

Кроме этих повинностей, тяжелым бременем лежавших на вольноотпущенниках в течение всей их жизни и связанных с их личностью, было другое обя-

зательство, касавшееся их имущества после смерти и состоявшее в предполагаемом праве патрона наследовать им, причем в данном случае роль, которую играл претор, была совсем иная. Закон XII таблиц, независимо от того, были ли его постановления впоследствии распространены на вольноотпущенников или он сам имел в виду объединить их с клиентами уравнением их прав и обязанностей, является в этом отношении наиболее мягким и справедливым, так как в данном случае строгая логика приводила к справедливости. Он делал патрона наследником вольноотпущенника только в случае отсутствия завещания и его собственных, личных наследников (в зависимости от воли покойного), относясь с уважением как к правам семьи, так и к тому высшему праву последней воли умирающего, которое для граждан считалось священным; а ведь вольноотпущенник был гражданином. Но уже с ранних пор законоведы умели обходить законы. Проявляя больше гуманности в том случае, если закон был суров, они умели видоизменять его постановления, если его простое и непосредственное применение к новым гражданам могло повредить интересам их прежних господ.

Они приняли оба принципа закона XII таблиц, дав одному новое толкование и видоизменив другой. Что касается права наследования детьми вольноотпущенника, то они признали его по отношению к родным детям (законным, не приемным), распространяя его на них даже в том случае, если они уже достигли совершеннолетия или были усыновлены чужой семьей, лишь бы только они не были объявлены лишенными наследства. Они ограничили закон для приемных детей, предоставив патрону половинную часть наследства. Что касается права абсолютной свободы завещания, то они и его изменили. По примеру претора, признавшего право участия патрона в торговых доходах вольноотпущенника, они обеспечили за ним половину его наследства, вводя его во владение вопреки за-

вещанию, если он был в нем обойден или получал только меньшую долю; разве вольноотпущенник в том и другом случае не проявлял неблагодарности, и разве можно было из уважения к его воле санкционировать неблагодарность? Это право патрона распространилось даже на вольноотпущенника, получившего от императора милостивое разрешение носить золотое кольцо, знак принадлежности к сословию всадников. Оно сохранялось за патроном, осужденным на изгнание, если он затем был возвращен, и переходило к его детям даже в том случае, если ссылка не была отменена. Исключен был только сын, лишенный наследства, если его право наследовать вольноотпущеннику не было специально оговорено отцом, и тот патрон, который возвел на покойного ложное обвинение в государственном преступлении. До этого момента права законных детей были по крайней мере обеспечены. Закон Папия сделал дальнейший шаг в ущерб последним и в интересах патрона. Он устанавливал известные предельные нормы для капитала и для числа детей вольноотпущенника. Если его состояние было меньше 100 тысяч сестерций, то в силе оставалось прежнее право, но если оно превышало эту норму и если у него было меньше трех детей, то патрон получал часть, приходившуюся на одного человека, а именно приходившуюся на одного мужчину.

Таково было право во времена Республики и Империи. Эти изменения, или, лучше сказать, это последовательное развитие законодательства в интересах патронатства, были вновь пересмотрены в новом законодательстве Юстиниана, в котором он подвергнул пересмотру все основные элементы и привел их в систему, соответствующую новому духу, который, как мы увидим из следующей книги, одержал верх.

Отпущение на волю, как это видно из предыдущего, даруя свободу, тем не менее могло сильно стеснять независимость человека в его частных отноше-

ях. Оно в той же степени отражалось и на его общественном положении, хотя и давало ему звание гражданина.

Вольноотпущенник, хотя и был уже гражданином, все еще носил на себе печать рабства. Она стиралась только в третьем поколении, в его внуках. До тех пор она выражалась во внешних признаках (запрещение носить претексту, а до достижения совершеннолетия — буллу, служившую украшением ребенка свободного человека) и в фактическом ограничении гражданских и политических прав. Это не должно удивлять, поскольку и плебею стоило много труда завоевать их.

Право вступления в брачные отношения, по закону XII таблиц не допускавшиеся между патрициями и плебеями и разрешенные им в силу закона Канулея лишь с 445 г. до н. э., было несколько ограничено и для вольноотпущенников. Они не могли вступить в брак ни с дочерью своего патрона, ни с дочерью сенатора, если только эти последние не упали так низко, что к их позору нельзя было уже ничего прибавить; точно так же был запрещен брак между сенатором или его сыном и вольноотпущенницей. То же запрещалось или по меньшей мере советовалось патрону. Закон считал более приличным для него, если бы она стала его конкубиной (наложницей). Право голоса, казавшееся неотделимым от звания гражданина, на практике было странным образом ограничено для вольноотпущенников. Не имея обычно земельных участков, они, само собой разумеется, были записаны в городские трибы. То, что вначале являлось лишь довольно распространенным фактом, было признано правилом цензорами, может быть, начиная уже с Фабия (304 г. до н. э.), прозванного Великим за восстановление нарушенного революционными мероприятиями Аппия равновесия в распределении граждан, а может быть, только в начале второй Пунической войны. В непосредственно предшествовавшей ей переписи вольноотпущенники были

объединены в четырех городских трибах. Поэтому во всех собраниях по трибам они имели только четыре голоса из 35. Такую же незначительную роль, несмотря на их богатство, они играли в собраниях по центуриям, с тех пор как организация по классам была приспособлена к делению на 35 триб. Наконец, им запретили выполнение общественных обязанностей. Приписанные к своим прежним господам на время выполнения ими своих служебных обязанностей в качестве ординарцев и помощников и допущенные к занятию низших должностей, глашатаев, рассыльных, ликторов и гораздо реже счетоводов, они не имели доступа к высшим магистратурам, и закон Визелия (23 г. до н. э.) определял наказания для тех, кто занимал их обманным путем. Они даже не имели права служить в войске, если не были освобождены от всяких обязательств служебного характера по отношению к своему господину. Одни только денежные повинности налагались на них без всякой меры, и во время гражданских войн злоупотребления достигли таких пределов, что вольноотпущенники восстали, распространяя повсюду грабежи и пожары (31 г. до н. э.). Впрочем, этими ограничениями нередко пренебрегали, и преимущества граждан были распространены и на вольноотпущенников при содействии или без него со стороны государства. Они были допущены в войска; опасности, грозившие государству, как и смуты гражданских войн, призывали их туда, как и рабов. На народных собраниях они стали фигурировать вне тех тесных рамок, в которые их заключили. Сульпиций, агент Мария, продавал всем желающим право зачисления в сельские трибы. Они получили доступ и ко всем почетным должностям. Аппий хотел ввести в сенат сыновей вольноотпущенников. Цезарь не раз осуществлял этот проект во время гражданских войн. Впрочем, в третьем поколении печать происхождения этого нового разряда граждан стиралась вплоть до имени: они становились сво-

боднорожденными; они так тесно сливались с остальной массой народа, что в конце концов местный народный элемент исчез в массе бывших рабов. Но в этой массе народа, ставшей столь однородной, под этими старинными именами, возрождавшимися вместе с вольноотпущенниками, они не ускользали от взгляда настоящих римлян, открывших им доступ к гражданству. Мы выше привели жестокие и высокомерные слова, брошенные Сципионом в ответ на ропот толпы.

3

Каким же образом произошло это превращение? Как могло рабство дать такое количество вольноотпущенников, которое оказалось в состоянии заполнить опустевшие кадры древнего Рима?

Увеличение числа актов отпущения на волю не предполагало обязательно такого общественного настроения, которое благоприятствовало бы пропаганде свободы, как это, по-видимому, вытекало из самого факта. Интерес господина, являвшийся, как мы это видели, главным фактором, определяющим условия рабского существования, не ставил этому никаких препятствий. Каковы же на самом деле были результаты этих освобождений, как бы многочисленны они ни были? Обновление штата рабов. Меняли раба, причем часто расходы падали на нового вольноотпущенника, так как нередко бывали случаи, когда господин освобождал раба за плату, сумма которой не только равнялась, но иногда даже превышала его покупную стоимость. Обычно личность раба, прошедшего несколько лет в этом состоянии, имела ценность только для него самого. Если господин употреблял полученные деньги для той же цели, то число его рабов не уменьшалось, а число его вольноотпущенников увеличивалось. Что касается раба, то хозяин мог найти себе новичка вместо своего ветерана; как вольноотпущенник, этот ста-

рый раб доставлял ему новые доходы. Мы уже видели, что вольноотпущенник в силу общих обязанностей относится к своему патрону с уважением и оказывает ему материальную поддержку, становится для него источником доходов в частной жизни и помощником в общественной жизни. Он должен был отдавать ему свой голос во время выборов и свою долю из общественных раздач (некоторые господа ставили это условием отпущения на волю). Обычные обязанности вольноотпущенника господин умел увеличивать дополнительными требованиями. Он мог, как это видно из предыдущего, выговорить себе определенную часть из получаемых им доходов; также, как правило, ему принадлежала известная доля из его наследства. Вполне понятно, что при таких барышах, получаемых взамен некоторых уступок, обычно окупавшихся в первые же дни, обычай отпущения на волю рабов сильно распространился, причем это проявление гуманности не ставило больших требований к чувству бескорыстия со стороны господина. За отсутствием подобных мотивов им могло руководить также и чувство тщеславия. Многие граждане, умирая, отпускали на волю всю массу своих рабов лишь для того, чтобы на похоронах их катафалк сопровождала более многочисленная толпа новых вольноотпущенников. Число вольноотпущенников сильно возрастало в эпохи войн и завоеваний, когда на рынке легко возобновлялся этот человеческий товар, который изымался из потребления и торговли в результате отпущений на волю. Цицерон утверждал, что хороший раб мог выкупить свою свободу по прошествии шести лет. Не так обстояло дело с одним бедным скороходом, «который бегал с таким усердием, бегал шесть лет и четыре месяца» и получил волю... только в день своей смерти!

Это либеральное движение, с которым так хорошо уживались частные интересы, не содержало в себе ничего такого, что бы противоречило интересам госу-

дарства или по крайней мере интересам того класса, который к концу республиканского периода держал в своих руках власть. Раб вытеснил свободного человека из сельского хозяйства, вольноотпущенник занял его место в городах, но римскую знать мало беспокоила эта перемена. Она создала себе свой обособленный мир, высшее общество знатных и богатых лиц; народ находился вне этих пределов. Институт рабства, менявший его облик в результате непрекращающегося притока вольноотпущенников, казалось, шел навстречу ее желаниям, вновь возрождая под ее патронатством древнее, давно угасшее поколение клиентов. Это было почти то самое положение, какое предлагал Аппий, когда народ покинул город: вместо непокорных плебеев — клиенты в Риме, а рабы в войсках. Превращение произошло как бы само собой. После этих народных движений и угроз, раздававшихся со Священной горы, теперь осталась только тень прежнего трибуната. Но институт патронатства, полезный при несовершенном общественном строе, где слабый, не пользуясь защитой закона, нуждался в покровительстве сильного, был совершенно лишним при режиме равенства. Он нарушал равновесие, он становился опасным, когда в дальнейшем он стал укрепляться благодаря этим самым неизбежным узам. Он создавал вокруг немногих знатных фамилий незаконную силу в недрах самого государства, силу раболепную и слепую, над которой они вскоре потеряют всякую власть, так как в третьем поколении клиенты ускользают из-под их власти, становясь свободными. Договор кончается, и клиенты сохраняют только свои рабские привычки. Свободные следовать за кем угодно, они продаются расточительным честолюбцам. Итак, мы встречаем вновь под новой оболочкой это страшное орудие, которое уничтожило как аристократию, так и все те вольности, право защищать которые они оставили за собой.

Когда порядок восстановился и явилась возмож-

ность на свободе поразмыслить о падении государства, то причину его увидели в упадке общественного духа и прежде всего в гибели свободного населения и беспорядочном, безудержном росте числа вольноотпущенников. Особенный страх внушало это последнее обстоятельство. Подумывали даже о том, чтобы избавиться от вольноотпущенников таким же способом, как некогда избавились от плебеев, отослав их в колонии. Но независимо от этого стали изыскивать и другие средства.

Чтобы ограничить право отпущения на волю, выдвинули несколько причин неправомочности господина или недостойности раба. Нельзя было отпускать на волю раба в ущерб правам кредитора, города или государственной казны, было запрещено отпускать его, чтобы спасти от пытки, — это значило бы обманывать закон; нельзя было отпускать раба, обвинявшегося в уголовном преступлении, под предлогом недостойности раба в силу предшествовавшего клейма по приговору суда. С другой стороны, раб, являвшийся соучастником господина в преступлении похищения человека, мог получить свободу не раньше чем по прошествии десяти лет. В этой милости навсегда отказывали рабу, присужденному к пожизненному наказанию, и даже тому рабу, который по желанию своего господина был завещан или продан с условием никогда не отпускать его на волю. Но эти редкие исключения из общего правила нисколько не уменьшали злоупотреблений. Отпущения на волю продолжали быть столь же многочисленными и беспорядочными и толпами выбрасывали на улицы этих новых граждан, так плохо подготовленных к использованию своих прав. Многие склонялись к тому, чтобы лишить их решительно всех гражданских прав. «Многие, — пишет Дионисий Галикарнасский, — возмущаются, видя этих недостойных вольноотпущенников, и осуждают обычай, предоставляющий подобным людям права суверенного города, призванного

повелевать миром. Что касается меня, то я не считаю, что из-за этого следует отменить обычай из опасения, что это будет причиной еще худшего зла для государства. Я полагал бы более желательным насколько возможно ограничить его, чтобы такое огромное количество бесчестных и грязных людей не наводняло больше республику. Цензоры или по крайней мере консулы (так как тут необходимы магистраты, облеченные большой властью) должны ознакомиться с теми, кого отпускают на волю, с их происхождением, со способом и причинами их освобождения, подобно тому как производят чистку сенаторам и всадникам. Те, которые будут признаны достойными стать гражданами, будут внесены в списки и распределены между трибами с правом жить в городе. Что же касается этой толпы негодяев и развратников, то их следует удалить из города под благовидным предлогом выселения в колонию».

Август не пошел так далеко, как это предлагал Дионисий Галикарнасский; однако, сохранив все предыдущие ограничения, он издал еще новые, более общего характера. Закон Элия Сенция установил новый случай неправомочности как для господина, так и для раба. Господину, не достигшему 20 лет, не разрешалось отпускать на волю, а рабу, не достигшему 30 лет, — выходить на волю без соблюдения самых строгих формальностей: посредничества претора, разрешения комиссии магистратов и серьезного основания. Серьезные основания могли распространяться только на рабов определенных категорий: на отца или мать, на сына или дочь, на побочных братьев и сестер; на учителя, кормилицу или питомца, на раба, которого хотели сделать своим доверенным, или женщину, на которой хотели жениться, при условии, что брак состоится не позднее чем через шесть месяцев. Кроме этих ограничений по возрасту закон Фурия Каниния (8 г. н. э.) урезал право завещательного отпуска на волю. Согласно требованию закона, рабов разрешалось от-

пускать на волю не целыми толпами, а только персонально, каждого в отдельности. Он устанавливал также число, пропорциональное количеству рабов, каким должна была ограничиваться щедрость завещателя. Господин, имевший меньше чем 10 рабов, мог отпустить половину; имевший от 10 до 30 — треть, от 100 до 500 — пятую часть и ни в коем случае больше 100 рабов. Кроме этих ограничений, касавшихся прав отпущения на волю, были установлены известные иерархические ступени в положении вольноотпущенников. Отпущенные на законном основании получали права гражданства, для вольноотпущенных на «внезаконном» основании было вскоре установлено латинское право, независимо от того, не желал ли господин прибегнуть к выполнению установленных и освященных форм отпущения на волю или фактически не мог, как, например, в том случае, если раб не достиг 30-летнего возраста или если господин, являясь его собственником, все же не имел права полной квинтитской собственности. Наконец, независимо от формы отпущения, в положение «подданных» становились все рабы, осужденные за преступления, публично наказанные, клейменые, заключенные в тюрьму или преданные на съедение диким зверям, если они почему-либо получали впоследствии свободу. Мы уже рассмотрели, каково было положение первых двух групп и каким образом из первой переходили во вторую. Что касается третьей группы, то она, неся одинаковые повинности со второй, никогда не могла возвыситься до разряда граждан.

Такова совокупность мероприятий, направленных во время правления Августа против вольноотпущенников и вполне согласующихся с общей его политикой. Будучи главой государства, он с неудовольствием взирал на то, как господа, на законном основании, руководимые скупостью или тщеславием и нисколько не заботясь об интересах общества, расточали эти граж-

данские привилегии, которыми, как он старался показать, он сам так дорожил. Вознесенный к власти волной революционных движений, он боялся дальнейшего их развития и видел вечную угрозу этого в быстром росте числа новых граждан, которые только и ждали какого-нибудь неожиданного ниспровержения установленного порядка, чтобы возвыситься в свою очередь. Кроме того, если весь государственный строй покоился еще на основе гражданских прав, то, казалось, нельзя было без большого риска сменить весь материал, из которого слагалось государство, так сказать, камень за камнем. Август, создавая империю, испугался подвижности и непостоянства той почвы, на которой он собирался ее воздвигнуть. Он стремился придать народной массе более постоянный характер и думал достигнуть этой цели, ограничивая право отпущения на волю. При этом он не замечал, что переменчивость римской народной толпы была результатом двойного течения. Один поток увлекал свободного человека, другой ставил на его место вольноотпущенника. Устранить один поток, не уничтожив другой, — это значило подойти не к реформе, а к образованию пустого места.

Но если проведение реформ было делом трудным, то пустота была немыслима. Волна рабства под влиянием завоеваний и роскоши поднялась слишком высоко. Она переливалась через край благодаря отпущениям на волю, и не было никакой силы, которая могла бы остановить ее. Август, всячески стараясь преградить ей дорогу, не решался открыто бороться с этим течением, и если в своей приписке к духовному завещанию он рекомендовал Тиберию эту политику умеренного сопротивления, то сам он был вынужден плыть по течению, которое вскоре увлекло за собой и империю.

Отныне это стало высшим законом в государстве. Суверенная власть перешла в руки императора. Государство, в силу сложившихся обстоятельств, постепен-

но с неизбежной последовательностью отождествлялось с императорским двором. Но кем же управлялся этот двор? Вольноотпущенниками и рабами.

Итак, рабы и вольноотпущенники роковым образом забирали в свои руки власть. Август опять-таки сделал попытку отстранить их, прибегнув к хитрости. Произведя переворот в своих интересах, он, однако, не желал ниспровержения классового общественного порядка. Он хотел сохранить прежнюю иерархию, но так как сенаторы вполне справедливо считались со стороны власти, ставшей на их место, элементом неблагонадежным, то Август стал искать себе опору и новых агентов своей власти среди сословия всадников. Всадникам он предоставлял придворные должности, которым предстояло в скором времени стать высшими государственными должностями. Но и его собственный двор был не чем иным, как обычной иерархией организованного персонала рабов и вольноотпущенников с добавлением одной лишней ступени. Но при распределении должностей это различие ступеней не всегда соблюдалось. Вольноотпущенники встречались с рабами как в занятиях ремеслами, так и в личной придворной службе. Они встречались и при исполнении самых высоких функций наблюдения и управления. Вольноотпущенники и даже рабы занимали такие административные должности, которые, казалось бы, должны были быть уделом всадников. После первых двух царствований для них перестали существовать преграды. Они заставляли давать себе всадническое достоинство, невзирая на древний закон, требовавший свободы двух поколений. Клавдий щедро раздавал это звание всем категориям своих прежних слуг. Они заставили открыть себе доступ в сенат, они добивались назначения правителями провинций и целых царств, и даже не покидая службы при дворе, они могли повсюду распространять свое влияние. Будучи прокураторами в императорских провинциях и заведывая доходами импе-

ратора, они часто захватывали и судебную власть наместников. Занимая должность министра двора и связанные с императором личной службой, заведывая финансами, приемом прошений, рассмотрением жалоб и секретариатом, они забрали в свои руки руководство всякого рода делами. Они управляли от имени Клавдия, они управляли еще и при Гальбе, продавая чины и должности и всюду протягивая свои проворные жадные руки как слуги старого хозяина. Плиний Младший, характеризуя этот период Империи, говорит, что большинство императоров до Траяна было господами граждан и рабами вольноотпущенников.

Кому, на самом деле, неизвестны эти заклеименные историей имена: Каллиста, пользовавшегося огромным влиянием уже в управление Калигулы и фигурировавшего вместе с Паллантом среди управителей Клавдия; Нарцисса и Палланта, о которых по случаю истощения казны говорили, что император был бы богат, если бы эти два человека поделились с ним своим имуществом; Гелия, который во время отсутствия Нерона в качестве доверенного лица выносил приговоры о конфискации имущества и смертной казни всадникам и сенаторам, как будто бы жизнь и имущество высших лиц государства были отданы в его власть; Оцела, человека с грязным прошлым, причисленного в правление Гальбы к всадническому сословию и претендовавшего на должность префекта претория; вольноотпущенника Вителлия Азиатика, бывшего грязной игрушкой его страстей и прихотей, прежде чем сделаться главным действующим лицом его правления; Горма, возведенного в сословие всадников Веспасианом; камерария Домициана Парфения, начальника дворцовой стражи. Кому неизвестны наглость их правления, их бесстыдство, успех их домогательств, смелость их хищений, высокомерная роскошь! Они собирали богатства всякими способами: продажей императорских милостей, продажей просто новостей и нужных

сведений. Сестры консулов и союзников императора, дочери царей были удостоены чести разделить с ними ложе. Роскошь их образа жизни не уступала царской. Их чертоги блестели золотом и мрамором, затмевая собой блеск Капитолия: роскошные бани, парки, оранжереи, сады, не уступавшие садам Алкиноя, а после смерти — великолепные мавзолеи, возвышавшиеся рядом с консульскими фобницами вдоль больших общественных дорог. Свидетелем может служить Лициний, прежний раб Цезаря, сделавшийся при Августе прокуратором Галлии, чья гробница своим великолепием оскорбляла общественное чувство нравственности, чем воспользовалась сатира для нападок на богов. Даже Плиний, одобрявший Траяна за то, что он несколько обуздал вольноотпущенников, все же отводит им еще очень большое место. К своим нападкам против вольноотпущенников более раннего периода он примешивает похвалы современным ему вольноотпущенникам, «тем более достойным, — говорит он, — принять оказываемый им почет, что он не является более вынужденным». Чтобы воздавать вольноотпущенникам все эти почести, не требовалось давления со стороны императора. Л. Вителлий, отец императора, поместил золоченые бюсты Нарцисса и Палланта среди изображений домашних богов. Рассказывали, что Адриан, чтобы обеспечить свое усыновление Траяном, не пренебрегал заискивать перед его вольноотпущенниками. Он сам был менее снисходителен к своим, и в этом его примеру следовал Антоний Пий. Но Марк Аврелий, чрезвычайно строгий по отношению к своим собственным отпущенникам, был слишком мягок по отношению к отпущенникам своего соправителя Вера. В правление Коммода вместе с Клеандром повторились, приняв еще более отталкивающую форму, все скандалы времен Клавдия.

Раз вольноотпущенники находились у власти, то само собой разумеется, что представители их класса

широко распространялись повсюду. Они заполняли трибы, курии, низшие должности при магистратах и жрецах. Они составляли городские когорты в Риме, они были допущены в легионы, их же мы встречаем в войсках Оттона и в первых рядах офицерства при Вителлин. Раз вольноотпущенники занимали такое большое место в государстве и им подобные диктовали законы, то как могли остаться в силе мероприятия, принятые против отпущения на волю в начальный период Империи? Некогда пришлось издать эдикт, чтобы защитить вольноотпущенника против злоупотреблений господина. После продолжительных сатурналий в правление Клавдия пришлось подумать о средствах защиты самих господ и патронов от наглости отпущенников. При Нероне в сенате было внесено предложение наказывать лишением свободы за проступки, свидетельствующие о проявлении неблагодарности. Но этот проект был отклонен: боялись решиться на общие меры, так как их сословие было слишком могущественно!

Следует ли порицать эти послабления и можно ли разделять негодование римлян несколько более ранней эпохи против этих новых граждан, которые, выйдя из рабского сословия, стали в свою очередь теперь возвышаться над ними? Конечно, нет! Эти законодательные мероприятия в пользу вольноотпущенников были внушены разумной политикой. Мы еще более приветствуем дальнейшее их развитие в юриспруденции под влиянием более возвышенной идеи. Что касается второго пункта, то можно ли опровергать разумную речь, в которой Клавдий, ссылаясь на вождя своего племени, на старого Клавза, пришедшего из Сабинской области и занявшего одно из первых мест в государстве, изображает республику, принимающую в свои недра наиболее выдающихся лиц из покоренных областей, и противопоставляет узкому националистическому духу Греции, подавлявшей и отталкивавшей по-

бежденных, широкую либеральную политику основателя Рима, которая из врага делала гражданина, увеличивала общину, омоложала и укрепляла государство этими новыми элементами, вливающимися в массы. Но было совершенно необходимо, чтобы эти столь определенно выраженные принципы по случаю допущения галлов в сенат были применены к отпущенникам, чтобы их сотрудничество носило правильный характер, а их возвышение было законно. В силу какого права достигали они обычно свободы и почестей?

4

Многие, без сомнения, возвысились благодаря своей профессии и поневоле продолжали заниматься ею и далее; их мы встречаем среди тех элементов, на которые хотела опереться власть при своей попытке реорганизовать рабочие классы: торговцев, продающих подержанные вещи, ремесленников, деловых людей. Один вольноотпущенник — переписчик, своего рода уличный писец, хвастается в своей надгробной надписи тем, что в течение 14 лет писал духовные завешания без всякой помощи со стороны юриста. Значительно большее число получивших свободу благодаря труду стремилось в дальнейшем освободиться от него: труд благодаря доступности его также и рабам считался своего рода бесчестьем, и можно было без особенного ущерба своему достоинству вступить на путь менее честный, но позволяющий жить в большем довольстве. Те же, которые возвысились именно этим путем, были еще менее склонны променять его на другие. Рабы были не только орудием труда, но и орудием разврата, объектом для разгула; история всех времен ясно показывает нам, за счет какой из этих двух подневольных групп, главным образом, увеличивался класс свободных. Луций, превращенный в осла, долго трудился в пекарне, в садоводстве, на мельнице, не видя конца своей ра-

боте. Лишь когда он занял более видное место в штате домашней прислуги и доказал свою развращенность и порочность, на него посыпались всевозможные милости; тогда только он снова мог принять человеческий образ. Таким именно путем рабы легче всего могли войти в гражданскую жизнь и получить свободу.

Что приносили они с собой в эту жизнь? Это мы уже видели в Греции: привычку к безделью, презрение к труду, любовь к роскоши, все те низкие профессии, которые мимоходом бросали свой отблеск и на их бедность; они были интриганам, лжесвидетелями, пособниками в разврате и по меньшей мере паразитами. Эта личность, которую Плавт и Теренций заимствовали у греческого театра, раньше других перешла в Рим вместе с нравами этой страны; но она стала особенно часто встречаться в конце республиканского периода и в эпоху Империи, и разве весь римский народ со времени введения хлебных законов не обратился в паразитов, питавшихся за счет казны? Эти привычки значительно раньше вошли в нравы отпущенников, которые приходили за получением своих пайков во время частных раздач, производимых патроном. И если многие из них с успехом пользовались искусством греков жить за счет своего прежнего господина, то некоторые, делая дальнейший шаг вперед, довели его до искусства, более характерного для римлян и состоящего в том, чтобы после смерти патрона обеспечить за собой все его состояние, часть которого они промотали еще при его жизни, — до пресловутого искусства погони за наследствами.

Когда с помощью тех или иных средств отпущенник достигал богатства, то его наглости не было границ! У сатиры не хватало красок для изображения этих выскочек, нередко привозившихся в Рим вместе с другими товарами из Азии и затем выставявших напоказ свою наглую роскошь. Сатира возмущалась, видя, как эти презренные люди, некогда утомлявшие руки пала-

чей, заставляли возделывать тысячу гектаров земли в фалернских виноградниках, мчались по Аппиевой дороге на своих лошадях и занимали первые должности, проявляя высшее презрение к наиболее благородным всадникам; как эти общественные рабы, аппаратеры магистратов, публичные глашатаи, столь известные плебеям, устраивали игры и добивались популярности иного рода, щедро жертвуя своими гладиаторами. Под их пурпурными одеждами сатира видела жгучий след хороших испанских плетей, а под сетью повязок и бантов, искусно прилаженных на их ногах, она указывала на следы цепей. Но народ не замечал ничего, кроме великолепия раздач и пышности праздников, которые они так щедро расточали. Если этот выскочка был императорским рабом, то тогда у сената не хватало достаточной формулы, чтобы превозносить нового кумира. В правление Клавдия это знаменитое «сословие сенаторов» ревностно добивалось и с благодарностью приняло как великую милость позволение воздать почести Палланту. Вольноотпущенника умоляли принять 15 миллионов сестерций и знаки преторского достоинства (что в эпоху Империи было равносильно самому преторскому достоинству). Он принял оказанные ему почести, но отклонил денежный подарок, и сенат с огорчением должен был примириться с этим отказом. Но потерявший всякую гордость сенат выразил желание увековечить это событие. Он велел выгравировать эту историю на бронзовой доске, которую поместил на самом людном и почетном месте Рима, рядом со статуей Цезаря, что свидетельствует, без сомнения, не столько о бескорыстии вольноотпущенника, сколько о низости сената. При таком императоре и таком сенате становится понятной роль Палланта и ему подобных в империи: чтобы управлять народом рабов, новый владыка Рима имел несомненное право выбирать исполнителей своей воли среди своих вольноотпущенников.

Как бы ни была широко распространена практика отпущения рабов на волю в Риме в начальный период Империи, все же она не служила преддверием к уничтожению этого института, но была лишь одним из естественных и необходимых его последствий, выходом, через который в эту эпоху, слишком богатую рабами, уходил их излишек, средством обновления этой массы, испорченной, прежде чем погибнуть, благодаря тлетворному влиянию этого состояния; подобно тому как вода, задержанная в своем свободном течении, портится в том водохранилище, где она стоит; тогда ее спускают, но, получив свободу, она остается все той же стоячей. Точно так же нельзя ожидать, чтобы извращенные рабством инстинкты, испорченные с самого детства привычки изменились и исправились в душе вольноотпущенника под влиянием запоздалой свободы. Брошенный в середину общества, испорченного уже соприкосновением с рабами, вольноотпущенник давал еще больше воли своим дурным наклонностям и тем становился еще более опасным. Таким образом, отпущение на волю не приостанавливало нравственного падения граждан. Оно даже не способствовало улучшению положения рабов. Раб в своих мечтах о величии желал наряду со всеми благами богатства иметь своих собственных слуг. Став вольноотпущенником и достигнув на самом деле власти, он начинал презирать и угнетать своих прежних товарищей: вольноотпущенник Паллант издавал законы против рабов.

5

Мы уже говорили о роковом влиянии рабства на семью и на государство и о том, как отпущение на волю не только не прекращало его, а, наоборот, нередко поддерживало. Мы должны проследить его еще в другой области, чтобы всесторонне оценить послед-

ствия этого института. Я хочу коснуться сферы умственной, этой области цивилизации, созданной работой мысли, и результатов этой работы: литературы, наук и искусства.

Греция закрыла рабам доступ к ним. Чтобы обеспечить себе свободное время для высшей духовной жизни, она возложила на них тяжелый физический труд; мы уже рассмотрели вопрос о том, было ли это необходимо для развития и прогресса духа. Конечно, занятиям литературой, науками и искусством нисколько не грозило соседство с этой другой сферой деятельности, менее высокой и широко открытой большинству свободных людей. Она не потеряла бы в уважении, если бы от звания артиста можно было спуститься до звания ремесленника и, наоборот, с самых низших ступеней труда подняться до самых высших, не теряя при этом свободы; впрочем, решающее значение имеют факты. История не знала промежуточных ступеней между Спартой, категорически воспрещавшей ручной труд, и Афинами, иногда предписывавшими его и всегда разрешавшими его своим гражданам. И мы знаем, где нужно искать самый богатый источник мысли и истинный очаг эллинской цивилизации.

Рим находился в совершенно иных условиях, и эти присущие ему отличительные признаки подтвердят установленный нами принцип.

Римский народ был народом деятельным, и эта его деятельность полностью выражалась в управлении и завоеваниях. Военное искусство и искусство управления — вот чем серьезно занимались в Риме. Прибавьте сюда средства, могущие способствовать достижению той же цели, вырабатывавшиеся во время уединенных размышлений или в прениях на форуме: это было законоведение, воспитывающее государственного человека, красноречие, дающее ему власть над народным собранием, и история, изображающая великие события родины, чтобы на приме-

рах предков воспитывать новые поколения. Таковы виды наук истинно римских, достойные того, чтобы ими занимались римляне, таковы науки граждан. Начало законоведению и истории положили патриции; это они занимались тайнами юридических формул, это они являлись авторами великих летописей. Наиболее знатные римляне продолжали развивать науку о праве в качестве преторов и законоведов; это люди вроде Аппия Клавдия, «Слепого», Тиберия Корункания, Лициния Красса, двоих Сцеволов — авгура и великого понтифика; это бывшие консулы, сенаторы, преторы извлекают историю из священных архивов, чтобы сделать ее более доступной для всех; Фабий Пиктор, Катон Цензор, Фульвий Нобилиор, Кальпурний Пизон Фруги (Честный), Семпроний Тудитан. Эта тенденция продолжается и после Гракхов преторами Гаем Клавдием Квадригарием и Лутацием Катулом, одним словом, наиболее известными лицами республики и империи. Римская основа продолжает жить под этими формами, которым греческий гений придал внешний блеск. Благодаря этим свободным умственным занятиям Рим в каждой научной области сохраняет свой оригинальный отпечаток. Если в области истории Рим не имеет Геродота, этой поэмы, достойной персидских войн, с изящной прелестью ее отступлений, зато он имеет Цезаря с его стремительным рассказом, который как бы хочет ускорить реальный ход событий, слишком медленный для его гения. И если взять родственные по духу произведения, то наряду с Фукидидом, вдохновленным печальным зрелищем тех войн, в которых исчезло национальное общегреческое чувство, Рим может поставить, правда, несколько ниже, Тацита, в котором вспыхивают с огромной силой, прежде чем окончательно потухнуть, последние лучи гения свободы. В области красноречия Рим стоит на одном уровне с Грецией и противопостав-

ляет, правда, с разных точек зрения, Демосфену Цицерона; в области законоведения он не имеет себе равных.

Во всех остальных областях национальный отпечаток проявлялся с меньшей силой; однако же римлянин, принадлежавший к новому обществу, мог и здесь испытать свои силы. Различные философские школы Греции отразились в Риме в поэмах Лукреция, в изящных диалогах Цицерона, в трактатах и дружеских беседах Сенеки. Что касается поэзии, которая, вероятно, предшествовала прозе, то Невий и Энний уже с давних пор ввели в Риме новые формы драмы и эпоса, две литературные формы, которые, разделившись, нашли каждая своего собственного гения: Плавта, нападающего на современные нравы со всем пылом плебея, и Вергилия, связывавшего традиции своей родины с традициями Гомера, следуя призыву вдохновлявшей его музы. И все разновидности поэзии имели своих подражателей, иногда даже больше чем подражателей, в этой блестящей плеяде века, в центре которого стоял Август, давший ему свое имя.

Но какая доля участия принадлежала во всем этом литературном движении рабам?

Раб был устранен от занятия чисто римскими науками. В качестве кого мог бы он заниматься судебной практикой? Зачем была нужна ему наука красноречия? Что же касается истории, то что мог он искать в семейных мемуарах и в традициях народа Ромула? Лишь в последнем веке Республики один вольноотпущенник — Цецилий — написал книгу о войнах рабов, а другой — Эпикад — собрал и закончил мемуары своего господина Суллы. Третий — Аттей Филолог — собрал материалы для истории Саллюстия; наконец, еще один — Отацилий Пилит — более непосредственно соприкоснулся с этой наукой под руководством Помпея, а также и для того, чтобы написать его биографию. То же сделали несколько позднее Тимаген и Ма-

раф, отпущенники Августа, Элий Мавр и, может быть, некоторые другие. На основании этих работ были потом написаны эти бессодержательные биографии императоров, дошедшие до нас под общим названием «История Августов».

Итак, этот род умственных занятий являлся привилегией свободных граждан. Но была другая дисциплина, предоставленная исключительно рабам, — это грамматика; нет ничего удивительного в том, что число посвящавших себя этой науке рабов было очень велико и что они были очень сведущи в ней. Греция была пленницей, и римляне, все еще пренебрегая занятием этой наукой, очень дорого оплачивали учителей, приглашенных к их детям, и ученых — для самих себя. Эта наука, зародившаяся на свободе и являвшаяся плодом свободного греческого гения, получила свое дальнейшее развитие в Риме благодаря институту рабства и в его недрах. Если благодаря случайностям войны торговцы не могли достать достаточное количество образованных людей, чтобы продать их как грамматиков и филологов, то они их создавали: их готовили по заказу. Из всех прославившихся грамматиков только про одного достоверно известно, что он родился рабом, — это Реммий Палемон, сохранивший в своих привычках это унижительное клеймо своего положения. Многие родившиеся свободными были обращены в рабов только потому, что родители бросили их на произвол судьбы, как, например, Марк Антоний Гифон, уроженец Галлии, Кай Мелисс из Сполета; другие, почти все греческого происхождения, только временно оказались в положении рабов и затем благодаря отпущению на волю снова вдохнули в себя родной им воздух свободы, как, например, Аттей Филолог и Корнелий Эпикад, вольноотпущенник Суллы, о котором мы упоминали выше; Валерий Катон, Страберий Эрос, бывший учителем Брута и Кассия; Ленея, отпущенник Помпея; Тирон, собравший и опубликовавший пись-

ма Цицерона, своего господина; К. Юлий Гигин, хранитель библиотеки Августа, Веррий Флакк, назначенный этим императором в наставники своих внуков; Л. Красситий из Тарента; Скрибоний Афродисий, отпущенник первой жены Августа. Но, хотя и свободные, они навсегда утратили свободный полет литературного гения: слово «litteratus», в том случае если оно не имело значения «грамматика», совершенно недвусмысленно относилось к негодному рабу с заклеянным лбом. Они продолжали читать и комментировать своих поэтов, робко присоединяя кое-какие небольшие поэмы собственного произведения; если же они пользовались прозой как-нибудь иначе, то лишь для того, как было указано выше, чтобы составлять родословные или писать биографию своих патронов; но и это было трудом подневольным.

Кроме видов литературы, доступных исключительно свободным гражданам, и тех, которые предназначались только для рабов, были и такие, в которых, подражая грекам, упражнялись римляне, не отстраняя, однако, от занятий ими рабов. К этим видам относится один, который может назвать несколько знаменитых имен, а именно театр. Комедия, заимствованная из-за границы, могла преподноситься народу под именами людей, чуждых Риму, или людьми низкого происхождения, как Невий и Плавт. Даже больше: для своего представления она требовала в Риме участия рабов. Она превратила раба в своего главного агента, и ее авторами могли быть рабы или по меньшей мере вольноотпущенники. Таковым был, как говорят, Ливий Андроник (отпущенник Ливия Салинатора), впервые поставивший комедию на сцене римского театра; таковым был поэт Цецилий, получивший это имя от своего патрона; оно совсем вытеснило его имя «Стаций», которое он носил, будучи рабом; таковым был и Теренций, если только можно было причислить к рабам этих гениев, которых морской разбой или война

лишили свободы. Так же обстояло дело и с мимами, этой новой формой, впервые введенной, как говорят, на римской сцене взятым в плен Публилием Сиrom. Это был как бы монолог двух лиц, который произносил сам автор. Это была рабская роль, которую Цезарь заставил исполнять римского всадника Лаберия, чтобы его унижить, и которому он после этого бесчестия не дал даже заслуженной награды. Точно так же и басня с ее непрямо направленными наставлениями и моралью, скрытой под чужими формами, — и она тоже родилась в стране деспотизма и могла развиваться в условиях рабства: Эзоп, как мы видели, был рабом, Федр — вольноотпущенником. Но в других видах поэзии, где господствовали изящество и утонченность чувств или смелость мысли, как в элегии и сатире, и в других видах прозы, требующих созерцательности или активности, вы напрасно будете искать имя раба, достойное быть упомянутым. Назовем тем не менее Эпиктета; но эту философию, которую он преподавал, будучи вольноотпущенником, и которой он придерживался в жизни, будучи рабом, разве не мог он создать ее, будучи свободным? Это остается для нас скрытым, но ничто не мешает тому, что философ в виде исключения мог развиваться среди испорченности рабской среды, как и другой — среди обычной грязи императорского пурпура.

Мы можем отметить аналогичные черты и в развитии наук и искусств.

В этой области римляне ни на что не претендовали; некоторые науки они всецело предоставляли рабам — такова была медицина. Она испытала те же превратности судьбы, как и грамматика. Презируемая вначале грубым невежеством римлянина, она вскоре стала пользоваться уважением всех богатых фамилий. Они пожелали иметь врачей для ухода за телом, как грамматиков или рабов-рапсодов для просвещения или развлечения ума. Греция, поверженная в рабство, дол-

жна была продолжать давать то, чем она занималась, будучи свободной, то, что у себя дома она предоставляла только свободнорожденным. Врач-раб, становясь вольноотпущенником, не бросал своего искусства. Некоторые врачи не только посещали больных на дому, но и брали их для лечения к себе, и Плавт не жалеет для них сарказмов, которыми театр вплоть до Мольера не переставал осыпать эту профессию. Заниматься врачеванием — это (правда, по признанию одного наиболее наглого раба) значит пить хорошее вино и давать другим воду. Один врач в надписи протестует, основываясь на своем прозвище, против этой оскорбительной характеристики: он называет себя «врач, дающий вино». Комедии не мешали высмеивать врачей, но продолжали прибегать к их искусству. Многие врачи благодаря доверию к ним со стороны богатых фамилий составили себе большое состояние. Высокая оплата их труда привлекала к этой профессии свободных граждан Греции и Рима, но все же она сохраняла всегда клеймо своего первоначального происхождения вплоть до тех почетных званий, которые империи угодно было им дать.

Что касается других наук, то римляне, не принуждая заниматься ими рабов, лично пренебрегали ими, так что наряду с иностранцами среди этих ученых могли встречаться и рабы. Пленный Манилий Антиох преподавал астрологию; Гигин, отпущенник императора (вероятно, Траяна), писал о приложении геометрии к военному искусству в своей книге «Громатик или искусство разбивки и измерения лагерей». Точно так же обстояло дело и с искусствами. Рим во время своих первых соприкосновений с Грецией был поражен той славой, которой многочисленные блестящие гении окружали ее благодаря свободным произведениям своего труда. Среди некоторых избранных лиц пробудилась жажда соревнования. Член знаменитой фамилии Фабиев смотрел на данное ему прозвище «Художник»

как на особую честь для себя и для своего потомства. Некоторые другие патриции после него также оставили доказательства своего искусства в виде живописи в храмах богов. Но после завоевания Греции занятия искусством стали считаться делом рабским, и всякий свободный человек пренебрегал ими. Сильные мира сего решили овладеть искусствами и наукой при помощи людей, являвшихся их собственностью. Поэтому они держали архитекторов для составления и исправления планов их загородных вилл, живописцев, скульпторов, художников по мозаике - для внутреннего украшения их домов. На это намекают законоведы, упоминая о других вольноотпущенниках. В других видах документов мы находим надгробные надписи архитекторов-вольноотпущенников: в числе рабов Августа имеется скульптор, а в гробнице рабов императрицы Ливии — живописец и несколько второклассных художников. Но не ищите среди них известного имени, заслуживающего упоминания среди древних художников. Эти благородные искусства не повиновались рабским рукам. Они требуют вдохновения, которое не допускается волей господина, и если империя все же была свидетельницей возрождения прекрасной эпохи, хотя и уступающей в блеске великому веку, то это потому, что Риму пришлось обратиться к свободному труду и признать, что в этой области можно купить произведение, а не мастера.

Итак, если мы окинем взором весь процесс развития культуры и цивилизации в Италии, то увидим, что класс рабов был всегда исключен из тех сфер научной деятельности, в которых Рим проявил всю силу своего гения и которые позволили ему занять место рядом с Грецией, а иногда и выше ее, в развитии человеческого духа: в правоведении, красноречии и исторической науке. Лишь случайно рабы встречаются среди философов, точно так же как их нет в области поэзии, не считая комедии и басни, по указанным нами

причинам и с принятыми нами оговорками. Допущенные после завоевания Греции к преподаванию наук и искусств, они вытеснили оттуда граждан и остановили дальнейшее свободное развитие наук и искусств. По-надобилось, чтобы Юлий Цезарь даровал этим столь долго презираемым профессиям права гражданства в Риме, для того чтобы они вышли из состояния безразличия и застоя, где они погибли бы под гнетом рабства, чтобы они дали нескольких последователей и создали последним усилием все эти многочисленные памятники, являющиеся, без сомнения, лишь слабым и слишком извращенным отражением древней культуры на Западе. Эти неоспоримые факты подтверждают те выводы, к которым мы пришли при изучении рабства в Греции. Подобно тому как институт рабства не столько сохранял племенные особенности, сколько уничтожал их, не столько смягчал, сколько развращал нравы, не столько служил семье и государству, сколько содействовал их гибели, точно также он больше вредил прогрессу труда и умственному развитию, чем вызывал их. Древняя цивилизация имела свои положительные и отрицательные стороны. Зло, как мы это показали, прямым путем восходит к рабству, все же хорошее — к свободе.

Содержание

ТОМ I. РАБСТВО В ГРЕЦИИ

Глава первая	
Рабство в Греции, рабство в древнейшую гомеровскую эпоху.....	4
Глава вторая	
Порабощенные народы, или крепостная зависимость в Греции.....	27
Глава третья	
Свободный труд в Греции, и в частности в Афинах.....	64
Глава четвертая	
Источники рабства в Греции.....	77
Глава пятая	
Использование рабов.....	94
Глава шестая	
Цена на рабов.....	107
Глава седьмая	
О количестве рабов в Греции, в частности в Аттике.....	124
Глава восьмая	
Положение рабов в семье и в государстве.....	173
Глава девятая	

Об отпуске на волю.....	211
Глава десятая	
Взгляд на рабство в древности.....	228
Глава одиннадцатая	
Влияние рабства на порабощенных и на свободных.....	269
ТОМ II. РАБСТВО В РИМЕ	
Глава первая	
Свободный труд и рабство в первые века Рима.....	312
Глава вторая	
Источники рабства в Риме.....	325
Глава третья	
Число рабов и их использование.....	362
Глава четвертая	
Цена рабов в Риме.....	428
Глава пятая	
Юридическое положение рабов.....	440
Глава шестая	
Положение рабов в семье.....	459
Глава седьмая	
Влияние рабства на различные категории рабов	498
Глава восьмая	
Восстание рабов — рабские войны и войны гражданские.....	516
Глава девятая	
Влияние рабства на свободных.....	553
Глава десятая	
Отпуск на волю.....	596

Научно-популярное издание
Серия «Популярная историческая библиотека»

Валлон Анри

История рабства в античном мире

Ответственный редактор *О. Ю. Иванова*
Дизайн обложки *Е. Г. Власова*
Технический редактор *Е. А. Цветкова*
Корректор *Г. П. Быкова*